

Генрих Джейне



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**

Генрих Тейне

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДЕСЯТИ ТОМАХ

Под общей редакцией

Н. Я. БЕРКОВСКОГО, В. М. ЖИРМУНСКОГО,
Я. М. МЕТАЛЛОВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1958

Генрих Тейне

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

т о м

7

ЛЮДВИГ БЕРНЕ

СТАТЬИ 1836—1844 годов

БАХЕРАХСКИЙ РАВВИН

О ФРАНЦУЗСКОЙ СЦЕНЕ

ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ШЕКСПИРА

ПИСЬМА О ГЕРМАНИИ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1958

Редакция переводов
А. Л. ДЫМШИЦА

Комментарии
Н. Я. БЕРКОВСКОГО, А. И. ДЕЙЧА,
А. А. МОРОЗОВА и Е. Ф. ПУРИЦ

Перевод с немецкого

ЛЮДВИГ БЕРНЕ

КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ



КНИГА ПЕРВАЯ

Имя Берне я впервые услышал в лето от рождества Христова 1815-е. Я был с моим покойным отцом на Франкфуртской ярмарке, куда он взял меня с собою, чтобы я посмотрел свет; он полагал, что это полезно для развития. Тут мне представилось величественное зрелище. В так называемых «хижинах», недалеко от улицы Цейль, я увидел восковые фигуры диких зверей, необыкновенные создания искусства и природы. Отец, кроме того, показал мне как христианские, так и еврейские магазины, в которых вы покупаете товар на десять процентов ниже фабричной цены и все-таки непременно будете обмануты. Показал он мне также и ратушу, Ремер, где покупали немецких императоров на десять процентов ниже фабричной цены. Товар в конце концов весь вышел. Как-то раз отец свел меня в кабинет для чтения одной из лож Δ или \square , где он часто ужинал, пил кофе, играл в карты и занимался прочими франкмасонскими делами. В то время как я был погружен в чтение газеты, сидевший рядом со мной молодой человек тихо прошептал мне на ухо:

— Вот доктор Берне, что пишет против комедиантов.

Я взглянул и увидел человека, который в поисках какого-то журнала несколько раз прошелся взад и вперед по комнате и вскоре вышел. Хоть он и пробыл очень недолго, все же облик этого человека остался у меня в памяти, и я еще и сейчас мог бы изобразить его с дипломатической точностью. На нем был черный сюртук, с иголки новый, и ослепительно белое белье; носил он все это,

однако, не как щеголь, а с какой-то зажиточной небрежностью, если даже не с угрюмым равнодушием, ясно показывавшим, что он недолго бывает занят перед зеркалом узлом белого галстука и что сюртук он надел сразу же, как принес его портной, недолго исследуя, узок он ему или широк.

Он не казался ни высоким, ни низким, ни худым, ни толстым, лицо его не было ни румяно, ни бледно, а румяно-бледно или бледно-румяно, и прежде всего отражалась на нем какая-то неприступная гордость, какое-то *dédain*,¹ встречающееся в людях, которые чувствуют себя выше своего положения, но сомневаются, признают ли их другие. Это не была тайная величавость, которую можно заметить на лице короля или гения, скрывающегося инкогнито в толпе; это было скорее то революционное, более или менее титаническое недовольство, которое выражается на лицах претендентов всякого рода. В его осанке, его движениях, его походке было нечто уверенное, определенное, характерное. Может быть, люди необыкновенные тайно озарены лучами собственного духа? Может быть, нашему сердцу чудится этот ореол, который мы не можем видеть нашими телесными очами? Или духовная гроза, таящаяся в таком необыкновенном человеке, оказывает электрическое действие на приближающиеся к ним юные, еще не притупившиеся умы, подобно тому как гроза материальная действует на кошек? Я не знаю сам, как коснулась меня искра от очей этого человека, но я не забывал этого прикосновения и никогда не забывал доктора Берне, писавшего против комедиантов.

Да, он был тогда театральным критиком и упражнялся на героях подмостков. Подобно тому как мой университетский товарищ Диффенбах, с которым мы вместе учились в Бонне, всюду, где бы он ни встретил собаку или кошку, сейчас же отрезал ей хвост из одного только желания резать, за что мы, слушая отчаянный вой бедных животных, очень на него сердились (но потом от души его простили, так как такого рода страсть сделала этого человека величайшим хирургом Германии), — так Берне сперва испытал себя на комедиантах, и то юношеское удаление, с каким он тогда не раз третирил Гейгелей,

¹ Презрение (*франц.*).

Вейднеров, Уршпрунгов и тому подобных невинных животных, бегающих с тех пор без хвоста, следует простить ему ради той пользы, которую он, став впоследствии великим политическим хирургом, принес своей остроумной критикой.

Имя Берне лет через десять после вышеописанной встречи мне напомнил Фарнхаген фон Энзе, и он дал мне прочесть статьи этого человека в «Весах» и в «Крыльях времени». Тон, которым он рекомендовал мне это чтение, был знаменательно настойчив; улыбка же, блуждавшая на губах находившейся при этом Рахели, эта знакомая, загадочно-грустная, рассудочно-мистическая улыбка, придала рекомендации еще больший вес. Рахель, по-видимому, знала о Берне не только по его литературным трудам, и она, как мне помнится, уверяла при этом случае, что существуют письма, которые Берне писал когда-то любимой женщине и в которых его страстный и высокий ум проявляется с еще большим блеском, чем в его напечатанных статьях. Рахель говорила также о его стиле, притом в выражениях, которые всякий человек, незнакомый с ее языком, понял бы превратно; она сказала: «Берне точно так же не умеет писать, как я или Жан-Поль». Под словом «писать» она разумела спокойное расположение, так сказать редакцию мыслей, логическое сочетание частей речи, словом — искусство строить периоды, которому она так восторженно удивлялась и у Гете и у своего супруга и о котором мы в то время почти ежедневно вели плодотворнейшие дебаты. Создание современной прозы, замечу мимоходом, стоило немалых опытов, обсуждений, противоречий и усилий. Рахель, быть может, тем более любила Берне, что она тоже принадлежала к тем авторам, которые, если хотят писать хорошо, постоянно должны находиться в страстном возбуждении, в своего рода умственном опьянении, точно некие вакханки мысли, в священном восторге несущиеся вслед за своим богом. Но, при всей симпатии к родственным натурам, она с величайшим уважением относилась и к тем сознательным ваятелям слова, которые всякой своей мыслью, чувством и мнением владеют как готовым материалом, независимо от души, породившей их, и словно придают им пластическую форму. Не в пример этой великой женщине, Берне питал самое узкое отвращение к такому роду изложения; в своей

субъективной ограниченности он не понимал объективной свободы манеры Гете и художественную форму принимал за отсутствие чувства: он напоминал ребенка, который, не понимая пламенного смысла греческой статуи, ошупывает лишь мраморные формы и жалуется на холод.

Забегая здесь вперед и говоря об отвращении, которое гетевская манера изображения возбуждала в Берне, я вместе с тем даю понять, что его манера письма уже и тогда не безусловно нравилась мне. Не мое дело раскрывать недостатки этой манеры письма; притом же лишь весьма немногие поняли бы любой намек на то, что мне всего более не нравилось в этом стиле. Я только хочу заметить, что для создания совершенной прозы необходимо также большое мастерство в метрических формах. Без этого мастерства прозаику будет недоставать известного такта, от него будут ускользать словосочетания, выражения, цезуры и обороты, встречающиеся только в стихотворной речи, и возникнет скрытое неблагозвучие, которое оскорбит лишь немногие, зато весьма чувствительные уши.

Но как я ни был склонен порицать внешнюю форму и считать за детскую беспомощность стиль Берне, короткие фразы его прозы в тех ее местах, где он не описывает, но рассуждает, — все же я отдавал полнейшую справедливость содержанию, сущности его трудов, уважал оригинальность, любовь к истине, вообще благородство, всюду сказывающееся в них, и с тех пор я уж больше не забывал об авторе. Мне говорили, что он все еще живет во Франкфурте, и когда несколько лет спустя, в 1827 году, мне пришлось проезжать через этот город по пути в Мюнхен, я твердо решил посетить доктора Берне в его доме. Это мне удалось лишь после долгих расспросов и тщетных поисков; всюду, где я ни справлялся о нем, на меня смотрели с величайшим удивлением, и в городе, где он жил, его, по-видимому, или мало знали, или совсем не интересовались им. Странно! Когда заговорят о далеком городе, где живет какой-нибудь великий человек, мы невольно представляем его себе средоточием этого города, самые крыши которого должны быть озарены его славой. И каково же наше удивление, когда мы сами приезжаем в город и действительно собираемся разыскать там великого человека, но сперва должны расспрашивать,

прежде чем разыщем его в толпе! Так путешественник уже издали видит высокий купол собора; когда же он попадает в самый город, купол ускользает от его взглядов, и лишь после блужданий по множеству кривых и узких переулков высокая башня показывается снова, рядом с обыкновенными домами и лавками, которые чуть не закрывают ее.

Когда я спросил о Берне какого-то маленького оптика, он мне ответил, хитро покачивая головой:

— Где живет доктор Берне, я не знаю, но мадам Воль живет на Вольграбене.

Старая рыжеволосая служанка, к которой я тоже обратился, дала мне, наконец, желанный ответ и прибавила с веселым смехом:

— Я ведь служу у матери мадам Воль.

Я с трудом узнал этого человека, чей прежний облик еще живо хранила моя память. Ни следа благородного недовольства и гордой мрачности. Я видел теперь довольного всем человека, очень тщедушного, но не больного, маленькую головку с черными гладкими волосиками, на щеках — даже клочок румянца, очень живые светло-карие глаза, задумчивость в каждом взгляде, в каждом движении, также и в тоне. К тому же на нем был вязаный камзольчик из серой шерсти, который, плотно прилегая к телу, словно кольчуга, придавал ему сказочно забавный вид. Он принял меня приветливо и ласково; не прошло и трех минут, как мы уже вели самый дружеский разговор. О чем говорили мы сначала? Когда сходятся кухарки, они говорят о своих господах, а когда сходятся немецкие авторы, они говорят о своих издателях. Поэтому наш разговор начался с Котты и с Кампе, и когда я после кой-каких обычных жалоб воздал должное добрым качествам последнего, Берне признался, что он беременен полным собранием своих сочинений и что для этого предприятия хотел бы иметь дело с Кампе. Я, конечно, мог его заверить, что Юлиус Кампе — не обыкновенный издатель, стремящийся только обделывать дела с помощью великого, благородного и прекрасного и пользоваться удачной конъюнктурой, что, напротив, порою он при очень неблагоприятной конъюнктуре печатает великое, прекрасное, благородное и действительно терпит очень большие убытки. Слова эти Берне слушал обоими ушами, и впоследствии они побу-

дили его съездить в Гамбург и условиться с издателем «Путевых картин» об издании полного собрания своих сочинений.

Как только кончается разговор об издателях, писатели, разговаривающие друг с другом в первый раз, переходят к обоюдным комплиментам. Я опускаю то, что Берне говорил по поводу моих достоинств, и упомяну лишь о тех легких упреках, которые он по временам, капля по капле, вливал в пенящийся кубок похвал. Незадолго перед тем он как раз прочитал вторую часть «Путевых картин» и находил, что я без достаточного уважения отзываюсь о боге, который сотворил небо и землю и столь мудро правит миром, тогда как о Наполеоне, который ведь был всего лишь смертный деспот, я говорю с чрезмерным почтением. Действительный либерал, таким образом, уже отчетливо сказывался в нем. По-видимому, он недолюбливал Наполеона, хотя, не сознавая того, питал в душе величайшее уважение к нему. Его сердило, что монархи так невеликодушно низвергли статую Наполеона с Вандомской колонны.

— Ах! — воскликнул он с горьким вздохом. — Вы могли преспокойно оставить его статую на том же месте; вам стоило только прикрепить к ней кусок холста с надписью «Восемнадцатое брюмера», и Вандомский столп превратился бы в достойный этого человека позорный столб! Как я любил его до Восемнадцатого брюмера! Даже до мира в Кампоформио я был к нему расположен, но, подымаясь по ступеням трона, он все ниже опускался в своем достоинстве; можно было сказать про него: он свалился снизу вверх по красной лестнице!

— Еще сегодня утром, — прибавил Берне, — я восхищался им, читая вот в этой книге, что лежит на моем столе (он указал на «Историю революции» Тьера), превосходный анекдот о том, как Наполеон в Удине имел свидание с Кобенцлем и в пылу разговора разбил фарфор, который Кобенцль получил некогда от императрицы Екатерины и, наверно, очень любил. Этот разбитый фарфор, быть может, и вызвал Кампоформийский мир. Кобенцль, наверно, думал: «У моего императора так много фарфора, и будет беда, если этот молодец приедет в Вену и разгрячит не в меру. Лучше всего заключить с ним мир». Должно быть, в тот миг, когда в Удине полетел на пол

и разлетелся вдребезги фарфоровый сервиз Кобенцля, в Вене дрожал весь фарфор, и не одни лишь кофейники и чашки, но даже фарфоровые божки — и те кивали головами быстрее чем когда-либо, и мир был подписан. Картины, которые можно видеть у торговцев эстампами, обычно изображают Наполеона взлетающим на Симплон на вздыбленном коне или несущимся по мосту в Лоди с высоко поднятым знаменем и т. д. Но если бы я был художником, я изобразил бы, как он разбивает сервиз Кобенцля. Это было самое плодотворное из его деяний. С той поры каждый король стал бояться за свой фарфор, а особенно сильно опасались берлинцы за свой большой фарфоровый завод. Вы, любезнейший Гейне, не представляете себе, до чего обладание хорошим фарфором держит человека в узде. Взять, например, хоть меня. Я был так необуздан прежде, когда у меня было мало добра и совсем не было фарфора. Вместе с собственностью — особенно же с хрупкой собственностью — появляются страх и покорность. Я, к сожалению, недавно обзавелся прекрасным чайным сервизом; чайник раззолочен так заманчиво искусно; на сахарнице изображено супружеское счастье, двое любящих, сладко воркующих; на одной из чашек — башня святой Екатерины, на другой — гаултахта, на остальных чашках — сплошь отечественные ландшафты. И право же, теперь у меня забота, как бы по глупости не написать слишком вольно, чтобы не пришлось внезапно бежать. Как я успею тогда уложить все эти чашки, да еще большой чайник? В спешке их можно разбить, а оставить их я ни за что не хотел бы. Ведь мы, люди, — большие чудачки. Тот самый человек, что, быть может, готов поставить на карту спокойствие и радость своей жизни, даже самую жизнь, лишь бы сохранить свободу мнения, все же не захочет лишиться каких-нибудь двух-трех чашек и останется безмолвным рабом, чтобы уберечь свой чайник. Право же, я чувствую, как этот проклятый фарфор мешает мне писать; я становлюсь таким кротким, таким осторожным, таким опасливым. В конце концов я даже готов думать, что торговец фарфором был агент австрийской полиции и что Меттерних навязал мне этот фарфор, чтоб укротить меня. Да, да, вот отчего он был так дешев, а продавец говорил так красноречиво. Ах! Сахарница с супружеским счастьем

была такой лакомой приманкой! Да, чем больше я смотрю на свой фарфор, тем правдоподобнее мне кажется мысль, что он — от Меттерниха. Я нисколько не ставлю ему в вину, что меня соблазняют таким путем. Когда со мной борются умными средствами, я никогда не сержусь; лишь неуклюжесть и глупость для меня невыносимы. Вот наш франкфуртский сенат...

У меня есть причины на то, чтоб не давать говорить ему дальше, и я отмечу, что в конце своей речи он воскликнул с добродушным смехом:

— Но я еще достаточно силен, чтоб разбить мои фарфоровые оковы, и пусть только рассердят меня, — чудный вызолоченный чайник полетит за окно вместе с сахарницей, и с супружеским счастьем, и с башней святой Екатерины, и с гауптвахтой, и с отечественными ландшафтами, и я тогда — свободный человек, каким был прежде.

Юмор Берне, живой пример которого я сейчас привел, отличался от юмора Жан-Поля тем, что последний соединял друг с другом самые отдаленные предметы, тогда как Берне, словно веселое дитя, хватал только то, что было близко, и тогда как фантазия туманного байрейтского полигистора рылась по кладовым всех времен и в семи-мильных сапогах бродила по всем странам света, Берне видел лишь настоящий день, и предметы, занимавшие его, находились все в пределах его кругозора. Он говорил о книге, которую только что прочел, о происшествии, которое только что случилось, о камне, на который он только что наткнулся, о Ротшильде, мимо дома которого проходил каждый день, о Союзном сейме, который заседал на улице Цейль и который он мог ненавидеть тоже в двух шагах от себя; в конце концов мысли его непременно возвращались к Меттерниху. Злоба его против Гете проистекала, пожалуй, тоже из местных источников; я говорю об источниках, а не о причинах; если сначала внимание Берне и было привлечено к Гете благодаря тому обстоятельству, что Франкфурт был родиной их обоих, — все же ненависть к этому человеку, пылавшая в нем и разгоравшаяся все болезненнее, была лишь необходимым следствием глубокого различия, заложенного в природе этих двух людей. Тут действовала не мелочная зависть, но бескорыстная вражда, повиновавшаяся прирожденным влечениям, — распря, древняя как мир, дающая о себе знать

во всей истории человеческого рода и всего резче сказывающаяся в том поединке, который начался между иудейским спиритуализмом и жизненной радостью эллинов, в поединке, исход которого все еще не решен и который, быть может, никогда не будет кончен: маленький назарянин ненавидел великого грека, который к тому же еще был греческий бог.

В то время только что вышел в свет труд Вольфганга Менцеля, и Берне по-детски радовался, что появился человек, имеющий мужество так дерзко выступать против Гете.

— Почтение, — наивно прибавил он, — всегда удерживало меня от того, чтобы высказать печатно то же самое. Вот Менцель — он храбрый, он честный человек и ученый; с ним вы должны познакомиться; он доставит нам еще много радостей; у него много отваги; он честнейший человек и великий ученый! Гете — ничто: он трус, рабленный льстец и дилетант.

К этой теме он часто возвращался; мне пришлось обещать ему, что я навещу Менцеля в Штутгарте; он тотчас же написал мне для этой цели рекомендательное письмо, и я и сейчас еще слышу, как он с жаром прибавил:

— Он храбрый, он необыкновенно храбрый; он отличный, честнейший человек и великий ученый!

Как в своих суждениях о Гете, так и в мнении о других писателях Берне высказывал свою назарейскую ограниченность. Я говорю «назарейская», чтобы не пользоваться выражением «иудейская» или «христианская», хотя оба эти выражения для меня синонимы и я пользуюсь ими, чтобы обозначить не вероисповедание, но природное свойство. «Иудеи» и «христиане» — для меня это слова, совершенно близкие по смыслу, в противоположность слову «эллины», — именем этим я называю тоже не отдельный народ, но столько же врожденное, сколько и приобретенное развитием направление ума и взгляд на мир. В этом смысле можно бы сказать: все люди — или иудеи, или эллины; или это люди с аскетическими, иконоборческими, спиритуалистическими задатками, или же это люди жизнерадостные, гордящиеся способностью к прогрессу, реалисты по своей природе. Так в немецких пасторских семействах встречались эллины, и были иудеи, родившиеся в Афинах и происходившие, быть может,

от Тесея. Справедливо можно сказать здесь, что не борода делает человека иудеем и не коса делает его христианином.

Берне в полной мере был назарейнин; его антипатия к Гете происходила непосредственно из его назарейского духа; позднейшая его политическая экзальтация имела основанием тот резкий аскетизм, ту жажду страданий, которая вообще встречается в республиканцах, которую они называют республиканской добродетелью и которая так мало отличается от стремления к мученичеству у ранних христиан. Позднее Берне обратился даже к историческому христианству; он почти что впал в католицизм, братаясь с попом Ламенне, и заговорил противнейшим капуцинским тоном, когда однажды ему пришлось публично высказаться об одном из преемников Гете, пантеисте жизнерадостного толка. Заслуживает внимание психолога тот факт, что постепенно в душе Берне всплывало врожденное христианство, подавленное его острым умом и веселостью. Я говорю: веселостью, *gaieté*, а не радостью, *joie*; на этих назарейн по временам находит какое-то прыгающе-веселое расположение духа, шутливая резвость белки, мило капризная, даже блестящая; но вслед за ней наступает вскоре опепенелая меланхолия; недостает им того величия в наслаждениях, которое встречается лишь у богов, сознающих самих себя.

Однако если с нашей точки зрения нет большого различия между иудеями и христианами, то оно с тем большей резкостью существует в мировоззрении франкфуртских филистеров; о неудобствах, происходящих отсюда, Берне говорил очень много и очень часто в течение тех трех дней, которые я в угоду ему провел в вольном имперском и торговом городе Франкфурте-на-Майне.

Да, он с забавным добродушием вынудил у меня обещание подарить ему три дня моей жизни; он больше не отпускал меня от себя, и я должен был бегать с ним по городу, посещать разных приятелей, также и приятельниц, например мадам Воль на Вольграбене. Эта мадам Воль на Вольграбене — та известная богиня свободы, которой впоследствии были адресованы «Письма из Парижа». Я увидел тощую особу, чье желтовато-белое, оспой изрытое лицо напоминало старую мацу. Несмотря на ее внешность и на то, что голос ее был скрипуч, как дверь,двигающаяся на ржавых петлях, мне понравилось

все, что она говорила, а говорила она, и с большим энтузиазмом, о моих произведениях. Я помню, как она поставила своего друга в очень неловкое положение, пожелав выболтать то, что он при нашем появлении шепнул ей на ухо; Берне покраснел, как девушка, когда она, несмотря на его просьбы, выдала мне, что он сказал, будто мое посещение — большая честь для него, чем если бы его посетил Гете. Вспоминая теперь, какого дурного мнения он тогда уже был о Гете, я не могу принять эти слова за слишком большой комплимент.

Об отношениях Берне к вышеназванной даме я знал тогда столь же мало определенного, как и другие люди. Да и было мне все равно, какие это отношения, — теплые или прохладные, влажные или сухие. Злые уста утверждали, что у госпожи Воль на Вольграбене господину Берне привольное житье; злые уста шипели, что между ними обоими — лишь отвлеченный союз сердец, что любовь их — платоническая.

Что до меня, то в людях выдающихся мне гораздо менее интересен предмет их любви, чем самое чувство любви. А оно — я это знаю — было в Берне очень сильно. Как впоследствии при чтении полного собрания его сочинений, так уже и во Франкфурте по некоторым беглым намекам я заметил, что Берне в разные периоды своей жизни был сильно терзаем кознями маленького бога. В частности, ему хорошо знакомы муки ревности, потому что вообще ревность была ему свойственна и заставляла его как в жизни, так и в политике рассматривать всякое явление сквозь желтую лупу недоверия. Я отметил, что Берне в разные периоды его жизни тревожили страдания любви.

— Ах, — вздохнул он однажды, словно из глубины болезненных воспоминаний, — в зрелом возрасте эта страсть еще куда опаснее, чем в юности! Этому трудно поверить, так как ведь с годами наш разум развивается и должен был бы помогать нам бороться со страстью. Славная помощь! Имейте в виду: разум помогает нам побороть лишь те мелкие капризы, которые мы скоро преодолели бы и без его вмешательства. Но как только нашим сердцем овладеет великая, истинная страсть и ее нужно бывает подавить во избежание того явного вреда, которым она грозит нам, тогда разум оказывает нам слабую помощь;

мало того — он, каналья, становится даже союзником врага, и вместо того, чтобы защищать наши материальные или моральные интересы, он вооружает этого врага, эту страсть всей своей логикой, всеми своими силлогизмами, всеми своими софизмами и немому безумию дает оружие слова. Разум достаточно разумен, чтобы перекинуться на сторону сильнейшего, на сторону страсти, и покидает ее, как только влияние времени или закон противодействия сломят ее силу. Как он насмехается тогда над теми самыми чувствами, которые незадолго до того оправдывал с таким рвением! Дорогой друг, никогда не доверяйте в страсти голосу разума, а когда страсть угаснет, не доверяйте ему также и не будьте несправедливы к вашему сердцу!

Показав мне мадам Воль на Вольграбене, Берне пожелал осмотреть со мной и прочие достопримечательности Франкфурта и веселой, добродушной рысцей бегал рядом со мной по улицам. Причудливый вид придавали ему коротенький плащ и беленькая шляпа, наполовину обтянутая черным крепом. Черный креп напоминал о смерти его отца, который при жизни был по отношению к нему весьма скуп, теперь же оставил разом много денег. Берне, казалось, еще носил в себе тогда приятные ощущения такой перемены судьбы и вообще находился в зените благополучия. Он жаловался даже на свое здоровье, то есть жаловался, что с каждым днем становится здоровее и что с ростом здоровья исчезают его умственные способности.

— Я слишком здоров и больше ничего не могу писать, — жаловался он в шутку, а быть может, и всерьез, потому что в подобных натурах талант зависит от особого болезненного состояния, от особой раздражительности, повышающей в них силу восприятия и выражения и снова исчезающей с возвращением здоровья. — Он долечил меня до глупости, — говорил Берне о своем враче, к которому он свел меня и в доме которого мы с ним обедали.

Предметы, с которыми Берне случайно соприкасался, не только занимали его ум в данную минуту, но также и непосредственно влияли на расположение его духа, и с их переменной у него было связано хорошее или дурное расположение духа. Как море окрашивается в цвет пронсящихся над ним облаков, так в душе Берне всякий раз отражались те предметы, с которыми он встречался на

своем пути. Красивые сады или группа милостивых девушек, шедших со смехом навстречу нам, бросали словно розовые лучи на душу Берне, и отблески их сказывались в искрящихся шутках.

Но когда мы шли еврейским кварталом, казалось, что тени от черных домов омрачают его ум.

— Взгляните на этот переулок, — молвил он со вздохом, — и попробуйте потом прославлять средние века. Люди, которые жили и плакали здесь, умерли и ничего не могут возразить, когда наши безумные поэты и еще более безумные историки, когда шуты и плуты печатно восторгаются минувшим великолепием; но там, где молчат мертвецы, тем громче говорят живые камни.

И правда, дома этой улицы смотрели на меня так, словно хотели рассказать тоскливые истории, которые хорошо знаешь, но не хочешь знать, которые скорее хотелось бы забыть, чем воскрешать в памяти. Так, мне все еще вспоминается высокий островерхий дом, угольная чернота которого выступала тем резче, что под окнами висел ряд белых как мел сальных свечей; вход, наполовину загороженный решеткой из заржавевших железных прутьев, вел в темную пещеру, где сырость как будто ручьями стекала со стен, а из глубины доносилось в высшей степени странное гнусавое пение. Разбитый голос был, верно, голос старика, а мелодия начиналась самыми нежными, жалобными звуками, которые, постепенно разрастаясь, переходили в жутко гневные аккорды.

— Что это за песня? — спросил я моего спутника.

— Это хорошая песня, — отвечал он с угрюмым смехом, — лирический шедевр, которому вряд ли найдется нечто подобное в альманахе муз на этот год... Вы, может быть, знаете его в немецком переводе: «Мы сидели на реках вавилонских, наши арфы висели на плакучих ивах» и т. д. Великолепное стихотворение, и старый рабби Хаим прекрасно поет его своим дрожащим, изможденным голосом; Зонтаг, пожалуй, пропела бы его более звучно, но не с таким выражением, не с таким чувством... Ибо старик все еще ненавидит вавилонян и каждый день оплакивает гибель Иерусалима от руки Навуходоносора... Это несчастье он никак не может позабыть, хоть с тех пор и случилось столько нового и еще недавно второй храм был разрушен злодеем Титом. Я должен особенно обратить

ваше внимание на то, что старый рабби Хаим смотрит на Тита отнюдь не как на *delicium generis humani*; ¹ он считает его злодеем, которого постигла божья кара... А именно: влетел ему в нос маленький комар и стал там расти и царапать его мозг своими когтями, причиняя такие безмерные боли, что некоторое облегчение император испытывал лишь тогда, когда подле него несколько сот кузнецов ударили по паковальням. Весьма замечательно, что всех врагов детей Израиля постигал столь же ужасный конец. Вы знаете, что случилось с Навуходоносором: он на старости лет превратился в быка и должен был есть траву. Посмотрите на персидского министра Амана — разве его под конец не повесили в Сузе, в столице? Или Антиох, царь сирийский, — разве не сгнил он живьем от вшивой болезни? Позднейшим злодеям, врагам евреев, следовало бы остерегаться. Но что проку! Страшные примеры не пугают их, и на днях снова читал брошюру против евреев, написанную профессором философии, который называет себя *magis amica*. ² Когда-нибудь он будет есть траву, быком его создала природа, его когда-нибудь, пожалуй, даже и повесят, если он оскорбит любимую султаншу короля Флаксенфингена, а вши у него и так уже наверно есть, как у Антиоха. Больше всего мне хотелось бы, чтоб он отправился в мореплавание и потерпел кораблекрушение у берегов Северной Африки. Как раз недавно я читал, будто мусульмане, живущие там, считают, что вера их дает им право обращать в рабство всех христиан, потерпевших кораблекрушение у их берегов и попавших в их руки. Они делят между собой этих несчастных и каждому из них дают работу по его способностям. Так вот недавно некий англичанин, посетив тот берег, повстречал там немецкого ученого, который потерпел кораблекрушение и попал в невольники, но оказался годным только на то, чтоб высиживать яйца, а принадлежал он к богословскому факультету. Вот мне и хотелось бы, чтобы доктор *magis amica* попал в такое положение: если б ему пришлось, не вставая, посидеть на яйцах недели три (а если это умные яйца, то и все четыре), ему наверно впервые пришли бы в голову разные мысли, и, я ручаюсь,

¹ Утешение рода человеческого (*лат.*). (См. комментарий.)

² Большим другом (*лат.*). (См. комментарий.)

он проклял бы религиозный фанатизм, который в Европе подвергает унижению евреев, а в Африке — христиан и даже доктора богословия превращает из человека в наседку... Цыплята, которых он высиживает, будут очень веротерпимы на вкус, особенно если их есть с соусом «à la Маренго».

По вполне понятным причинам я опускаю замечания, которые в изобилии, преисполненном озлобления, посыпались из уст моего спутника, когда во время наших странствий по Франкфурту нам довелось проходить мимо дома, где заседает Союзный сейм. Часовой стоя спал послеобеденным сном, и ласточки, свившие на карнизах окон свои мирные гнезда, летали безмятежно вверх и вниз. Ласточки знаменуют счастье, утверждала моя бабушка; она была очень суеверна.

От угла Шпургассе до Биржи нам пришлось потолкаться; здесь проходит золотая жила города, здесь собирается торговое сословие и барышничает и болтает на своем жаргоне... То, что мы в Северной Германии называем собственно жаргоном, есть не что иное, как именно франкфуртское местное наречие, и необрезанное население говорит на нем так же превосходно, как и обрезанное. Берне очень плохо говорил на этом жаргоне, хотя, так же как и Гете, никогда не мог совершенно отрешиться от родного диалекта. Я заметил, что жители Франкфурта, державшиеся в стороне от каких бы то ни было торговых интересов, в конце концов совершенно отвыкают от этого франкфуртского говора, который, как я сказал, мы в Северной Германии называем жаргоном.

Несколько дальше, при выходе из Зальгассе, нас порадовала гораздо более приятная встреча. А именно — мы увидели детей, целой ватагой шедших из школы, — красивых, румяных мальчиков со связками книг под мышкой.

— Куда больше уважения, — воскликнул Берне, — куда больше уважения я питаю к этим ребятам, чем к их взрослым отцам! Вот этот малыш с высоким лбом, быть может, думает сейчас о второй пунической войне и восхищается Ганнибалом, и когда ему сегодня рассказывали о том, как великий карфагенянин еще ребенком поклялся мстить римлянам, ручаюсь, его маленькое сердце тоже произносило эту клятву... Ненависть и гибель злему

Риму! Сдержи свою клятву, мой маленький соратник. Мне хочется поцеловать этого чудного мальчугана! А тот, другой малыш, у которого такой лукаво-милый вид, думает, быть может, о Митридате и желал бы уподобиться ему когда-нибудь... Это тоже хорошо, вполне хорошо, и я приветствую тебя. Но только, паренек, хватит ли у тебя силы проглотить яд, как это сделал старый царь понтийский? Заранее приучайся к этому. Кто хочет воевать с Римом, должен уметь переносить всевозможные яды, не только грубый мышьяк, но и фантастический усыпляющий опиум и даже крадущуюся тайком акватофану клеветы! Как вам нравится этот мальчик, у которого такие длинные ноги и такой капризно вздернутый носик? Его, быть может, так и подмывает сделаться Катилиной — у него недаром длинные пальцы! Когда-нибудь Цицеронам нашей республики, напудренным отцам отечества, он даст случай осрамиться в длинных плохих речах. А тому, бедному болезненному мальчишке, паверно гораздо больше хотелось бы сыграть роль Брута... Бедный мальчуган, ты не найдешь для себя Цезаря и удовлетворишься тем, что заколешь словами несколько старых париков и, наконец, бросишься не на меч свой, а на Шеллингову философию и сойдешь с ума! Я уважаю этих малышей, которых целый день занимают самые благородные истории из жизни человечества, меж тем как их отцы интересуются только повышением или падением государственных бумаг и думают о кофейных бобах, о кошенили и мануфактурных товарах! Этому маленькому Бруту я бы не прочь купить сахарных крендельков... Нет, лучше я буду поить его водкой, чтобы он остался маленьким... Лишь пока мы еще не выросли, мы совершенно бескорыстны, полны совершенной отваги, совершенного героизма. По мере того как растет тело, все больше съезживается душа... Я сам это чувствую по себе... Ах, я был великий человек, когда я был маленьким мальчиком!

Когда мы прошли Ремерберг, Берне захотел подняться со мной в старый императорский замок — посмотреть там на Золотую буллу.

— Я никогда не видал ее, — вздохнул он, — но с самого детства чувствовал тайное влечение к этой Золотой булле. Ребенком я составил себе о ней самое странное понятие и считал ее коровой с золотыми рогами; потом

я воображал, что это теленок, и только когда я уже вырос, я узнал правду, а именно, что это всего лишь старая кожа, никуда не годный кусок пергамента, на котором написано, как император и империя продавались друг другу. Нет, не будем смотреть на этот презренный контракт, сгубивший Германию; я хочу умереть, не выдав Золотой буллы.

Здесь я также опускаю ряд горьких замечаний. Была тема, которой лишь стоило коснуться, как сразу же вырывались наружу самые необузданные и болезненные мысли, таившиеся в душе Берне; тема эта была — Германия и политическое положение немецкого народа. Берне был патриот от головы до пят, и Германия была его безраздельной любовью.

Когда вечером того же дня мы снова шли Еврейской улицей и снова завязался разговор о ее жителях, ключ остроумия Берне стал бить тем оживленной, что и эта улица, имевшая днем мрачный вид, была теперь весело иллюминирована и сыны Израиля, как объяснил мне мой чичероне, праздновали в тот вечер свой веселый праздник свечек. Этот праздник был некогда учрежден в вечное воспоминание о победе, которую Маккавеи с таким мужеством одержали над царем сирийским.

— Видите ли, — сказал Берне, — это Восемнадцатое октября евреев, но только этому маккавейскому Восемнадцатому октября уже две тысячи лет, и оно все еще празднуется, между тем как лейпцигское Восемнадцатое октября не достигло еще и пятнадцатилетнего возраста, а уже забыто. Немцам надо было бы пройти школу у старой мадам Ротшильд, чтобы научиться патриотизму. Вот смотрите: в том маленьком доме живет эта старая женщина, Летиция, родившая такое множество финансовых Бонапартов, великая мать всех займов, которая, несмотря на мировую гегемонию своих царственных сыновей, все еще не хочет покинуть свой маленький родовой замок на Еврейской улице и сегодня в честь великого праздника радости украсила белыми занавесками свои окна. Как весело сверкают плошки, которые она засветила собственными руками, чтобы отпраздновать тот день победы, когда Иуда Маккавей и братья его освободили отечество с такой же отвагой и таким же бесстрашием, как в наши дни Фридрих-Вильгельм, Александр и Франц Второй. Когда

добрая женщина смотрит на эти плошки, на ее старых глазах выступают слезы и она с печальным блаженством вспоминает то былое время, когда покойный Мейер-Амшель Ротшильд, дорогой муж ее, справлял вместе с нею этот праздник, а сыновья ее были еще маленькие мальчики, и прилепляли к полу маленькие свечки, и с детской радостью прыгали через них взад и вперед, согласно обычаю Израиля!

— Старый Ротшильд, — продолжал Берне, — родоначальник царствующей династии, был славный человек, само благочестие, сама доброта. У него было кроткое лицо с острой бородкой, на голове — треугольная шляпа, платье же более чем скромное, почти бедное. Так он ходил по Франкфурту, и всегда, словно свита, окружала его толпа бедняков, которых он наделял милостыней или добрыми советами; если на улице вы встречали вереницу нищих с утешенными или веселыми лицами, это значило, что здесь только что прошлся старый Ротшильд. Когда я был еще маленьким мальчиком и однажды в пятницу вечером шел с моим отцом по Еврейской улице, нам повстречался старый Ротшильд, шедший как раз из синагоги; я помню, что, поговорив с моим отцом, он и мне сказал несколько ласковых слов и потом положил мне на голову руку, благословляя меня. Этому благословению Ротшильда, как я твердо убежден, я обязан тем, что наличные деньги никогда не исчезали из моего кармана, хоть я и стал немецким писателем.

Я не могу не вставить здесь попутного замечания, что Берне жил всегда в довольстве и уюте и что его позднейший ультралиберализм отнюдь нельзя приписать, как это возможно в отношении многих патриотов, раздраженной злобе собственной нищеты. Хотя он сам был богат (я говорю: «богат», имея в виду масштаб его потребностей), все же он питал непостижимую ненависть к богатым людям. Он ненавидел сыновей Мейера-Амшеля Ротшильда, хотя благословение их отца и осенило его голову.

Я не буду исследовать здесь, в какой мере личные свойства этих людей оправдывают подобную ненависть; более обстоятельно я займусь этим в другом месте. Здесь мне хотелось бы только отметить, что наши немецкие проповедники свободы поступают столь же несправедливо, сколь и нелепо, когда с такой злобой и кровожадностью

нападают на дом Ротшильда, ставя ему в упрек его политическое значение, его роль с точки зрения интересов революции, короче — общественный характер его деятельности. У революции нет пособников более сильных, чем они, эти Ротшильды, и, что может показаться еще более странным, эти Ротшильды, банкиры королей, царственные казначеи, бытие которых могло бы подвергнуться серьезнейшей опасности в случае крушения европейской государственной системы, носят в душе сознание своей революционной миссии. Главным образом это относится к человеку, который известен под незаметным именем барона Джеймса и в котором теперь, после смерти его сляпательного брата в Англии, воплощается все политическое значение дома Ротшильда. Этот Нерон финансового мира, построивший себе золотой дворец на улице Лафитт и, как неограниченный император, правящий оттуда биржами, — он, в сущности, так же как некогда его предшественник Нерон Римский, является могучим разрушителем привилегированного патрициата и основателем новой демократии. Несколько лет тому назад, будучи в хорошем расположении духа и фланируя под руку со мной по улицам Парижа, при этом — фамиллионерничая вовсю, как сказал бы Гирш-Гиацинт, барон Джеймс довольно ясно мне растолковал, что именно он своей системой государственных бумаг создал всюду в Европе основные условия для общественного прогресса, проложил ему, так сказать, дорогу.

— Для основания всякого нового порядка вещей, — сказал он мне, — всегда необходимо совместное усилие выдающихся личностей, которые сообща занимались бы этими делами. Такие люди жили прежде на доходы от своих имений или должностей и поэтому никогда не были вполне свободны, — напротив, всегда были скованы какой-нибудь отдаленной поземельной собственностью или исполнением служебных обязанностей; теперь же система государственных бумаг дает этим людям свободу выбирать себе любое местопребывание; ничего не делая, они всюду могут жить на проценты от своих государственных бумаг, своего портативного состояния, и они сплачиваются воедино и представляют собой истинную силу столиц. А какую роль играет такое стечение разнородных сил, такая централизация умственных и общественных авторитетов, —

Это достаточно известно. Не будь Парижа, Франция никогда не совершила бы своей революции; сколько замечательных умов нашли здесь пути и средства для того, чтобы вести более или менее обеспеченную жизнь, общаться друг с другом и так далее. Такое удачное положение вещей создавалось в Париже веками, а с помощью системы ренты Париж еще и гораздо скорее сделался бы Парижем; немцы же, которым хочется иметь такую же столицу, не должны бы жаловаться на систему ренты: она способствует централизации, множество людей благодаря этой системе получают возможность жить там, где они захотят, и давать оттуда человечеству благотворные импульсы...

С этой точки зрения Ротшильд и смотрит на результаты своих трудов и дел. Я совершенно согласен с этим взглядом, я даже иду еще дальше и вижу в Ротшильде одного из величайших революционеров, основоположников новой демократии. Для меня Ришелье, Робеспьер и Ротшильд — три террористических имени, и знаменуют они постепенное уничтожение старой аристократии. Ришелье, Робеспьер и Ротшильд — три самых страшных уравнилителя в Европе. Ришелье разрушил суверенное господство феодального дворянства и подчинил его тому королевскому произволу, который или унижал его придворной службой, или заставлял его гнить в глуши и безделье провинции. Робеспьер отрубил, наконец, голову этому покорному и гнилому дворянству. Но земля осталась, и новый хозяин ее, новый землевладелец, стал опять таким же аристократом, как его предшественники, притязания которых он воскресил под другим именем. Тут явился Ротшильд и разрушил верховное господство земли, подняв систему государственных бумаг на высшую степень могущества, мобилизовав таким образом крупные владения и доходы и, так сказать, пожаловав деньгам бывшие привилегии земли. Правда, он тем самым основал новую аристократию, но, опираясь на такой ненадежный элемент, как деньги, она никогда не сможет оказывать столь дурного влияния, как бывшая аристократия, пустившая корни глубоко в недра земли. Деньги текучее воды, воздушнее воздуха, и нынешней денежной знати мы охотно простим ее заносчивость, если подумаем о ее непостоянстве... Она расплывется и испарится, прежде чем успеешь оглянуться.

Сопоставляя выше имена Рипелье, Робеспьера и Ротшильда, я невольно заметил, что эти три величайших террориста и в других отношениях представляют сходство. Общее между ними, например, — какая-то неестественная любовь к поэзии: Рипелье писал плохие трагедии, Робеспьер сочинял жалкие мадригалы, а Джеймс Ротшильд, когда весел, пускается в рифмоплетство.

Однако все это не относится к делу; на этих страницах мы должны заняться революционером меньшего масштаба — Людвигом Берне. Он, как мы с сожалением заметили, питал сильнейшую ненависть к Ротшильдам, и когда во Франкфурте мы проходили мимо их родового дома, эта ненависть проявилась в его речах уже с той же резкостью и ядовитостью, как позднее в его «Парижских письмах». Тем не менее порою он все же отдавал известную долю справедливости личным качествам этих людей и очень наивно сознался мне, что может их только ненавидеть, но, несмотря на все старания, не может презирать их или насмеяться над ними.

— Потому что, видите ли, — сказал он, — у Ротшильдов так много денег, такая уйма денег, что они внушают нам почти устрашающее уважение; они, так сказать, отождествились с понятием денег, а деньги нельзя презирать. К тому же эти люди воспользовались самым верным средством, чтобы избежать того смешного положения, в котором оказалось немало ветхозаветных семейств, баронизированных миллионеров: они воздерживаются от влаги христианского крещения. Крещение сейчас вошло в обычай у богатых евреев, и евангелие, которое вотще проповедовалось иудейским беднякам, сейчас процветает среди богачей. Но так как принятие его — только самообман, если даже не ложь, и так как притворное христианство порой очень резко контрастирует с ветхим Адамом, то люди эти своей странной слабостью дают пищу шутке и насмешке. Или вы думаете, что крещение может совершенно изменить внутреннюю природу человека? Думаете ли вы, что можно вшей превратить в блох, если полить их водой?

— Не думаю.

— Я тоже не думаю, и столь же печальное, сколь и смешное зрелище представляют для меня древние вши, родом из Египта, сохранившиеся еще от времен казней

египетских, когда они вообразят себе, будто они блохи, и начинают прыгать по-христиански. На улице в Берлине я видел однажды старых дочерей Израилевых: длинные кресты, еще более длинные, чем их носы, висели у них на груди и спускались до самого пуза; в руках у них были лютеранские молитвенники, и говорили они о превосходной проповеди, которую только что слышали в церкви святой Троицы. Одна из них спрашивала другую, где та причащалась святых таин, и при этом у обеих пахло изо рта. Еще омерзительнее мне было видеть тех грязнобородых евреев, что прибыли из своих польских клоак, были завербованы для неба миссионерским обществом в Берлине, начали проповедовать на своем гнилом диалекте и при этом так ужасно воняли. Во всяком случае, хорошо было бы, если бы эту вшивую польскую рвань крестили не обыкновенной водой, но одеколоном.

— Дорогой доктор, — прервал я эту речь, — в доме повешенного не надо говорить о веревке. Скажите мне лучше, где теперь большие быки, которые, как мне рассказывал когда-то мой отец, бегали здесь, во Франкфурте, по еврейскому кладбищу и так отчаянно мычали ночью, что тревожили покой соседей?

— Ваш отец, — со смехом воскликнул Берне, — не обманул вас, право! В былое время существовал обычай, по которому еврейские торговцы скотом, следуя библейскому предписанию, посвящали богу первенцев мужского пола от своих коров и с этой целью свозили их из всех провинций Германии сюда, во Франкфурт, где еврейское кладбище отводилось под пастбище этим быкам божьим и где они носились до самой своей блаженной кончины и часто и вправду отчаянно мычали. Но старые быки теперь умерли, и нынешний рогатый скот уже утратил истинную веру, и первенцы его спокойно остаются у себя дома, а то и переходят в христианство. Старые быки умерли.

Не могу не упомянуть при этом, что во время моего пребывания во Франкфурте Берне пригласил меня отобедать у одного из своих друзей — потому лишь, что друг этот, точно соблюдавший еврейские обычаи, должен был угостить нас знаменитым блюдом шалет. И действительно, я наслаждался там этим блюдом египетского, быть может, происхождения — блюдом, древним как пира-

миды. Я дивлюсь, что впоследствии, когда Берне, якобы ради юмора, в действительности же с демагогическими целями, стал путем всяческих измышлений и инсинуаций натравливать чернь на венценосцев вообще, и в частности на венчанную главу одного поэта... я дивлюсь, что он в своих писаниях ни разу не рассказал о том, с каким аппетитом, с каким энтузиазмом, с каким благоговением, с какой верой вкушал я у доктора Шт... древнееврейское блюдо шалет! Кушанье это в самом деле превосходно, и следует горько пожалеть о том, что христианская церковь, позаимствовавшая у древнего еврейства столько хорошего, не переняла и блюда шалет. Быть может, она собирается сделать это в будущем, и когда ей придется совсем уж плохо, когда священнейшие символы ее, даже крест, потеряют свою силу, тогда христианская церковь прибегнет к кушанью шалет, и ускользнувшие было народы с новым аппетитом, теснясь, вернуться в ее лоно. Евреи, по крайней мере, с новой верой примкнут тогда к христианству... Ибо, как я это ясно вижу, древний союз их держится только благодаря шалету. Берне уверял меня даже, что отступникам, покинувшим древний союз, стоит только почуять запах шалета, чтобы почувствовать некоторую тоску по родной синагоге, что шалет для евреев, так сказать, зов отчизны.

Мы съездили с ним вместе также и в Борнгейм в субботу — напиться кофе и посмотреть там на дочерей Израиля... То были красивые девушки, и пахло от них шалетом — просто прелесть! Берне мигал глазами. В этом таинственном миганье, в этом робко-похотливом миганье, которое бьется внутреннего голоса, сказывалось все различие нашего внутреннего склада. Дело в том, что Берне если не в мыслях, то тем более в своих чувствах был рабом назарейского воздержания; и, как всегда бывает с людьми его склада, которые хотя и признают чувственное воздержание за высшую добродетель, однако не вполне верны ему, он лишь тайком, трепеща и краснея, словно лакомка-мальчик, решался отведать запретного яблока Евы. Не знаю, интенсивнее ли наслаждение у этих людей, чем у нас, не нуждающихся в прелестях тайного обладания, моральной контрабанды; ведь утверждают же, будто Магомед запретил вино своим туркам, чтобы оно казалось им от этого вкуснее.

В большом обществе Берне был немногословен и неразговорчив и течению речи отдавался лишь в беседе с глазу на глаз, думая, что говорит с единомышленником; но это было заблуждением, которое привело впоследствии ко многим для меня неприятностям. Уже тогда во Франкфурте мы сходились с ним только в области политики, но отнюдь не в областях философии, или искусства, или природы, совершенно недоступных для него. Кое-что характерное для него в этом отношении я потом, пожалуй, и позабыл. Вообще мы с ним существа совершенно противоположные, и различие это, пожалуй, имело источником не только наши моральные, но также и физические свойства.

В сущности, есть только две породы людей — люди тощие и люди толстые, или, вернее, люди, которые всё худеют, и люди, которые от хилого сложения переходят постепенно к округленной корпуленции. Первые — это как раз наиболее опасная порода, которой так боялся Цезарь. «Я хотел бы, чтобы он был потолще», — говорит он о Кассии. Брут принадлежал к совсем другой породе, и я убежден, что если бы он не проиграл битвы при Филиппах и не закололся по этому случаю, он стал бы так же толст, как автор этих страниц. «А Брут был честный человек».

Так как я вспомнил здесь о Шекспире, то воспользуюсь случаем, чтобы заявить, что склоняюсь в пользу старинного варианта, где Гамлет назван тучным. Достойный сожаления принц датский! Природа предназначила тебя к тому, чтобы ты проводил дни свои в полном довольстве и толстел благополучно, а тут мир вдруг срывается с петель, и тебе приходится устанавливать его на место! Бедный толстый принц датский!

Три дня, которые я провел во Франкфурте в обществе Берне, протекли в безмятежности почти идиллической. Он при всяком случае старался произвести на меня благоприятное впечатление. Ракеты своего остроумия он зажигал как можно ярче, и, подобно тому как в китайских фейерверках сам фейерверкер под конец подымается в воздух среди треска огня и брызжащих искр, так и Берне заканчивал свои юмористические речи великолепным бешеным огнем, в который сам он бросался с великой смелостью. Он был простодушен, как дитя. До последней минуты

мого пребывания во Франкфурте он весело бегал рядом со мной, стараясь по моим глазам узнать, не может ли он оказать мне еще какую-нибудь услугу. Он знал, что я по приглашению старого барона Котты еду в Мюнхен, чтобы там принять на себя редактирование «Политических анналов» и заняться также осуществлением некоторых литературных предприятий, задуманных мной. Тогда дело шло о том, чтобы создать для либеральной прессы те органы, которые впоследствии могли иметь столь благотворное влияние; надо было сеять семя грядущего — семя, которое в настоящем замечали только враги, так что бедный сеятель сразу же пожинал неприятности и оскорбления. Всем известны те ядовитые гнусности, которые ультрамонтано-аристократическая пропаганда в Мюнхене пускала в ход против меня и моих друзей.

— Остерегайтесь сходитьсь в Мюнхене с попами! — Это были последние слова, которые Берне, прощаясь со мной, шепнул мне на ухо. Я сидел уже в почтовой карете, а он еще долго глядел мне вслед, печальный, как старый моряк, поселившийся на суше и чувствующий страдание при виде юного удалца, который впервые пускается в плаванье... Старик думал при этом, что он навсегда распростился с коварной стихией и может провести остаток своих дней в безопасной гавани. Бедняга! Боги не пожелали даровать ему это спокойствие! Вскоре ему снова пришлось пуститься в открытое море, и там встретились наши корабли как раз тогда, когда свирепствовала страшная буря, в которой он и погиб. Что это был за вой! Что за треск! При свете желтых молний, падавших из черных туч, я отчетливо мог видеть, как отвага и беспокойство мучительно сменялись на его лице! Он стоял у руля на своем корабле и боролся с яростью волн, которые то грозили поглотить его, то окатывали его мелкими брызгами; и зрелище это было столь печальным и вместе комическим, что при виде его можно было и плакать и смеяться. Бедный! Корабль его был без якоря, а в сердце его не было надежды... Я видел, как рушилась мачта, как ветры рвали снасти... Я видел, как он протянул ко мне руку...

Я не мог схватить ее, я не мог отдать на верную гибель драгоценный груз, священные сокровища, вверенные мне. Я вез на своем корабле богов грядущего.



КНИГА ВТОРАЯ

Гельголанд, 1 июля 1830 г.

...Я сам устал от этой войны гверильясов и жажду покоя, жажду, по крайней мере, такого состояния, когда я мог бы вполне свободно предаться моим природным наклонностям, моим мечтательным привычкам, моим фантастическим думам и раздумьям. Какая ирония судьбы, что мне, любящему лежать на пуховиках тихой, созерцательной жизни духа, именно мне выпало на долю выгонять моих бедных немецких соотечественников из их уюта и втравливать их в движение. Я, предпочитающий всем другим занятиям следить за полетом облаков, угадывать метрические чары слова, подслушивать тайны духов стихий и погружаться в старый сказочный мир чудес... я должен был издавать «Политические анналы», писать о современных вопросах, поощрять революционные стремления, подогревать страсти, все время теревить за нос бедного немецкого Михеля, чтобы пробудить его от этого здорового сна великанов... Правда, у этого храпящего гиганта мне удалось вызвать легкое чиханье, но я отнюдь не смог его пробудить... А когда я посильней дергал его подушку, он снова расправлял ее вялой от сна рукой... Как-то раз я с отчаяния захотел сжечь его ночной колпак, но колпак был так влажен от пота мыслей, что только слабо задымился... А Михель улыбался во сне...

Я устал и жажду покоя. Я тоже заведу себе ночной колпак и натяну его на уши. Только бы мне знать, где я смогу приклонить голову. В Германии это невозможно.

Каждую минуту стал бы подходить полицейский и трясти меня, чтобы проверить, в самом ли деле я сплю; уже одна эта мысль губит все мое спокойствие. Но куда же мне, в самом деле, деваться? Снова на юг? В страну, где лимоны и апельсины зреют? Ах! Перед каждым лимонным деревом там стоит австрийский часовой и оглушает вас громовым окриком: «Кто идет?» Как лимоны, так и апельсины теперь очень кислы. Или пуститься мне на север? Быть может, на северо-восток? Или снова отправиться в проклятую Англию, где мне даже не хотелось бы висеть in effigie,¹ а уж подавно — жить самому! Тому, кто там живет, за это одно уже надо было бы платить деньги, а между тем пребывание в Англии стоит вдвое дороже, чем в других местах. Нет, туда ни за что, в эту презренную страну, где машины ведут себя как люди, а люди — как машины. Они и рычаг и молчат так злоеще! Когда меня представили здешнему губернатору и этот истый англичанин несколько минут простоял предо мною неподвижно, не сказав ни слова, мне невольно пришло в голову посмотреть на него сзади — поглядеть, не забыли ли там завести машину. Очень мне досадно, что остров Гельголанд находится под британским владычеством. Мне кажется порой, что я слышу тот запах скуки, который всюду распространяют сыны Альбиона. Действительно, из каждого англичанина выделяется определенный газ, убийственные удушливые пары скуки, и я наблюдал это собственными глазами — не в Англии, где атмосфера совершенно насыщена ими, но в южных странах, где путешествующий британец блуждает в одиночестве и где серый нимб скуки, окружающий его голову, резко очерчивается в солнечно-голубом воздухе. Англичане, впрочем, думают, что их густая скука — местный продукт, и, убегая от нее, они путешествуют по всем странам, всюду скучают и возвращаются к себе с diary of an ennuyé.² С ними происходит то же самое, что с солдатом, которому его товарищи, пока он спал на койке, натерли нос воючей грязью; проснувшись, он заметил, что в караульной скверно пахнет, и вышел на двор, но скоро вернулся, утверждая, что плохо пахнет и на дворе, что весь свет провонял.

¹ На картине (лат.). (См. комментарии.)

² Дневником скучающего человека (англ.).

Один из моих друзей, недавно вернувшийся из Франции, утверждал, что странствовать по материке англичан заставляет то отчаяние, в которое их приводит отечественная кухня; что за французскими табльдотами можно видеть толстых англичан, пожирающих одни лишь волваны, кремы, сюпремы, рагу, желе и тому подобные воздушные кушанья, да еще с тем безмерным аппетитом, который вырос дома на глыбах ростбифа и йоркширских плумпудингах и должен, наконец, разорить всех французских трактирщиков. Неужто в самом деле табльдоты — тайная причина, заставляющая англичан путешествовать? Ведь поспешность, с которой они всюду осматривают достопримечательности и картинные галереи, вызывает у нас улыбку, но, быть может, они мистифицируют нас, и их смешное любопытство — не что иное, как хитроумная маскировка их гастрономических побуждений?

Но как ни превосходна французская кухня, все же в самой Франции сейчас, должно быть, скверно, и великому отступлению все еще нет конца. Иезуиты процветают там и поют победные песни. Тамошние правители — это те же глупцы, которым пятнадцать лет тому назад отрубили головы... Что проку? Они поднялись из своих могил, и правление их еще более безрассудно, чем прежде; ибо когда их выпускали из царства мертвых в мир живых, иные из них второпях надели первую попавшуюся голову, и тут произошли крайне пагубные ошибки: голова порой не подходит к туловищу и к тому сердцу, которое еще вздрагивает в нем. Иной рассуждает с трибуны, как сама рассудительность, и мы дивимся его уму, и все-таки тут же сразу неисправимо безумное сердце заставляет его совершать глупейшие поступки... Получается страшное противоречие между мыслями и чувствами, принципами и страстями, речами и делами этих призраков!

Или поехать мне в Америку, в эту огромную тюрьму свободы, где незримые цепи еще мучительнее тяготили бы меня, чем цепи, зримые у себя дома, и где дико властвует самый отвратительный тиран — чернь! Ты знаешь, что я думаю об этой богом проклятой стране, которую я любил, когда не знал ее... И все же, по долгу ремесла, я должен гласно хвалить и прославлять ее... Милые немецкие крестьяне! Поезжайте в Америку! Там нет ни государей, ни дворян, все люди там равны, все грубияны... За исключе-

нием, правда, нескольких миллионов, у которых черная или коричневая кожа и с которыми обращаются как с собаками! Настоящее рабство, уничтоженное в большей части североамериканских провинций, возмущает меня не так сильно, как те жестокости, которым там подвергают свободных негров и мулатов. Всякий, кто является потомком негра, хотя бы самым отдаленным, и чье происхождение сказывается даже не в цвете кожи, а только в чертах лица, должен сносить страшнейшие оскорбления, которые нам, европейцам, покажутся беспримерными. К тому же, эти американцы очень гордятся своим христианством и ревностнейшим образом посещают церковь. Этому лицемерию они научились у англичан, от которых, впрочем, унаследовали самые дурные свойства. Материальная выгода — вот их истинная религия, и деньги — их бог, единый, всемогущий бог. Конечно, и там не одно благородное сердце скорбит в тиши о всеобщем корыстолюбии и несправедливости. Но стоит только ему восстать — и его ожидает мученичество, которое превосходит все европейские понятия. Кажется, в Нью-Йорке жил протестантский проповедник, которого так возмущало бесправное положение цветных, что, идя наперекор жестокому предрассудку, он собственную дочь выдал замуж за негра. Как только этот истинно христианский поступок стал известен, народ бросился к дому проповедника, который только бегством спасся от смерти; но дом был разрушен, а дочь проповедника, бедная жертва, попала в руки черни и испытала на себе ее ярость. She was lynched,¹ то есть ее донага раздели, вымазали смолою, вывалили в пуху разрезанной перины и в этом пуховом одеянии, прилипающем к телу, поволокли через весь город, издеваясь над нею...

О свобода! Ты дурной сон!

Гельголанд, 8 июля.

...Так как вчера было воскресенье и свинцовая скука тяготела над всем островом и чуть не сдавила мне голову, я с отчаяния схватился за библию... И, признаюсь тебе, несмотря на то, что я тайный эллин, книга эта не только

¹ Она подверглась линчеванию (англ.).

развлекла меня, но оказалась и крайне поучительной. Что за книга! Великая, широкая как мир, уходящая корнями в глубины творения и возносящаяся до голубых тайнств неба... Восход и закат, обетование и исполнение, рождение и смерть, вся драма человечества — все в этой книге... Это книга книг, это писание. Евреи легко могли утешиться, утратив Иерусалим, и храм, и кивот завета, и золотые сосуды, и драгоценности Соломона... Ведь потеря эта совсем ничтожна в сравнении с библией, неразрушимым сокровищем, которое они спасли. Если не ошибаюсь, то Магомет назвал евреев «народом книги» — именем, которое до сих пор сохранилось за ними на Востоке и которое полно глубокого смысла. Книга — их отчизна, их владение, их владыка, их счастье и несчастье. Они живут в странах этой книги, обнесенных крепкой оградой, пользуются здесь своими неотъемлемыми гражданскими правами, здесь их нельзя презирать, отсюда их нельзя изгнать, здесь они сильны и достойны удивления. Погруженные в чтение этой книги, они почти не замечали перемен, происходивших вокруг них в реальном мире; народы возвышались и исчезали, государства цвели и угасали, революции бурей проносились над землей... Они же, евреи, лежали, склонившись над своей книгой, и совсем не замечали вихря времени, пронесившегося над их головами!

Если пророк Востока назвал их «народом книги», то пророк Запада определил их в своей философии как «народ духа». Уже в самые первые дни своей истории евреи, как мы замечаем в Пятикнижии, обнаруживают свою склонность к отвлеченному, и вся их религия есть не что иное, как только акт диалектики, в силу которого материя и дух разделяются и абсолютное признается только в исключительной форме духа. Какое ужасающе одинокое положение им пришлось занять среди других народов древности, которые, отдаваясь радостному культу природы, понимали дух скорее в явлениях материи, в образах и символах! Какой ужасный контраст они поэтому являли с пестро расцвеченным иероглифическим Египтом, с Фишикней, великим храмом утех, где чтители Астарту, или с прекрасной грешницей, с милдой, благоуханной блудницей вавилонской, и, наконец, с Грецией, цветущей родиной искусств!

Постепенно этот народ духа целиком освобождается от материи, постепенно происходит его полная спиритуализация, и это представляет поразительное зрелище. Моисей окружил дух, так сказать, материальными твердынями для защиты от реального натиска соседних племен: вокруг поля, где он сеял дух, он насадил терновую изгородь — строгий церемониал закона и эгоистическое национальное чувство. Но когда священное растение духа пустило столь глубокие корни и вознеслось в такую высь, что его уже больше нельзя было вырвать, тогда пришел Иисус Христос и сломил церемониал закона, утративший с тех пор всякий полезный смысл, и даже изрек смертный приговор еврейской национальности... Он призвал все народы земли участвовать в царстве божием, принадлежавшем прежде лишь единственному богу избранному народу, он всему человечеству даровал гражданские права евреев... То был великий вопрос эмансипации, разрешенный, однако, гораздо великодушнее, чем разрешаются теперь вопросы эмансипации в Саксонии или Ганновере... Правда, искупитель, освободивший братьев своих от церемониала закона и национальности и давший начало космополитизму, сделался жертвой собственной гуманности, и городской магистрат в Иерусалиме приговорил его к распятию, и чернь надругалась над ним...

Но поругана и распята была только плоть; дух осенен был славой, и мученичество победителя, завоевавшего духу господство над миром, стало символом этой победы, и все человечество стремится с тех пор, *in imitationem Christi*,¹ к умерщвлению плоти и к сверхчувственному растворению в абсолютном духе...

Когда же вновь наступит гармония, когда мир исцелится от одностороннего стремления к победе духа, от безумного заблуждения, которое стало причиной немощи и плоти и души! В политическом движении и в искусстве заключено великое целебное средство. Наполеон и Гете прекрасно сделали свое дело: первый — заставив народы заняться всякими полезными телодвижениями; второй — пробудив в нас восприимчивость к греческому искусству

¹ В подражание Христу (*лат.*).

и создав прочные творения, за которые, как за мраморные статуи богов, мы сможем крепко ухватиться, чтобы не потонуть в туманах абсолютного духа.

Гельголанд, 18 июля.

Из Ветхого завета я целиком прочел первую книгу Моисея. Перед моим умом длинной цепью караванов развертывался священный древний мир. Появляются верблюды; на их высоких спинах, таясь под покрывалами, сидят розы Ханаана. Идут благочестивые пастухи и гонят перед собой быков и коров. Все это шествие проходит по голым горам, знойным песчаным равнинам, где порой лишь мелькнет, навевая прохладу, пальмовая роща. Слуги роют колодцы. Сладостный, тихий, лучезарный Восток! Как отрадно отдыхать под твоими шатрами! О Лаван, если бы мог я пасти твои стада! С охотой прослужил бы я тебе семь лет ради Рахили и еще семь ради Лии, которую ты дашь мне в придачу! Я слышу, как блеют они, овцы Иакова, и я вижу, как он держит перед ними оструганные палочки, когда в случайную пору они идут на водопой. Те, что в крапинах, принадлежат теперь нам. Между тем Рувим возвращается домой и приносит матери цветы дудаима, сорванные им в поле. Рахиль требует эти цветы, а Лия отдает их ей под условием, что за это Иаков будет спать с нею следующую ночь. Что такое дудаим? Комментаторы тщетно ломали себе голову. Лютер не смог придумать ничего лучше, как назвать цветы эти по-прежнему: дудаим. Быть может, это — швабские желтофиоли. Очень растрогала меня история любви Дины и юного Сихема. Впрочем, братья ее, Симеон и Левий, не так сентиментально отнеслись к делу. Как ужасно, что они, исполненные злобного коварства, удушили несчастного Сихема и всех бывших с ним, хотя бедный любовник и обещал жениться на их сестре, одарить их землями и добром, соединиться с ними в одну семью и с этой целью велел даже совершить обрезание над собою и всем своим народом. Обоим молодцам следовало бы радоваться, что сестра их делает такую блестящую партию, а предполагавшееся родство было бы очень полезно для их рода, и притом, кроме драгоценнейших

свадебных даров, они приобретали изрядный участок земли, в котором как раз очень нуждались... Невозможно вести себя более пристойно, чем этот влюбленный принц Сихем, который ведь, в сущности, лишь по чувству любви так поспешно воспользовался брачными правами... Но в этом-то все дело: он обольстил их сестру, и за такое преступление эти гордые своей честью братья не знают иной кары, кроме смерти... И когда отец требует их к ответу за кровавое дело и исчисляет выгоды, которые принесло бы им родство с Сихемом, они отвечают: «Уж не должны ли мы были торговать девственностью сестры нашей?»

Упрямые, жестокие сердца у этих братьев. Но под суровым камнем благоухает нежнейшая нравственность. Странно, нравственность эта, в том виде, как она и при других случаях сказывается в жизни праотцев, не есть результат положительной религии или политического законодательства; нет, в то время у предков евреев не было ни положительной религии, ни политических законов, то и другое возникло лишь позднее. Поэтому я осмеливаюсь утверждать, что нравственность не зависит ни от догмата, ни от законодательства и что истинная нравственность, разум сердца, будет вечно жить, хотя бы погибли и церковь и государство.

Я желал бы, чтобы у нас было другое слово для обозначения того, что мы теперь называем нравственностью. Иначе мы можем поддаться заблуждению и увидеть в нравственности продукт нравов. Романские народы в таком же положении, ибо их *moralé*¹ есть производное от *mores*.² Но истинная нравственность не зависит от нравов народа, так же как и от догмата и законодательства. Нравы — результат климата, истории и обусловленных этими факторами законодательства и догматики. Существуют поэтому индийские, китайские, христианские нравы, но есть лишь одна, и притом — человеческая, нравственность. Ее нельзя, быть может, выразить понятием, и закон нравственности, который мы называем моралью, всего лишь диалектическая игрушка. Нравственность проявляется в поступках, и нравственный

¹ Мораль, нравственность (*франц.*).

² Нравы (*лат.*).

смысл скрывается только в побуждениях к ним, а не в форме их и расцветке. На заглавном листе «Путешествия в Японию» Головнина в виде эпитафии помещены прекрасные слова, услышанные русским путешественником от знатного японца: «Нравы народов различны, но добрые поступки всюду признаются таковыми».

С тех пор как я начал мыслить, я все думаю об этом предмете — о нравственности. Вопрос о сущности добра и зла, уже полторы тысячи лет приводящий в мучительное движение все великие умы, имел для меня значение только в форме вопроса о нравственности...

Порой из Ветхого завета я перескакиваю в Новый, и здесь меня также охватывает трепет перед всемогуществом великой книги. Как священна почва, которой касается здесь нога! Во время этого чтения надо было бы разуваться, как если бы мы приближались к святыне.

Самым замечательным местом в Новом завете мне кажутся слова в евангелии от Иоанна, гл. 16, ст. 12, 13: «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет он, дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет он, но будет говорить то, что услышит, и будущее возвестит вам». Итак, последнее слово не сказано, и здесь, быть может, то звено, с которым сомкнется новое откровение. Оно начнется освобождением от слова, положит конец мученичеству и создаст царство вечной радости, *millennium*.¹ Все обещания завершатся, наконец, самым щедрым исполнением.

В Новом завете господствует некоторая мистическая двусмысленность. В словах — умная уклончивость, но не система: «Воздавай кесарево кесарю, а божие богу». Так же уклончив и ответ, когда Христа вопрошают: «Ты ли царь иудейский?» Таков же и ответ на вопрос, божий ли он сын. Магомет много откровеннее, решительнее. Когда к нему обратились с подобным же вопросом, он отвечал: «У бога нет детей».

Какая великая драма — страсти Христовы! И как глубоко она обоснована пророчествами Ветхого завета! Ее нельзя было избежать, то была красная печать обета.

¹ Тысячелетнее царство (*лат.*).

Так же как и чудеса, страсти послужили рекламой... Если теперь явится Спаситель, то ему, чтобы с успехом обнародовать свое учение, уже не нужно будет подвергаться распятию... Он преспокойно напечатает его и объявит о книжке во «Всеобщей газете», заплатив по шесть крейцеров за строку объявления.

Какой чарующий образ этот богочеловек! Каким узким кажется в сравнении с ним герой Ветхого завета! Моисей любит народ свой с трогательной задушевностью, он по-матерински заботится о будущем этого народа; Христос любит человечество, и солнце это озарило всю землю живительными лучами своей любви. Его слова — какой целительный бальзам для всех ран этого мира! Кровь его, что пролилась на Голгофе, — каким целебным источником стала она и для всех страждущих! На беломраморных богов Греции упали брызги этой крови, и боги занемогли от скрытого ужаса и никогда уже не в силах были исцелиться! Большинство их, правда, давно уже носило в себе грызущий недуг, и только страх ускорило их смерть. Первым умер Пан. Знаешь ли ты сказание, которое сообщает Плутарх? Это древнее предание моряков в высшей степени замечательно. Вот что оно гласит:

«Однажды во дни Тиверия плыл в вечернюю пору корабль мимо островов Перейских, что вблизи берегов Этолийских. Люди, бывшие на корабле, не спали еще, и многие, поужинав, сидели и шили, как вдруг с берега послышался голос, который так громко звал кормчего по имени (а имя его было Тамус), что все пришли в величайшее изумление. На первый и второй зов Тамус не откликнулся, на третий ответил, после чего голос еще более громко сказал ему: «Когда ты достигнешь вершины Палода, то возвести, что умер великий Пан!» И вот, поравнявшись с этой вершиной, Тамус исполнил приказание и крикнул с кормы корабля, обернувшись к берегу: «Умер великий Пан!» В ответ на этот крик раздались оттуда странные жалобные звуки, смесь вздохов и криков изумления, вырывающихся как будто зараз из многих уст. Очевидцы рассказали об этом событии в Риме, где по поводу его были высказаны удивительнейшие мнения. Тиверий велел точно исследовать это дело и не сомневался в истинности его».

Я снова читал Ветхий завет. Какая великая книга! Еще более замечательным, чем содержание, мне кажется изложение, где слово — точно порождение природы, точно человек. Оно растет, течет, искрится, улыбается — не знаешь как, не знаешь почему, но все кажется тебе естественным. Здесь воистину слово божие, тогда как в других книгах проявляется лишь человеческое остроумие. В Гомере, другой великой книге, изложение рождено искусством, и если материал, так же как и в библии, выхвачен из действительности, все же он отливается в поэтический образ, словно переплавляется в горниле человеческого духа; он очищается тем духовным процессом, который мы называем искусством. В библии нет и следа искусства; это стиль записной книжки, в которую абсолютный дух, как будто без всякой индивидуальной человеческой помощи, заносил события каждого дня примерно с такой же деловитой точностью, с какой мы составляем список белья, когда отдаем его в стирку. Об этом стиле нельзя высказать никакого суждения, можно лишь констатировать его действие на нашу душу, и в немалом затруднении оказывались, должно быть, греческие грамматисты, когда, в согласии с установленными художественными понятиями, им приходилось определять поразительные красоты библии. Лонгин говорит о возвышенном. Новейшие эстетики говорят о наивности. Ах! Как я уже сказал, здесь недостаточен ни один критический масштаб... Библия есть слово божие.

Лишь у одного писателя я встречаю нечто напоминающее этот непосредственный стиль библии. Это — Шекспир. И у него также слово по временам выступает с той жуткой наготой, которая пугает и потрясает нас; порой в творениях Шекспира мы видим живую истину без искусственной одежды. Но это бывает лишь в отдельные моменты; гений искусства, чувствуя, быть может, свое бессилие, на несколько мгновений уступал здесь место природе, но потом тем ревнивей отстаивал свое господство в пластических формах остроумно развертываемой драмы. Шекспир в одно и то же время иудей и грек, или, вернее, в нем примиряюще слились оба элемента, искусство и спиритуализм, и развились в высшее единство.

Быть может, такое гармоническое слияние обоих элементов — задача всей европейской цивилизации? Мы еще очень далеки от подобного результата. Грек Гете, а с ним и вся поэтическая партия недавно еще указали страстную антипатию к Иерусалиму. Во главе противной партии нет ни одного великого имени, а находятся лишь два-три горлана, каковы, например, иудей Пусткухен, иудей Вольфганг Менцель, иудей Генгстенберг; тем крикливее их фарисейские нападки на Афины и на великого язычника.

Советник юстиции из Кенигсберга, приехавший на купанья и поселившийся в комнате рядом с моей, считает меня пиетистом, потому что всякий раз, как он делает мне визит, он видит меня с библией в руках. Ему поэтому очень хочется поострить надо мною, и ехидная восточно-прусская улыбка поблескивает на его тощем, холостом лице, когда ему удается поговорить со мной о религии. Мы спорили вчера о святой троице. С отцом дело еще обстояло благополучно: ведь это же создатель вселенной, а всякая вещь должна иметь свою причину. Значительно хуже было дело с верой в сына, которого этот умник вовсе не желал знать, хотя все же в конце концов с добродушным почти ироническим согласился признать и его. Однако третье лицо троицы, святой дух, вызвало с его стороны категоричнейшее отрицание. Он никак не мог понять, что такое святой дух, и вдруг со смехом воскликнул: «Святой дух — это, верно, то же самое, что третья лошадь, когда едешь на курьерских; за нее всегда надо платить, а ведь никогда ее не увидишь, эту третью лошадь».

Сосед, живущий подо мною, — ни пиетист, ни рационалист, а голландец, ленивый и маслянистый, как сыр, которым он торгует. Ничто не может привести его в движение, он — воплощение самого трезвого спокойствия, и даже тогда, когда он толкует с моей хозяйкой на свою любимую тему — о солении рыбы, голос его не теряет плоской монотонности. Так как дощатый пол очень тонок, я, к сожалению, порой должен слушать эти разговоры, и, в то время как наверху мы с пруссаком говорим о святой троице, голландец объясняет внизу, чем отличаются треска, лабардан и штокфиш; оказывается, что это, в сущности, одно и то же.

Хозяин мой — превосходный моряк, знаменитый по всему острову своим бесстрашием в буре и в беде, притом

добродушный и кроткий, как дитя. Он только что вернулся после большого плавания и с веселой серьезностью рассказал мне о явлении, которое наблюдал вчера, 28 июля, в открытом море. Рассказ звучит забавно, а именно: хозяин мой уверяет, будто все море пахло свежее испеченными пирожками, и теплый, нежный пирожный запах столь соблазнительно щекотал у него в носу, что сердце так и защемило. Видишь ли, это нечто вроде дразнящего миража, который в аравийской пустыне манит жаждущего путника светлой свежестью водной равнины. Печеная фата-моргана.

Гельголанд, 1 августа.

...Ты не представляешь себе, как нравится мне здесь dolce far niente.¹ Я не взял сюда с собою ни одной к. иги, трактующей о злободневных интересах. Вся моя библиотека состоит из «Истории лангобардов» Павла Варнефрида, библии, Гомера и нескольких старых сочинений о ведьмах. Я не прочь бы написать о них интересную книжечку. С этой целью я недавно занялся изучением последних остатков язычества в современном крещеном веке. В высшей степени замечательно, как долго, и притом под какими разнообразными личинами, продолжали жить в Европе прекрасные существа сказочного греческого мира. В сущности, они ведь сохранились и до сего дня у нас, у поэтов. Со времен победы христианской церкви поэты всегда составляли тихую общину, где радость древнего идолослужения, ликующая вера в богов передавалась из рода в род путем преданий и священных песнопений... Но увы! Ecclesia pressa,² которая чтит Гомера как пророка своего, с каждым днем все более и более теснима, ревность черных familiares³ разгорается все страшней. Не угрожает ли и нам новое гонение на богов?

Страх и надежда сменяются в моем уме, а на душе у меня очень смутно.

...Я примирился с морем (ты знаешь, мы были en délicatesse⁴), и по вечерам мы снова сидим вместе и ведем

¹ Блаженное безделье (*итал.*).

² Гонимая церковь (*лат.*).

³ Чиновников инквизиции (*исп.*).

⁴ В натянутых отношениях (*франц.*).

тайнственные беседы. Да, я хочу совсем оставить политику и философию и снова погрузиться в созерцание природы и в искусство. Ведь бесполезны все эти муки и заботы; да если б я даже и погиб как мученик за всеобщее благо, это принесло бы малую пользу делу. Мир не пребывает в неподвижной оцепенелости, а совершает бесплоднейший круговорот. Когда-то, еще будучи юн и неопытен, я полагал, что если в борьбе за освобождение человечества и погибают отдельные бойцы, все же великое дело в конце концов одерживает победу... И я услаждал себя прекрасными стихами Байрона:

«Волны набегают одна за другою, и одна за другою разбиваются и рассыпаются они на берегу, но море рвется вперед...»

Ах! Если дольше наблюдать это явление природы, то замечаешь, что движущееся вперед море после известного срока возвращается в свои прежние границы, потом снова выступает из них, так же страстно стремится отвоевать потерянную землю, наконец так же малодушно, как и прежде, обращается в бегство и, постоянно возобновляя этот маневр, все-таки никогда не продвигается вперед... Так же и человечество движется по законам прилива и отлива, и, быть может, луна даже на мир духов оказывает свое астральное влияние...

Нынче — молодой месяц, и, несмотря на весь наплыв тоскливых сомнений, терзающих мою душу, ко мне подкрадываются удивительные предчувствия... Что-то необычайное происходит в мире... Море пахнет пирожками, а прошлой ночью облака-монахи глядели так хмуро, так уныло.

Я бродил, одинокий, по берегу в сумерках вечера. Кругом царил торжественная тишь. Высокий свод неба подобен был куполу готического храма. К нему, точно бесчисленные светильники, были привешены звезды, но горели они тускло и трепетно. Словно некий водный орган, шумели морские волны; то были грозные хоралы, полные мучительного отчаяния, но порою и торжества. Надо мною — воздушный караван белых облаков, похожих на монахов, что шествуют скорбной процессией, склонив голову и с печалью во взорах... Казалось, они провожают мертвеца... «Кого хоронят? Кто умер? — спросил я себя. — Не умер ли великий Пан?»

Гельголанд, 6 августа.

В то время как войско его сражалось с лангобардами, король герулов спокойно сидел в своем шатре и играл в шахматы. Он грозил смертью тому, кто принесет ему весть о поражении. Дозорный, сидевший на дереве и следивший за ходом сражения, все время восклицал: «Мы побеждаем! Мы побеждаем!» — пока, наконец, не произнес, тяжело вздохнув: «Несчастный король! Несчастный народ герулов!» Тогда король заметил, что сражение проиграно, но было поздно! Ибо лангобарды в тот же миг ворвались в его шатер и закололи его...

Именно это сказание я читал у Павла Варнефрида, когда с материка пришел толстый пакет с газетами, полный теплых, знойно-горячих новостей. То были солнечные лучи, завернутые в газетную бумагу, и в моей душе они зажгли неукротимый пожар. Мне казалось, что тем огнем воодушевления и дикой радости, который пылает во мне, я могу зажечь весь океан до северного полюса. Теперь-то я знаю, почему все море пахло пирожками. Река Сена прямо послала морю добрую весть, и прекрасные водяные девы, искони сочувствующие всему героическому, тотчас же устроили в своих хрустальных дворцах *thé dansant*¹ в честь великих событий, — поэтому все море и пахло пирожками. Я как безумный носился по дому и сперва расцеловал толстую хозяйку, а потом ее приветливого морского волка; обнял я и прусского юстицкомиссарнуса, на губах которого, впрочем, не совсем исчезла ледяная улыбка неверия. Даже голландца прижал я к моему сердцу... Но этот равнодушный жирный лик остался холоден и спокоен, и я думаю, если бы даже само солнце июля упало на шею мингеру, он только слегка вспотел бы, но отнюдь не запылал. Такая сухость среди всеобщего воодушевления возмутительна. Подобно тому как спартанцы предостерегали детей своих от пьянства и в виде угрожающего примера показывали им пьяного илота, так и мы должны были бы в наших учебных заведениях откармливать голландца, чья бесстрастно-самодовольная рыбаья натура внушала бы детям отвращение к трезвости. Право, эта голландская трезвенность — по-

¹ Чаепитие с танцами (франц.).

рок гораздо более страшный, нежели пьянство илота. Мне хотелось бы отдуть мингера...

Но нет, долой эксцессы! Парижане показали нам такой блистательный пример милосердия. Право же, вы, французы, заслуживаете быть свободными, ибо свободу вы носите в сердцах. Этим вы отличаетесь от ваших бедных отцов, которые сбросили с себя тысячелетнее рабство и заодно с подвигами храбрости совершили и те безумные зверства, что заставляли гений человечества закрывать лицо свое. Кровь покрывала руки народа только в разгаре битвы, но не после боя. Народ сам перевязывал раны своих врагов, и когда дело было сделано, он снова занялся своими повседневными делами, не потребовав за великий труд даже и чаевых!

Страшитесь раба, что порвал кандалы, —
Лишь только свободный достоин хвалы! ¹

Ты видишь, в каком я упоении, как я вне себя, как всеобъемлющ... Я цитирую «Колокол» Шиллера.

Даже и старого ребенка, чье неисправимое безрассудство стоило крови стольким гражданам, парижане трогательно пощадили. Он в самом деле сидел за шахматами, как король герулов, когда победители вторглись в его шатер. Дрожащей рукой он подписал отречение. Он не хотел слышать правды. Он прислушивался лишь ко лжи своих придворных. Они все время восклицали: «Мы побеждаем! Мы побеждаем!» Непостижима была эта уверенность царственного глупца... С удивлением оглянулся он, когда «Journal des débats», как некогда страж во время битвы с лангобардами, внезапно воскликнул: «Malheureux roi! Malheureuse France!» ²

С ним, с Карлом X, кончается, наконец, империя Карла Великого, подобно тому как империя Ромула кончилась с маленьким Ромулом-Августулом. Как некогда начался новый Рим, так теперь начинается новая Франция.

Я все еще словно во сне; и в особенности имя Лафайета звучит для меня как предание давнего детства. Неужели он снова сидит на коне и командует Национальной гвардией? Я просто боюсь, что это неправда: ведь это напеча-

¹ Перевод Л. Гинзбурга.

² Несчастный король! Несчастливая Франция! (франц.).

тано. Я сам хочу в Париж, чтобы собственными глазами убедиться в этом... Какое, должно быть, величественное зрелище, когда он проезжает по улицам, он, гражданин обоих полушарий, богоподобный старец, чьи серебряные кудри волнами ниспадают на священные плечи... Милыми старыми глазами он приветливо смотрит на внуков тех самых дедов, которые некогда вместе с ним сражались за равенство и свободу... Шестьдесят лет минуло с тех пор, как он вернулся из Америки с «Декларацией прав человека», десятью заповедями новой мировой веры, которые там были открыты ему при громе пушек и блеске молний... И снова на башнях Парижа веет трехцветное знамя и раздается «Марсельеза»!

Лафайет, трехцветное знамя, «Марсельеза»... Я словно в опьянении. Страстно подымаются смелые надежды, точно деревья с золотыми плодами, с бурно разросшимися ветвями, простирающими листву свою до самых облаков... Но облака в быстром полете вырывают с корнем эти гигантские деревья и уносятся с ними прочь. Небо полно скрипок, и — я тоже слышу этот запах — море пахнет свежеспеченными пирожками. Там, в небесно-радостной синеве, скрипки звенят непрерывно, и словно веселый девический смех доносится из смарагдовых волн. Но под землю — грохот и стук, земля разверзается, древние боги высовывают головы наружу, и торопливо, с изумлением вопрошают они: «Что означает ликование, проникшее до самого сердца земли? Что нового? Нам снова можно наверх?» — «Нет, вы останетесь внизу, во мраке подземелья, куда вскоре спустится к вам новый мертвец, новый товарищ...» — «Как зовут его?» — «Вы хорошо его знаете, его, что некогда низвергнул вас в царство вечной ночи...»

Умер Пан!

Гельголанд, 10 августа.

Лафайет, трехцветное знамя, «Марсельеза»...

Исчезла моя жажда покоя. Теперь я снова знаю, чего хочу, что должен, что обязан делать... Я сын революции, и я снова берусь за неуязвимое оружие, над которым мать моя, благословляя, произнесла заклятье... Цветов! Цветов! Я украшу главу свою венком перед смертным боссм.

И лиру, дайте мне лиру, чтобы запел я боевую песнь... Слова, подобные пылающим звездам, что падают с высоты и сжигают дворцы и озаряют хижины... Слова, подобные блестящим копьям, что с шумом взлетают до седьмого неба и поражают набожных лицемеров, прокравшихся туда, в святое святых!.. Я весь радость и песнь, я весь меч и пламя!

Быть может, я также и безумен... Один из тех неистовых, завернутых в газетную бумагу солнечных лучей ворвался мне в мозг, и все мои мысли горят ярким пламенем. Тщетно погружаю я голову в море. Никакая вода не погасит этот греческий огонь. Но и с другими людьми дело обстоит не лучше. Остальных приехавших на купанья тоже поразил парижский солнечный удар, в особенности берлинцев, которые в этом году собрались здесь в большом числе и переезжают с одного острова на другой, так что, можно бы сказать, все Северное море наводнено берлинцами. Ликуют даже бедные гельголандцы, хотя они только инстинктом понимают события. Рыбак, перевозивший меня вчера на тот маленький остров, где устроены купанья, встретил меня улыбкой и словами: «Бедняки победили!» Да, народ своим инстинктом, может быть, лучше понимает события, чем мы с помощью всех наших знаний. Так, г-жа Фарнхаген рассказывала мне однажды, что, в то время как исход битвы при Лейпциге еще не был известен, служанка их вдруг вбежала в комнату с криком ужаса: «Знать победила!»

На сей раз бедняки одержали победу. «Но это не на пользу им, если они также не одержат победы над наследственными правами!» Эти слова восточнопрусский советник юстиции произнес тоном, который очень поразил меня. Не знаю, отчего эти слова, которых я не понимаю, так тревожат мою память. Что хотел он сказать ими, этот высохший чудаки?

Сегодня утром снова прибыл пакет с газетами. Я глотаю их, словно манну небесную. Такого младенца, как я, трогательные подробности занимают куда больше, чем все важное значение целого. О, если бы мне хоть увидеть пса Медора! Он занимает меня гораздо больше, чем остальные псы, которые быстрыми прыжками принесли корону Филиппу Орлеанскому. Пес Медор приносил своему хозяину ружье и патронташ, а когда хозяин его

пал и вместе со своими сподвижниками был похоронен во дворе Лувра, бедный пес, как изваяние верности, остался, неподвижный, на могиле и сидел день и ночь, почти не отведывая от яств, которые предлагались ему, большую часть их зарывая в землю, — быть может, чтобы накормить своего мертвого хозяина!

Я больше совсем не могу спать, и перед возбужденным умом проносятся причудливейшие видения. Сны, которые я вижу наяву, сталкиваются друг с другом, так что образы причудливо сливаются, словно игра китайских теней; то они, съеживаясь, превращаются в карликов, то снова гигантски вырастают; с ума можно сойти. В этом состоянии мне кажется порою, что собственное мое тело удлинняется беспредельно и что я будто на чудовищно длинных ногах перебегаю из Германии во Францию и снова обратно. Да, помню, прошлой ночью я пробегал таким образом по всем немецким землям и землям, и стучался в двери моих друзей, и мешал людям спать... Порою они тарасили на меня изумленные остекленевшие глаза, так что сам я пугался и сразу не мог сообразить, чего, собственно, хочу и зачем бужу их! Несколько толстых филистеров храпело слишком уж мерзко, я многозначительно тыкал их в бок, и они, зевая, вопрошали: «Который же час?» В Париже, милые друзья, прокричал петух; вот все, что я знаю. Миновал Аугсбург, по дороге к Мюнхену, я повстречал целую толпу готических соборов, обратившихся, казалось, в бегство и боязливо шатавшихся. Сам я, пресыщенный этой беготней, пустился, наконец, летать и стал перелетать от одной звезды к другой. Это, однако, не населенные миры, как воображают иные, а всего лишь блестящие каменные шары, пустынные и бесплодные. Они не падают вниз, потому что не знают, куда им можно упасть. Они так и носятся в величайшем затруднении взад и вперед. Попал я также и на небо, все двери и ворота были открыты. Там — высокие длинные гулкие залы со старинной позолотой, совершенно пустые, и лишь кое-где в бархатном кресле мирно дремлющий напудренный слуга в выцветшей красной ливрее. В некоторых комнатах двери были сняты с петель, в других они были плотно закрыты и к тому же еще запечатаны тремя большими казенными печатями, как в домах, где случилось банкротство или смерть. Наконец я попал

в комнату, где за конторкой сидел старый тощий человек, рывшийся в высоких грудях бумаг. Он был одет в черное, волосы у него были совсем белые, лицо морщинистое, деловое, и он шепотом меня спросил, что мне угодно. В моей наивности я принял его за господина бога и с полной доверчивостью сказал ему: «Ах, господи боже, мне бы хотелось научиться греметь, а сверкать я уже умею... Ах, научите меня также и греметь!» — «Не говорите так громко», — сердито ответил мне старый тощий человек и повернулся ко мне спиной, продолжая рыться в своих бумагах. «Это господин регистратор», — прошептал мне один из красных слуг, приподнимаясь с кресла, на котором спал, и стал, зевая, протирать себе глаза...

Пан умер!

Нуксхафен, 19 августа.

Неприятное путешествие в открытой лодке, против ветра, под дождем. Мне пришлось, как всегда в подобных случаях, страдать от морской болезни. Море, так же как и другие особы, вознаграждает мою любовь неприятностями и мучениями. Сперва все идет хорошо, дразнящее покачивание мне очень нравится. Но понемногу начинаст кружиться голова, и всякие сказочные образы уже выются, жужжа, вокруг меня. Из темных морских пучин поднимаются старые демоны, отвратительно обнаженные до самых бедер, и воют скверные непонятные стихи, и брызжут мне в лицо белой морской пеной. Но куда более страшные рожи корчат в небе облака, которые свисают так низко, что почти задевают мою голову, глупенькой фистулой пасвистывая мне в ухо самые страшные глупости. Эта морская болезнь, не будучи опасна, все же вызывает отвратительнейшие и мучительнейшие ощущения, доводящие до безумия. Под конец, в лихорадочной тоске похмелья, я вообразил себе, что я кит и что в чреве у меня сидит пророк Иона.

А пророк Иона грохотал и неистовствовал в чреве моем и вопил непрестанно:

«О Ниневия! О Ниневия! Ты погибнешь! В дворцах твоих нищие будут искать у себя вшей, и в храмах твоих вавилонские кирасиры будут кормить своих кобыл. Вас же, вас, жрецов Вааловых, вас схватят за уши и приколо-

тят ваши уши гвоздями к двери храма! Да, к дверям ваших лавок пригвоздят вас за уши, вас, лейб-пекари божии! Ибо вы обманывали, когда отвешивали и продавали народу легкий обманчивый хлеб! Вы, бритоголовые жулики! Когда народ голодал, вы протягивали ему скудную, гомеопатически призрачную пищу, а когда он жаждал, вместо него напивались вы; одним лишь королям вы протягивали полную чашу. А вас, филистеры и грубияны ассирийские, вас будут бить палками и прутьями, и топтать ногами, и заushать вас, и я с уверенностью могу предсказать вам все это, ибо, во-первых, я сделаю все возможное, чтобы это случилось с вами, а во-вторых, я пророк, пророк Иона, сын Амифая... О Ниневия, о Ниневия, ты погибнешь!»

Так примерно говорил мой чрево вещатель и при этом, очевидно, так сильно жестикулировал и так ворочался в моих кишках, что все у меня внутри завертелось, бурча... пока, наконец, мне не стало невтерпеж и меня не вырвало пророком Ионой.

Тут мне полегчало, а совсем я пришел в себя тогда, когда достиг берега и выпил в гостинице чашку доброго чая.

Здесь кишит жителями Гамбурга и их супругами, которые лечатся морскими купаньями. Капитаны кораблей из всех стран, ожидающие попутного ветра, тоже прогуливаются здесь взад и вперед по высоким дамбам или сидят в погребках и попивают очень крепкий грог и ликуют, радуясь трем июльским дням. На всех языках раздается в честь французов заслуженное ими ура, и даже британец, обычно столь скупой на слова, восхваляет их так же красноречиво, как тот болтливый португалец, который жалел, что не может доставить свой груз с апельсинами прямо в Париж, чтобы освежить народ после пыла битвы. Даже в Гамбурге, как мне рассказывают, в том самом Гамбурге, где ненависть к французам пустила глубочайшие корни, теперь царит сплошной энтузиазм по отношению к Франции... Забыто все: Дау, ограбленный банк, расстрелянные граждане, древнегерманские кафтаны, плохие освободительные стихи, отец Блюхер, «Славься в победном венце», — забыто все... В Гамбурге развеивается трехцветный флаг, всюду там раздается «Марссьеза», даже дамы появляются в театре с трехцветными бантами

па груди и улыбаются синими глазами, красным ротиком и белым носиком... Даже богатые банкиры, несмотря на то, что они из-за революции теряют на государственных акциях очень много денег, великодушно разделяют всеобщую радость, и всякий раз, когда маклер докладывает им, что курс упал еще ниже, они выражают тем большее удовольствие и отвечают: «Ну, ничего, не беда, не беда!»

Да, везде, во всех странах люди очень скоро поймут смысл этих трех июльских дней, и увидят в них торжество собственных интересов, и отпразднуют эти дни. Подвиг французов так ясен для всех народов и для всех умов, самых высоких и самых низких, и в степях Башкирии сердца потрясены так же глубоко, как и на высях Андалусии... Уже я вижу, как при получении этой вести у ирландца застревают во рту макароны, а у ирландца — картофель... Пульчинелла способен схватиться за меч, а Пэдди, пожалуй, натворит такое, что у англичан пройдет охота смеяться.

А Германия? Не знаю. Найдём ли мы, наконец, достойное применение нашим дубовым лесам, то есть поделаем ли из них баррикад для освобождения мира? Мы, которых природа наделила таким глубокомыслием, такой силой, такой храбростью, воспользуемся ли мы, наконец, этими дарами божьими и поймем ли слова великого учителя, учение о правах человечества, провозгласим ли и осуществим ли его?

Прошло шесть лет с тех пор, как я, странствуя пешком по родной земле, пришел в Вартбург и посетил келью, где жил доктор Мартин Лютер. Это честный человек, которого я ни в чем не позволю упрекнуть; он совершил исполинское дело, и мы будем с вечной благодарностью целовать его руки за все, содеянное им. Мы не станем сердиться на него за то, что он слишком уж невежливо напустился на наших друзей, когда они в толковании божественного слова захотели пойти дальше, чем он сам, и предложили установить равенство людей на земле... Конечно, это предложение было тогда еще несвоевременно, и мейстер Гемлинг, отрубивший тебе голову, бедный Томас Мюнцер, в известном смысле имел ведь право на такой поступок: в руках у него был меч, а рука его была сильна!

В Вартбурге я посетил также арсенал, где висят старые латы, старые шлемы, щиты, алебарды, рыцарские мечи, весь железный гардероб средневековья. Я задумчиво бродил по залу вместе с моим университетским товарищем, молодым аристократом, отец которого был в то время одним из могущественнейших князьков в нашем отечестве и повелевал дрожавшей перед ним маленькой страной. Предки его тоже были могущественные бароны, и молодой человек упивался геральдическими воспоминаниями при виде доспехов и оружия, принадлежавшего, как гласили прибитые над ними надписи, рыцарю из числа его родственников. Сняв с гвоздя длинный меч своего прадеда и любопытства ради пожелав испробовать, может ли он справиться с ним, он сознался, что меч для него все-таки слишком тяжел, и в унынии опустил руку. Увидев это, увидев, что рука внука слишком слаба для меча дедов, я подумал про себя: «Германия могла бы быть свободна».

(ДЕВЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ)

Между первой и второй моей встречей с Людвигом Берне легла та Июльская революция, которая расколола наше время словно на две половины. Приведенные здесь письма ставят себе целью дать понятие о том состоянии духа, в котором меня застали великие события, и должны в этой книге воспоминаний послужить мостом для перехода от первой части к третьей. Иначе переход был бы слишком резок. Я поколебался огласить большее количество этих писем, так как в остальной их части преходящее опьянение свободой слишком неистово вырывалось за пределы дозволенного полицией; в дальнейшем же появляются слишком трезвые соображения, и разочарованное сердце предается унылым, робким, безнадежным мыслям. В первые же дни по прибытии в столицу революции я заметил, что на самом деле вещи окрашены вовсе не в те цвета, которые издали им придавали световые эффекты моего энтузиазма. Серебряные волосы, которые в моем воображении так величественно падали на плечи Лафайета, героя обоих полушарий, при ближайшем рассмотрении оказались коричневым париком, плачевно прикрывавшим узкий череп. И даже пес Медор, которого

я посетил во дворе Лувра и который, расположась под трехцветными знаменами и трофеями, спокойно принимал пищу, был вовсе не тот пес, а совсем обыкновенное животное, присвоившее себе чужие заслуги, как это часто бывает у французов, и, подобно многим другим, он эксплуатировал славу Июльской революции... Его баловали, ему покровительствовали, быть может возносили на самые почетные должности, тогда как истинный Медор через несколько дней после победы скромно ступевался, так же как и настоящий народ, сделавший революцию...

Бедный народ! Бедный пес!

Это уже старая история. Не для себя с незапамятных времен проливал свою кровь и страдал народ, — не для себя, а для других. В июле 1830 года он доставил победу той буржуазии, которая так же ничтожна, как и аристократия, на чье место она стала, и так же эгоистична... Народ ничего не достиг своей победой, кроме сожалений и еще большей нужды. Но будьте уверены, когда снова ударят в набатный колокол и народ схватится за ружья, на этот раз он будет бороться для себя и потребует честно заслуженной платы. На этот раз чествовать и кормить будут настоящего, подлинного Медора... Бог весть, где он бегает сейчас, презираемый, осмеиваемый и голодный...

Но тише, мое сердце, ты уж слишком выдаешь себя...



КНИГА ТРЕТЬЯ

Я снова встретился с доктором Людвигом Берне в Париже осенью 1831 года, через год после Июльской революции. Я посетил его в «Hôtel de Castille»¹ и был немало удивлен той переменной, которая сказывалась во всем его облике. Тот маленький жирок, который я раньше замечал на его теле, теперь совсем исчез, может быть растаял от лучей июльского солнца, проникнувших, к сожалению, и в мозг его. В его глазах горели подозрительные искры. Он сидел, или, вернее, пребывал, в обширном шлафроке из пестрого шелка, точно черепаха в своей скорлупе, и когда он порой подозрительно вытягивал свою худенькую головку, мне становилось не по себе. Но жалость брала верх, когда он из широкого рукава протягивал бледную, исхудалую руку — для приветствия или дружеского рукопожатия. В голосе его дрожала какая-то болезненность, а на щеках уже оскаливались скользкие чахоточно-румяные полосы. Резкая подозрительность, притаившаяся во всех его чертах и движениях, была, пожалуй, следствием глухоты, которой он страдал и прежде, но которая с тех пор все усиливалась и немало способствовала неприятному впечатлению от беседы с ним.

— Добро пожаловать в Париж! — встретил он меня. — Вот это славно! Я уверен, все хорошие люди, все те, у кого добрые намерения, скоро будут здесь. Здесь конвент патриотов всей Европы, и для великого дела все

¹ «Кастильской гостинице» (франц.).

пароды должны протянуть друг другу руку. Всех монархов надо занять делом в их собственных странах, чтобы они не могли объединенными силами подавить свободу в Германии. Ах, боже мой! Ах, Германия! Скоро у нас станет так печально и так кроваво. Революции — ужасная вещь, но они необходимы, как ампутации, когда какой-нибудь член начинает гнить. Тут надо резать скорее, без боязливого промедления. Всякая задержка создает опасность, и тот, кто из жалости или от страха при виде большого количества крови не доводит операцию до конца, поступает более жестоко, чем самый великий изверг. К черту всех мягкосердечных хирургов и их половинчатость! Марат совершенно прав, *il faut faire saigner le genre humain*,¹ и если бы ему дали те триста тысяч голов, которых он требовал, то не погибли бы миллионы лучших людей и мир был бы навсегда излечен от старого недуга!

Республики (я даю ему договорить, опуская иные вычурные отклонения в сторону), республики нужно добиться. Только республика может нас спасти. Черт бы побрал так называемые конституционные правления, от которых наши немецкие парламентские болтуны ожидают всяческих благ. Конституции относятся к свободе, как положительные религии к религии естественной: вследствие своей неподвижности они способны причинить столько же зла, как и те позитивные религии, которые, будучи рассчитаны на определенное умственное состояние народа, вначале даже опережают его, но затем, когда духовное состояние народа перерастает их, становятся величайшим бременем. Конституции соответствуют тому политическому положению, при котором люди привилегированные отказываются от некоторых своих прав, а бедняки, бывшие раньше в полном пренебрежении, вдруг начинают ликовать, что и они также получили права... Но эта радость исчезает, как только люди, благодаря большей свободе, становятся восприимчивы к идее полной, нимало не урезанной, совершенно равной свободы для всех; то, что мы сегодня считаем чудеснейшим приобретением, покажется нашим внукам скудной уступкой, а самая ничтожная привилегия, которую еще сохранит прежняя аристократия, быть может — право украшать

¹ Человечеству надо сделать кровопускание (*франц.*).

свои сюртуки петрушкой, будет в то время возбуждать столько же горечи, сколько ее вызывало когда-то жесточайшее крепостное право, — горечи, пожалуй, даже более глубокой, ибо аристократия тем высокомернее будет щеголять своей петрушечной привилегией!.. Только естественная религия, только республика может спасти нас. Но последние остатки старого правления должны быть уничтожены, прежде чем мы сможем решиться основать новый, лучший режим. И вот появляются хилые ленивцы и квиетисты, которые хныкают, что мы, революционеры, все разрушили, не будучи в состоянии создать что-нибудь взамен! И они восхваляют средневековые устои, при которых человечеству жилось так спокойно и безопасно. А теперь, говорят они, все так голо, и скучно, и пустынно, и жизнь полна сомнений и равнодушия.

В былое время эти апологеты средних веков приводили меня в бешенство. Но теперь я привык к этой песне и сержусь только тогда, когда милые певцы впадают в другую топ, непрерывно сокрушаясь о нашей жажде разрушения. Будто у нас ничего другого нет на уме, как одно только разрушение. И как глуп этот упрек! Ведь нельзя же начать строить, пока старое здание не снесено, и разрушающий заслуживает такой же похвалы, как и строящий, даже большей, ибо дело его гораздо важнее. Например, в моем родном городе, на площади Троицы, стояла старая церковь, такая дряхлая и обветшавшая, что боялись, как бы ее внезапное падение не сделалось причиной смерти или увечья для множества людей. Ее разрушили, и разрушавшие предотвратили великое несчастье, тогда как прежние строители церкви только способствовали великому счастью... А легче отказаться от большого счастья, чем перенести большое несчастье! Правда, немало набожного великолепия цвело когда-то в ее старых стенах, а потом они стали благочестивой реликвией средних веков, весьма поэтичной на вид при лунном свете... Но те, кому, как, например, моему бедному кузену, когда он проходил мимо, эти остатки средних веков сбросили на голову несколько камней (он потерял немало крови и по сей час страдает от раны), проклиная почитателей древних зданий и благословляют отважных рабочих, разрушающих такие опасные руины... Да, они их разрушили, сровняли их с землей, и теперь там растут зеленые де-

ревья и в полдень при свете солнца играют маленькие дети.

В таких речах не оставалось и следа бывшего добродушия, и юмор этого человека, в котором угасла вся приветливая радость, становился порой желчно-горек, кровожаден и очень сух. Скачки от одной темы к другой происходили уже не от бешеного каприза, а от капризного бешенства, и его следовало приписать прежде всего пестрому газетному чтению, которым Берне занимался тогда день и ночь. Среди своих террористических изъяснений он внезапно схватил одну из газет, которые были набросаны перед ним целыми кучами, и, смеясь, воскликнул:

— Здесь вы это можете прочесть, здесь напечатано: «Германия беременна великими делами!» Да, это правда, Германия беременна великими делами, но роды будут тяжелые. Тут потребуются акушер-мужчина, и ему придется действовать железными инструментами. Как вы думаете?

— Я думаю, Германия вовсе не беременна.

— Нет, нет, вы ошибаетесь. Может быть, на свет родится урод, но Германия должна родить. Только мы должны избавиться от болтливых повитух, которые собираются толпами и предлагают свои акушерские услуги. Вот, например, такая потаскуха, как фон Роттек. Эта старая баба — даже и не честный мужчина. Жалкий писатель, который немножко занимается либеральной демагогией и использует современный энтузиазм, чтобы привлечь на свою сторону толпу и сбить свои скверные книги, — вообще чтобы придать себе важности. Он полулисица-полусобака и одевается в волчью шкуру, чтобы выть с волками. Мне уж в тысячу раз милее дурак фон Раумер, — я как раз теперь читаю его «Письма из Парижа», — тот просто собака, и когда он либерально ворчит, то никого не вводит в обман, и всякий знает, что он верноподданный пудель, который никого не укусит. Он постоянно всюду бегаёт, обнюхивает все кухни и охотно бы сунул морду и в наш суп, но опасается пинков высоких покровителей. И они в самом деле наделяют его пинками и считают бедную скотину революционером. Боже мой, ему хочется только свободно повилывать хвостом, и, когда ему это позволяют, он благодарно лижет золотые шпоры укермаркского рыцарства. Ничего нет забавнее такой

неутомимой подвижности и вместе с тем такого неутомимого терпения. Последнее особенно заметно в тех письмах, где бедный пес сам на каждой странице рассказывает о том, как он мирно выстаивал в очередях у парижских театров... Я вас уверяю, он преспокойно стоял в хвосте вместе с толпой, и еще так прост, что сам это рассказывает. Но что еще лучше, еще ярче раскрывает перед нами все убожество его души, это признание в том, что, уходя из театра до конца представления, он каждый раз продавал свою контрамарку. Правда, в качестве иностранца он может не знать, что такая продажа унижает порядочного человека, но ему достаточно было бы посмотреть на людей, которым он продавал свою контрамарку, чтобы самому заметить, что это отбросы общества, воровской сброд, сутенеры, — словом, люди, с которыми порядочный человек не захочет говорить, а тем менее вести с ними торговлю. Тот, кто берет деньги из таких грязных рук, должен быть очень грязен от природы!

Чтобы не вообразили, будто я совершенно согласен с мнением Берне о господине профессоре Фридрихе фон Раумере, я замечу в его пользу, что считаю его хотя и грязным, но не глупым. Слово «грязный» — я также определенно подчеркиваю это — здесь не должно быть принято в вещественном смысле... А то госпожа профессорша поднимет страшные вопли и напечатает все свои списки белья, где значится, сколько чистых исподних рубах и манишек переменял в течение года ее милый муж... И я убежден, что число их значительно, так как господин профессор Раумер в течение года много бегаёт, а следовательно, потеет, и, следовательно, ему нужно много белья. Действительно, слава не летит к нему жареная в рот, он должен постоянно быть на ногах, чтобы отыскивать ее, и когда он пишет книгу, должен сначала побегать и туда и сюда, чтобы набраться мыслей, и, наконец, позаботиться о том, чтобы произведение, изготовленное с такими трудами, встретило еще достаточную поддержку со стороны литературной кляки. Этот подвижной, слащавый, как лакрица, человек совершенно несравненен в своей деятельности, и не без основания заметила как-то одна остроумная женщина: «Его писанье, собственно говоря, — беготня». Где есть какое-нибудь дельце, крошка Раумер из Ангальт-Дессау тут как тут. Он недавно сбс-

гал в Лондон, а до того в течение трех месяцев все видели, как он носился взад и вперед, чтобы выпросить себе нужные рекомендательные письма, и вот, немножко обнюхавшись в английском обществе и набегав книгу, он своей беготней добывает и издателя для английского перевода; и Сара Остин, моя любезная приятельница, вынуждена предоставить свое перо для перевода кислой, клякспапирной немецкой речи на веленево-прекрасный английский язык и должна понуждать своих друзей, чтобы они в разных английских журналах писали рецензии на издание перевода... И эти набеганные английские рецензии Брокгауз в Лейпциге заставляет снова переводить на немецкий язык под заглавием: «Английские голоса о Фр. фон Раумере»!

Повторяю, я не согласен с мнением Берне о г-не фон Раумере; он грязный человек, но не дурак, как считал Берне, который столь резко критиковал бедного соперника и при всяком случае поливал его щелочью самой злобной насмешки — потому, быть может, что и сам он напечатал «Письма из Парижа».

Да, не смейтесь: г-н фон Раумер был в то время соперником Берне, чьи «Письма из Парижа» появились почти одновременно с вышеупомянутыми письмами, представляющими переписку его, крошки Раумера, с мадам Крелинггер и ее супругом.

Эти письма давно забыты, и мы вспоминаем только забавное впечатление, произведенное ими, когда они появились на литературном рынке одновременно с «Парижскими письмами» Берне. Что касается писем Берне, то, признаюсь, первые два тома, попавшиеся мне на глаза в то время, меня немало напугали. Я был поражен тем ультрарадикальным тоном, которого меньше всего ожидал от Берне. Человек, который в своей благопристойной и щеголеватой манере письма всегда сам себя контролировал и проверял, взвешивая и вымеряя каждое слово, прежде чем его написать; человек, который в своем стиле всегда сохранял нечто от навыков добропорядочного бюргера из имперского города, а то даже и страха, связанные с его прежней должностью, — бывший регистратор полицейской канцелярии из Франкфурта-на-Майне ричулся теперь в такое санкюлотство мысли и выражения, какого никогда еще не бывало в Германии. Боже! Какие

страшные сочетания слов! Что за глаголы, полные государственной измены! Какие царубийственные винительные падежи! Какие повелительные наклонения! Какие противоположейские вопросительные знаки! Что за метафоры — одной тени их было достаточно для двадцатилетнего заключения в крепости! Но, несмотря на страх, вселенный в меня этими письмами, они пробудили во мне воспоминание очень смешного свойства, развеселившее меня почти до смеха, и я никак не могу умолчать о нем здесь. Признаюсь, весь облик Берне, каким он явился в этих письмах, напомнил мне старого полицейского надзирателя, который, когда я был маленьким мальчиком, царствовал в моем родном городе. Я говорю: «царствовал», ибо, управляя общественным спокойствием с помощью неограниченной палки, он внушал нам, маленьким мальчуганам, царственное почтение, и один вид его тотчас же разгонял нас, когда мы затевали на улице слишком шумные игры. Этот полицейский надзиратель вдруг сошел с ума и вообразил себе, будто он уличный мальчишка, и мы со страхом и удивлением увидали, как он, всемогущий властитель улиц, вместо того чтоб водворять порядок, начал призывать нас к самому шумному бесчинству. «Вы слишком смиренны, — кричал он, — по я вам покажу, как надо шуметь!» И при этом он начинал рычать, как лев, или мяукать, как кот, и звонил у домов так сильно, что обрывал дверные звонки, и бросал камни в дребезжащие окна, продолжая кричать: «Я научу вас, ребята, как надо шуметь!» Нас, маленьких мальчиков, старик очень забавлял, и мы с криками восторга бегали за ним, пока его не отвели в сумасшедший дом.

Читая письма Берне, я действительно все время думал о старом полицейском надзирателе, и мне часто чудилось, что я снова слышу его голос: «Я научу вас, как надо шуметь!»

В разговорах Берне рост его политического безумия был менее заметен, потому что оно было связано со страстями, которые бушевали в среде, окружавшей его, со страстями, которые всегда пребывали в боевой готовности и нередко на самом деле бросались в драку. Когда я во второй раз посетил Берне на Rue de Provence,¹

¹ Провансальской улице (франц.).

где он окончательно поселился, то застал в его гостиной такой человеческий зверинец, какой вряд ли найдешь и в Jardin des plantes.¹ На заднем плане сидело на корточках несколько немецких белых медведей, которые курили табак, почти все время молчали и лишь порою низким-низким басом изрыгали отечественные проклятия. Рядом с ними сидел польский волк, на нем была красная шапка, и он хриплым голосом провыл несколько слащаво-пошлых замечаний. Там я встретил еще и французскую обезьяну, из самых безобразных, каких мне когда-либо случалось видеть; она все время строила гримасы, чтобы из них можно было выбрать наилучшую. Самым незначительным субъектом в этом зверинце у Берне был г-н *, сын старого виноторговца * во Франкфуртена-Майпе, который, наверно, прижил его в весьма трезвом состоянии... Длинная, тощая фигура, напоминавшая тень флакона с одеколоном, но издававшая отнюдь не тот запах, что его содержимое... Несмотря на свою тощую внешность, он носил, как уверял Берне, двенадцать шерстяных фуфасек, так как без них он и вовсе не существовал бы. Берне постоянно над ним издевался:

— Представляю вам господина *. Господин *, разумеется, * не первой величины, но все же и эта звездочка в родстве с солнцем, от него она получает свет... Господин * — верноподданный родственник господ фон Ротшильдов... Представьте себе, господин *, я нынче видел во сне, как вешали франкфуртского Ротшильда, а тот, кто накинул ему петлю на шею, были вы...

Г-н * испугался, когда услышал эти слова, и закричал, словно бы в смертельном испуге:

— Господин Бе-е-рне, прошу вас, не рассказывайте этого больше никому... У меня есть причины... У меня есть причины, — еще раз повторил молодой человек и, повернувшись ко мне, тихим голосом попросил меня последовать за ним в угол комнаты, чтобы доверить мне свое щекотливое «положеньице».

— Видите ли, — таинственно шептал он, — мое положеньице — щекотливое. С одной стороны, мадам Вольна Вольграбене — моя тетка, а с другой стороны, жена господина фон Ротшильда тоже, так сказать, моя тетка.

¹ Ботаническом саду (франц.). (См. комментарии.)

Прошу вас, не рассказывайте в доме господина барона фон Ротшильда, что вы видели меня здесь, у Берне... У меня есть причины.

Берне постоянно потешался над этим несчастным, а в особенности издевался он над его косноязычным, тарбарским французским произношением.

— Мой милый соотечественник, — говорил он, — французы неправы, насмехаясь над вами; они этим обнаруживают свое невежество. Если б они понимали по-немецки, то убедились бы, как правильно построены ваши обороты речи собственно с немецкой точки зрения... И зачем вам отрицать вашу национальность? Я даже удивляюсь, с какой ловкостью вы и во Франции сохранили вашу родную речь, франкфуртский говор... Французы — невежественный народ и никогда порядочно не выучатся по-немецки... У них нет терпения... Мы, немцы, самый терпеливый и способный народ... Сколько нам приходится заучивать еще в детстве! Сколько латыни! Сколько греческого, сколько персидских царей и всякой их родни, до дедушки включительно!.. Держу пари, такой невежда-француз даже и на старости лет не знает, что мать Кира называлась госпожа Мандана и была урожденная Астиаг. Зато мы ведь издали лучшие руководства по всем наукам. «История церкви» Неандера и «Арифметика» Мейера Гирша — классические книги. Мы — народ мыслящий, а так как у нас было столько мыслей, что мы не могли их все записать, то мы изобрели книгопечатание, а так как из-за вечных мыслей и писания книг у нас частенько не было хлеба, то мы изобрели картофель.

— Немецкий народ, — проворчал из своего угла немецкий патриот, — изобрел также и порох.

Берне быстро обернулся к патриоту, прервавшему его этим замечанием, и сказал, саркастически улыбаясь:

— Вы заблуждаетесь, мой друг: нельзя доподлинно утверждать, что немецкий народ изобрел порох. Немецкий народ состоит из тридцати миллионов человек. Только один из них изобрел порох... Остальные 29 999 999 немцев пороха не изобрели. Впрочем, порох, как и книгопечатание, — хорошее изобретение, если применять то и другое надлежащим образом. Мы же, немцы, пользуемся печатью, чтобы распространять глупость, а порохом, чтобы распространять рабство.

Когда ему указали, что утверждение это ложно, Берне продолжал:

— Ну да, я признаю, что немецкая печать принесла очень много пользы, но вред, нанесенный печатью, еще сильнее. Во всяком случае, это касается гражданской свободы... Ах! Когда я окидываю взором всю немецкую историю, я замечаю, что у немцев мало таланта к гражданской свободе, зато они всегда легко усваивали рабство как в теории, так и на практике, и успешно преподавали этот предмет не только дома, но и за границей. Немцы были всегда *ludi magistri*¹ рабства, и там, где требовалось в тело или в душу вбить слепое послушание, брали немецкого фельдфебеля. Всю Европу мы наводнили рабством, и на всех европейских тронах, как памятники этого всемирного потопа, воссели немецкие княжеские роды — подобно тому как от древних наводнений на самых высоких горах сохраняются остатки морских чудовищ... И теперь еще, как только какой-нибудь народ достигнет свободы, ему привязывают на спину пучок немецких розог... И даже в священной отчизне Гармодия и Аристокитона, во вновь освобожденной Греции, теперь вводится немецкое рабство, и на Акрополе в Афинах струится баварское пиво и властвует баварская палка... Да, ужасно, — баварский король, этот маленький тиран и плохой поэт, посмел посадить своего сына на престол такой страны, той самой страны, где некогда цвели свобода и поэзия, той страны, в которой есть равнина, называемая Марафонской, и гора, называемая Парнасом! Когда я думаю об этом, мозг мой трепещет. В сегодняшней газете я читал, что в Мюнхене три студента снова должны были стать на колени перед статуей короля Людвиг и просить прощения. Преклонять колена перед изображением человека, который еще к тому же плохой поэт! Если б он, этот плохой поэт, попался мне в руки, ему пришлось бы постоять на коленях перед изображением муз и просить прощения за свои плохие стихи, за оскорбление величия поэзии! После этого рассказывайте о римских императорах, которые казнили столько тысяч христиан за то, что те не хотели преклонять колена перед их изображением... Тираны эти были, по крайней мере, властители целого

¹ Школьными учителями (лат.).

мира от восхода до заката и были хоть и не боги, но все же красивые мужчины, как это видно и теперь по их статуям. В сущности, склониться перед властью и красотой легко. Но преклонять колена перед бессилием и безобразием...

...Проницательный читатель и без объяснений поймет, по каким причинам я дальше не даю говорить нечестивцу. Мне кажется, приведенных фраз достаточно для того, чтобы показать тогдашнее расположение духа Берне; оно гармонировало с пылким поведением тех немецких буйнов, которые со времен Июльской революции прибывали дикими толпами в Париж и тотчас же собирались вокруг Берне. Трудно понять, как эта прежде столь рассудительная голова позволила грубейшему буйству увлечь ее своей болтовней и могла соблазниться преувеличенными надеждами. Сначала он попал в сферу того безумия, центром которого считали знаменитого книготорговца Ф. Этот Ф., как ни трудно поверить, был совершенно по сердцу Берне. Красное бешенство, кипевшее в груди одного из них, трехдневная июльская лихорадка, сотрясавшая его тело, якобинский танец святого Витта, в котором он кружился, находили соответствующее выражение в «Парижских письмах» другого. Этим замечанием я хочу указать лишь на заблуждение ума, отнюдь не на заблуждение сердца, свойственное и тому и другому. Ибо Ф. тоже хотел добра немецкому отечеству, был искренен, отважен, готов на всякое самопожертвование, был, во всяком случае, честный человек; я тем более считаю себя обязанным засвидетельствовать это, что, с тех пор как ему приходится молчать в строгом заключении, раболепная клевета грызет его доброе имя. Его можно обвинить во многих неумных поступках, но в поступках двусмысленных обвинить его нельзя; он именно в несчастье проявил большую твердость, он весь горел чистой гражданской доблестью, и мы должны обвить венком из дубовых листьев шутовской колпак, звенящий на его голове. Благородный глупец, он мне в тысячу раз был милее, чем тот, другой книготорговец, также приехавший, чтобы озаботиться немецким переводом французской революции, тот вкрадчивый пропыра, который томно и человеколюбиво хныкал и напоминал пойманную гиену... Впрочем, и его тоже восхваляли, как честного человека, который даже расплачивается с долгами, если в лотерею на его

долю приходится главный выигрыш, и ради таких заслуг честности его предлагали избрать в министры финансов обновленной Германской империи... Откровенно говоря, финансами он должен был удовлетвориться потому, что на пост министра внутренних дел у Ф. уже был кандидат, именно Гарнье, а германскую корону он уже обещал капитану З...

Гарнье, правда, утверждал, будто книготорговец Ф. потому хочет сделать германским императором капитана З., что этот мошенник — его должник и что иначе ему не удастся вернуть свои деньги... Но это неверно и свидетельствует лишь о злоязычии Гарнье; быть может, Ф. из республиканского коварства намечал в императоры именно самого жалкого субъекта, чтобы тем самым унижить монархическую власть и поставить ее в смешное положение...

Между тем влияние Ф. скоро кончилось, когда он, кажется в ноябре, покинул Париж, и место великого агитатора заняло несколько новых вождей; среди них самыми значительными были уже упомянутый Гарнье и некий Вольфрум. Я могу назвать их имена, так как один из них умер, а другому, находящемуся в безопасной Англии, доставит большое удовольствие упоминание о его былой славе; но оба они, Гарнье отчасти, а Вольфрум всецело, черпали свое вдохновение из уст Берне, которого с этих пор надо считать душой парижской пропаганды. Безумие оставалось все то же, но, повторяя слова Полония, в нем появилась последовательность.

Я только что воспользовался словом «пропаганда»; однако я воспользовался им в другом смысле, чем иные доносчики, которые под этим выражением понимают тайное братство, заговор революционных умов всей Европы, нечто вроде кровожадного, безбожного и цареубийственного масонства. Нет, эта парижская пропаганда состояла скорее из грубых рук, чем из умных голов; это были сходки ремесленников немецкого племени, собиравшихся в большом зале пассажи Сомон или в предместьях, чтобы мирно, на милом языке отчизны, побеседовать друг с другом об отечественных делах; здесь от страстных речей в духе «Рейнско-баварской трибуны» многие умы впадали в фанатизм, а так как республиканство — столь честная вещь и куда понятнее, нежели, например, конституционная форма правления, для понимания которой уже

требуются различные познания, то прошло немного времени, как тысячи немецких ремесленников превратились в республиканцев и стали проповедовать новые убеждения. Эта пропаганда была куда опаснее, чем все те вымышленные пугала, которыми упомянутые доносчики страшили наши германские правительства, и, может быть, значительно могущественнее писанных речей Берне была его устная речь, с которой он обращался к людям, впитывавшим ее с немецкой верой и распространявшим ее на родине с апостольским рвением. Невероятно велико число немецких ремесленников, которые время от времени отправляются во Францию. Поэтому, читая, как северогерманские газеты потешаются над Берне, который с шестьюстами портными-подмастерьями поднимался на Монмартр, чтобы прочесть им нагорную проповедь, я только с сожалением пожимал плечами, но это менее всего относилось к Берне, сеявшему семена, которые рано или поздно принесут очень страшные плоды. Он говорил прекрасно, сжато, убедительно, доступно; то была неприкрашенная, безыскусственная речь, совершенно в духе нагорной проповеди. Правда, я только один раз слышал, как он говорил, а именно в пассаже Сомон, где Гарнье председательствовал на народном собрании... Берне говорил о союзе прессы, которому следует остерегаться аристократических форм; Гарнье гремел против Николая, русского царя; горбатый, кривоногий сапожник выступил и стал уверять, что все люди равны... Я немало рассердился на эту дерзость... Это был первый и последний раз, что я присутствовал на народном собрании.

Но и этого одного раза было достаточно... По этому случаю, милый читатель, я охотно сделаю тебе признание, которого ты, пожалуй, не ожидаешь. Ты, быть может, думаешь, что высшей целью моего честолюбия было всегда — стать великим поэтом, пожалуй даже быть увенчанным в Капитолии, как некогда мессер Франческо Петрарка... Нет, я скорее уж завидовал великим ораторам, и мне страх как хотелось на площади, перед пестрой толпой сказать великое слово, которое возбуждает или укрошает страсти, но всегда мгновенно претворяется в действие. Да, с глазу на глаз я тебе охотно признаюсь, что в те времена неопытной юности, когда нас обуревают лицедейские наклонности, я часто воображал себя в такой

роли. Я непременно хотел стать великим оратором и, как Демосфен, декламировал порой на пустынном морском берегу, под шум ветра и вой волн; так упражняешь свои легкие и приучаешь себя говорить среди страшного шума народного собрания. Нередко я также говорил в открытом поле перед большим стадом волов и коров, и мне удавалось перемычать собравшуюся толпу рогатого скота. Держать речь перед баранами уже труднее. Что бы ты ни сказал этим бараньим головам, как бы ни уговаривал их добиться свободы, не ходить с покорностью, подобно их предкам, на бойню, они на каждую фразу отвечают таким невозмутимо-хладнокровным «Мэ-э! Мэ-э!», что можно потерять терпение. Словом, я делал все, чтобы, в случае если когда-либо у нас разыграется революция, быть в состоянии выступить в качестве немецкого народного оратора. Но увы! Уже сразу, при первой же репетиции, я заметил, что в такой пьесе я никогда не смогу исполнить свою любимую роль. Ни Демосфен, ни Цицерон, ни Мирабо, если бы они еще были живы, не могли бы выступить в немецкой революции как ораторы, потому что во время немецкой революции будут курить. Представьте себе мой испуг: в Париже, где я присутствовал на упомянутом народном собрании, все спасители отечества оказались с трубками в зубах, и весь зал был так наполнен скверным табачным дымом, что сразу же сперло дыхание и мне было бы решительно невозможно выговорить слово...

Я не выношу табачного дыма, и я заметил, что роль немецкого революционного говоруна во вкусе Берне и компании мне не подходит. Я вообще заметил, что карьера немецкого трибуна не усыпана розами, и менее всего розами опрятными. Так, например, всем этим слушателям, «милым братьям и кумовьям», надо очень крепко пожимать руку. Когда Берне уверяет, что, если бы король пожал ему руку, он сразу же сунул бы ее в очистительный огонь, слова его, быть может, имеют метафорический смысл, но я утверждаю отнюдь не аллегорически, а совершенно буквально, что если народ пожмет мне руку, я сразу же ее вымою.

В истинно революционные времена нужно собственными глазами видеть народ, собственным носом обонять его, собственными ушами слышать, как выражается этот самодержавный крысиный король, чтобы понять намек

Мирабо, когда он говорит: «Революцию делают не лавандовым маслом». Пока мы читаем о революциях в книгах, все это очень красиво на вид, подобно пейзажам, искусно выгравированным на белой велсеновой бумаге: они так чисты, так приветливы; однако потом, когда рассматриваешь их в натуре, они, быть может, и выигрывают в смысле своей грандиозности, но в деталях представляют очень грязное, мерзкое зрелище; навозные кучи, выгравированные на меди, не имеют запаха, и через выгравированное на меди болото легко пройти при помощи глаз. Добродетелью или безумием Людвиг Берне доведен был до того, что стал с наслаждением вдыхать сквернейшие запахи и весело валяться в плебейской грязи. Кто разрешит нам загадку этого человека, выросшего в мягчайшем шелку, позднее в гордых взлетах явившего свое внутреннее благородство, а к концу дней своих внезапно перенявшего плебейский тон и пошлые манеры демагога низшего сорта? Может быть, бедствия отечества довели его до крайней степени гнева, или его охватила жгучая скорбь по утраченной жизни... Да, пожалуй, это было так: он увидел, что за всю свою жизнь, при всем своем уме и всей своей умеренности, он ничего не сделал ни для себя, ни для других, и закрыл лицо, или, говоря житейским языком, натянул на уши колпак и не пожелал больше ни видеть, ни слышать и ринулся в ревущую пучину... Таков выход, который всегда остается нам, если мы дошли до тех безнадежных пределов, где увядают все цветы, где усталость одолевает тело, а горе — душу... Я не поручусь, что при подобных обстоятельствах не поступил бы так же... Кто знает, быть может к концу дней моих я превозмогу свое отвращение к табачному дыму и научусь курить и буду произносить самые немые речи перед самой немой публикой...

Перелистывая «Парижские письма» Берне, я недавно натолкнулся на место, представляющее странное созвучие с суждениями, которые вырвались у меня выше. Вот что оно гласит:

«Вы, может быть, с удивлением спросите меня, как я, ничтожный, дерзаю сравнивать себя с Байроном. В ответ на это я должен вам рассказать то, чего вы еще не знаете. Когда во время своего путешествия по небосклону дух Байрона спустился на землю, чтобы провести там ночь,

он сперва остановился у меня. Но жилище ему не понравилось, он поспешил прочь и поселился в Байрон-отеле. Долгие годы это меня огорчало, долгое время мне было больно, что из меня мало вышло проку, что я совсем ничего не достиг. Но теперь это прошло, я про это забыл и живу, довольствуясь своей бедностью. Мое несчастье в том, что я вышел из среднего сословия, для которого совсем не гожусь. Будь мой отец владелец миллионов или же нищий, будь я сын знатного человека или сын бродяги, из меня бы наверно что-нибудь да вышло. Та половина пути, на которую другие опередили меня уже благодаря своему происхождению, лишала меня бодрости; будь это весь путь, я бы вовсе их не видел и нагнал бы их. Но я сделался маятником мещанских стенных часов, блуждал вправо, блуждал влево и постоянно принужден был возвращаться на середину».

Это Берне писал 20 марта 1831 года. О себе самом он пророчествовал так же неудачно, как и о других. Мещанские стенные часы превратились в набатный колокол, звон которого распространял страх и ужас. Я уже показал, какие буйные звонари дергали за веревки, отметил, что Берне был выразителем современных страстей и что его сочинения должны рассматриваться не как произведения одного человека, а как документ нашего политического периода «бури и натиска». В то время особенно давали себя чувствовать, доводя смуту до состояния кипения, польские и рейнско-баварские события: и те и другие оказали сильнейшее влияние на Берне. Его воодушевление делом Польши было так же пламенно, как и односторонне, и когда эта мужественная страна пала, несмотря на поразительную храбрость ее героев, прорвались все плотины терпения и разума Берне. Ужасная судьба стольких благородных мучеников свободы, которые, после длинного траурного шествия через Германию, собрались в Париже, действительно могла растрогать до самой глубины благородно-чувствительное сердце...

Кроме шествия поляков, я указал на события в Рейнской Баварии как на ближайший толчок, который после Июльской революции вызвал в Германии волнение и оказал также сильнейшее влияние на наших соотечественников в Париже. Здепнее народное собрание было вначале не что иное, как филиал цвейбрюкенского союза

прессы. Сюда прибыл один из наиболее сильных бипонтинских ораторов; я никогда не слышал его в народном собрании, только раз случайно видел его в кафе, где, высоко подняв чело, он возвещал новое царство и угрожал петлей умеренным изменникам, в частности редакторам аугсбургской «Всеобщей газеты»... (Удивляюсь, что у меня тогда еще хватало мужества сотрудничать во «Всеобщей газете»... Теперь времена менее опасные... С тех пор прошло восемь лет, и тогдашнее страшилище, трибун из Цвейбрюкена, в настоящее время — один из наиболее усердных и плодовитых сотрудников «Всеобщей газеты»...)

Из Рейнской Баварии должна была выйти немецкая революция. Цвейбрюкен был Вифлеемом, где дух юной свободы, Спаситель, лежал в колыбели и хныкал. Рядом с этой колыбелью мычал не один бычок, который впоследствии, когда рассчитывали на его рога, оказывался скотиной весьма добродушной. Все были вполне уверены, что немецкая революция начнется в Цвейбрюкене, и там все созрело для взрыва. Но, как уже сказано, добродушие некоторых личностей помешало этому антиполицейскому начинанию. Так, например, среди бипонтинских заговорщиков был величайший хвостун, бесновавшийся всегда громче всех, исполненный самой яростной ненависти к тиранам, и он-то должен был первый, дабы показать пример, заколоть часового, стоявшего на одном из главных постов... «Как! — вскричал он, когда получил это приказание. — Как! Меня, меня сочли способным совершить столь ужасное, отвратительное, кровожадное деяние? Я, я должен убить невинного часового? Я, отец семейства! Ведь этот часовой тоже, может быть, отец семейства! Отец семейства должен погубить другого отца семейства! Даже умертвить! Заколоть!»

Так как доктор Пистор, один из цвейбрюкенских героев, рассказавший мне эту историю, теперь находится вне пределов досягаемости, то я могу назвать его как свидетеля. Он уверял меня, что немецкая революция была заблаговременно отсрочена из-за этой сентиментальности отца семейства. И все же момент был довольно благоприятный. Только тогда, да еще в дни Гамбахского праздника, можно было с некоторыми надеждами на успех попытаться совершить в Германии всеобщий переворот. Эти гамбахские дни были последним сроком, который да-

рвала нам богиня свободы; звезды благоприятствовали; с тех пор исчезла всякая возможность удачи. Там собралось много мужей дела, которые сами горели искренним желанием и могли рассчитывать на надежную помощь. Все сознавали, что наступил миг великого дерзания, и большинство готово было поставить на карту жизнь и счастье... Право же, не страх был причиной того, что только словам была дана свобода, а дело задерживалось. Но что же помешало гамбахским мужам начать революцию?

Я едва решаюсь на то, чтобы это рассказать, так как это кажется невероятным, но я сам слышал эту историю из достоверного источника, а именно — от человека, который известен в качестве правдивого республиканца и который сам заседал в гамбахском комитете, где спорили о затеваемой революции; он мне втайне признался: когда на обсуждение был поставлен вопрос о компетенции, когда начали спорить, в самом ли деле присутствующие в Гамбахе патриоты правомочны начать революцию от имени всей Германии, тогда те, которые рекомендовали перейти немедленно к действиям, были побеждены большинством, и постановление гласило: «Не правомочны».

О Шильда, мое отечество!

Да простит мне Венедей, что я разбалтываю эту секретную историю о компетенции и его самого выступаю свидетелем; но это самая лучшая история, какую я слышал на нашей земле. Вспоминая ее, я забываю все горести этой земной юдоли скорби, и, быть может, когда-нибудь, после смерти, в туманной скуке царства теней, эта история о компетенции вспомнится мне и развеселит меня... Да, я убежден, что если расскажу ее Прозерпине, ворчливой супруге бога ада, она улыбнется, а может быть, и громко рассмеется...

О Шильда, мое отечество!

Разве эта история не достойна быть вышитой на бархате золотыми буквами, как стихи Моллакат, которые можно видеть в меккской мечети? Во всяком случае, я хотел бы пересказать ее в стихах и переложить на музыку, чтобы петь ее вместо колыбельной песни взрослым детям-королям... Вы можете спокойно спать, и в награду за пропетую вам песню, исцеляющую от страхов, прошу вас, взрослые дети-короли, растворите заключенным

патриотам двери темницы... Вам нечего рисковать, до немецкой революции еще далеко, тише едешь — дальше будешь, и вопрос о компетенции еще не решен...

О Шильда, мое отечество!

Но как бы то ни было, Гамбахское празднество принадлежит к замечательнейшим событиям немецкой истории, и если верить Берне, присутствовавшему на этом празднестве, оно было добрым предзнаменованием для дела свободы. Я давно уже потерял Берне из виду и встретился с ним снова после его возвращения из Гамбаха, по уже последний раз в этой жизни. Мы с ним гуляли по Тюильри, он много рассказывал мне про Гамбах и еще всецело был одушевлен ликованием этого великого народного празднества. Он не мог нахвалиться единодушием и благопристойностью, которые царили там. Правда, я слышал это также и из других источников, в Гамбахе совсем не было внешних эксцессов — ни пьяного буйства, ни плебейской дикости, и оргия, ярмарочное опьянение давали себя знать скорее в мыслях, нежели в поступках. В речах, которые впоследствии частично появились в печати, сказано было немало безумных слов. Но подлинное безумие говорило только шепотом. Берне мне рассказывал: однажды, когда он разговаривал с Зибенцфейфером, к последнему приблизился старый крестьянин и шепнул ему на ухо несколько слов, после чего тот отрицательно покачал головой.

— Из любопытства, — прибавил Берне, — я спросил Зибенцфейфера, что было нужно крестьянину, и он мне признался, что старик вовсе недвусмысленно сказал ему: «Господин Зибенцфейфер, если вы хотите быть королем, то мы вас сделаем королем». Я отлично поразвлекся там, — продолжал Берне, — мы все там были словно кровные друзья, мы жали друг другу руки, шли на брудершафт, и мне особенно памятен один старик, с которым мы вместе плакали целый час, — совсем не помню, по какому поводу. Мы, немцы, прямо-таки замечательный народ и вовсе уж не так непрактичны, как раньше. К тому же, у нас в Гамбахе стояла чудеснейшая майская погода, словно молоко и розы, и была там прелестная девушка, захотевшая поцеловать мне руку, точно старому капутину; я не допустил до этого; тогда отец и мать приказали ей поцеловать меня в губы, уверяя меня, что она с вели-

чайшим удовольствием прочла полное собрание моих сочинений. Я очень забавлялся. Кроме того, у меня украли часы. Однако это меня тоже радует, это хорошо, это внушает надежду. Среди нас тоже, и это хорошо, — среди нас тоже есть жулики, и мы тем легче добьемся удачи. Нужно же было этому проклятому Монтескье уверить нас, будто добродетель — принцип республиканцев! И я уже боялся, что наша партия состоит из одних только порядочных людей и мы поэтому ничего не сделаем. Совершенно необходимо, чтобы и среди нас, так же как среди наших врагов, были жулики. Как бы мне хотелось узнать, кто этот патриот, что стащил у меня в Гамбахе часы! Как только мы достигли бы власти, я поручил бы ему полицию и дипломатию. Но я его поймаю, этого вора. А именно, я объявлю в «Гамбургском корреспонденте», что тот, кто честно доставит мне мои часы, получит от меня сто луидоров. Часы того стоят, хотя бы уже как раритет; ведь это же первые часы, похищенные немецкой свободой. Да, и мы, сыны Германии, пробуждаемся от нашей сонливой честности... Тираны, трепещите, мы тоже крадем!

Бедный Берне не переставал говорить о Гамбахе и о том удовольствии, которое там получил. Как будто он чувствовал, что в последний раз посетил Германию, в последний раз дышал немецким воздухом, жадными ушами вбирая немецкие глупости...

— Ах! — вздохнул он. — Как путник, жаждущий летом прохладного напитка, так я порою томлюсь по тем свежим, живительным глупостям, что произрастают лишь на нашей отечественной почве! Они так глубокомысленны, так меланхолически-забавны, что сердце ликует в груди. Здесь, у французов, глупости так сухи, так поверхностны, так рассудительны, что совершенно несъедобны для того, кто привык к чему-то лучшему. Оттого я во Франции с каждым днем все более тоскую, а в конце концов я здесь умру. Изгнание — страшная вещь. Если когда-нибудь я попаду на небо, я и там, наверно, буду чувствовать себя несчастным среди ангелов, которые так прекрасно поют и от которых так чудесно пахнет... Ведь они не говорят по-немецки и не курят табаку... Хорошо мне лишь на родине... Любовь к отечеству! Мне смешно это слово в устах людей, никогда не живших в изгнании... Они

могли бы с таким же успехом говорить о любви к молочной каше. Любовь к молочной каше! В африканской песчаной пустыне эти слова уже приобретают известный смысл. Если когда-либо я буду так счастлив, что вернусь в любимую Германию, и если тогда я стану писать против какого-нибудь автора, живущего в изгнании, назовите меня мошенником. Если бы не боязнь тех мерзостей, которые влагают в уста сидящему в тюрьме, я бы не уехал из Германии и спокойно позволил бы посадить меня в тюрьму, как наш славный Вирт и другие, которым я предсказывал их судьбу, которым я предсказал все, — так, как это открылось мне во сне...

— Да, то был дикий сон! — воскликнул вдруг Берне с громким смехом, переходя от мрачного тона к веселому, как это обычно случалось с ним. — То был дикий сон. Вызвали его рассказы одного подмастерья, побывавшего в Америке. А рассказывал он мне, что в североамериканских городах ползают по улицам очень большие черепахи, и на спине у них написано мелом, в какой гостинице и в какой день они будут съедены в супе à la tortue.¹ Не знаю, отчего этот рассказ так поразил меня, отчего я весь день думал о бедных животных, ползающих так спокойно по улицам Бостона и не знающих, что на спине у них точно обозначены день и место их гибели... А ночью, представьте себе, вижу я во сне моих друзей, немецких патриотов, превратившихся в таких черепах и преспокойно ползающих, и у каждого на спине большими буквами указаны и дата и место, когда и где его сунут в проклятый суповой котел... Я на другой же день предостерег этих людей, но не смел сказать, что мне снилось, так как они обиделись бы на меня за то, что они, люди движения, явились мне в образе медлительных черепах. Но изгнание, изгнание — это ужасная вещь... Ах! Как я завидую французским республиканцам! Ведь они страдают на родине. До самой смерти ноги их стоят на любимой земле отчизны. А особенно французы, что сражаются здесь, в Париже, и видят драгоценные памятники, которые повествуют им о подвигах их отцов, утешая их и ободряя! Здесь камни говорят и деревья поют, и у такого камня есть чувство чести; и слово божие, то есть историю муче-

¹ Черепаховом (франц.).

пиков человечества, он проповедует гораздо убедительнее, чем все профессора исторической школы в Берлине и Геттингене. А эти каштановые деревья, здесь, в Тюильри... Не кажется ли, что они втайне поют «Марсельезу» тысячами зеленых языков?.. Здесь — священная почва, здесь надо бы снимать обувь, когда ходишь гулять... Тут, налево, — «Терраса фейянов»; там, направо, где тянется теперь улица Риволи, происходили заседания якобинского клуба... Здесь, перед нами, в здании Тюильри, гремел Конвент, сборище титанов, после которого Бонапарт со своей молниеносной птицей кажется лишь маленьким Юпитером... А там, напротив, нас приветствует площадь Людовика Шестнадцатого, где был дан великий урок... А между дворцом и площадью казней, между клубом фейянов и якобинцев, посредине — священный лес, где каждое дерево — цветущее древо свободы...

Однако на этих старых каштанах Тюильрийского сада есть также весьма гнилые сучья, и как раз в ту минуту, когда Берне собирался закончить последнюю фразу, с громким треском сломался один гнилой сук; стремительно падая с большой высоты, он раздавил бы нас обоих, если бы мы не отскочили в сторону. Людвигу Берне, который не успел укрыться от опасности так быстро, как я, одна из ветвей падающего сука ушибла руку, и он сердито проворчал: «Дурное предзнаменование!»



КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

...И все же празднество в Гамбахе свидетельствовало о большом шаге вперед, особенно если сравнить его с тем, другим празднеством, которое некогда происходило в Вартбурге тоже во имя общих народных интересов. Оба празднества представляют большое сходство только с внешней стороны и в случайных совпадениях, но отнюдь не по своей внутренней сущности. Дух, проявившийся в Гамбахе, в корне отличен от того духа, или, вернее, призрака, который бродил в Вартбурге. Здесь, в Гамбахе, новое время цело, ликуя, свои солнечные, зоревые песни и шло на брудершафт с целым человечеством; а там, в Вартбурге, прошлое каркало свою темную воронью песню, и при свете факелов говорились и делались глупости, достойные самого что ни на есть безмозглого средневековья! В Гамбахе французский либерализм произнесил восторженные нагорные проповеди, и если и было сказано много неразумного, то все же сам разум был признан высшим авторитетом, который связует, разрешает и предписывает законам свои законы; в Вартбурге, напротив, царило то косное тевтономапство, которое все хныкало о любви да о вере, но любовь его была не что иное, как ненависть к чужеземному, а вера заключалась только в глупости, и в невежестве своем оно ничего лучше не смогло придумать, как жечь книги! Я говорю: «невежество», ибо в этом отношении прежняя оппозиция, которая нам известна под названием «старогерманцев», еще грандиознее, чем оппозиция новейшая, хотя и последняя не

особенно блещет ученостью. Как раз тот, кто внес в Вартбурге предложение жечь книги, был в то же время и невежественнейшим существом, которое когда-либо на земле делало гимнастику и издавало варианты старонемецких текстов; право, этот субъект должен был бы бросить в огонь и латинскую грамматику Бредера.

Странно! Несмотря на свое невежество, так называемые старогерманцы заимствовали у немецкой учености известный педантизм, столь же омерзительный, как и смехотворный. С какой мелочной придирчивостью и с каким буквоедством они спорили о признаках немецкой национальности! Где начинается германец? Где он кончается? Имеет ли немец право курить табак? Нет, отвечало большинство. Имеет ли немец право носить перчатки? Да, но только из буйволловой кожи. (Грязный Масман желал быть безупречным и вовсе не носил перчаток.) Но пить пиво немец имеет право, и он должен это делать, как истинный сын Германии, ибо Тацит с полной определенностью говорит о германском *cerevisia*.¹ В пивном погребке в Геттингене я был однажды поражен, увидев, с какой основательностью мои старогерманские друзья изготовляют проскрипционный список к тому дню, когда они достигнут власти. Всякий, происходивший хоть в седьмом колене от француза, еврея или славянина, был осуждаем на изгнание. Всякий, написавший хоть что-нибудь против Яна или вообще против старогерманских нелепостей, должен был готовиться к смерти, и притом к смерти не от гильотины, а от топора, хотя первая, в сущности, — немецкое изобретение и была известна уже в средние века под названием «итальянского кашкапа». Помню, что по этому случаю совершенно серьезно дебатировался вопрос, можно ли уже поместить в проскрипционный список одного берлинского писателя, высказавшегося против гимнастики в первом томе своего труда, поскольку последний том еще не вышел в свет, а в этом последнем томе автор, может быть, скажет такие вещи, которые придадут совершенно новый смысл преступным мнениям первого тома.

Совсем ли сошли со сцены эти темные дураки, так называемые тевтономаны? Нет. Они только сняли свои

¹ Пиве (*лат.*). (См. комментарии.)

черные кафтаны, ливреи своего безумия. Большинство избавилось даже от своего слезливого грубого жаргона, и, замаскировавшись в цвета и фразы либерализма, они стали тем более опасны для новой оппозиции политического периода бури и натиска, последовавшего за июльскими днями. Да, стаи немецких революционеров кишели былыми германолобами, которые, скривив губы, лепетали современные лозунги и даже пели «Марсельезу»... Они корчили при этом ужаснейшие рожи... Все же дело шло о борьбе ради общей цели — единства Германии, лишь одной прогрессивной идеи, которую ввела в оборот та, прежняя оппозиция. Наше поражение, быть может, счастье... Мы как честные соратники сражались бы рядом друг с другом, были бы очень единодушны во время битвы, даже еще в час победы... Но на другое утро проявилось бы разногласие, которое нельзя было бы примирить и сгладить иначе, как посредством *ultima ratio populum*,¹ то есть итальянского капкана. Правда, близорукне из числа немецких революционеров судили обо всем по французским масштабам и делились на конституционалистов и республиканцев, а потом на жирондистов и монтаньяров и, разделившись таким образом, начинали уже ненавидеть друг друга и клеветать наперебой; но осведомленные прекрасно знали, что в стане германских революционеров, в сущности, только две совершенно противоположные партии, неспособные на мирную сделку и тайне пылающие друг к другу самой кровавой злобой. Которая из них казалась более сильной? Знатоки из стана либералов не скрывали друг от друга, что их партия, верная принципам французского учения о свободе, численно, правда, более значительна, но слабее в смысле фанатизма и вспомогательных средств. Действительно, хотя обновленные тевтономаны и составляли меньшинство, но их фанатизм, скорее религиозного свойства, легко мог опередить фанатизм, порожденный одним только разумом; кроме того, в их распоряжении находятся те могущественные формулы, с помощью которых заклинают грубую чернь; слова «отечество», «Германия», «вера отцов» и т. д. — все еще куда надежнее электризуют темные народные массы, чем слова «человечество», «всемирное гра-

¹ Последнего довода народов (*лат.*).

жданство», «разум сынов», «истина»!.. Тем самым я хочу сказать, что эти представители национализма пустили в немецкой почве гораздо более глубокие корни, чем представители космополитизма, и что последние, вероятно, уступят первым в борьбе, если не поспешат опередить их... при помощи итальянского капкана.

В революционные эпохи нам остается одно из двух: убивать или умирать.

Невозможно составить себе понятие о таких временах, не отдавая хоть слегка той горячки, которая сотрясает людей и внушает им совсем особенный образ мыслей и чувств. Невозможно в тиши столь мирной эпохи, как нынешняя, произнести приговор словам и делам такого времени.

Не знаю, насколько эти замечания будут понятны мирно настроенным умам. Преемники наши, быть может, унаследуют наш тайный недуг, и долг наш — указать те лекарства, которые мы считали действительными. Вместе с тем, я намекнул здесь выше, в какой степени возможна была связь между мной и теми революционерами, которые переносили французский якобинизм на немецкую почву... Несмотря на то, что мои политические взгляды отделяли меня от них, я все-таки всегда готов был бы присоединиться к ним на поле битвы... Ведь у нас были общие враги, и нам грозили общие опасности!

Правда, эти революционеры в своей упылой ограниченности никогда не понимали положительных гарантий этого естественного союза. Притом же я их так опередил, что они перестали меня видеть и в своей близорукости полагали, будто я остался позади.

Не место здесь и не время сейчас говорить более подробно о тех разногласиях, которые вскоре после Июльской революции должны были обнаружиться между мной и немецкими революционерами, находящимися в Париже. Важнейшим их представителем должен считаться наш Людвиг Берне, особенно в последние годы его жизни, когда после поражения республики два деятельнейших агитатора, Гарнье и Вольфрум, сошли со сцены.

О первом из них уже упоминалось. Он был одним из самых сильных агитаторов и, надо отдать ему справедливость, был в высшей степени одарен всеми демагогическими талантами. Человек большого ума, больших

познаний и весьма краспоречивый, однако интриган, Гарнье, наверно, сыграл бы роль в бурях немецкой революции; но так как пьеса не была представлена на сцене, ему пришлось плохо. Говорят, он вынужден был бежать из Парижа, так как хозяин гостиницы покушался на его жизнь, не угрожая, правда, отравить кушанья, но отказываясь отпустить ему иначе, как за наличные. Другой агитатор, Вольфрум, был молодой человек из Старой Баварии, если не ошибаюсь — из Гофа, служивший там приказчиком в торговом доме, но отказавшийся от места, чтобы посвятить всю свою деятельность вспыхнувшим идеям свободы, которые захватили и его. Это был честный, бескорыстный человек, движимый чистым энтузиазмом, и я тем более считаю своим долгом сказать это, что память о нем еще не вполне очищена от страшной клеветы. Дело в том, что когда его выслали из Парижа и генерал Лафайет потребовал в палате у графа д'Аргу, тогдашнего министра внутренних дел, отчета в таком своеволии, граф д'Аргу высморкал свой длинный нос и стал утверждать, будто высланный являлся агентом баварских иезуитов и в его бумагах найдены доказательства тому. Когда Вольфрум, укрывшийся в Бельгии, узнал из газет об этом постыдном обвинении, он сразу же решил вернуться сюда, но, за отсутствием наличных, мог отправиться в путь лишь пешком; придя в Париж, больной от усталости и внутреннего волнения, он должен был остановиться в «Hôtel-Dieu»,¹ где и умер под чужим именем.

Вольфрум и Гарнье всегда были верными приверженцами Берне, однако в отношении к нему они сохраняли известную самостоятельность и нередко черпали свои вдохновения совсем из других источников. Но с тех пор как оба они исчезли, Берне сам непосредственно стал выступать среди парижских революционеров; он стал господствовать над ними уже не через посредство агентов своей воли, а от своего собственного имени, и у него не было недостатка в придворном штате из ограниченных и разгоряченных голов, поклонявшихся ему со слепым благоговением. Окруженный этой милой толпой верующих, он восседал во всем величии своего пестрого шел-

¹ «Доме божьем» (*франц.*). (См. комментарии.)

кового плаффона и чинил суд над великими мира сего, и на автора этих страниц, так же как и на царя всея Руси, сего Радамантов гнев обрушивался с наибольшею силою... То, на что в его сочинениях был сделан только легкий намек, в устной речи дополнялось самым резким образом, и подозрительная мелочность, во власти которой он находился, и какая-то омерзительная добродетельность, которая ради святого дела не пренебрегает даже ложью, словом — ограниченность и самообольщение увлекли его в трясины клеветы.

Упрек, который содержится в словах «подозрительная мелочность», относится здесь не столько к отдельной личности, сколько к целой породе людей, нашедшей своего законченного представителя в доблестной памяти Максимилиане Робеспьере. Берне в последнее время был чрезвычайно похож на него: в чертах лица — затаенное недоверие, в сердце — кровожадная сентиментальность, в голове — трезвая рассудочность... Но только к его услугам не было гильотины, и ему приходилось прибегать к помощи слов и всего лишь клеветать. Но и этот упрек в значительной мере касается всей породы в целом, ибо — странное дело! — якобинцы, подобно иезуитам, пользовались ложью как дозволенным оружием, быть может, оттого, что и тем и другим цели их казались самыми высокими: одни боролись за дело божье, другие — за дело человеческое... Мы им поэтому простим их клевету!

Но не руководила ли Людвигом Берне порою и тайная зависть? Ведь он был человек, и, будучи уверен, что он исключительно в интересах республики разрушает доброе имя инакомыслящего, даже, быть может, ставя себе в заслугу принесение такой жертвы, он бессознательно удовлетворял и скрытые вожеления своей злой природы, как некогда доблестной памяти Максимилиан Робеспьер!

И по отношению ко мне покойный руководился именно такими личными чувствами, и все его нападки были в конце концов не что иное, как мелкая зависть, которую маленький барабанщик чувствует к большому тамбурмажору: он завидовал моему высокому плюмажу, который так ликующе-дерзко подымается ввысь; моему богато расшитому мундиру, на котором столько серебра, сколько он, маленький барабанщик, не мог бы купить на все свои деньги; ловкости, с которой я помахиваю большим жез-

лом; любовным взглядам, которые мне бросают девчонки и на которые я, пожалуй, отвечаю не без кокетства!

Многие заблуждения, о которых я упомянул, должны быть поставлены в вину также и среде, окружавшей Берне; его милые приверженцы заставляли его высказывать немало злобных суждений, а высказанное устно заострялось с еще большей злобой и подвергалось переработке ради самых причудливых частных целей. При всей его подозрительности его легко было обмануть, он никогда не подозревал, что служит совершенно чужим страстям и даже нередко повинуетя внушениям противников. Меня уверяли, что иные шпионы, шнырявшие здесь за счет некоторых правительств, умели вести себя так патриотично, что Берне оказывал им полное доверие, дни и ночи просиживая и конспирируя с ними.

А все же он знал, что окружен шпионами, и как-то раз сказал мне:

— Тут за мной все время шляется какой-то молодчик; он преследует меня по всем улицам, останавливается перед всеми домами, куда я вхожу, и, наверно, получает за это хорошую плату от какого-нибудь правительства. Если бы я только знал, какое это правительство, я написал бы ему, что сам хочу зарабатывать эти деньги, что сам готов ежедневно давать ему обстоятельный отчет, как провел весь день, с кем говорил, куда ходил; я даже готов представлять этот отчет по гораздо более низкой цене, даже за половину той суммы, которую получает молодчик, всюду таскающийся за мной, — ведь я и без того должен совершать все эти хождения. Пожалуй, я мог бы жить только тем, что шпионил бы за самим собою.

В то время на Берне оказывала сильное, может быть — сильнейшее, влияние так называемая мадам Воль, уже упоминавшаяся на этих страницах двусмысленная дама, о которой не было с точностью известно, на какой титул дают ей право ее отношения с Берне, — любовница ли она или только жена. Ближайшие друзья долгое время твердо и непоколебимо утверждали, что мадам Воль состоит с ним в тайном браке и в одно прекрасное утро начнет делать визиты в качестве госпожи докторши Берне. Другие полагали, что их связывает только платоническая любовь, как некогда мессера Франческо и мадонну Лауру, и, наверно, находили также большое сходство между со-

пстами Петрарки и «Парижскими письмами» Берне. А письма эти были обращены не к воздушному образу поэтической фантазии, но к мадам Воль, что, разумеется, увеличивало их ценность, так как придавало им ту определенную физиономию и тот личный характер, который никакое искусство не в силах воссоздать. Если в письмах отражается характер не только отправителя, но и адресата, то мадам Воль — в высшей степени достойная особа, пламенная поборница свободы и человеческих прав, существо, исполненное чувства, исполненное воодушевления... И в самом деле, мы должны верить такой оценке, слыша, какую преданность по отношению к Берне она хранила в тяжелые времена, как она посвятила ему всю свою жизнь и как теперь, после его смерти, пребывает в безутешной тоске, занимаясь в своем одиночестве только покойным... Бесспорно, их соединяла самая искренняя привязанность, но пока публика находилась в сомнении, какие из всего этого могут произтечь осязательные последствия, нас вдруг поразило внезапное известие, что мадам Воль вступила в брак — не с Берне, а с молодым купцом из Франкфурта... Изумление по этому поводу было усилено еще тем, что новобрачная прибыла сюда со своим мужем, поселилась в одной квартире с Берне, и все трое составили одну семью. Мало того — говорилось, будто молодой супруг лишь для того женился на этой даме, чтобы войти в более близкое соприкосновение с Берне, и поставил условием, чтобы между его женой и Берне продолжалась без всяких изменений прежняя связь. Как я слышал, он играл в доме роль слуги, исполнял черную работу и был мальчиком на побегушках, весьма полезным для Берне, славой которого он ходил торговать и на противников которого неумолимо источал яд и желчь.

В самом деле, супруг мадам Воль не принадлежал к той доброй породе, которая с терпимостью в браке соединяет известное добродушие и тем самым обезоруживает всякую насмешку. Нет, он скорее напоминал ту злую породу, о которой упоминается в «Индийской истории» Ктезия. Автор этот повествует, что в Индии есть рогатые ослы, и тогда как все другие ослы совершенно лишены желчи, у этих рогатых ослов такой избыток ее, что мясо их от этого горько на вкус.

Надеюсь, никто не истолкует в дурную сторону причины, почему я привожу эти подробности из частной жизни Берне. Они только должны показать, что были еще совсем особые мерзости, заставлявшие меня держаться в отдалении от него. Вся чистоплотность моей души возрастала при мысли о малейшем соприкосновении с его домашней средой. Если говорить правду, то в домашнем быту Берне я видел безнравственность, которая была мне противна. Может быть, это признание странно звучит в устах человека, который никогда не вторил фанатическому воплю так называемых проповедников нравственности и сам не раз был обвиняем ими в ереси. Были ли такие обвинения в самом деле заслужены мною? Подвергнув себя глубочайшему самоанализу, я могу засвидетельствовать, что мысли мои и поступки никогда не противоречили нравственности — той нравственности, которая врождена моей душе, которая, быть может, и есть моя душа — душа, одухотворяющая мою жизнь. Я почти безвольно повинуюсь нравственной необходимости и поэтому не имею притязаний на лавровые венки и прочие награды за добродетель. Недавно я читал книгу, в которой утверждается, будто на парижских бульварах нет такой Фрины, прелести которой остались бы неизвестны мне. Бог весть, со слов какого достопочтенного корреспонденточки повторены эти милые анекдоты, но я могу уверить автора той книги, что даже в годы самой безумной юности я сближался с женщиной только тогда, когда меня воодушевляла ее красота, телесное откровение божества, или страсть — та великая страсть, которая тоже божественного свойства, ибо она дает вам свободу от всяких эгоистических мелких чувств и побуждает жертвовать суетными благами жизни и даже самой жизнью. Но в отношении нашего Людвига Берне мы смело можем утверждать, что к мадам Воль влекло его отнюдь не воодушевление красотой. Отношения этих двух лиц также не находят себе оправдания в великой страсти. Если бы ими владела великая страсть, они бы не стали стесняться жить вместе без благословения церкви или мэрин; мелочное опасение, что свет будет качать головой, не удержало бы их... А свет, в сущности, справедлив и прощает огню, если пожар мощен и неподделен и если он пылает красиво и долго... Но к слабым вспышкам тлеющей соломы он

суров и всегда высмеивает приглушенный полуогонь. Свет чтит и уважает всякую страсть, если только она оказывается подлинной, и время придает ей в этом случае известную законность... Но Берне и мадам Воль прятались под покровом брачного союза, заключенного с комическим третьим лицом, чья горькая плоть, быть может, приходилась ей иногда и по вкусу, меж тем как дух ее сладостно общался с духом Берне... Даже в этом наиболее пристойном случае, в случае, если идеальному другу посвящался лишь прекрасный и чистый дух, а грубому супругу — не очень прекрасная и не очень чистая оболочка, — все же весь домашний уклад был основан на самом грязном обмане, на осквернении брака и лицемерии, на безнравственности.

К отвращению, которое при встречах с Берне во мне вызывала его среда, присоединялось еще и неприятное чувство, возбуждаемое во мне его вечной болтовней. Постоянное политическое резонерство, резонерство даже во время обеда, если ему удавалось застать меня в этот час! За столом, когда я так люблю забывать все мирские скорби, он портил мне лучшие блюда своей патриотической желчью, которую, точно горький соус, он выбалтывал на них. Телячьи ножки «à-la метрдотель» — безобидное кушанье, любимое мной в те годы, — их он отравлял печальными вестями с родины, которые выуживал из самых недостоверных газет. И, наконец, эти его проклятые замечания, портившие аппетит! Так, например, однажды он потащился за мной в ресторан на улице Лепелетье, где в то время обедали одни только политические беглецы из Италии, Испании, Португалии и Польши. Берне, знавший их всех, заметил, весело потирая руки, что во всем этом обществе только мы двое не приговорены соответствующими правительствами к смертной казни.

— Но, — прибавил он, — я еще не потерял надежды дойти и до этого. Нас всех повесят, и вас так же, как и меня.

Я по этому поводу сказал, что для дела немецкой революции действительно было бы очень полезно, если бы правительства принимали меры побыстрее и вздернули бы нескольких революционеров, чтобы прочие увидели, что дело это отнюдь не шутка и что будут приняты все меры...

— Вы, наверно, хотите, — прервал меня Берне, — чтобы нас вешали по алфавиту, и тогда я со своей буквой «В»,¹ — повесили бы меня как Берне или как Баруха, — оказался бы одним из первых, а пока дело дошло бы до вас, до буквы «Н»,¹ потребовалось бы еще достаточно времени.

Это были застольные разговоры, не слишком радовавшие меня, и я мстил за них, притворяясь чрезмерно, почти болезненно равнодушным к предметам энтузиазма Берне. Его, например, рассердило то, что я сразу по приезде в Париж не нашел ничего лучшего, как написать для немецких газет длинный отчет о тогдашней выставке картин. Я оставляю нерешенным вопрос о том, были ли художественные интересы, побудившие меня к этой работе, абсолютно несовместимы с революционными интересами дней; но Берне видел в этом доказательство моего равнодушия к священному делу человечества, и я в свою очередь тоже смог отравить ему удовольствие от его патриотической кислой капусты, разговаривая за столом только о картинах: о «Жнсагах» Робера, о «Юдифи» Ораса Верне, о «Фаусте» Шеффера.

— Что вы делали, — спросил он меня как-то, — в первый день по приезде в Париж? Куда бы пошли прежде всего?

Он, наверно, ожидал, что целью моей первой прогулки были площадь Людовика XVI или Пантеон, гробницы Руссо и Вольтера, и лицо его приняло странное выражение, когда я сказал ему правду, а именно, что сразу по приезде пошел в Королевскую библиотеку и попросил библиотекаря дать мне рукопись кодекса мшиезингеров, сделанного для Манессе. И это правда: много лет я стремился собственными глазами взглянуть на драгоценные страницы, сохранившие нам среди других и стихотворения Вальтера фон дер Фогельвейде, величайшего немецкого лирика. Для Берне это также было доказательством моего индифферентизма, и он стал укорять меня в том, что я вступаю в противоречие с моими же политическими принципами. Само собой разумеется, я считал излишним спорить с ним об этом, и однажды, когда ему показалось, что он в моих сочинениях открыл противоречие, я ограни-

¹ Ср. написание фамилий Börne (Берне) и Heine (Гейне).

чился ироническим ответом: «Вы заблуждаетесь, дорогой мой, таких вещей никогда не бывает в моих книгах, ибо, прежде чем писать, я обычно всякий раз предварительно навожу справку насчет политических принципов в моих прежних писаниях, чтобы не впасть в противоречия и не подвергнуть себя упреку в измене моим либеральным убеждениям». И не только во время еды, но даже и в часы ночного отдыха Берне докучал мне своей патриотической экзальтацией. Однажды он в полночь поднялся в мою квартиру, разбудил меня среди самого сладкого сна, сел перед моей постелью и целый час сокрушался о страданиях немецкого народа, и о гнусности немецких правительств, и о том, как опасны русские для Германии, и как он, ради спасения Германии, собирается писать против императора Николая и против монархов, которые столь скверно обращаются с народами, и против Союзного сейма... И я думаю, он проговорил бы в этом духе до самого утра, если бы я, после долгого молчания, не перебил его внезапно словами: «Вы не попечитель прихода?»

С тех пор я всего лишь два раза разговаривал с ним. Один раз — на свадьбе общего друга, выбравшего нас обоих свидетелями, другой раз — на прогулке в Тюильри, о которой я уже упоминал. Вскоре после того появились третья и четвертая части его «Парижских писем», и я не только стал избегать всякого повода к встрече, но также дал ему понять, что нарочно сторонюсь его, и хотя с тех пор я встречал его два или три раза, но никогда больше уже не говорил с ним ни слова. Его, такого сангвиника, это грызло до отчаяния, и он измышлял всевозможные средства, чтобы снова иметь право дружески приблизиться ко мне или, по крайней мере, добиться объяснения. Таким образом, между мной и Берне ни разу в жизни не было устного диспута, мы ни разу не наносили друг другу тяжелых оскорблений словом; только в его напечатанных речах я заметил затаенную злобу; и не оскорбленное самолюбие, а опасения высшего порядка и верность собственной мысли и воле, которую я должен соблюсти, заставили меня порвать с человеком, который хотел скомпрометировать мои помыслы и стремления. Однако такая упорная уклончивость — не совсем в моем характере, и во мне, пожалуй, хватило бы уступчивости, чтобы вновь согласиться беседовать с Берне и общаться с ним... Тем

более что очень милые люди часто просили меня об этом и общие друзья часто попадали в затруднительное положение, когда я отказывался от приглашений, если мне заранее не давали обещания, что г-н Берне не будет приглашен... К тому же и не в моих частных интересах было чрезмерно раздражать такой суровой сдержанностью мстительного человека... Но достаточно было одного взгляда на окружающих его любезных приверженцев, на многоглавого, со сросшимися хвостами, крысиного короля, душой которого он был, — и омерзение уже удерживало меня от всякого нового соприкосновения с Берне.

Так прошло несколько лет — три-четыре года; я перестал и вспоминать о нем, и даже на те статьи, которые он писал против меня во французских журналах и которыми в честной Германии воспользовались для клеветнических целей, я мало обращал внимания, как вдруг однажды, поздним осенним вечером, получил известие, что Берне умер.

Как мне говорили, он сам был виноват в своей смерти, потому что упрямо и долго отказывался позвать своего врача, достойнейшего доктора Зихеля. Последний, будучи не только знаменитым, но также очень добросовестным врачом, наверно спас бы его, если бы не явился слишком поздно, когда больной уже успел сам подвергнуть себя террористическому лечению и совершенно разрушил свой организм.

Берне в прежнее время немного занимался медициной и был знаком с этой наукой как раз настолько, чтобы убивать. В политике, в которую он пустился потом, его познания, право же, были немногим больше.

Я не присутствовал на его похоронах, о чем здешние корреспонденты не упустили сообщить в Германии и что дало повод к злым толкам. Но ничто не может быть нелепее, как усматривать в этом обстоятельстве, которое могло быть и совершенно случайным, злобную черствость. Глупцы, они не знают, что нет более приятного занятия, чем идти за гробом врага!

Я никогда не был другом Берне, и никогда я не был его врагом. Раздражение, которое он порою вызывал во мне, никогда не было особенно сильным, и он достаточно был наказан за него тем холодным молчанием, которым я встречал все его обвинения и козни. При его

жизни я ведь не написал против него ни единой строки, я никогда не думал о нем, я игнорировал его совершенно, и это сердило его свыше всякой меры.

Если я говорю о нем теперь, то причина — не энтузиазм и не подозрительность; я, по крайней мере, не сомневаюсь в своем самом холодном беспристрастии. Я не даю здесь ни апологии, ни критики, и так как при характеристике этого человека я исхожу из собственных взглядов, то на памятник, который я ставлю ему, пожалуй следовало бы смотреть как на портретное изображение во весь рост. А ему подобает такой памятник, ему, великому борцу, который так отважно сражался на арене наших политических игр и стяжал себе если и не лавры, то уж, конечно, дубовый венок.

Мы запечатлеваем в этом памятнике его действительные черты, без всякой идеализации, и чем больше сходства, тем большая честь его памяти. Он ведь не был ни гений, ни герой, он не был олимпийский бог. Он был человек, гражданин земли, он был хороший писатель и великий патриот.

Называя Людвига Берне хорошим писателем и признавая за ним только скромный эпитет «хороший», я не хочу ни увеличить, ни умалить его художественное достоинство. Вообще, как я уже отметил, я не даю здесь ни критики, ни апологии его сочинений; на этих страницах должно найти себе место лишь мое частное мнение. Я стараюсь как можно короче высказать это личное мнение; поэтому — всего лишь несколько слов о Берне с чисто литературной точки зрения.

Если бы мне надо было указать в литературе родственный ему характер, то прежде всего вспомнился бы Готтольд-Эфраим Лессинг, с которым Берне сравнивали очень часто. Но сродство это имеет основой лишь внутреннюю дееспособность, благородную волю, горячий патриотизм и восторженную любовь к человечеству. Одинаково было также и направление их умов. Но тут и оканчивается сравнение. Лессинг велик был своим умом, открытым для искусства и для философской мысли, чего совершенно недоставало бедному Берне. В иностранных литературах есть два человека, гораздо более похожих на него: это Вильям Хэзлит и Поль Курье. Пожалуй, оба они самые близкие литературные родственники Берне,

но только Хэзлит превосходит его также и в отношении художественной чуткости, а Курье совершенно не может подняться до юмора Берне. Известное остроумие свойственно всем трем, хотя у каждого из них оно имеет особую окраску: оно мрачно у британца Хэзлита, сверкает, словно солнечный луч из густых облаков английского тумана; оно весело, почти шаловливо у француза Курье, шипит и пенится, как молодое вино в давилах Турени, и порой дерзко переливается через край; у немца Берне оно и мрачно и весело в одно и то же время, подобно кисло-серьезному рейнвейну и глупому лунному свету немецкой отчизны... Его остроумие порой переходит в юмор.

Это относится не столько к ранним произведениям Берне, сколько к его «Парижским письмам». Время, место и материал не только благоприятствовали здесь юмору, но, собственно, и вызывали его. Этим я хочу сказать, что юмором «Парижских писем» мы обязаны гораздо больше обстоятельствам времени, чем таланту автора. Июльская революция, это политическое землетрясение, так разрушила отношения во всех сферах жизни и так причудливо перемешала самые различные явления, что парижскому революционному корреспонденту надо было только верно передавать то, что он видел и слышал, — и он невольно достигал высочайших эффектов юмора. Подобно тому как страсть порой заменяет поэзию и, например, любовь или смертельный страх внезапно высказываются в таких вдохновенных словах, лучше и прекраснее которых не найдет истинный поэт, — так условия времени заменяют порой врожденный юмор, и остроумный автор, вполне прозаический по своему дарованию, создает истинно юмористические произведения лишь потому, что верно отражает забавные и горестные, грязные и священные, грандиозные и мелкие комбинации опрокинутого мирового порядка. Если к тому же ум автора и сам находится в волнении, если зеркало это — криво или если оно резко окрашено собственной страстью, тогда являются безумные картины, превосходящие любое создание юмористического гения... Здесь — решетка, отделяющая юмор от дома умалишенных... Нередко в письмах Берне проявляются черты настоящего безумия, и мы видим оскалившиеся чувства и мысли, на которые надо бы на-

деть смирительные рубашки и которые надо подставить под душ...

В стилистическом отношении «Парижские письма» имеют гораздо больше достоинств, чем прежние сочинения Берне, где короткие фразы, эта мелкая рысь, вызывают нестерпимую монотонность и выдают почти детскую беспомощность. Эти короткие фразы все реже и реже попадают в «Парижских письмах», где разнузданная страсть невольно переходит на более широкие, полные ритмы и где катятся огромные, таящие грозу периоды, построение которых прекрасно и как будто отмечено печатью высшего мастерства.

Однако на «Парижские письма» в отношении стиля следует смотреть лишь как на переходную ступень, если сравнивать их с последним произведением Берне — «Меицель-французоед». Здесь его стиль достигает высшего развития, и как в словах, так и в мыслях здесь царит гармония, свидетельствующая о болезненном, но возвышенном спокойствии. Это произведение — прозрачное озеро, где отражаются небо и все его звезды и где ум Берне погружается в воду и вновь всплывает, точно прекрасный лебедь, спокойно смывающий оскорбления, которыми чернь замарала его чистые перья. Это произведение справедливо называли лебединой песней Берне. Оно мало известно в Германии, и разбор его по существу был бы здесь, конечно, уместен. Но так как оно направлено непосредственно против Вольфганга Менцеля и по этому поводу мне снова нужно было бы подробно говорить о последнем, то я лучше промолчу. Не могу удержаться здесь только от одного замечания, и, к счастью, оно — такого свойства, что скорее отвлекает от личной неприязни и придает распре, разгоревшейся между Менцелем и так называемыми членами так называемой Молодой Германии, более общий смысл, заставляя забыть о достоинствах и недостатках отдельных личностей. Пожалуй, я тем самым даже оправдаю поведение Менцеля и его мнимое отступление.

Да, он только мнимый отступник... Только мнимый... Ибо душой и мыслями он никогда не принадлежал к партии революции. Вольфганг Менцель был один из тех тевтономанов, тех германолюбов, которых солнечный зной Июльской революции принудил отбросить их старогер-

манские одежды и обороты речи и как в телесном, так и духовном смысле облачиться в современное платье, скроенное по французской мерке. Как я показал уже в начале этой книги, многие из числа этих тевтономанов, желая принять участие во всеобщем движении и триумфах духа времени, проникли в наши ряды, в ряды бойцов за принципы революции, и я не сомневаюсь, что они отважно бились бы в минуту общей опасности. Я опасался их измены не во время битвы, но после победы; их старая природа, подавленное тевтономанство, снова прорвалась бы наружу, они начали бы вскоре темными песнями, средневековыми заклинаниями возмущать против нас грубую чернь, и эти песни-заклинания, эта смесь древнейшего суеверия и демонических земных сил, оказались бы сильнее всех доводов разума.

Менцель первый, как только воздух стал прохладнее, вновь снял с вешалки старонемецкие мысли и вновь принялся за гимнастику старых идей. Право, после этого превращения у меня будто камень свалился с сердца, ибо в своем подлинном виде Вольфганг Менцель стал куда менее опасен, чем под либеральной маской; мне хотелось броситься ему на шею и расцеловать его, когда он снова стал ратовать против французов и поносить евреев и снова пошел в бой за бога и отечество, за христианство и германские дубы и начал отчаянно бахвалиться! Признаюсь, насколько мало страху он мне внушал в этом виде, настолько он пугал меня несколько лет тому назад, когда им вдруг овладел вдохновенный энтузиазм к Июльской революции и французам, когда, защищая права евреев, он произносил свои патетические, великодушные, лафайетовские освободительные речи, когда он о судьбах мира и человека высказывал мнения, в которых скалило зубы такое безбожие, какое едва ли можно найти у самых решительных материалистов, высказывал мнения, едва ли достойные тех животных, что питаются плодами немецкого дуба. Тогда он был опасен, тогда, признаюсь, я дрожал перед Вольфгангом Менцелем!

Берне по своей близорукости никогда не понимал его истинной природы, а так как ренегаты, изменившие единомышленникам, возбуждают в нас куда большее негодование, чем старые враги, то самым яростным гневом он пылал против Менцеля. Что касается меня, почти в то

же самое время издавшего брошюру против Менцеля, то у меня были совсем иные мотивы. Человек этот ни разу не оскорбил меня, даже грубейшая его ругань не задела ни одного большого места в моей душе. Впрочем, всякий, кто читал мою брошюру, убедится, что слово здесь стремилось не столько ранить, сколько раздражить, и что цель всего была — вызвать рыцаря-германолоба отнюдь не на литературное поле битвы. Менцель не удовлетворил моего честного желания. Не моя вина, если публика вывела из этого всякие досадные заключения... Я весьма великодушно давал ему возможность реабилитировать себя в общественном мнении единственным достойным мужчины образом... Я ставил на карту кровь и жизнь... Он этого не захотел.

Бедный Менцель! Я, право, не сержусь на тебя! Ты был не самый худший. Другие куда коварнее: они дольше маскируются либералами или же не до конца сбрасывают маски... Здесь я прежде всего имею в виду некоторых инвабских придворных певцов свободы, чьи либеральные трели звучат все тише и тише и которые вскоре старым пропитым голосом снова затянут песни тринадцатого и четырнадцатого годов... Да хранит вас господь для отечества! Стараясь спасти лоскуток вашей популярности и ради этого принося в жертву Менцеля, вашего ближайшего единомышленника, вы совершили весьма постыдный поступок.

И потом надо отдать справедливость Менцелю: ругань свою он скреплял четкой и мужественной собственноручной подписью; он не был анонимным писакой и всегда готов был рисковать своей шкурой. После каждого бранного слова, которым он обдавал нас, он почти добродушно затихал, чтобы принять заслуженное наказание. Зато он и не испытывал недостатка в письменных ударах, и его литературская спина вся в черных полосах, как у зебры. Бедный Менцель! Он расплачивался и за многих других, которых нельзя было поймать, за разбойников, пускавших трусливые стрелы из самых темных газетных загоулков... Как проучишь их? У них нет имени, которое ты мог бы заклеить, а если тебе даже и удастся вынудить у дрожащего редактора газеты те несколько пустых букв, что служат для них именем, то и это не особенно поможет тебе... Ведь тут-то и оказывается, что автор

паглойшей ругательной статьи был не кто иной, как тот жалкий попрошайка-шантажист, который при всей своей покорной настойчивости не мог выжать из тебя и одного су... Или же, наоборот, — а это еще обиднее, — ты узнаешь, что оборванец, надувший тебя на двести франков, получивший от тебя в подарок для прикрытия паготы сюртук, не добившийся от тебя, однако, ни одной собственноручной строчки, благодаря которой он в Германии мог бы цеголять в качестве твоего друга и великого собрата-поэта, что этот-то оборванец и оплевал на родине твое доброе имя... Ах, этот сброд в состоянии выступить против тебя и под своим настоящим именем, и вот тогда-то ты и оказываешься в затруднении! Если ты ответишь, то это на всю жизнь придаст им значение, которым они сумеют воспользоваться, и они поставят себе в честь, что ты бил их той самой палкой, которой ведь были уже биты и люди знаменитые. Разумеется, лучше всего было бы поколотить их отнюдь не духовной, не фигуральной, а действительной, материальной палкой, как некогда их прадеда Терсита...

Да, поучительный пример дал ты нам, благородный Лаэртос сын, царственный страдалец Одиссей, ты, мастер слова, в искусстве речи превосходивший всех смертных! Каждому ты умел ответить, и говорил ты так же охотно, как и победоносно; и только на липкого Терсита не захотел ты потратить и слова — такую тварь ты не считаешь достойной ответа, и когда он начал поносить тебя, ты молча его поколотил...

Если мой кузен в Люнебурге прочтет это, он, быть может, вспомнит наши тамошние прогулки, когда я каждому нищему мальчишке давал по грошу и серьезно увещевал: «Милый паренек, если ты когда-нибудь займешься литературой и станешь писать критические статьи в «Литературных листах» Брокгауза, не развешивай меня!» Мой кузен тогда смеялся, и сам я еще не знал, что грош, в котором моя мать отказывала нищей, может и в литературе иметь такие роковые последствия!

Я только что упомянул о «Литературных листах» Брокгауза. Это пещеры, в которых томятся и стонут несчастнейшие из всех немецких писак; те, кто спускается сюда, теряют свое имя и получают помер, как поляки, осужденные на каторгу в русских копях, в новгородских

свинцовых рудниках; подобно им, они должны исполнять самые ужасные работы, например прославлять г-на фон Раумера как великого историка или же превозносить Людвигу Тика как ученого и человека с характером и т. д. Большинство умирает от подобной работы, и их хоронят без имени — мертвые помера. Многие среди этих несчастных, — быть может, их большинство, — прежние германолобы, и если они больше не носят древнегерманских кафтанов, все же они носят древнегерманские подштаники; от своих швабских единомышленников они отличаются известным бранденбургским акцентом и куда большим легкомыслием. Народолюбие в Северной Германии всегда было скорее аффектацией, если даже не заученной ложью, особенно в Пруссии, где даже поборники народности тщетно старались отрицать свое славянское происхождение. Я скорее готов похвалить моих швабов, — у них, по крайней мере, честные намерения, и они с большим правом могут чваниться чистотой германской расы. Их теперешний главный орган, трехмесячное обозрение, издаваемое Котта, одухотворено этой гордостью, и его редактор, дипломат Келле (человек остроумный, но величайший болтун в мире, не сохранивший, вероятно, ни одной государственной тайны!), редактор этого обозрения — настоящий хулигатель чужеземных рас, и через каждые три слова у него — германская, романская и семитская расы... Его больше всего огорчает, что поборник германства, любимец его Вольфганг Менцель носит на своем лице все черты монгольского происхождения.

Нахожу нужным отметить здесь, что нудно-пространную ругательную статью, с которой недавно выступило против меня упомянутое трехмесячное обозрение, я приписываю отнюдь не одной только тевтономании, даже не личной злобе. Я долго был того мнения, что автор, некий Г. Пф., хотел этой статьей отомстить за друга своего — Менцеля. Но истины ради я должен сознаться в моем заблуждении. С тех пор я с разных сторон получил более точные сведения.

— Дружба между Менцелем и упомянутым Г. Пф., — недавно сказал мне один честный шваб, — основана только на том, что последний выручает Менцеля, не знающего по-французски, своим знанием этого языка. А что касается нападок на вас, то здесь вовсе не было столь злого

умысла; прежде Г. Пф. был величайшим поклонником наших произведений, и если теперь он так резко обрушивается на них за безнравственность, то делает это затем, чтобы придать себе строго добродетельный вид и хоть стчасти освободиться от тяготившего над ним подозрения в сократовской любви.

Я бы охотно перефразировал выражение «сократовская любовь», но это собственные слова доктора Д...ра, сообщившего мне этот невинный секрет. Доктор Д...р, который, наверное, ничего не имел бы против, если бы я полностью назвал его фамилию, — человек высокого ума и правдивости, сказывающейся на всем его внутреннем складе. Так как он сейчас находится в Лондоне, то, не спросив предварительно его согласия, я не мог объявить его фамилию полностью; но она к услугам того, кто пожелает ее узнать, так же как и полная фамилия одного из наиболее достойных уважения парижских ученых, профессора Д...га, в присутствии которого слова эти были повторены. А для публики полезно будет узнать, какие побуждения скрываются иногда под известным «нравственно-религиозно-патриотическим нищенским плащом».

Я допустил только кажущееся отступление от моей темы. Некоторые нападки на покойного Берне находят себе частичное объяснение в этих намеках. Это же касается и его книги «Менцель-французоед». Произведение это — защита космополитизма против национализма; но из этой защиты видно, что космополитизм Берне был только головной, а патриотизм глубоко коренился в его сердце, между тем как у его противников патриотизм маячил только в голове, в сердце же зияло самое холодное равнодушие... Хитрые слова, которыми Менцель прославляет свое германство, словно еврей-разносчик — свою ветошь, старые его тирады об Арминии-Херуске, о корсиканце, о здоровом растительном сне, о Мартине Лютере, о Блюхере, о битве при Лейпциге, слова, которыми он хочет польстить немецкой народной гордости, все эти отжившие фразы Берне так умеет осветить, что их смехотворное ничтожество обнаруживается ярчайшим образом; и при этом из его сердца рвутся такие трогательно безыскусственные, полные любви к родине звуки, словно это стыдливые признания, от которых нельзя уже удержаться в последний час жизни, когда рыдания за-

меняют слова... Смерть стоит рядом и кивает головой, неопровержимый свидетель правды!

Да, он был не только хороший писатель, но также и великий патриот!

Что касается литературного значения Берне, то я должен упомянуть здесь о его переводе «Paroles d'un croyant»,¹ который он выполнил тоже в последний год своей жизни и который также должен рассматриваться как шедевр стиля. Все же я не стану хвалить его за то, что он перевел именно эту книгу, что он вообще попал в круг идей Ламенне. Влияние, которое на него имел этот священник, проявилось не только в упомянутом переводе «Paroles d'un croyant», но также и в разных французских статьях, которые Берне писал тогда для «Réformateur»² и для «Balance»,³ в удивительных творениях его ума, где так резко обнаруживаются уныние, отчаянное сомнение в протестантском авторитете разума и где больной дух впадает в тоску католического созерцания.

Быть может, смерть была для Берне счастьем... Если бы смерть не спасла его, мы, быть может, стали бы свидетелями его римско-католического позора.

Возможно ли это? Неужели Берне стал бы в конце концов католиком? Неужели он укрылся бы в лоно римской церкви и пытался бы заглушить муки своего мозга звуками органа и звоном колоколов? Ну да, он был готов сделать то же, что уже сделало столько честных людей, когда мозгом овладела тоска и обратила разум в бегство, а бедный разум на прощанье дал еще и совет: если уж вы хотите сходить с ума, то переходите в католичество, и вас, по крайней мере, не запрут, как других мономанов.

«С горя сделаться католиком», — так гласит немецкая поговорка, проклятый глубокий смысл которой мне только теперь становится ясен. Ведь католицизм — самый мрачно-пленительный цветок той доктрины отчаяния, быстрое распространение которой на земле уже не может показаться особым чудом, если только принять в расчет, в каком ужасающе-мучительном состоянии томился весь римский мир... Подобно тому как отдельные личности,

¹ «Слов верующего» (франц.). (См. комментарий.)

² «Реформатора» (франц.). (См. комментарий.)

³ «Весов» (франц.). (См. комментарий.)

отчаявшись, вскрывали себе вены и в смерти искали спасения от тиранни цезарей, — так народ ударялся в аскетизм, обращался к учению об умерщвлении плоти, исполнялся жажды мученичества, искал прибежища в самоубийственной назарейской религии, чтобы разом избавиться от житейских мук тех времен и воспротивиться палачам, действовавшим от имени всевластного материализма.

Для людей, которым земля ничего уже не могла дать, придумали небо... Хвала этому изобретению! Хвала религии, которая в горький кубок страждущего человечества влила несколько сладких усыпительных капель — опиум духа, несколько капель надежды, любви и веры!

Как я уже говорил в первой части, Людвиг Берне по своему характеру был прирожденный христианин, и это спиритуалистическое направление должно было превратиться в католицизм, когда, после мучительнейших поражений, республиканцы, пришедшие в отчаяние, вступили в союз с католической партией. Насколько серьезен этот союз? Не могу ответить. Некоторые республиканцы и в самом деле могли с горя сделаться католиками. Но большинство ненавидит в душе своих новых союзников, и обе стороны разыгрывают комедию. Дело идет лишь о том, чтобы побороть общего врага, и действительно, союз обоих фанатизмов — религиозного и политического — в высшей степени грозен. Но бывает иногда и так, что люди путают свои роли и лукавая комедия переходит в тяжеловесную серьезность; и здесь, возможно, кое-кто из республиканцев до тех пор заигрывал с католическими символами, пока, наконец, и сам по-настоящему не уверовал в них; и не один хитрый поп пел «Марсельезу» до тех пор, пока она не стала его любимым напевом, и, служа мессу, он уже не может избежать мелодии этой божьей песни.

Мы, бедные немцы, увы, не понимающие шуток, мы приняли за чистую монету братание республиканизма с католицизмом, и ошибка эта нам когда-нибудь дорого обойдется. Бедные немецкие республиканцы, желающие изгнать Сатану с помощью Вельзевула, вы, если это изгнание беса вам и удастся, попадете прямо из огня да в полымя! Не пойму, как все эти немецкие патриоты могут во имя борьбы с протестантскими правительствами действо-

вать заодно с католической партией. Вряд ли меня, которому, как известно, пруссаки причинили столько страданий, можно заподозрить в слепой симпатии к Пруссии; поэтому я смело могу заявить, что в борьбе Пруссии с католической партией я желаю победы только первой... Ведь ее поражение по необходимости привело бы к тому, что некоторые провинции, рейнские области, были бы утрачены для Германии. Но какое дело набожным людям в Мюнхене, по-немецки ли, по-французски ли говорят на Рейне; для них достаточно, что там мессу служат полатыни. Попы не имеют отечества, у них только один отец, один папа — римский.

Но, вероятно, всем известно, что отпадение рейнских провинций, возврат их к романской Франции — дело, уже решенное между героями католической партии и их французскими союзниками. К этим союзникам принадлежит с недавних пор и некий бывший якобинец, носящий теперь корону и ведущий переговоры с некими коронованными иезуитами Германии... Благочестивый жулик! Ханжа, изменивший отчизне!

Само собою разумеется, наш бедный Берне, прельщенный не только сочинениями, но также и личностью Ламетше и бессознательно принявший участие в происках римских вербовщиков, — само собою разумеется, бедный Берне никогда не предчувствовал опасностей, которыми угрожал нашей Германии союз католической и республиканской партий. Он об этом не имел ни малейшего понятия, которому целость Германии была всегда столь же дорога, как и автору этих строк. Что касается Берне, то я должен засвидетельствовать это самым блестящим примером. «И немецкого ночного горшка не уступил бы и Франции!» — крикнул он однажды в пылу беседы, когда кто-то заметил, что усилению Франции — естественной представительницы революции — следует способствовать путем возврата ей рейнских провинций, чтобы она могла тем упорнее сопротивляться аристократически-абсолютистской Европе.

— Ночного горшка не уступлю! — кричал Берне, в гнев шагая взад и вперед по комнате.

— Разумеется, — заметил третий собеседник, — мы не уступим французам ни одной пяди немецкой земли; но нам следовало бы уступить им кое-каких немецких

соотечественников, без которых мы, во всяком случае, можем обойтись. Что бы вы сказали, если бы, например, мы уступили французам Раумера и Роттека?

— Нет, нет! — закричал Берне, переходя от крайнего гнева к смеху. — Даже Раумера и Роттека не уступлю, коллекция стала бы неполной, а я хочу сохранить всю Германию такой, как она есть, — с ее цветами и репейниками, с ее великанами и карликами... Нет, и эти два ночных горшка не уступлю!

Да, этот человек был великий, пожалуй величайший патриот, он вместе с молоком мачехи-Германии всосал и самую жгучую жизнь и самую горькую смерть! В душе его ликовала и исходила кровью трогательная любовь к родине, стыдливая по своей природе, как всякая любовь, охотно прикрывавшаяся ворчливой бранью и придиричивым брюзжанием, но тем сильнее рвавшаяся наружу в минуту увлечения. Когда с Германией случались разные глупости, грозившие дурными последствиями, когда у нее не хватало решимости принять целебное лекарство, дать снять себе бельмо или перенести какую-нибудь другую маленькую операцию, Людвиг Берне шумел и ругался, топал ногами и кричал; но когда, наконец, предвиденное несчастье совершалось, когда Германию начинали топтать ногами или избивать до крови, тогда Берне переставал дуться и начинал хныкать; бедный глупец, — а таким он был, — уверял, рыдая, что Германия — самая лучшая страна на свете, самая прекрасная страна, что немцы — прекраснейший и благороднейший народ, подлинная жемчужина народов, и нигде нет людей умнее, чем в Германии, что даже дураки там умные, что невежество не что иное, как проявление характера; и он в самом деле тосковал по милым пинкам отчизны, и порой ему страстно хотелось сочной немецкой глупости, как беременной женщине хочется груши. И жизнь вдали от отчества стала для него настоящей пыткой, и не одно злое слово в его произведениях было вызвано этой мукой. Кто не знал изгнания, тот не поймет, как ярко оно окрашивает наши муки и какой яд, какую тьму оно вливает в наши мысли. Данте писал свой «Ад» в изгнании. И только тот, кто жил в изгнании, знает, что такое любовь к родине со всеми ее сладостными страхами и томительными горестями! К счастью для наших патриотов, которым прихо-

дится жить во Франции, страна эта представляет такое огромное сходство с Германией: климат почти тот же, та же растительность, тот же образ жизни.

— Как должно быть ужасно изгнание там, где нет этого сходства, — заметил однажды Берне, когда мы с ним гуляли по Jardin des plantes, — как ужасно видеть вокруг себя лишь пальмы и тропические растения и чудовищно странные породы зверей, например кенгуру и зебр... На наше счастье, цветы во Франции совсем такие же, как у нас дома, у фиалок и роз вид совсем такой же, как в Германии, и волы, и коровы, и ослы здесь терпеливы и не полосаты, совсем как у нас, и птицы покрыты перьями и поют во Франции совсем как в Германии, и даже когда здесь, в Париже, я вижу собак, бегающих по улицам, мысль моя возвращается к Рейпу и сердце мое восклицает: «Ведь это же наши немецкие собаки!»

Известного рода тупоумие долгое время не соглашалось признавать в сочинениях Берне эту любовь к отечеству. Видя такое тупоумие, он лишь с чувством величайшего сострадания пожимал плечами, а по адресу старых баб, которые, задыхаясь, тащили дрова для его костра, он со спокойной совестью мог воскликнуть: «*Sancta simplicitas!*»¹ Но когда иезуитская злоба попыталась бросить тень на его патриотизм, его охватила уничтожающая ярость. Возмущению его нет границ, и, как оскорбленный титан, он швыряет смертоносными каменными глыбами в извивающихся змей, ползающих у его ног. Здесь он вступает в свои права, здесь его мужественный гнев пылает благороднейшим огнем. Замечательно следующее место в «Письмах из Парижа», направленное против Ярке, который среди противников Берне отличался, в известной мере, двумя свойствами, а именно — умом и пристойностью:

«Этот Ярке — изумительный человек. Из Берлина его вызвали в Вену, где он получает половину жалования Генца. Но он не заслуживал и сотой доли его или же заслуживал во сто раз больше — смотря по тому, за что платят Генцу, за хорошее или за плохое. Этого взбесившегося, окатоличившегося Ярке я необычайно люблю, ибо он служит мне, как, наверно, и многим другим, для полезной

¹ Святая простота! (*лат.*). (См. комментарии.)

игры и приятного времяпрепровождения. В течение года он издает политический еженедельник. Это занимательная камера-обскура: в ней проходят друг за другом, бросая свои тени, все симпатии и антипатии, клятвы и проклятья, надежды и опасения, радости и горести, страхи и безумные дерзновения, все цели и все средства монархистов и аристократов. Услужливый Ярке! Он всех предает, он всех предостерегает. Сокровеннейшие тайны большого света он пишет на стене моей маленькой комнатки. Я знаю от него и рассказываю теперь вам то, что они замышляют против нас. Они хотят уничтожить не только плоды, цветы, листья, ветви, стволы революции, но и корни ее, самые глубокие, самые раскидистые, самые крепкие корни, хотя бы их пришлось вырвать вместе с землей. Придворный садовник Ярке с ножом, с топором, с лопатой переходит с одного поля на другое, из одной страны в другую, от одного народа к другому. Выкорчевав и предав сожжению все корни революции, разрушив настоящее, он переходит к прошлому. После того как он отрубил голову революции и мученья несчастной преступницы уже кончились, он запрещает ей, давно умершей, давно истлевшей бабушке, вступать в брак; прошедшее он превращает в плод настоящего. Разве это не безумие? Этим летом он обрушился против Гамбахского праздника. Невинное празднество! Ах, бедный барашек! Волк — Союзный сейм, пивший у верховья реки, упрекнул барашка — немецкий народ, который пил тут же, пониже, в том, что он замутил ему воду; за это надо его съесть. А г-н Ярке — это язык волка. Затем он искореняет революцию в Бадене, Рейнской Баварии, Гессене, Саксонии; затем — английский билль о реформе; затем — польскую, бельгийскую, французскую Июльскую революции. Затем он защищает божественные права дона Мигеля. Так он все дальше идет вспять. Месяц тому назад он занимался уничтожением Лафайета — не Лафайета Июльской революции, а того Лафайета, который пятьдесят лет тому назад боролся за американскую и первую французскую революции. Ярке, карабкающийся по сапогам Лафайета! Мне казалось, я вижу собаку, роющую землю у подножия пирамиды с намерением ее опрокинуть! Вечно вспять! Две недели тому назад он начал подкапываться под стопятидесятилетнюю английскую революцию, революцию 1688 года. Скоро дойдет очередь до

Брута Старшего, прогнавшего Тарквиниев, а таким путем г-н Ярке доберется, наконец, и до самого господина бога, который имел неосторожность сотворить Адама и Еву, прежде чем позаботился о короле, вследствие чего человечество вбило себе в голову, что оно может обойтись без монарха. Но г-ну Ярке не следовало бы забывать, что как только он покончит с богом, он больше не будет нужен в Вене. И тогда — прощай гофратство, прощай жалованье. Возможно, у него хватит ума, чтобы оставить нетронутым хоть один этот корешь Гамбахского праздника.

Это и есть тот самый Ярке, по поводу которого я в одном из предыдущих писем обещал вам что-то сообщить, а именно то, что он написал обо мне. Да и не только обо мне, — это касалось, конечно, и других; но обо мне, вероятно, он больше всего при этом думал. Нынешним летом он напечатал в «Политическом еженедельнике» статью «Германия и революция». Там есть одно место, при чтении которого трудно решить, чему больше удивляться — примерной злости или беспримерной глупости.

Вот как звучит это место в статье Ярке:

«Совершенно справедливо, впрочем, что те принципы, которые мы изложили выше, никогда не претворяются в действительную жизнь, что Германия никогда не превратится в республику, скроенную по мерке нынешних соблазнительей народа, что свобода и равенство не могут быть осуществлены даже силою террора: не правильной ли думать, что наглые вожди вредного течения лишь играют в страшную игру с высшими интересами Германии, что они сами лучше всякого знают, что этот путь ведет к непоправимой гибели, и только для того с холодным расчетом продолжают дело соблазна, чтобы великим всемирно-историческим актом отомстить за гнет и позор, в течение веков по нашей вине ложившийся на народ, к которому они принадлежат по своему происхождению».

Ах, господин Ярке, это уж слишком! К тому же вы, когда вы это писали, еще не были австрийским советником, — вы были всего лишь его прусским антиподом; как же вы станете яриться, попав в государственную канцелярию в Вене? Если вы упрекаете нас в нечестивом намерении сделать немецкий народ несчастным за то, что он нас самих сделал несчастными, — это мы еще прощаем криминалисту и его прекрасной теории вменяемости. Если

вы приписываете нам хитрое стремление губить, под личиной любви, наших врагов, — то за это мы должны быть благодарны иезуиту, который вздумал нас так похвалить. Но если вы считаете нас такими глупцами, что мы синицу в руках променяем на журавля в небе, — за это вы ответите нам, господин Ярке! Как! Если мы ненавидим немецкий народ, то разве мы стали бы изо всех сил бороться, чтобы освободить его от позорнейшего унижения, в котором он погряз, от свинцовой тирании, тяготеющей на нем, освободить от высокомерия его аристократов, от надменности его монархов, от насмешек всех придворных шутов, от клеветы всех наемных писак — и все это лишь для того, чтобы подвергнуть его маленьким, скоропреходящим и столь почетным опасностям свободы? Если бы мы ненавидели немцев, мы писали бы так, как вы, господин Ярке. Но платы за это мы бы не стали брать; ибо даже в самом греховном мщении есть еще нечто такое, что можно осквернить».

Приведенное место из статьи, где патриотизм Берне был взят под подозрение, возбуждало в нем такое негодование, которого никогда не мог вызвать простой упрек в еврейском происхождении. Его забавляло даже, когда враги, видя безупречность его поступков, могли упрекнуть его только в том, что он — отпрыск племени, некогда наполнявшего мир славою и, наперекор всем унижениям, еще и до сих пор не вполне утратившего свою древнюю святость. Он даже часто хвастал своим происхождением, конечно на свой юмористический лад, и как-то раз, пародируя Мирабо, сказал одному французу: «Jésus-Christ — qui en parenthèse était mon cousin — a prêché l'égalité»¹ и т. д. Действительно, евреи созданы из того теста, из которого лепят богов; если сегодня их топчут ногами, то завтра пред ними падут на колени; в то время как одни из них роются в грязи отвратительного торгашества, другие поднимаются на высочайшие вершины человечества, и Голгофа — не единственная гора, где еврейский бог пролил кровь свою за благо человечества. Евреи — народ духа, и всякий раз как они возвращаются к своим началам, они велики и прекрасны, а их неуклюжие противники

¹ Иисус Христос — кстати сказать, мой кузен — проповедовал равенство (франц.).

пристыжены и посрамлены. Глубокомысленный Розенкранц сравнивает их с великаном Антеем, и разница лишь в том, что он становился сильнее всякий раз, как прикасался к земле, евреи же черпают новые силы, как только они снова соприкоснутся с небом. Удивительное сочетание самых резких противоположностей! Хотя у этих людей встречается столько уродства и низости, среди них же можно встретить идеалы самой чистой человечности, и если когда-то они направили мир на новые пути прогресса, мир, быть может, и впредь должен ожидать от них новых откровений...

— Природа, — сказал мне однажды Гегель, — весьма причудлива; теми же орудиями, которые служат ей для возвышеннейших целей, она пользуется и для самых низких отправлениях; например, тот член, на долю которого выпадает высочайшая миссия — продолжение рода человеческого, служит также для...

Те, которые жалуются на туманность Гегеля, поймут его здесь, и если он, когда говорил эти слова, не имел в виду именно детей Израиля, то все же его слова можно применить к ним.

Как бы то ни было, вполне вероятно, что миссия этого племени еще не вполне окончена, и это, в частности, пожалуй, относится к Германии. Она тоже ждет своего избавителя, земного мессию (мессией небесным евреи уже осчастливили нас), царя земли, рыцаря со скипетром и мечом, и, может быть, этот избавитель Германии и есть тот самый, которого ждет Израиль...

О дорогой, страстно ожидаемый мессия!

Где он теперь, что он медлит? Или он еще не родился? Или, быть может, он уже тысячу лет таится где-нибудь, выжидая, когда настанет великий истинный час освобождения? Может быть, это старый Барбаросса, что дремлет в Кифгейзере, сидя в каменных креслах, и спит уже так давно, что борода его проросла сквозь каменный стол?.. Лишь порой он спростонья трясет головой и мигает полужакрытыми глазами... Хватается во сне за меч... И снова засыпает тяжелым, тысячелетним сном!..

Нет, не император Барбаросса освободит Германию, как думает народ — немецкий народ, сонливый, грезящий народ, который и своего мессию не может представить себе иначе, как в образе старого сонливца!

Вот у евреев — совсем иное представление об их мессии, и когда я уже много лет тому назад был в Польше и встречался в Кракове с великим раввином Манассе-бен-Нафтали, то сердце мое всегда радостно внимало его речам о мессии... Я уж не помню, в какой книге талмуда можно прочесть те подробности, которые со всюю точностью сообщал мне великий раввин, и вообще его описание мессии сохранилось в моей памяти только в главных своих чертах.

— Мессия, — повествовал он мне, — родился в тот день, когда Иерусалим был разрушен злодеем Титом, и с тех пор он живет в великолепном небесном чертоге, окруженный блеском и радостью, с короной на голове, совсем как король... Но руки его скованы золотыми цепями!

— Что, — спросил я в изумлении, — что значат эти золотые цепи?

— Они необходимы, — отвечал великий раввин, хитро посмотрев на меня и глубоко вздохнув. — Не будь этих цепей, мессия, который порою теряет терпение, внезапно спустился бы на землю и не вовремя, раньше срока, приступил бы к делу освобождения. Ведь он не какой-нибудь мирный ночной колпак. Он красивый, очень стройный, но необычайно сильный человек, цветущий, как сама юность. Впрочем, жизнь, которую он ведет, весьма однообразна. Большую часть утра он проводит в обычной молитве или смеется и шутит со своими слугами, переодетыми ангелами, которые прекрасно поют и играют на флейте. Потом ему расчесывают длинные волосы, умащают их нардом и облачают его в царственный пурпур. Все время после полудня он изучает каббалу. К вечеру он зовет своего старого канцлера — переодетого ангела, которого сопровождают четыре дюжих советника — тоже переодетые ангелы. И вот канцлер должен читать своему господину по большой книге, что произошло за день... Тут попадают всякие истории, вызывающие у мессии веселый смех или же заставляющие его сердито покачивать головою... Но когда он слышит, как плохо обращаются там, внизу, с его народом, тогда его охватывает ужаснейший гнев, и он воет так, что дрожат небеса. Тогда четверем дюжим советникам приходится удерживать разгневанного мессию, чтобы он не поспешил спуститься на землю, и, право же,

они не могли бы с ним справиться, если бы золотые цепи не сковывали его рук... Успокаивают его и кроткими речами о том, что время ведь еще не пришло, не настал истинный час освобождения, — и, наконец, он падает на ложе и закрывает лицо и плачет...

Примерно так повествовал мне в Кракове Манассе-бен-Нафтали, подкрепляя достоверность своих слов ссылками на талмуд. Мне часто приходилось вспоминать его рассказ, особенно в первое время после Июльской революции. Да, в недобрые дни мне казалось порой, будто собственными ушами я слышу грохот — грохот золотых цепей, а затем рыдание, полное отчаяния.

О, не унывай, прекрасный мессия, ты, который хочешь освободить не только род Израилев, как воображают суеверные евреи, но и все страждущее человечество! О, не порвитесь, золотые цепи! О, хоть на некоторое время удержите его еще в оковах, чтобы он не пришел слишком рано, он, король — спаситель мира!



КНИГА ПЯТАЯ

«...Политическое положение того времени (1799) имеет весьма прискорбное сходство с современным состоянием в Германии, с той только разницей, что в те годы свободомыслие больше процветало среди ученых, поэтов и вообще литераторов, теперь же его гораздо меньше в их среде, но зато гораздо больше в широкой активной массе, среди ремесленников и рабочих. Между тем как во время первой революции простой народ оставался под гнетом немецкой свинцовой спячки и какая-то скотская неподвижность царила во всей Германии, наш литературный мир был охвачен самым исступленным брожением и бурлением. Всякий, даже самый одинокий писатель, проживавший в каком-нибудь отдаленном немецком захолустье, принимал участие в этом движении; как бы бессознательным чутьем, ничего точно не зная о политических событиях, он ощущал их социальное значение и выражал его в своих сочинениях. Этот феномен напоминает мне большие морские раковины, которые мы ставим иногда в виде украшения на наших каминных и которые, в каком бы отдалении от моря они ни находились, вдруг начинают шуметь, когда приходит время прилива и волны бьют о берег. Когда здесь, в Париже, в великом человеческом океане, грянула революция, когда здесь забурило и забушевало, то зашумели и взволновались по ту сторону Рейна немецкие сердца... Но они были так изолированы, они стояли среди бесчувственного фарфора, меж чайных чашек, кофейных приборов и китайских болванчиков, механически

качавших головами, точно они знали, о чем идет речь. Ах, тяжело пришлось поплатиться нашим бедным предшественникам в Германии за это сочувствие революции! Грубейшие и подлейшие гнусности проделывали над ними юнкеры и попы. Некоторые бежали в Париж и здесь, в нищете и невзгодах, бесследно погибли. На днях я видел одного слепого земляка, поселившегося с того времени в Париже; я встретил его в Пале-Рояле, где он грелся немножко на солнышке. Нельзя было без боли смотреть, как он бледен и худ и как он ощупью отыскивал вдоль стенок дорогу. Мне сказали, что это старый датский поэт Гейберг. Пришлось мне недавно видеть также чердак, где умер гражданин Георг Форстер. Но оставшихся в Германии поклонников свободы ждала еще более страшная участь, если бы Наполеон и его французы вскоре не победили нас. Наполеону, конечно, и не снилось, что он сам явился спасителем идеологии. Без него наши философы вместе с их идеями были бы уничтожены с помощью виселицы и плахи. Однако немецкие свободолюбцы, слишком республикански настроенные, чтобы преклоняться перед Наполеоном, и слишком благородные, чтобы примкнуть к иноземным господам, погрузились с тех пор в глубокое молчание. Тоскливо бродили они с разбитыми сердцами, с сомкнутыми устами. Когда Наполеон пал, они улыбнулись, но скорбно, и промолчали; они остались почти совершенно неучастными патриотическому энтузиазму, громогласно ликовавшему в Германии с высочайшего соизволения. Они знали то, что знали, и молчали. Так как эти республиканцы ведут очень целомудренный, умеренный образ жизни, то обыкновенно они доживают до глубокой старости, и когда разразилась Июльская революция, многие из них были еще живы, и немало были мы удивлены, когда эти старые чудачки, которых мы привыкли видеть сгорбленными, всегда бродившими кругом в молчании чуть ли не идиотическом, вдруг подняли голову и приветливо заулыбались нам, молодежи, и стали пожимать нам руки и рассказывать забавные истории. Я слышал даже, как один из них запел; он пропел нам в кафе «Марсельезу», и тут мы запомнили мелодию и прекрасные слова и уже вскоре стали петь ее лучше самого старика, потому что он иногда посреди лучших строф начинал хохотать, как дурак, или плакать, как дитя. Всегда хорошо,

когда такие старые люди остаются в живых, чтобы учить молодежь песням. Мы, молодые, не забудем этих песен, и некоторые из нас когда-нибудь научат им своих внуков, пока еще не родившихся. Впрочем, многие из нас за это время истлеют либо дома, в тюрьме, либо на каком-нибудь чердаке на чужбине».

Это место из моей книги «De l'Allemagne»¹ (оно отсутствует в немецком издании) я написал лет шесть тому назад, и теперь, когда я перечитываю его, на душу мою, словно влажные тени, ложатся все те безутешные скорби, которые я тогда только смутно предчувствовал. По самым моим пламенным ощущениям точно струится ледяная вода, и вся жизнь моя — лишь болезненное оцепенение. О холодный ад зимы, где мы живем, стуча зубами!.. О смерть, белая ледяная дева в бесконечном тумане, зачем ты так насмешливо киваешь головой?

Счастливы те, которые истлевают в тюрьмах родины... Ибо тюрьмы эти — родина, хоть и с железными решетками, и немецкий воздух проникает сквозь решетки, и тюремщик, если он не вовсе нем, говорит по-немецки!.. Уже больше полугода моего слуха не касался ни один немецкий звук, и все, что я творю и думаю, с трудом облекается в обороты чужеземной речи... Вы, быть может, имеее понятие об изгнании физическом, но составить себе представление об изгнании духовном может только немецкий писатель, который весь день принужден говорить по-французски, писать по-французски и даже ночью, на груди возлюбленной, вздыхать по-французски! Мои мысли — тоже в изгнании, они изгнаны в мир чужого языка.

Счастливы те, которые на чужбине должны бороться только с нуждой, голодом и холодом — бедствиями естественными... В окна их мансарды им смеется небо и все звезды его... О позолоченное страдание в белых лайковых перчатках, ты бесконечно более мучительно!.. Полная отчаяния голова должна претерпевать завивку, а то и душиться, и негодующие уста, готовые проклинать небо и землю, должны улыбаться, вечно улыбаться...

Счастливы те, которые от великих страданий потеряли, наконец, последний остаток рассудка и в Шарантоне или Бисетре нашли надежное пристанище, как бедный Ф...,

¹ «О Германии» (франц.).

как бедный Б..., как бедный Л... и еще многие другие, менее знакомые мне. Клетка их безумия кажется им любимой отчизной, и в своих горячечных рубашках они воображают себя победителями всяческого деспотизма, воображают себя гордыми гражданами свободного государства... Однако все это они с таким же успехом могли бы найти и у себя дома!

Только переход от разума к безумию — тяжелая, отвратительная минута... Мне страшно вспоминать, как Ф... последний раз пришел ко мне, чтобы всерьез поговорить о том, что в великий союз народов также необходимо принять и обитателей луны и самых отдаленных звезд. Но вот — как оповестить их о наших предложениях? В этом был весь вопрос. Другой патриот, стремившийся к таким же целям, изобрел нечто вроде громадного зеркала, при помощи которого прокламации, писанные исполненскими буквами, отражались бы в воздухе, чтобы все человечество сразу могло прочесть их, а цензор и полиция не могли бы этому воспрепятствовать... Какой опасный для государства проект! И все-таки в отчете Союзного сейма о революционной пропаганде он не упоминается!

Счастливей же всех мертвецы, что лежат в могилах на кладбище Пер-Лашез, как ты, бедный Берне!

Да, счастливы узники отечественных тюрем, счастливы обитатели мансард, где ютятся болезнь и убожество, счастливы безумцы в доме умалишенных, а всех счастливей — мертвые! Что касается меня, автора этих страниц, то в сущности, мне кажется, я и не смею особенно жаловаться, ибо я в некоторой мере разделяю счастье всех этих людей — благодаря той удивительной восприимчивости и непронзвольной симпатии, той душевной болезни, которую мы встречаем у поэтов и для которой не можем найти подходящего названия. Пусть днем, толстый и веселый, я прохожу по сверкающим улицам Вавилона, все же — верьте мне! — как только опустится вечер, в сердце моем уже звучат меланхолические арфы, а ночью грохочут в нем все литавры и цимбалы скорби, весь янычарский оркестр мирового страдания, и подымается дикая, пронзительно шумная маскарадная возня...

О, какие грезы! Грезы темницы, нищеты, безумия, смерти! Кричащая смесь глупости и мудрости, пестрый ядовитый суп, имеющий вкус кислой капусты и пах-

пущий цветами померанца! Какое страшное чувство, когда ночные грезы издеваются над суетою дня, а из пылающих цветов мака выглядывают насмешливые личины и дразнят нас, гордые лавры превращаются в серый чертополох, и соловьи заливаются ироническим смехом...

В грезах моих я обычно сижу на углу улицы Лафитт, на тумбе, мокрым осенним вечером, когда лучи месяца бросают длинные полосы света на грязную мостовую бульваров, так что грязь кажется позолоченной или даже усеянной блистающими алмазами... Также и прохожие — всего лишь блестящая грязь: дельцы, игроки, продажные писаки, фальшивомонетчики мысли, еще более продажные девки, которым, впрочем, лгать приходится только телом, ленивые толстобрюхи, накормленные в «Café de Paris»¹ и несущиеся теперь в Académie de musique,² храм порока, где танцует и улыбается Фанни Эльслер... Тут же грохочут кареты и прыгают лакеи, пестрые, как тюльпаны, и пошлые, как их милостивые господа... И, если я не ошибаюсь, в одном из этих наглых золотых экипажей сидит бывший продавец сигар Агуадо, и его неистовые кони сверху донизу обрызгивают грязью мой розово-красный костюм-трико... Да, к моему изумлению, я весь одет в розово-красное трико, в костюм так называемого телесного цвета, ибо время года, а также и климат не допускают совершенной наготы, как в Греции, при Фермопилах, где накануне битвы царь Леонид и триста его спартанцев плясали нагие, совсем нагие, увенчав голову цветами... Я бываю одет именно так, как Леонид на картине Давида, когда в своих грезах сижу на тумбе улицы Лафитт, где проклятый кучер Агуадо обрызгивает грязью мои штаны-трико... Мошенник, он обрызгивает грязью даже и веночек — прекрасный веночек, который я ношу на голове, но который, между нами будь сказано, уже порядком высох и больше не благоухает... Ах! То были свежие, радостные цветы, когда я украсил себя ими, думая, что завтра предстоит священный бой, победная битва за отчизну... Давно уже это было, в унынии и праздности сижу я на улице Лафитт и жду битвы, а тем временем вянут цветы на моей голове, и волосы покрываются сединой, и сердце болит в груди...

¹ «Парижском кафе» (франц.).

² Музыкальную академию (франц.). (См. комментарий.)

Боже! Как долго тянется время в таком бездеятельном ожидании, а под конец умирает во мне и мужество... Я вижу, как мимо идут люди, с жалостью смотрят на меня и шепчут друг другу: «Бедный безумец!»

Подобно тому как почные грезы издеваются над моими дневными мыслями, так порою и мысли дня насмеваются над глупыми почными грезами, и они вполне правы, потому что во сне я часто веду себя настоящим дураком. Недавно мне снилось, что я совершаю большое путешествие по всей Европе, но только не в экипаже, запряженном лошадьми, а на роскошном корабле. Все шло хорошо, пока по пути попадались реки или озера. Но это случалось редко, чаще же приходилось ехать по суше, что было очень неудобно для меня, ибо тогда мне приходилось тащить мой корабль по широким равнинам, лесным тропам, болотам и даже по весьма высоким горам, пока я снова не достигал реки или озера, где мог привольно распустить паруса. Но большей частью, как я уже сказал, мне приходилось самому тащить мой корабль, на что я тратил немало времени и усилий, так что в конце концов проснулся от досады и усталости. Утром же, спокойно сидя за кофе, я правильно рассудил, что гораздо скорее и удобнее совершил бы путешествие, если бы у меня вовсе не было корабля и я шел бы все пешком, как простой бедняк.

В конце концов не все ли равно, как достигнем мы цели великого странствия — бредя пешком, мчась на лошади, плывя на корабле?.. В конце концов мы все придем в одну и ту же гостиницу, в один и тот же скверный трактир, где дверь отпирают лопатой, где комнаты так узки, так холодны, так мрачны, но где спится хорошо, даже слишком хорошо...

Восстанем ли мы из мертвых? Странно! Мои дневные мысли отвечают на этот вопрос отрицательно, и только из духа противоречия мои ночные грезы отвечают на него: да. Так, например, недавно мне снилось, будто я ранним утром иду по кладбищу и здесь, к моему величайшему изумлению, вижу, что у каждой могилы стоит по паре до блеска начищенных сапог, как это бывает в гостиницах, перед комнатами путешественников... То было странное зрелище; на всем кладбище парила кроткая тишина, усталые земные странники спали, могила возле могилы, и тщательно вычищенные сапоги, стоявшие там длинными

рядами, блестяли в свежих утренних лучах, полные такой надежды, полные обещаний, — словно наглядные доказательства воскресения.

Я не могу с точностью назвать место на кладбище Пер-Лашез, где похоронен Берне. Я подчеркиваю это. Ибо при жизни Берне меня нередко посещали немецкие путешественники, спрашивавшие, где он живет, а теперь мне очень часто докучают вопросом: где похоронен Берне? Насколько мне известно, он лежит в нижней части кладбища на правой стороне, среди сплошных геспералов времен Империи и актрис «Théâtre français»... среди мертвых орлов и мертвых попугаев.

Я недавно прочел в «Цейтунг фюр ди элганте вельт», что крест на могиле Берне сломан бурей. Молодой поэт воспел это событие в прекрасном стихотворении, да и вообще того Берне, в которого при жизни так часто кидали самыми гнилыми яблоками прозы, теперь, после его смерти, окуривают благоуханнейшими стихами. Народ любит побивать камнями своих пророков, чтобы с тем большей набожностью чтить их останки; псы, которые сегодня лают на нас, завтра с благоговением поцелуют наши кости!..

Как я уже сказал, я не даю здесь ни апологии, ни критики того человека, которому посвящены эти страницы. Я только рисую его портрет, точно указывая час и место, где он мне позировал. При этом я не скрываю, какое расположение духа, хорошее или дурное, было у меня во время сеанса. Тем самым я даю лучшее мерило для той степени доверия, какой заслуживают мои сообщения.

Но если, с одной стороны, это постоянное упоминание о моей личности является лучшим средством, дабы читатель сам вынес приговор, то, с другой стороны, я, мне кажется, именно в этой книге обязан остановиться на своей собственной персоне, так как благодаря стечению различных обстоятельств и враги и друзья Берне, говоря о нем, никогда не переставали рассуждать более или менее доброжелательно или злобно также и о моих делах и трудах. Аристократическая партия в Германии, отлично понимая, что умеренность моей речи для нее куда опаснее, чем неистовство Берне, старалась ославить меня как его товарища и единомышленника, чтобы обвинить меня в частичной солидарности с его политическими безумствами. Радикальная партия была весьма далека от того, чтобы

разоблачать эту военную хитрость; она скорее поддержала ее, чтобы выставить меня в глазах толпы своим сторонником и воспользоваться таким путем авторитетом моего имени. Не было никакой возможности выступить гласно против подобных махинаций; я бы только навлек на себя подозрение в том, что, дезавуируя Берне, хочу снискать благосклонность его врагов. При таких обстоятельствах Берне действительно оказал мне услугу, когда стал открыто нападать на меня не только в оброненных им отрывочных фразах, но также и в форме пространных объяснений, и сам поведал публике о различиях в наших взглядах. Это он сделал, в частности, в шестом томе своих «Парижских писем» и в двух статьях, которые поместил во французском журнале «Réformateur». Эти статьи, на которые, как уже отмечено, я не отвечал, давали повод всякий раз, когда речь заходила о Берне, говорить и обо мне — теперь, конечно, в совершенно другом тоне, чем прежде. Аристократы осыпали меня коварнейшими похвалами — этими похвалами они чуть не погубили меня; я снова стал великим поэтом, после того как понял, что больше не в состоянии играть мою политическую роль, не в состоянии играть в смехотворный либерализм. Напротив, радикалы начали нападать на меня гласно (негласно они это делали все время), — они не оставили на мне ни одного живого места, отрицая во мне характер и признавая меня лишь как поэта. Да, я, так сказать, получил политическую отставку, и меня как бы отправили на покой — на Парнас. Кто знаком с двумя упомянутыми партиями, тот легко оценит великодушные, с которым они оставили мне звание поэта. Одни видят в поэте лишь мечтательного царедворца праздных идеалов. Другие ничего не видят в поэте; их трезвая пустота не откликнется на поэзию ни единым звуком.

Вопрос, что есть, собственно, поэт, мы оставляем нерешенным. Но мы не можем не высказать наше личное мнение о понятиях, связанных со словом «характер».

Что понимают под словом «характер»?

Характер есть у того, кто живет и действует в определенной сфере определенных воззрений на жизнь, как бы отождествляя себя с ними и никогда не впадая в противоречие со своим мышлением и чувством. Вот почему, если дело касается совершенно исключительных умов, опере-

жающих свое время, толпа никогда не может знать, есть ли у них характер или нет, ибо она не обладает достаточной зоркостью, чтобы окинуть взглядом те сферы, внутри которых движутся эти высокие умы. Так как толпа не знает, где предел воли и дерзания этих возвышенных умов, то легко может случиться, что в их поступках она не в состоянии будет заметить ни основания, ни необходимости, и вот уже близорукие и тупые души жалуется на произвол, непоследовательность, бесхарактерность. Людей, менее одаренных, чьи более поверхностные и узкие воззрения на жизнь легче уразуметь и легче охватить взглядом и которые раз навсегда популярным языком провозгласили на общественном рынке свою жизненную программу, — этих людей достопочтенная публика всегда может понять во всем их объеме, у нее есть мерило для каждого их поступка, и к тому же она радуется своей собственной проницательности, словно разгадав шараду, и ликует: посмотрите, вот это характер!

Если ограниченной толпе легко понять человека и она восхваляет его за характер — это всегда является признаком ограниченности этого человека самого. Для писателя это еще опаснее, так как поступки его заключаются, собственно, в словах, и то, что публика в его произведениях читает как характер, в конечном итоге представляет лишь рабскую покорность моменту, недостаток творческого спокойствия, недостаток мастерства.

Правило, согласно которому характер писателя можно узнать по его манере письма, имеет не безусловное значение; оно может быть применено только к той массе авторов, пером которых, когда они пишут, водит лишь минутное вдохновение и которые скорее подчиняются слову, чем повелевают им. К художникам этот принцип неприменим, ибо они — мастера слова, пользуются им для любой цели, чеканят его по своему произволу, пишут объективно, и характер не обнаруживается в их стиле.

Был ли Берне характер, меж тем как другие — всего только поэты? В ответ на этот бесполезный вопрос мы можем лишь сострадательно пожать плечами.

«Только поэт»... Мы никогда не станем столь едко порицать наших противников, относя их к одной категории с Данте, Мильтоном, Сервантесом, Камюэнсом, Филиппом Сиднсом, Фридрихом Шиллером и Вольфгангом Гете,

которые были только поэты... Между нами говоря, эти поэты, даже последний, порой проявляли характер! «Имеют глаза — и не видят, имеют уши — и не слышат, даже имеют носы — и ничего не обоняют» — слова эти прекрасно можно применить к грубой толпе, которая никогда не поймет, что без внутреннего единства невозможно духовное величие, и все то, что, собственно, должно называться характером, относится к неотъемлемым свойствам поэта.

Впрочем, на различие между понятиями «характер» и «поэт» впервые было указано самим Берне, и он же сам подготовил все те оскорбительные выводы, которыми его приверженцы впоследствии пытались опутать автора этих страниц. В «Парижских письмах» и вышеупомянутых статьях в «Réformateur» уже достаточно злословья насчет моей бесхарактерной поэзии и поэтической бесхарактерности, и ядовитейшие инсинуации скользят и извиваются там. Обвиняя меня в полнейшей двусмысленности убеждений, если и не в полном отсутствии их, автор избегает решительных слов; он пользуется всевозможными намеками. Таким же путем он обличает меня не только в индифферентизме, но и в противоречии с самим собою. Тут даже слышатся порою шипящие звуки, которые (могут ли краснеть мертвецы в могиле?)... Да, я не могу избавить покойного от этого позора: он даже намекал на мою продажность...

Прекрасный, сладостный покой, который я ощущаю сейчас в глубине души! Ты в полной мере вознаграждаешь меня за все, что я сделал, и за все, что я с презрением отверг... Я не стану защищаться ни от упрека в равнодушии, ни от подозрения в продажности. Еще тогда, когда были живы авторы этих инсинуаций, много лет тому назад, я считал это унижительным для себя; а теперь и приличие требует молчания. То было бы страшное зрелище... Полемика смерти с изгнанием!.. Ты из могилы протягиваешь мне молящую руку?.. Без злобы протягиваю я тебе мою... Посмотри, как прекрасна она и чиста! Она никогда не была осквернена ни рукопожатием черни, ни грязным золотом врагов народа... Ты же, в сущности, никогда меня не оскорблял... Во всех твоих инсинуациях нет правды и на лундир!

То место в «Парижских письмах» Берне, где он всего яростнее нападает на меня, вместе с тем так характерно

для него самого, для его стиля, для его страстности и его слепоты, что я не могу не привести его здесь. Он никогда не был в состоянии оскорбить меня, несмотря на самые злые намерения, и все, что он наговорил тут по моему адресу, как и в вышеупомянутых статьях в «Réformateur», я читал с таким равнодушием, как если бы все это было направлено не против меня, а, например, против Навуходоносора, царя вавилонского, или против халифа Гарун-аль-Рашида, или против Фридриха Великого, приказавшего, чтобы пасквили на его особу, развешанные слишком высоко на углах берлинских улиц, прикреплялись значительно ниже для удобства публики, которой так легче будет их читать. Упомянутое место писано в Париже 25 февраля 1833 года, и содержание его следующее:

«Попытайся ли мне сказать разумное слово о «Французских делах» Гейне? Я не решаюсь на это. Досада, которая мухой жужжала вокруг моей головы, когда я читал эту книгу, и садилась то на одно, то на другое ощущение, настроила меня на такой сердитый лад, что я не могу поручиться не только за правильность моей оценки, — ибо такого смелого речительства я никогда не беру на себя, — но даже за беспристрастие моей оценки. При этом, однако, я еще достаточно владею собою, чтобы понимать, что в этом раздражении виноват я, а не Гейне. Тот, кто, подобно ему, владеет столь великими тайнами, как-то: умение находить в трехсотлетней бесчеловечной австрийской политике возвышенное упорство, а в короле баварском видеть одного из благороднейших и умнейших монархов, когда-либо украшавших собою престол; кто способен считать короля французского, как если бы он был болен перемежающейся лихорадкой, сегодня хорошим, завтра плохим, послезавтра опять хорошим, потом снова плохим; кто видит смелость и величие в том, что г-да Ротшильды во время холеры спокойно оставались в Париже, по находит смешными бескорыстные старания немецких патриотов; и кто при всем этом мягкосердечии считает себя человеком твердым, кто владеет такими великими тайнами, тот должен обладать тайнами еще более великими, которые объяснят нам самое загадочное в его книге; мне, однако, они неизвестны. Я могу проникать не только в мысли и чувства другого человека, но и в кровь его и в нервы, я могу стать у истока его мыслей и чувств и с неутомимым

терпением следить за их ходом. При этом, однако, мне не требуется приносить в жертву мою собственную сущность — мне достаточно лишь на время отказаться от нее. Я могу быть снисходителен к страстям юноши. Но если в день кровавой битвы мне попадет под ноги мальчишка, гонящийся за бабочками на поле сражения, если в день горчайшей беды, когда мы горячо молимся, стоящий подле нас в церкви молодой щеголь станет разглядывать хорошеньких девушек и перешептываться и перемигиваться с ними, то, несмотря на всю нашу философию и гуманность, это может нас только рассердить.

Гейне — художник, поэт, и для всеобщего признания ему недостает признания собственного. Оттого, что ему часто хочется быть не только поэтом, а еще и чем-то иным, он часто сбивается с пути. Для того, кто, подобно ему, выше всего ставит форму, она и должна быть единственной целью; ибо как только он переступает границу, он растворяется в беспредельном и тонет в песке. Кто чтит искусство как божество свое и все же, смотря по расположению духа, обращается иногда с молитвами и к природе, тот грешит и против искусства и против природы. Гейне вымалывает у природы ее нектар и цветочную пыль и лепит ее соты из воска искусства, но улей он создает не для того, чтобы хранить в нем мед, — он собирает мед для того, чтобы наполнить им улей. Потому он не трогает нас своим плачем, ибо известно, что слезами он только поливает клумбы гвоздики. Потому он и не убеждает, даже когда говорит правду; ибо известно, что в правде он любит только красоту. Но правда не всегда прекрасна; она не всегда сохраняет красоту. Пройдет немало времени, пока она расцветет, и отцвести она должна прежде, чем принесет плоды. Гейне боготворил бы немецкую свободу, если бы она была в полном цвету, но так как из-за суровой зимы она закрыта навозом, он не признает ее и презирает. С каким прекрасным воодушевлением говорил он о республиканцах, сражавшихся у церкви Сен-Мери, и о героической их смерти! То была счастливая битва, им дано было оказать величавое сопротивление тирании и умереть прекрасной смертью за свободу. Но если бы эта битва не была прекрасна, — а для этого уже достаточно было бы только другой местности, где республиканцев можно было бы разогнать и поймать, — Гейне стал бы потешаться

над ними. То, что сделал Брут, Гейне прославил бы всей красотой своего дара; но если бы портной вынул окровавленный кинжал из груди молодой обесчещенной швеи, которую к тому же звали бы Бербельхен, и этим побудил глупо-ленивых мещан добиться для себя свободы, — Гейне стал бы смеяться над этим. Если бы Гейне посадить в зал Жё де Пом в тот достопамятный час, когда Франция пробуждалась от тысячелетнего сна и клялась, что больше не хочет грезить, он превратился бы в самого бешеного якобинца, отчаянного врага аристократов и с наслаждением позволил бы перерезать в один день всех дворян и принцев. Но заметь он, что у огнедышащего Мирабо торчит из кармана трубка с красно-черно-золотой кисточкой, как у немецких студентов, — тогда к черту полетела бы свобода! И он пошел бы и стал бы сочинять прекрасные стихи в честь прекрасных глаз Марии-Антуанетты. Когда в своей книге он прославляет святость абсолютизма, то причина не только в том, что это для него риторический оборот, который он доводит до безрассудства, и не в том, что Гейне простосердечен в политических вопросах, как он сам говорит; нет, он сделал это оттого, что побоялся дурного запаха во рту и что в тот день, когда это писалось, он видел какого-нибудь немецкого либерала, поедавшего кислую капусту с сосисками.

Как можно поверить тому, кто сам ни во что не верит? Гейне так стыдится во что-нибудь верить, что даже слово «бог» печатает целиком прописными буквами, желая показать, что это — условное выражение, за которое он не несет ответственности. Изнеженного Гейне, при его сибаритской натуре, может пробудить падение лепестка розы; как же может он отдыхать на ложе свободы, которое ведь так сучковато? Пусть он подальше держится от нее! Кого утомляет всякая неровность, кого смущает всякое противоречие, тот пусть не ходит, не думает, пусть ляжет в постель, закроет глаза. Где же та истина, в которой не было бы доли лжи? Где та красота, на которой не было бы пятен? Где то величие, в котором не было бы комических черт? Природа редко сочиняет, а стихов не пишет никогда; кому не по праву ее проза и ее безрифменность, тот да обратится к поэзии. Природа правит по-республикански и всему дает свободно созреть, — вплоть до злодеяния, и лишь тогда карает. У кого слабые нервы и кто боится опасно-

стей, тот да служит искусству — абсолютному искусству, которое устраняет всякую грубую мысль, прежде чем она превратится в действие, и всякое деяние шлифует до тех пор, пока оно не станет слишком немоощным, чтобы превратиться в злодеяние.

Вряд ли даже сам Гейне такого высокого мнения о себе, как я о нем. Таким образом, я ставлю ему в упрек не само-мнение его, но то, что он вообще слишком высокого мнения о роли отдельного человека, хотя сам он в своей книге так хорошо и ясно показал, что отдельные личности уже не имеют сейчас значения, что даже Вольтер и Руссо не играли бы роли, так как теперь действуют хоры, а лица только говорят. Что мы представляем собою, если являемся чем-либо значительным? Мы не что иное, как глашатаи народа. Если мы отчетливо и внятно возвещаем то, что поручено нам сказать нашей партией, нас хвалят и награждают; если же мы говорим невнятно или предательски приносим ложную весть, нас порицают и наказывают. Это-то и забывает Гейне, а так как он полагает, что может, как и некоторые другие, погубить целую партию или способствовать ее делу, то он считает себя важной личностью; оглядывается, чтоб узнать, кому он нравится, кому не нравится; грезит о друзьях и врагах, а так как он не знает, куда идет и куда хочет идти, то он и не знает, где друзья и где враги, ищет их то здесь, то там и ни здесь, ни там не находит. К счастью, нам, бедным людишкам, природа дала одну только спину, так что ударов судьбы мы опасаемся лишь с одной определенной стороны; но у бедного Гейне две спины, его пугают удары аристократов и удары демократов, и, чтобы избежать и тех и других, он в одно и то же время должен идти и вперед и назад.

Чтобы угодить демократам, Гейне говорит, что незунтско-аристократическая партия в Германии клеветает на него и преследует его, ибо он смело идет против абсолютизма. Затем, чтобы угодить аристократам, он говорит, что смело восставал против якобинства; что он честный роялист и всегда останется монархистом; что в парижской модной лавке, которую он посещал прошлым летом, он был единственным роялистом среди восьми модисток и их восьми любовников (все шестнадцать разделяли весьма опасные республиканские убеждения) и что поэтому демократы хотят его погубить. Он говорит буквально следую-

щес: «Клянусь, я не республиканец, я знаю, что, если победят республиканцы, они перережут мне горло...» И еще: «Если бы мятеж 5 июня не потерпел крушения, они легко могли бы предать меня смерти, на которую они меня обрели. Я от души прощаю им эту глупость». Но я не прощаю. Республиканцев, которые настолько безрассудны, что, стремясь к своим целям, считают нужным убраться Гейне, надо поместить в дом умалишенных.

Таким образом, Гейне полагает, что он смело борется то с абсолютизмом, то с якобинством. Но как можно бороться с врагом, от которого отворачиваешься, — этого я не понимаю. Теперь, чтобы расквитаться с якобинством, Гейне так же смело выступит вперед. И они будут квиты; как бы сурово ни падали они друг на друга, им никогда не удастся причинить друг другу сильную боль. Столь мягкий способ ведения войны весьма похвален, и ни одна из падающих сторон не будет знать недостатка в герольдах с трубами, которые возвестят о ее подвигах.

Если существовал когда-нибудь человек, которому природа судила быть честным человеком, то это Гейне, и на этом пути он мог бы найти свое счастье. Он не может лицемерить даже и в течение каких-нибудь пяти минут, каких-нибудь двадцати строк, не может лгать в течение какого-нибудь дня, на протяжении какого-нибудь печатного листа. Даже если бы дело шло о короне, он не мог бы отказаться от улыбки, от насмешки, от шутки; и если, вопреки своей природе, он все-таки лжет, все-таки лицемерит, всякий сразу же замечает это, и это притворство приносит ему не пользу, а только одни упреки. Ему нравится играть роль иезуита от либерализма. Я говорил уже однажды, что игра эта может принести пользу правому делу, но так как это — слишком прибыльная роль, то честный человек не должен браться за нее, а должен предоставлять ее другим. Как бы в насмешку над лучшими сторонами своего характера, Гейне находит удовольствие в том, что разыгрывает дипломата и превращает свои зубы в тюремную решетку своих мыслей, сквозь которую они явственно видны всякому и притом вызывают смех. Ибо в притворстве он никогда не доходит до того, чтобы скрывать, что у него есть что скрывать. Когда граф Мольтке старается втянуть его в полемику о дворянстве, он просит его оставить это намерение, ибо «как раз тогда мне каза-

лось неосторожным публично касаться в моей обычной манере этой темы, за которую так ужасно могла бы ухватиться злоба дня». Однако ни г-н фон Мольтке, ни Гейне, да и никто другой, не могли еще более усилить ту страшную ненависть к дворянству, которая существует в настоящее время и которая длится уже триста шестьдесят пять дней, помноженных на пятьдесят. Следовательно, тот, кто с горячностью собирается обсудить какой-либо вопрос, должен выждать, пока заглухнут страсти, которым он давал пищу, чтобы воспалить их снова? Правда, такова мудрость дипломатов. Гейне делает вид, будто ему известно нечто такое, что может защитить Лафайста от обвинения в участии в июньском восстании; но «вполне понятная скромность» не позволяет ему высказаться явственно. Когда Гейне таким путем достигнет сана министра, будь я проклят, если стану его личным секретарем и если окажусь в состоянии без смеха смотреть на него с утра до вечера».

Я охотно привел бы здесь две упомянутые статьи из «Réformateur», но три затруднения мешают мне это сделать: во-первых, статьи эти заняли бы слишком много места, во-вторых, ввиду того, что они написаны по-французски, я должен был бы сам перевести их, и, в-третьих, хотя я и спрашивал их в десяти cabinets de lecture,¹ я нигде не мог достать экземпляра «Réformateur», издание которого уже прекратилось. Но содержание этих статей мне все же достаточно знакомо: они заключали ядовитейшие намеки на отступничество и непоследовательность, всякие обвинения в чувственности; автор защищает от моих нападок также и католицизм и т. д. О том, чтобы мне защищаться, здесь не может быть и речи; эта книга, которая не должна быть ни апологией покойного, ни критикой, также не ставит себе целью и оправдание того, кто еще жив. Довольно того, что я сознаю честность моих желаний и моих намерений, и когда я окидываю взором мое прошлое, во мне рождается почти радостная гордость при виде той доли пути, которую я уже прошел. Ждут ли меня и в будущем такие же успехи?

Откровенно говоря, я сомневаюсь в этом. Я ощущаю страшную усталость духа; если за последнее время он мало

¹ Читальных залах (франц.).

создал, то все-таки он постоянно находился в движении. Хорошо или плохо то, что я вообще создал в жизни, об этом не будем спорить. Довольно того, что создания эти велики; я замечаю это по болезненному чувству простора в душе, из которой они вышли... И я замечаю это по ничтожеству карликов, которые стоят внизу и у которых кружится голова, когда они щурятся на эти создания... Взгляд карликов не достигает вершины, и они лишь разбивают себе носы о пьедесталы тех памятников, которые я воздвиг в литературе Европы к вечной славе немецкого духа. Вполне ли безупречны эти памятники? Неужели в них совершенно нет изъянов и недостатков? Право, я и на этот вопрос не отвечу решительным утверждением. Но те недостатки, которые находят в них маленькие люди, свидетельствуют лишь о собственной расфранченной ограниченности этих людей. Они напоминают мне маленьких парижских зевак, которые в то время, как на площади Людовика XVI устанавливался обелиск, высказывали каждый свое мнение о достоинстве или о пользе этих великих солнечных часов. По этому случаю можно было услышать забавнейшие соображения филистеров. Был чахоточно тощий портной, утверждавший, будто красный камень недостаточно тверд, чтобы долгое время сопротивляться северному климату, и что оттепель быстро его разьет, а ветер опрокинет. Беднягу звали Пти-Жан, и шил он очень плохие сюртуки, от которых ни один лоскут не доживет до потомства, а его самого уже давно закопали на кладбище Пер-Лашез. А красный камень, непоколебимый, все еще стоит на площади Людовика XVI и простоят там века, наперекор оттепели, ветру и болтовне портных!

Но самым забавным происшествием в то время, как ставился обелиск, было следующее.

На том месте, куда положили огромный камень, прежде чем окончательно его установить, было найдено несколько маленьких скорпионов, которые, вероятно под влиянием солнечной жары, уже здесь, в Париже, вылупились из скорпионовых яиц, привезенных из Египта в упаковке обелиска. И вот по поводу этих скорпионов зевачи подняли страшнейший крик и покрыли проклятиями великий камень, подаривший Франции ядовитых скорпионов, это новое народное бедствие, от которого, мол, будут страдать и дети и внуки... И они уложили в коробку маленьких

чудовищ и отнесли их к commissaire de police¹ квартала Магдалины, где сразу же был составлен по этому поводу procès verbal,² да и нельзя тут было медлить, потому что бедные зверюшки сдохли через несколько часов...

Когда воздвигают великий обелиск духа, тоже могут обнаружиться всякого рода скорпионы, ядовитые мелкие зверьки, — они, может быть, тоже родом из древнего Мипраима и тоже скоро умрут и будут позабыты, а великий памятник все будет стоять, величавый и непоколебимый, на удивление потомкам.

Все же что-то странное есть в этом Луксорском обелиске, который французы перенесли из древнего Мипраима и в виде украшения водрузили посреди той страшной площади, где 21 января 1793 года они справили торжество, порывая с прошлым. Французы, по свойственному им легкомыслию, воздвигли здесь памятник, произносящий, быть может, проклятие всякому, кто покусится на священную главу фараона!

Кто разгадает этот голос былых времен, эти древние пероглифы? В них заключено, быть может, не проклятие, а рецепт от язвы нашего времени! О, если бы кто-нибудь их прочел! Если бы кто-нибудь произнес их, эти спасительные слова, вырезанные на камне... Быть может, здесь написано, где струится таинственный источник, из которого должно напиться человечество, чтобы получить исцеление, где таится живая вода, о которой кормилица столько рассказывала нам в старых сказках и по которой мы, больные старцы, так тоскуем теперь. Где течет та живая вода? Мы ищем, ищем...

Ах, немало времени пройдет еще, прежде чем мы откроем великое целительное средство; до тех пор еще долго придется томиться в мучительном недуге, и будут появляться всякие шарлатаны с домашними средствами, которые только усугубляют зло. Прежде всего придут радикалы и пропишут радикальное лечение, которое в конце концов производит только наружное действие и в лучшем случае уничтожает струпию на теле общества, но не внутреннюю его гнилость. Если бы им и удалось на короткий срок избавить страждущее человечество от его самых жгучих мук,

¹ Полицейскому комиссару (франц.).

² Протокол (франц.).

то это удалось бы лишь за счет последних остатков красоты, до сих пор уцелевших у пациента; с одра болезни он подымется безобразный, как исцелившийся филистер, и всю жизнь будет таскаться в безобразном больничном халате, в пепельно-сером костюме равенства. Вся унаследованная радость, вся прелесть, все благоухание цветов, вся поэзия будут выкачаны из жизни, и не останется в ней ничего, кроме Румфордовой похлебки утилитаризма. В общественной жизни наших новых пуритан красоте и гению не найдется места, и их подвергнут оскорблениям и гнету гораздо более прискорбному, чем при старом государственном строе. Ибо красота и гений — тоже ведь нечто вроде королевской власти, и с ними не мирится то общество, где каждый, тяготясь сознанием собственной посредственности, стремится всякое высшее дарование низвести до общего пошлого уровня.

Короли уходят, и с ними уходят последние поэты. «Поэту место рядом с королем» — теперь этим словам надо было бы придать совершенно новый смысл. Если бы не вера в авторитеты, ни один великий поэт не мог бы приобрести свое значение. Как только беспощадные лучи прессы начнут освещать его частную жизнь, а газетная критика примется точить его слова и копошиться в них, — песня поэта уже больше не сможет внушать должного уважения к себе. Когда по улицам Вероны проходил Данте, народ пальцами показывал на него и шептал: «Он был в аду!» Иначе как бы удалось ему столь верно изобразить ад со всеми его муками? И куда более глубокое впечатление должны были производить в такую благоговейно религиозную эпоху рассказы Франчески да Римини и Уголино и все те страдальческие образы, что родились в душе великого поэта...

Нет, они не только родились в его душе, — он не выдумал их, — он их пережил, он их чувствовал, он их видел, осязал, он в самом деле был в аду, он был в городе осужденных... Он был в изгнании!..

Суровое будничное расположение ума современных пуритан распространяется уже по всей Европе, точно серый сумрак, предшествующий глухой зимней поре... Что значат бедные соловьи, мелодические рыдания которых вдруг раздались в лесу немецкой поэзии, полные такой муки и в то же время такой прелести, как некогда

раньше? Они поют печальное прости! Последние нимфы, которых порадило христианство, ищут прибежища в самой глухой чаще. В каком грустном состоянии они явились мне там прошлой ночью!..

Как будто страдания действительности еще недостаточно мучительны, — меня терзают еще и злые ночные видения... Соп пестрыми письменами рисует передо мной ту великую муку, которую я хотел бы скрыть от себя и о которой при свете дня я едва смею говорить трезвым языком понятий...

Прошлой ночью мне снился большой дикий лес, спилась хмурая осенняя ночь. В большом диком лесу, среди высоких, подымающихся до неба деревьев, попадались порой прогалины, покрытые, впрочем, призрачно-белым туманом. То тут, то там сквозь густой туман меня приветствовали лесные костры. Приближаясь к одному из них, я заметил какие-то темные тени, двигавшиеся вокруг огня; но только подойдя совсем близко, я отчетливо мог различить стройные фигуры и скорбно-преlestные лица. То были прекрасные нагие женщины, подобные нимфам, которых мы видим на сладострастных картинах Джулио Романо, — там они, в цвете своего юного великолетия, лежат под зеленой сенью летней листвы и веселятся, полные грации... Ах! Взору моему здесь представилось не столь радостное зрелище! Женщины моего сна, хотя и украшенные волшебной прелестью вечной юности, все же являли признаки тайного разрушения, поразившего и тело и дух; тела их по-прежнему очаровывали чудесной соразмерностью, но их высушил и выморозил холод бедствия, и даже на лицах, несмотря на смеющееся легкомыслие, вздрагивали следы бездонно глубокой скорби. И вместо того чтобы возлежать на пышном дерне, как нимфы Джулио, они сидели на голой земле под сенью дубов, наполовину лишенных листвы, и вместо влюбленных солнечных лучей их обдавали мутные пары сырой осенней ночи... По временам одна из этих красавиц вставала, выхватывала из костра пылающую головню, махала ею, словно тирсом, над своей головой и пыталась стать в одну из тех бессмысленных танцевальных поз, которые мы видали на этрусских вазах... Но, словно одолеваямая усталостью и холодом ночи, она с печальной улыбкой снова опускалась к потрескивавшему огню. Одна из этих

женщин наполнила мое сердце каким-то особенным, почти сладострастным состраданием. Стан ее был высок, руки же, ноги, грудь и щеки были еще гораздо более худые, чем у прочих, но это производило не отталкивающее, а волшеббно-привлекательное впечатление. Я не знаю, как это случилось, но не успел я очнуться, как уже сидел рядом с нею у огня, согревая жаром моих губ руки ее и ноги, дрожавшие от холода; играл я и черными влажными ее косами, спадавшими на лицо с греческим прямым носом и на нежно-холодную, по-гречески непышную грудь... Да, волосы ее почти сверкали чернотой, так же как и брови, сливавшиеся друг с другом в великолепной черпоте и придававшие ее взгляду странное выражение томной дикости. «Сколько лет тебе, несчастное дитя?» — спросил я ее. «Не спрашивай меня о летах, — ответила она со смехом, не то унылым, не то дерзким. — Если я и убавлю себе возраст на одно тысячелетие, я все же окажусь достаточно старой! Но делается все холоднее, меня клонит ко сну, и если вместо подушки ты предоставишь мне колено, то крайне обяжешь твою покорную служанку...»

И вот, пока она лежала у меня на коленях и дремала, а порой, как умирающая, хрипела во сне, подружки ее шепотом вели всякие разговоры, из которых я мало что понял, ибо греческие слова они произносили совсем не так, как учил меня учитель в школе, а потом старик Вольф... Я только мог понять, что они жалуются на трудные времена, опасаются еще новой перемены к худшему и собираются уйти еще дальше в лес... Вдруг вдалеке поднялся крик, раздались грубые голоса черни... Они кричали, не помню уже что... Тут же хихикал католический колокольчик... И прекрасные лесные девы на моих глазах становились все бледнее и тоньше, пока, наконец, вовсе не растаяли в тумане и сам я не проснулся, зевая.

СТАТЬИ
1836—1844 годов



«ГУГЕНОТЫ» МЕЙЕРБЕРА

П а р и ж, 1 марта [1836 г.]. Для парижского большого света вчера был знаменательный день: в опере давали первое представление долгожданных «Гугенотов» Мейербера, а Ротшильд давал первый бал в новом особняке. Я хотел в один вечер насладиться и тем и другим торжеством и так устал, что все еще словно одурманен; мысли и образы кружатся в моей голове, и я оглушен и утомлен настолько, что почти не могу писать. О какой бы то ни было оценке еще не может быть и речи. «Роберта-Дьявола» нужно было прослушать раз десять, чтобы проникнуться всей красотой этого шедевра. А в «Гугенотах», как уверяют ценители искусства, Мейербер достиг еще большего совершенства формы, еще более виртуозного выполнения деталей. Он величайший из современных контрапунктистов, величайший художник в музыке; теперь он выступает как творец совершенно новых форм, он создает новые формы в мире звуков; он создает также и новые мелодии, совершенно необычайные, и не в анархическом изобилии, а там, где хочет и когда хочет, в том месте, где они нужны. Этим он и отличается от других гениальных музыкантов, у которых богатство мелодий, в сущности, изобличает недостаток мастерства, так как они, увлеченные потоком своих мелодий, скорее подчиняются музыке, чем повелевают ей. Совершенно правильно сравнивали вчера в фойе Оперы понимание искусства у Мейербера и Гете. Только в противоположность Гете у нашего гениального маэстро любовь к своему искусству, к музыке, приняла столь

страстный характер, что почитатели часто опасаются за его здоровье. К этому человеку действительно применима восточная притча о свече, которая, светя другим, сама сгорает. Он заклятый враг всего немusыкального, всех диссонансов, всякого рева, всякого писка, и об его антипатии к кошкам и кошачьим концертам рассказывают забавнейшие вещи. Одна близость кошки может выгнать его из комнаты, даже довести до обморока. Я убежден, что, если бы это потребовалось, Мейербер умер бы во имя музыкальной фразы, как другие умирают во имя догмата веры. Да, я того мнения, что, если бы в день страшного суда архангел затрубил фальшиво, то Мейербер был бы способен остаться спокойно лежать в могиле и не принял бы участия во всеобщем воскресении из мертвых. Благодаря своему энтузиазму, а также и своей личной скромности, благородству и доброте он, конечно, победит ту небольшую оппозицию, которая, будучи вызвана колоссальным успехом «Роберта-Дьявола», имела достаточно времени, чтобы сплотиться, и, конечно, на этот раз, при новом триумфальном шествии, заведет свои самые злобные песни. Пусть вас поэтому не удивляет, если несколько резких фальшивых нот раздастся среди общего хора одобрений. Владелец нотной лавки, не ставший издателем новой оперы, будет центром этой оппозиции, и к нему примкнет несколько музыкальных светил, давно угасших или никогда не всходивших. Удивительное зрелище представляла собой вчера вечером элегантнейшая, празднично разодетая парижская публика, которая собралась в большой оперный зал в трепетном ожидании, с почтительной серьезностью, почти с благоговением. Все сердца, казалось, были потрясены. То была музыка. А затем — ротшильдовский бал. Так как я покинул его только сегодня, в четыре часа утра, и еще не спал, то я слишком утомлен, чтобы дать вам отчет о месте этого праздника, о новом дворце, построенном совершенно в духе Ренессанса, и о публике, осматривавшей его. Эта публика, как и всегда на ротшильдовских вечерах, состояла из аристократических знаменитостей, которые импонировали громкими именами или высоким положением, а женщины прежде всего красотой и нарядами. Что до дворца и его убранства, то здесь собрано все, что мог собрать дух шестнадцатого века и оплатить кошелек девятнадцатого; здесь гений изобрази-

тельного искусства состязался с гением Ротшильда. В течение двух лет непрерывно шла постройка и отделка дворца; говорят, суммы, затраченные на него, огромны. Г-н фон Ротшильд только улыбается, когда его об этом спрашивают. Это Версаль денежного абсолютизма. Тем не менее вкусу, с которым все выполнено, приходится удивляться в такой же мере, как и богатству отделки. Украшением дворца руководил г-н Дюпоншель, и все свидетельствует о его хорошем вкусе. В целом, как и в частности, сказывается также и тонкое чутье хозяйки дома: она не только одна из самых красивых женщин Парижа, но одарена умом и знаниями и практически занимается изобразительным искусством, а именно — живописью. Ренессанс, как назвали эпоху Франциска I, стал теперь модой в Париже. Вся мебель, все костюмы — во вкусе того времени; у иных это превращается даже в манню. Что означает эта внезапно пробудившаяся страсть к той эпохе пробудившегося искусства, пробудившейся жизнерадостности, пробудившейся любви к разумному в форме прекрасного? Быть может, в нашей эпохе заложены известные тенденции, которые и проявляются в этой склонности.



ВВЕДЕНИЕ К «ДОН-КИХОТУ»

«Жизнь и подвиги остроумного рыцаря Дон-Кихота Ламанчского, описанные Мигелсм Сервантесом де Сааведра», были первой книгой, прочитанной мной в ту пору, когда я вступил уже в разумный детский возраст и до известной степени постиг грамоту. Я еще хорошо помню, как я однажды ранним утром тайком убежал из дому в дворцовый сад, чтобы без помехи почитать «Дон-Кихота». Был чудесный майский день; в свете тихого утра зацвела, чутко насторожившись, весна и слушала, как соловей, ее сладкозвучный льстец, пел ей хвалу; а свою хвалебную песнь пел он так ласкающе нежно, так томно вдохновенно, что самые стыдливые почки раскрылись, порывистее стали поцелуи сладострастных трав и благоухающих солнечных лучей, и деревья и цветы дрожали от восторга. А я уселся на мшистой каменной скамье в так называемой Аллее Вздохов, близ водопада, и стал тешить свое юное сердце доблестными приключениями отважного рыцаря. В детской своей простоте я все принимал за чистую монету; какие бы смешные шутки судьба ни играла с бедным героем, я был уверен, что так оно и должно быть, что все это связано с геройством — и насмешки и телесные раны; насмешки меня настолько же огорчали, насколько я живо чувствовал в душе боль от ран. Я был ребенок, и мне неведома была ирония, которую бог вдохнул в мир, а великий поэт отразил в своем печатном миреке. Я проливал горькие слезы, когда благородному рыцарю за все его благородство платили только неблагодарностью и

побоями; и так как я, неискушенный в чтении, произносил каждое слово вслух, то птицы и деревья, ручей и цветы слышали все, и так как эти невинные создания природы, подобно детям, ничего не знают о мировой иронии, то и они также принимали все за чистую монету и проливали вместе со мной слезы над страданиями несчастного рыцаря; один старый заслуженный дуб даже рыдал, а водопад сильнее потрясал своей седой гривой и, казалось, выражал негодование на испорченность мира. Мы чувствовали, что геройский дух рыцаря заслуживает не меньшего восхищения оттого, что лев, не имея желаяния сражаться, повернул ему спину и что его подвиги тем достохвальнее, чем слабее и худощавее его тело, чем более ветхы доспехи, его защищавшие, и чем плачевнее кляча, на которой он ехал. Мы презирали низкую чернь, так грубо расправлявшуюся с бедным героем, но еще более презирали чернь знатную, которая, щеголяя пестрым шелком плащей, изысканными оборотами речи и герцогскими титулами, издевалась над человеком, столь бесконечно превосходящим ее силой духа и благородством. Рыцарь Дульсинея поднимался все выше в моих глазах и все больше завоевывал мою любовь по мере того, как я читал удивительную книгу, а занимался я этим чтением все в том же саду, так что осенью я дошел уже до конца всей истории; и никогда я не забуду дня, когда прочел о злосчастном поединке, в котором рыцарю суждено было претерпеть столь позорное поражение.

То был пасмурный день; отвратительные дождевые тучи тянулись в сером небе, желтые листья горестно падали с деревьев, тяжелые капли слез повисли на последних цветах, безнадежно увядших и уныло клонивших умирающие головки, соловьи давно замолкли, все являло мне образ тленности, и сердце мое готово было разорваться, когда я читал о том, как благородный рыцарь, оглушенный и весь смятый, лежал на земле и, не поднимая забрала, словно из могилы, говорил победителю слабым, умирающим голосом: „Дульсинея — прекраснейшая женщина в мире, и я — несчастнейший рыцарь на земле, но не годится, чтобы слабость моя отвергла эту истину, — вонзайте копьё, рыцарь!“

Ах! Этот светозарный рыцарь Серебряного Месяца, победивший храбрейшего и благороднейшего в мире человека, был перседетый цирюльник!»

Вот уже восемь лет, как я написал эти строки для четвертой части «Путевых картин», в которых изобразил впечатление, вызванное в моей душе задолго до того чтением «Дон-Кихота». О небо, как быстро пролетели годы! Мне кажется, будто я только накануне дочитал до конца книгу в Аллее Вздохов дюссельдорфского дворцового парка, и сердце мое все еще потрясено восторгом перед подвигами и страданиями великого рыцаря. Оставалось ли мое сердце все это время постоянным, или, совершив чудесный круговорот, оно возвратилось к чувствам детской поры? Вероятнее, что случилось последнее, ибо, помнится, каждые пять лет моей жизни я перечитывал «Дон-Кихота» с различными сменявшимися друг друга впечатлениями. Когда я достиг юношеского расцвета, и неопытными руками шарил в розовых кустах жизни, и цеплялся за высочайшие скалы, чтобы быть поближе к солнцу, а по ночам грезил об орлах да чистых девах, тогда «Дон-Кихот» представлялся мне весьма безотрадною книгой, и если она попадалась мне на пути, я с раздражением отодвигал ее в сторону. Позже, когда я созрел и превратился в мужа, я уже до известной степени примирился со злополучным защитником Дульсиней и начал над ним посмеиваться. «Глупый малый», — говорил я. Однако странное дело: во всех жизненных скитаниях меня преследовали сумрачные тени тощего рыцаря и его жирного оруженосца, в особенности же когда я оказывался на опасном распутье. Так, припоминая, когда я однажды утром во время моего путешествия во Францию очнулся в экипаже от лихорадочной полудремоты, я увидел, что в утреннем тумане рядом со мною скачут две столь хорошо знакомые фигуры: по правую руку от меня был Дон-Кихот Ламанчский на своем абстрактном Росинанте, а по левую руку — Санчо Панса на своем позитивном ослике. Мы только что добрались до французской границы. Благородный ламанчец благоговейно склонил голову перед трехцветным флагом, который развевался нам навстречу с высокого пограничного столба; добрый же Санчо приветствовал несколько более сдержанным кивком первых показавшихся невдалеке французских жандармов, затем оба друга стремительно поскакали вперед, я потерял их из виду, и лишь изредка еще слышалось мне вдохновенное ржание Росинанта и поддакивающие крики осла.

Как мне представлялось в то время, смешное в донкихотстве заключается в том, что благородный рыцарь пытается оживить давно отжившее прошлое, и в том, что между его бедным телом, в особенности спиною, и фактами современности возникли болезненные трения. Ах, я познал с тех пор, каким неблагодарным безрассудством является также и попытка слишком рано ввести будущее в настоящее, если к тому же в этой схватке с тяжеловесными интересами сегодняшнего дня обладаешь только очень тощей клячей, очень ветхими доспехами и столь же немощным телом!

Как перед первым, так и перед вторым видом донкихотства мудрец лишь покачивает своею рассудительной головою. Однако Дульсинея Тобосская — все-таки самая прекрасная женщина в мире; хотя я и лежу беспомощный на земле, все же я никогда не отрекнусь от этого утверждения, и я не могу иначе: колите меня копьями, вы, серебряные рыцари Месяца, вы, переодетые цирюльничьи подмастерья!

Какая основная мысль руководила великим Сервантесом, когда он писал свою великую книгу? Хотел ли он только нанести сокрушительный удар рыцарским романам, чтение которых было до такой степени распространено в его время в Испании, что перед ними оказывались бессильными церковные и светские предписания? Или он задумал выставить в смешном виде все вообще проявления человеческого энтузиазма, и прежде всего — героизм служителей меча? Он явно стремился дать всего лишь сатиру на упомянутые романы, показать их нелепость и предать их всеобщему осмеянию, а значит, и уничтожить их. И это удалось ему самым блистательным образом: ибо того, чего не удалось добиться ни увещаниями с церковной кафедры, ни угрозами светской власти, — того скромный писатель достиг с помощью пера: он так основательно разгромил рыцарские романы, что вскоре после появления «Дон-Кихота» по всей Испании исчез вкус к произведениям этого рода и ни одно из них с тех пор не выходило из печати. Но перо гения всегда больше самого гения, оно всегда достигает гораздо дальше, чем это предполагалось в его замыслах, обусловленных временем, и Сервантес, сам того ясно не сознавая, написал величайшую сатиру на человеческую восторженность. Ни на миг не подозревая этого, он сам — герой, большую часть своей жизни

проведший в рыцарских походах и еще в преклонном возрасте радовавшийся тому, что ему довелось сражаться в битве при Лепанто, хотя он и заплатил за эту честь утратою левой руки.

О личности и обстоятельствах жизни писателя, создателя «Дон-Кихота», биограф может сообщить лишь немногое. Мы мало проигрываем от отсутствия этих данных, которые обычно выуживаются у соседских кумушек. Они видят только оболочку; мы же видим самого человека, его подлинный, правдивый, никем не оклеветанный образ.

Он был красивый, сильный человек, дон Мигель Сервантес де Сааведра. У него был высокий лоб, у него было сердце, вмещавшее многое. Изумительной была чудодейственная сила его взгляда. Подобно тому как бывают люди, взор которых проникает сквозь землю и видит погребенные в ней сокровища или мертвецов, — так взор великого поэта проникал в людские сердца и отчетливо видел все, что в них погребено. Для добрых взгляд его был как солнечный луч, радостно озаряющий то, что сокрыто внутри; для злых взгляд его был мечом, беспощадно рассекавшим их чувства. Его взгляд пытливо проникал в человеческую душу и беседовал с нею; если же она отказывалась отвечать, он подвергал ее мучениям, и душа, истекая кровью, лежала на скамье пыток, в то время как ее телесная оболочка, быть может, притворялась снисходительно-высокомерной. Не удивительно, что из-за этого очень многие стали относиться к нему недоброжелательно и лишь поохотно и скупно помогали ему на жизненном его пути! И он так и не достиг ни высокого звания, ни благосостояния, и из всех своих многотрудных страствований не принес домой ни единой жемчужины — одни только пустые раковины. Говорят, он не знал настоящей цены деньгам, но, уверяю вас, он очень хорошо знал настоящую цену денег, коль скоро они у него кончались. Однако он никогда не ценил их так высоко, как свою честь. У него были долги, и первый параграф сочиненной им хартии, которую Аполлон будто бы даровал поэтам, гласит: если поэт утверждает, что у него нет денег, то ему следует верить на слово и не требовать клятвы. Он любил музыку, цветы и женщин. Однако из-за любви к последним ему подчас тоже приходилось очень худо, в особенности когда он был молод. Могло ли сознание будущего величия

достаточно утешить его в юности, когда презрительные розы ранили его своими шипами? Однажды, в конце летнего солнечного дня, он, юный щеголь, отправился погулять по берегу Тахо с шестнадцатилетней красавицей, которая неустанно трунила над его нежностями. Солнце еще не зашло, оно еще пылало в золотом великолепии, но месяц уже стоял высоко на небе, тщедушный и бледный, точно облачко. «Видишь, — сказал молодой поэт своей возлюбленной, — видишь там, наверху, этот маленький бледный кружок? Река здесь, рядом с нами, в которой он отражается, как будто только из милости несет его жалкий образ на своих гордых струях, и кудрявые волны иной раз насмешливо кидают его к берегу. Но пускай только померкнет старый день! Едва наступит темнота, в вышине запылает тот бледный кружок все прекраснее и прекраснее, вся река засветится его лучами, и волны, прежде столь высокомерно-презрительные, теперь затрепещут при виде блестящего светила и сладострастно потекут ему навстречу!»

Историю жизни поэтов следует искать в их произведениях, и только в них можно найти их сокровеннейшие признания. Всюду, в драмах еще отчетливее, чем в «Дон-Кихоте», мы видим, что Сервантес, как я уже упомянул, был долгое время солдатом. В самом деле, римское изречение: «Жить — значит воевать», применимо к нему вдвойне. В качестве рядового солдата участвовал он в большей части тех диких турниров, которые король Филипп II, во славу божью и ради собственной забавы, устраивал во всех странах света. То обстоятельство, что Сервантес посвятил всю свою юность величайшему из поборников католицизма, что он лично сражался за католические интересы, дает возможность предполагать, что эти интересы были дороги и близки также и его сердцу, и опровергает широко распространенное мнение, будто только страх перед инквизицией удерживал его от того, чтобы коснуться в «Дон-Кихоте» современных ему протестантских идей. Нет, Сервантес был верный сын католической церкви, и в рыцарских битвах за ее благословенное знамя не только тело его истекало кровью, — всюю своею душою он переносил за нее тягчайшую пытку во время многолетнего плена у неверных.

Случаю обязаны мы большинством подробностей о том, как вел себя Сервантес в Алжире, и тут в великом поэте мы

познаем столь же великого героя. История его плена находится в вопиющем противоречии с мелодичной ложью того лощеного эпикурейца, который уверил Августа и всех немецких школяров, будто он поэт и будто все поэты трусы. Нет, истинный поэт — в то же время истинный герой; в его груди живет терпение — второе мужество, как говорят испанцы. Нельзя себе представить более возвышенное зрелище, чем образ этого благородного кастильца, попавшего в рабство к алжирскому дею, вечно думающего об освобождении, неутомимо подготовляющего свой смелый план, спокойно глядящего в лицо всем опасностям и, когда затея рушится, готового скорее снести смерть и пытку, чем хотя бы единым словом выдать своих соучастников. Кровожадный властитель его тела обезоружен таким благородством и добродетелью, тигр щадит скованного льва и трепещет перед страшным одноруким, которого он мог бы послать на смерть единым своим словом. Под кличкой «Однорукий» Сервантеса знает весь Алжир, и дей признается, что он спит спокойно и уверен в спокойствии города, армии и рабов только тогда, когда знает, что однорукий испанец находится под надежной охраной.

Я упомянул, что Сервантес был всегда рядовым солдатом; но так как ему удалось отличиться даже в столь подчиненном положении и он стал известен своему великому военачальнику дону Хуану Австрийскому, то, когда он задумал возвратиться из Италии в Испанию, ему были даны самые лестные рекомендательные письма к королю, с настойчивыми пожеланиями, чтобы он был повышен в чине. Когда же алжирские корсары, захватившие его в плен на Средиземном море, увидели эти письма, они приняли его за персону чрезвычайно значительного ранга и поэтому потребовали такой большой выкуп, что семья не могла его собрать, несмотря на все старания и жертвы, и неволя бедного поэта оказалась поэтому особенно долгой и мучительной. Таким образом, даже признание его доблестей явилось для него только новым источником бед, и так до конца дней издевалась над ним эта жестокая женщина, богиня Фортуна, никогда не прощающая гению, что он и без ее покровительства может достигнуть чести и славы.

Но разве несчастье гения всегда только дело слепого случая, или оно вытекает, как неизбежность, из внутренней его природы и из природы того, что его окружает?

Вступает ли душа его в борьбу с действительностью или суровая действительность сама начинает неравную борьбу с его благородною душою?

Общество — это республика. Если отдельная личность выдвигается, масса гонит ее назад насмешками и злословием. Никто не должен быть добродетельнее и умственнее одареннее остальных. Но кто непреклонной силою гения будет вознесен над обычным шаблоном, того постигнет остракизм; общество преследует его такими беспощадными насмешками и клеветой, что ему в конце концов приходится удалиться в одиночество своей мысли.

Да, общество по самой сущности своей является республиканским. Ему ненавистно всякое превосходство — духовное не менее, чем материальное. Материальное превосходство чаще, чем это обычно подозревают, является опорой для духовного. Разве мы сами не пришли к этому убеждению вскоре после Июльской революции, когда республиканский дух проявился во всех общественных взаимоотношениях? Лавры великого поэта были столь же ненавистны нашим республиканцам, как и пурпур великого короля. Они хотели уничтожить также духовные различия между людьми, и, поскольку они считали все идеи, возникающие на территории государства, общим гражданским достоянием, им не оставалось ничего другого, как декретировать также равенство стилей. В самом деле, хороший стиль стал предметом нападок как нечто аристократическое, и нам много раз приходилось слышать утверждение: «Истинный демократ пишет как народ, — искренне, просто и скверно». Большинству деятелей движения это не стоило труда, но не всякому дано писать плохо, в особенности если давно уже приобретена привычка писать хорошо, и тут-то поднимался крик: «Это аристократ, любитель формы, друг искусства, враг народа». Само собою разумеется, кричавшие были искренни, подобно святому Иерониму, который считал свой хороший стиль грехом и жестоко бичевал себя за него.

В «Дон-Кихоте» мы находим так же мало антиабсолютистских, как и антикатолических тенденций. Критики, которые чуяли в нем нечто подобное, явно заблуждались. Сервантес был сын школы, которая даже в поэзии идеализировала безусловное послушание высшей власти. И этою высшею властью был испанский король той эпохи, когда

его величие озаряло блеском своим весь мир. Рядовой солдат чувствовал на себе свет этого величия и легко жертвовал своей индивидуальной свободой ради такого удовлетворения кастильской национальной гордости.

Политическое величие Испании в то время, вероятно, немало возвышало и расширяло душу ее писателей. Как и во владениях Карла V, в душе такого испанского поэта солнце не заходило никогда. Дикие войны с морисками закончились, и, как цветы сильнее всего благоухают после бури, так и поэзия расцветает обычно богаче всего после гражданской войны. То же явление видим мы в Англии, в эпоху Елизаветы; одновременно с Испанией там возникла поэтическая школа, наталкивающая на примечательные сопоставления. Там лучший цвет школы видим мы в Шекспире, здесь — в Сервантесе.

Как испанские поэты при трех Филиппах, так и английские при Елизавете обладают своего рода фамильным сходством, и ни Шекспир, ни Сервантес не могут претендовать на оригинальность в нашем смысле. Они отличаются от своих современников отнюдь не особыми чувствами и мыслями или особой формой изображения, а лишь более значительной глубиной, задушевностью, нежностью и силою; их произведения более пропитаны и овеяны поэзией.

Но оба поэта — не только лучшие цветы своего времени, — они также корни будущего. Как в Шекспире, вследствие влияния его произведений главным образом на Германию и на нынешнюю Францию, мы видим основателя позднейшего драматического искусства, так и в Сервантесе мы почитаем основателя современного романа. По этому поводу я позволю себе несколько беглых замечаний.

Роман более раннего времени, так называемый рыцарский роман, возник из поэзии средневековья; вначале он был просто прозаической переработкой тех эпических поэм, герои которых принадлежали к циклу сказаний о Карле Великом и святом Граале; содержание всегда составляли рыцарские приключения. Это был роман дворянства, и действующими лицами в нем были либо сказочные образы фантазии, либо рыцари с золотыми шпорами; нигде ни намека на народ. Эти-то рыцарские романы, выродившиеся в самые нелепые формы, Сервантес и уничтожил своим «Дон-Кихотом». Но, создавая сатиру, которая по-

хоронила роман более ранней эпохи, он сам дал образец новой разновидности литературы, которую мы называем современным романом. Так обычно поступают великие поэты: разрушая старое, они одновременно закладывают основание нового; они никогда не отрицают, не утверждая. Сервантес положил начало новому роману, введя в рыцарский роман правдивое изображение низших классов, влив в него народную жизнь. Склонность описывать быт самой низменной черни, самого отверженного сброда свойственна не одному только Сервантесу, но всей современной ему литературе, и она проявляется как у поэтов, так и у художников тогдашней Испании; какой-нибудь Мурильо, похитивший у неба самые священные краски, которыми он писал своих чудесных мадонн, с такою же любовью воспроизводил и самые грязные явления нашей земли. Быть может, восторженная любовь к искусству как таковому заставляла этих благородных испанцев испытывать одинаковое наслаждение от правдивого воспроизведения мальчишки-нищего, ищущего у себя вшей, и от изображения пресвятой девы. Или, может быть, очарование контраста побуждало как раз знатнейших дворян, такого лощеного придворного, как Кеведо, или такого могущественного министра, как Мендоса, писать романы из жизни одетых в лохмотья нищих и проходимцев; быть может, с помощью фантазии они хотели перенестись из однообразия своей сословной среды в противоположную сферу жизни; подобную же потребность мы находим у иных немецких писателей, которые заполняют свои романы только изображением высшего света и неизменно делают своих героев графами и баронами. У Сервантеса мы еще не находим этой односторонней тенденции — изображать низменное совершенно обособленным; он только перемешивает возвышенное с низменным, одно служит для того, чтобы оттенить или осветить другое, и дворянский элемент представлен у него в такой же мере, как и народный. Но этот дворянский, аристократический, рыцарский элемент совершенно исчезает в романе англичан, которые раньше других начали подражать Сервантесу и до сего дня видят в нем образец. Они все — прозаические натуры, эти английские романисты со времен царствования Ричардсона, чопорный дух их эпохи восстает против всякого крепкого и здорового изображения обыкновенной пародной жизни,

и мы видим, как по ту сторону канала возникают мещанские романы, в которых, точно в зеркале, отражается пресная, будничная жизнь буржуазии. Английская публика до последнего времени утопала в этом жалком чтиве, пока не выступил великий шотландец, который произвел в романе революцию, или, вернее говоря, реставрацию. Подобно тому как Сервантес ввел в роман именно демократический элемент в те времена, когда в нем господствовало начало односторонне рыцарское, так и Вальтер Скотт снова возвратил роману элемент аристократический, когда последний полностью угас в нем и царило одно лишь прозаическое мещанство. С помощью противоположного метода Вальтер Скотт возвратил роману ту прекрасную пропорциональность, которой мы восхищаемся в «Дон-Кихоте» Сервантеса.

Мне кажется, что эта заслуга второго великого поэта Англии никогда еще не была отмечена. Его торийские тенденции, его пристрастие к прошлому были благотворны для литературы, для тех образцовых произведений его гения, которые повсюду вызывали сочувствие и подражание и оттеснили бесцветные схемы мещанского романа в темные углы общественных библиотек. Ошибочно не признавать Вальтер Скотта истинным основателем так называемого исторического романа и приписывать последнему немецкое происхождение. Как можно забыть о том, что характерная черта исторического романа как раз и состоит в гармонии аристократического и демократического элементов; что Вальтер Скотт прекраснейшим образом восстановил эту гармонию, нарушенную во время единовластия демократического элемента, путем восстановления аристократического элемента, между тем как наши немецкие романтики совершенно отбросили в своих романах демократический элемент и возвратились в нелепую колею рыцарского романа, процветавшего до Сервантеса. Наш де ла Мотт-Фуке — не что иное, как последыш тех поэтов, которые произвели на свет «Амадиса Галльского» и тому подобные чудеса, и я удивляюсь не только таланту, но и мужеству, с каким этот благородный барон сочинял свои рыцарские романы двести лет спустя после появления «Дон-Кихота». Свообразна была та эпоха в Германии, когда эти романы появились на свет и с удовольствием были приняты публикой. Что означала в литературе эта

страстная любовь к рыцарству и к картинам старого феодального времени? Мне думается, немецкому народу захотелось навсегда проститься со средневековьем; но, расчувствовавшись, — а это так легко случается с нами, — мы решили расцеловаться с ним на прощанье. Мы в последний раз прижались губами к старым надгробным камням. Правда, многие из нас повели себя в высшей степени глупо. Людвиг Тик, сладчайший адепт этой школы, выкопал из могилы давно умерших предков и принялся качать их гроб, словно люльку, напевая при этом с бессмысленным детским лепетом: «Спи, дедушка, спи!»

Я назвал Вальтер Скотта вторым великим поэтом Англии, а его романы — мастерскими произведениями. Но величайшую хвалу я хотел уделить только его гению. Сами же его романы я бы ни в коем случае не решился сравнить с великим романом Сервантеса. Сервантес превосходит его эпическим духом. Это был, как я уже упомянул, католический поэт, и подобному качеству своему он, быть может, обязан тем огромным эпическим душевным спокойствием, которое, подобно хрустальному небосводу, высится над его многоцветными произведениями: нигде ни единой трещины сомнения. К этому надо было бы еще добавить спокойствие испанского национального характера. А Вальтер Скотт принадлежит церкви, которая даже божественные дела подвергает строгой дискуссии; как адвокат и шотландец, он привык к действию и дискуссии, и как в складе его ума и в жизни его, так и в его романах преобладает драматический элемент. Поэтому его произведения нельзя ни в коем случае рассматривать как чистые образцы той литературной формы, которую мы называем романом. Испанцам принадлежит слава создания лучшего романа, англичанам же мы должны уступить славу создания высших образцов драмы.

А немцы? В какой области остается за ними пальма первенства? Что ж, мы создали лучшие в мире песни. Ни у одного народа нет таких прекрасных песен, как у немцев. Нынче у народов слишком много политических дел; но когда с ними будет покончено, — тогда мы, немцы, бритты, испанцы, французы, итальянцы, — все мы уйдем в зеленый лес, и будем петь, и нашим арбитром пускай будет соловей. Я убежден, что в этом состязании певцов первую награду завоеует песня Вольфганга Гете.

Сервантес, Шекспир и Гете составляют триумвират поэтов, создавших величайшие образцы в трех родах поэтического творчества — эпическом, драматическом и лирическом. Быть может, пишущий эти строки имеет особое право восхвалять нашего великого соотечественника как совершеннейшего мастера песенной поэзии. Гете стоит посредине между двумя видами перерождения песни, между теми двумя школами, из которых первая связана, к сожалению, с моим собственным именем, а другая — со Швабией. Обе эти школы, конечно, не лишены заслуг: они косвенным образом содействовали преуспеянию немецкой поэзии. Первая вызвала благотворную реакцию против одностороннего идеализма в немецкой песне, она снова вернула сознание к бодрой реальности и вырвала с корнем то сентиментальное подражание Петрарке, которое представлялось нам всегда неким лирическим донкихотством. Швабская школа также косвенно содействовала благу немецкой поэзии. Если в Северной Германии могли появиться на свет сильные, здоровые произведения, то этим мы обязаны, быть может, швабской школе, которая всосала в себя всю болезненную, худосочную, благочестиво-задушевную слякоть немецкой музыки. Штутгарт был мягким младенческим теменем немецкой музыки.

Приписывая высшие достижения в драме, в романе и в песне упомянутому великому триумвирату, я очень далек от того, чтобы умалять поэтические достоинства других великих поэтов. Нет ничего глупее вопроса: кто из поэтов более велик? Пламя есть пламя, и его вес не поддается измерению с помощью фунтов и унций. Лишь пошлый торгаш может являться со своими убогими весами, на которых развешивают сыр, и пытаться взвесить гений. Не только древние, но также и некоторые из новейших поэтов создали произведения, в которых пламя поэзии пылает так же прекрасно, как в лучших произведениях Шекспира, Сервантеса и Гете. Но все же эти три имени соединены какою-то таинственной цепью. Их создания излучают родственный дух; в них дышит вечное милосердие, подобное божьему дыханию; в них царит умеренность природы. Так же, как Шекспира, Гете постоянно напоминает и Сервантеса, и с последним он сходен, вплоть до частностей стиля, в той спокойной прозе, что расцветчена самой пленительной и безобидной иронией. Сервантес и

Гете схожи даже в своих недостатках: в пространности речи, в протяженности периодов, которые порою попадают у них и которые можно сравнить с королевскими выездами.

Нередко одна только единственная мысль сидит в таком широко растянувшемся периоде, торжественно продвигающемся вперед, подобно огромной раззолоченной придворной карете, запряженной шестью лошадьми с роскошными султанами. Но эта единственная мысль есть нечто величественное; быть может, это сам суверен.

О духе Сервантеса и о влиянии его книги я мог рассказать лишь весьма кратко. О художественном же значении его романа я еще меньше могу здесь распространяться, поскольку это заставило бы меня заняться исследованием, которое завело бы слишком далеко в область эстетики. Здесь я имею возможность лишь в самых общих чертах упомянуть о форме романа и о двух фигурах, стоящих в центре его. По форме он является описанием путешествия; эта форма искони была обычной для такого рода литературных произведений. Напомню здесь только «Золотого осла» Апулея, первый роман древности. Однообразие этой формы писатели позднейшего времени пытались устранить с помощью того, что мы нынче называем фавулой романа. Однако из-за недостатка изобретательности большинство романистов заимствовало фавулу друг у друга, по крайней мере одни из них постоянно пользовались фавулой других, с небольшими видоизменениями, и благодаря связанному с этим повторению одних и тех же характеров, ситуаций и перипетий чтение романов в конце концов порядочно надоело публике. Чтобы избавиться от скуки избитых романических фавул, пришлось обратиться на некоторое время к древнейшей первоначальной форме описания путешествий. Однако и последняя совершенно вытесняется, как только появляется оригинальный писатель с новою, свежою романическою фавулой. В литературе, как и в политике, все разворачивается по закону действия и противодействия.

Что же касается двух персонажей, именующих себя Дон-Кихотом и Санчо Пансой, беспрестанно пародирующих друг друга, но при этом так изумительно друг друга дополняющих, что вместе они образуют подлинного героя романа, то они свидетельствуют в равной мере о художест-

венном чутье и о глубине ума поэта. Если другие писатели, в романах которых герой одиноко бродит по свету, вынуждены прибегать к монологам, письмам и дневникам, чтобы передать чувства и мысли героя, то у Сервантеса повсюду фигурирует естественный диалог; и благодаря тому, что один персонаж неизменно пародирует речь другого, замысел автора проступает с особой отчетливостью. Двойной образ, сообщающий роману Сервантеса такую художественную естественность, вызывал многократные подражания; ведь из его характера, как из единого зерна, развивается весь роман, подобный индийскому дереву-исполину, со всей его буйною листвою, его душистыми цветами, сияющими плодами, обезьянами и сказочными птицами, которые покачиваются на его ветвях.

Но несправедливо было бы относить все на счет рабского подражания. Так, естественно было вывести именно два таких образа — Дон-Кихота и Санчо Пансы, из которых один, поэтический, устремляется на поиски приключений, а другой частью из преданности, частью из корысти следует за ним и в солнечные дни и в непогоду, как это часто приходится наблюдать и в жизни. Чтобы всюду под самыми разнообразными масками узнавать эту чету как в искусстве, так и в жизни, следует, разумеется, обращать внимание лишь на самое существенное в них, на их духовную сущность, а никак не на случайное в их внешних проявлениях. Примеров я мог бы привести несчетное количество. Разве мы в образах Дон-Жуана и Лепорелло не угадываем Дон-Кихота и Санчо Пансу с такою же ясностью, как, например, в фигурах лорда Байрона и его слуги Флетчера? Разве мы с такою же очевидностью не узнаем те же два типа и их взаимоотношения в фигуре рыцаря фон Вальдзее и его Каспара Ларифарн, как и в фигурах иных писателей и их издателя, который, конечно, ясно понимает сумасбродства своих авторов, но все же сопровождает их преданно во всех их идейных блужданиях, рассчитывая извлечь из этого реальную пользу. И господин издатель Санчо, хотя он и получает иной раз от этого предприятия одни туманы, все же остается неизменно жирным, между тем как благородный рыцарь день ото дня все худеет и худеет.

Однако не только среди мужчин, но и среди женщин я частенько угадывал типы Дон-Кихота и его оруженосца,

Так, мне вспоминается прекрасная англичанка, восторженная блондинка, вышедшая вместе с подружкой из лондонского пансиона для девиц и мечтавшая объехать весь свет, чтобы найти благородное мужское сердце, которое грезило ей в тихие лунные ночи. Ее подруга, коренастая брюнетка, рассчитывала при сей оказии добыть если не что-нибудь исключительно идеальное, то уж во всяком случае вполне представительного супруга. Я так и вижу блондинку, ее тоскующие по любви голубые глаза, ее стройную фигуру, вижу, как она стоит на брайтонской набережной и страстно стремится вдаль, за бушующее море, к берегам Франции... А подруга между тем пощелкивает орехи, лакомится вкусными ядрышками и кидает скорлупки в воду.

Ни в мастерских произведениях других писателей, ни в самой природе мы не находим, однако, такого точного изображения обоих упомянутых типов в их взаимоотношениях, какое дано у Сервантеса. Каждая черточка в характере и в проявлении одного из них соответствует здесь противоположной и все-таки родственной черте другого. Здесь каждая частность имеет смысл пародии. Да, даже между Росинантом и осликом Санчо господствует все тот же иронический параллелизм, что и между оружием и его рыцарем, и животные тоже являются до известной степени символическими носителями тех же идей. Господин и слуга обнаруживают самые разительные противоположности как в образе мыслей, так и в языке, и здесь я не могу не упомянуть о тех трудностях, какие пришлось преодолеть переводчику при передаче на немецкий язык неотесанной, простонародной речи доброго Санчо. Своим рубленным, нередко грубоватым языком разговор добрый Санчо в точности напоминает шута при царе Соломоне, Маркольфа, который в своих кратких изречениях тоже противопоставляет патетическому идеализму житейский опыт простонародья. Дон-Кихот, напротив, говорит языком людей образованных, языком высшего сословия, и в величавости его умело закругленной периодической речи чувствуется знатный идалго. Периоды этой речи бывают подчас слишком растянуты, и язык рыцаря становится похож на гордую придворную даму в пышном шелковом платье с длинным шуршащим шлейфом. Но переодетые пажами грации, улыбаясь, несут край этого

шлейфа: длинные периоды завершаются грациознейшими оборотами.

Характер языка Дон-Кихота и Санчо Пансы можно определить такими словами: когда говорит первый, представляется, что он восседает на своем высоком коне; второй говорит так, будто он сидит на своем низеньком ослике.

Мне следовало бы еще сказать кое-что об иллюстрациях, которыми издатель украсил этот новый перевод «Дон-Кихота», введение к которому я здесь даю. Это издание — первая беллетристическая книга, выходящая в свет в Германии в таком нарядном виде. В Англии и особенно во Франции иллюстрации — явление обычное, встречающее восторженный прием. Однако добросовестный и основательный немец, конечно, спросит: служат ли подобные иллюстрации интересам подлинного искусства? Не думаю. Правда, по ним можно видеть, как остроумно и легко творческая рука художника схватывает и воспроизводит созданные автором образы; иллюстрации дают также приятную передышку, когда чтение делается сколько-нибудь утомительным; но они являются еще одним лишним симптомом того, что искусство, сброшенное с пьедестала самостоятельности, становится прислужницей роскоши. И затем здесь для художника налицо не только возможность и искушение, но даже обязанность лишь бегло коснуться своего предмета, отнюдь не исчерпывая его полностью. Гравюры на дереве в старинных книгах служили другим целям, их нельзя сравнивать с этими иллюстрациями.

Иллюстрации настоящего издания исполнены по рисункам Тони Жоанно лучшими граверами Англии и Франции. Они — тому порукою уже самое имя Тони Жоанно — изящны и характерны как по замыслу, так и по исполнению; несмотря на поверхностность трактовки, видно, до какой степени художник проникся духом поэта. Очень остроумно и фантастично задуманы начальные буквы, виньетки и заставки, и, конечно, с глубоко продуманным художественным умыслом избраны для украшений главным образом мавританские орнаменты. Ведь и в самом деле мы видим, как воспоминания о веселой поре мавров проступают повсюду в «Дон-Кихоте», подобно прекрасному далекому фону. Тони Жоанно, один из наиболее талантливых и

значительных художников Парижа, по происхождению немец.

Удивительно, что книга, дающая такой обильный живописный материал, как «Дон-Кихот», не нашла художника, который позаимствовал бы из нее сюжеты для ряда самостоятельных художественных произведений. Или, быть может, книга так легка и фантастична по своему духу, что под рукою художника развеется пестрая красочная пыль? Не думаю: «Дон-Кихот», как бы легок и фантастичен он ни был, опирается на грубую земную действительность, иначе он не стал бы народной книгою. Или это, может быть, потому, что за образами, выведенными перед нами поэтом, скрываются более глубокие идеи, которые художник или скульптор передать не в силах, так что ему удается схватить и воспроизвести только внешний облик, хотя бы и очень выпуклый, но не внутренний смысл? Вероятно, причина именно в этом. Впрочем, многие художники пробовали свои силы на рисунках к «Дон-Кихоту». Все, что мне пришлось видеть в этом роде из английских, испанских и давних французских работ, было отвратительно. Что касается немецких художников, то я должен напомнить здесь о нашем великом Даниэле Ходовецком. Он сделал целый ряд рисунков к «Дон-Кихоту», и, гравированные по мотивам Ходовецкого Бергером, они были приложены к бертуховскому переводу. Среди них есть превосходные вещи. Очень повредило художнику ложное, театрально-условное представление, которое он, как и остальные его современники, имел об испанском костюме. Но везде видно, что Ходовецкий полностью понял «Дон-Кихота». Меня это порадовало именно в этом художнике, и я был рад как за него самого, так и за Сервантеса. Ибо мне всегда приятно, когда двое моих друзей любят друг друга, так же как я неизменно радуюсь, если двое моих врагов кидаются друг на друга. Время Ходовецкого, как период зарождения литературы, еще нуждающейся в восторженных чувствах и вынужденной отказываться от сатиры, как раз не было благоприятно для восприятия «Дон-Кихота», и вот в пользу Сервантеса говорит то, что образы его были все же восприняты и вызвали отклики, а в пользу Ходовецкого — что он понял образы Дон-Кихота и Санчо Пансы, хотя был, пожалуй, болсе, чем другие художники, сыном

своего времени, был связан с ним корнями, был им выношен, понят и признан.

Из новейших иллюстраций к «Дон-Кихоту» я с удовольствием упомяну о нескольких эскизах Декана, самого оригинального из всех современных французских живописцев. Но только немец может вполне понять «Дон-Кихота», и я это с душевной радостью почувствовал на днях, увидев в окне картинной лавки на Монмартрском бульваре гравюру, изображающую благородного ламанчца в его кабинете, сделанную по картине Адольфа Шредтера, большого мастера,



ШВАБСКОЕ ЗЕРКАЛО

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Нижеследующие страницы были в начале весны отправлены в Германию в качестве послесловия ко второй части «Книги песен», с просьбой о скорейшем напечатании. Я был уверен, что книга давно вышла там в свет, но недели две тому назад мой издатель сообщил мне, что в одном южногерманском государстве, куда рукопись была представлена на цензуру, разрешение так и не было за это время получено, и он предлагает мне пока что напечатать послесловие в виде отдельной статьи в каком-нибудь периодическом издании. Знакома, таким образом, почтенного читателя с этой статьей, я полагаю, что большой проницательности ему не понадобится, чтобы отгадать, по какой причине я в течение двух с половиной лет наталкиваюсь на такое множество интриг и происков, когда пытаюсь поговорить о тех доносчиках, которые, со своей стороны, имеют полную возможность без всяких цензурных и редакционных ограничений злоупотреблять большинством печатных станков Германии.

Париж, поздняя осень 1838 г.

Согласно нравам и обычаям немецких поэтов, мне нужно бы включить нижеследующие страницы в сборник моих стихотворений, озаглавленный «Книга песен» и недавно появившийся в новом издании. Мне представляется,

однако, что в «Книге песен» звучит один основной тон, чудесная чистота которого пострадала бы от примеси позднейших произведений. Поэтому я предлагаю читателям это последнее произведение в виде особого добавления, и в скромном сознании, что основной тон этого второго сборника мало чем мог бы быть нарушен, я присоединяю сюда еще драму, возникшую в гораздо более раннюю пору и принадлежащую к ряду произведений, безвозвратно погибших впоследствии в силу прискорбного стечения обстоятельств. Эта драматическая поэма («Ратклиф») заполнит, быть может, пробел в собрании моих поэтических произведений и покажет чувства, пылавшие или, по крайней мере, тлевшие в погибших стихотворениях.

Нечто в таком роде я хотел бы заметить и по поводу песни о Тангейзере. Она относится к той поре моей жизни, о которой я равным образом могу, или, точнее, смею, представить читателям лишь скудные письменные свидетельства.

Мысль украсить эту книгу моим изображением исходит не от меня. Портрет автора, предшествующий его сочинениям, невольно вызывает в моей памяти Геную, где перед больницей для душевнобольных стоит статуя ее основателя. Это мосму издателю пришло в голову поместить мой портрет перед добавлением к «Книге песен», этим печатным домом для умалишенных, где посажены на цепь мои сумасшедшие мысли. Мой друг Юлиус Кампе — шутник и, конечно, вздумал позабавиться над малышками из швабской школы поэтов, составлявшими заговор против моей физиономии. Если они теперь роются и копаются в моих песнях и подсчитывают пролитые в них слезы, то они не могут обойтись без созерцания моих черт. Но почему вы так непримиримо злобствуете против меня, добрые людишки? Почему выступаете против меня в многословных статьях, которые тоскливостью своей способны вогнать меня в могилу? Что имеете вы против моей физиономии? Замечу мимоходом, что мой портрет в «Альманахе муз» весьма неудачен. Изображение, пыне созерцаемое вами, гораздо лучше, особенно верхняя часть лица; нижняя слишком худа. Я ведь с некоторого времени сильно потолстел; боюсь, что скоро буду похож на бургомистра, — ах, эта швабская школа причиняет мне слишком много огорчений!

Я вижу, что благосклонный читатель изумленно просит объяснения: что, собственно, я понимаю под названием «швабская школа»? Что это такое — швабская школа? Еще недавно я сам обращался с этим вопросом ко многим приезжим швабам и просил объяснения. Долго они ничего не отвечали и очень странно улыбались, — примерно так, как улыбается аптекарь, когда первого апреля ранним утром прибегает к нему в аптеку легковерная служанка и просит меду от мух на два крейцера. В простоте душевной я сначала думал, что под швабской школой понимают тот цветущий лес великих мужей, который возрос на земле швабской, те могучие дубы, корни которых уходят к центру земли, а вершины высятся до звезд... И я спросил:

— Не правда ли, к этой школе принадлежит Шиллер, пеистовый творец, создавший «Разбойников»?

— Нет, — услышал я в ответ, — у нас с ним нет ничего общего; такие разбойничьи сочинители не принадлежат к швабской школе; у нас все идет чинно и пристойно, да Шиллеру ведь и пришлось рано убраться из земли швабской.

— А Шеллинг принадлежит к швабской школе, Шеллинг, странствующий мировой мудрец — король Артур философии, который тщетно ищет Монсальват абсолютного знания и осужден томиться в мистической пустыне?

— Этого, — ответили мне, — мы не понимаем, но в одном можем вас уверить: Шеллинг к швабской школе не принадлежит.

— Принадлежит ли к ней Гегель, кругосветный путешественник в мире духа, бесстрашно проникший до северного полюса мысли, где во льду абстракции замерзает мозг?

— Об этом мы совсем не слыхали.

— Принадлежит ли к ней Давид Штраус, Давид со смертоносной пращой?

— Спаси нас от него, господи, его мы даже отлучили от церкви, и если бы он вздумал баллотироваться в швабскую школу, то, конечно, мы бы его прокатали на воронях.

— Но, ради создателя, — воскликнул я, перебрав чуть не все большие имена Швабии и добравшись до глубокой старины, до Кеплера, великого светила, уразумевшего все небо, и даже до Гогенштауфенов, которые столь великолепно светили на земле, — земные солнца в герман-

ской императорской порфире, — да кто же, собственно, принадлежит к швабской школе?

— Ну что же, — отвечали мне, — мы скажем вам правду: знаменитости, которых вы только что назвали, — не столько швабские, сколько европейские; они как бы эмигрировали и обжились в чужих землях; наоборот, знаменитости швабской школы презирают всякий космополитизм и патриотично и уютно сидят дома подле своих желтофиолей за колбасной похлебкой возлюбленной швабской земли.

И вот тут-то я, наконец, понял, как скромны по величине те знаменитости, которые гордо именуют себя представителями швабской школы, вертятся в одном и том же круге мыслей, проникнуты одними и теми же чувствами и кисточки на трубках также носят одного и того же цвета.

Значительнейший из них — евангелический пастор Густав Шваб. Он селедка в сравнении с прочими, которые только сардинки, — разумеется, сардинки непосоленные. Он написал несколько красивых песен, а также несколько хороших баллад; конечно, с таким огромным китом, как Шиллер, его сравнивать не следует. За ним идет д-р Юстинус Кернер, которому видятся призраки и отравленные колбасы и который пробовал серьезно рассказывать читателям, как башмаки, одни, без человеческой помощи, медленно подошли к кровати Ясновидящей из Префорста. Этого только не хватало: каждый вечер привязывать башмаки, чтобы они ночью не являлись — топ, топ! — к кровати, декламируя призрачным и кожаным голосом стихотворения г-на Юстинуса Кернера. Последние не так уж плохи, автор вообще человек не без заслуг, и я готов о нем сказать то же, что Наполеон сказал о Мюрате: «Он большой дурак, но лучший кавалерийский генерал». Вижу уже, как все вейнсбергские обыватели, слыша это суждение, покачивают головой и с недоумением возражают мне: «Наш дорогой земляк господин Юстинус Кернер, конечно, большой дурак, но отнюдь не лучший кавалерийский генерал». Ну, как вам угодно, охотно уступаю вам и соглашаюсь, что он не выдающийся кавалерийский генерал.

Карл Майер, именуемый по-латыни Carolus Magnus,¹ — другой поэт швабской школы, вернее всех — так уверяют —

¹ Карл Великий. (См. комментарии.)

раскрывающий ее дух и характер; это вялая муха, воспевающая майских жуков. Говорят, он очень знаменит во всех окрестностях Вайблингена, пред воротами которого ему собираются воздвигнуть статую — статую деревянную и в натуральную величину. Это деревянное подобие певца предполагается каждый год заново окрашивать масляной краской, каждый год весной, когда благоухают желтофиоли и жужжат майские жуки. На пьедестале будет надпись: «Здесь воспрещается выливать нечистоты».

Весьма выдающимся поэтом швабской школы — так меня уверяют — является г-н***. Он недавно лишь пришел к самосознанию, но еще не к его проявлению: он пока не печатал своих стихов. Я слышал, что он воспевает не только майских жуков, но даже жаворонков и перепелов, что, разумеется, весьма похвально. Жаворонки и перепела действительно достойны быть воспетыми, особенно когда они жареные. О характере и соответственной ценности стихотворений г-на*** я не могу судить до тех пор, пока они не вышли в свет, равным образом и о гениальных созданиях многих других великих незнакомцев швабской школы.

Очевидно, швабская школа почуяла, что слава ее не пострадала бы, если бы наряду с великими незнакомцами, видимыми нами лишь при посредстве гидрогазомикроскопа, она могла причислить к своему кругу также нескольких малых знакомцев, несколько имен известных, имеющих некоторое значение не только в мирном уюте швабских захолустьев, но и в прочей Германии. Поэтом они обратились с письмом к королю баварскому Людвигу, венценосному певцу, который, однако, ответил отказом. Он, впрочем, повелел передать им свой благосклонный привет и прислал роскошный экземпляр своих стихотворений с золотым обрезом и в переплете из красной бумаги под сафьян. После этого швабы обратились к гофрату Випклеру, завоевавшему поэтическую известность под именем Теодор Гелль; но он ответил, что его положение как редактора «Вечерней газеты» не позволяет ему войти в состав швабской школы, а кроме того, он сам собирается основать саксонскую школу, для чего он уже пригласил значительное число поэтических земляков. Таким же образом отклонили приглашение швабской школы некоторые знаменитости Оберлаузица и Восточной Померании.

В этой крайности швабы выкинули поистине швабскую штуку, а именно — приняли в члены своей швабской школы одного венгра и одного кашуба. Первый, венгр, зовется Николаем Ленау и с Июльской революции, благодаря своим либеральным стремлениям, а также панегирическому пылу моего друга Лаубе, приобрел славу, в известной степени им заслуженную. Венгры, во всяком случае, много потеряли от того, что их земляк Ленау перешел к швабам; однако пока у них есть токайское, они имеют возможность утешиться в этой утрате.

Другое приобретение швабской школы менее блистательно, ибо оно заключается в особе прославленного Вольфганга Менцеля, увидевшего свет среди кашубов, на границе Польши и Германии, на той границе, где германец-невежа и славянин-невежа понимают друг друга, как сказал бы старый Фосс, старый Иоганн-Генрих Фосс, неотесанный, но честный саксонский мужик, как своим лицом, так и душою воплощавший чисто немецкие черты. Что этого нет у г-на Вольфганга Менцеля, что он ни по внешности, ни по внутреннему существу не немец, я с достаточной убедительностью доказал в небольшой и очень милой статейке под заглавием «О доносчике». Замечу мимоходом, что я не выступил бы с этой маленькой заметкой, если бы предварительно знал посвященные этому предмету статьи — тяжелые бомбы Людвига Берне и Давида Штрауса. Но в разрешении напечатать эту заметку, предназначенную служить предисловием к третьей части «Салона», отказал цензор — «из благоговения перед Вольфгангом Менцелем»; бедной статейке, хотя и достаточно кротко написанной как в политическом, так и в религиозном отношении, пришлось в течение семи месяцев скитаться от одного цензора к другому, пока, наконец, ей не удалось кое-как увидеть свет. Если ты, благосклонный читатель, лично придешь за книжкой в книжную лавку Гофмана и Кампе в Гамбурге, то там друг мой Юлиус Кампе охотно тебе расскажет, как трудно было напечатать «Доносчика», как охранялась репутация этого доносчика властью имущими лицами и как, наконец, непроверяемыми документами, его автографом, находящимся в руках Теодора Мундта, блистательнейшим образом оправдывается заглавие моей заметки. Как виновник торжества возражал на нее, тебе, быть может, известно, дорогой читатель. Когда я, поскуч

за лоскутом, стал срывать с его тела лохмотья ложного патриотизма и лицемерной морали, он снова поднял невероятный крик: «Религия в опасности, столпы церкви рушатся, Генрих Гейне несет гибель христианству!» Я хохотал от души, ибо эти вопли напомнили мне другого грешника — в Любеке на рыночной площади его наказывали плетью и наложением клейм, и вдруг, когда казенное железо коснулось его спины, он поднял ужасающий крик, — он неустанно орал: «Огонь! Огонь! Пожар, пожар, церковь в огне!» Старых баб напугала тогда эта пожарная тревога, но разумные люди смеялись и говорили: «Бедняга! Это только его собственная спина горит, а церковь благополучно стоит на старом месте; но полиция на случай поджога приготовила там несколько насосов, и благодаря благочестивой предусмотрительности теперь вблизи религии нельзя закурить и сигару!» Поистине, никогда христианство не оберегалось трусливее, чем именно теперь.

Не могу при этом случае не опровергнуть слух, будто г-н Вольфганг Менцель, побуждаемый своими коллегами, решил, наконец, воспользоваться великодушием, с которым я дал ему возможность по крайней мере очиститься от упрека в личной трусости. Сказать по чести, я всегда был готов к тому, что мне будет указано время и место, где рыцарь патриотизма, веры и добродетели явит себя во всей своей мужественности. Но увы, напрасно ждал я вплоть до сего часа, и остроумцы в немецких газетах издевались вдобавок над моим легковерием. Насмешники довели свою шутку даже до того, что позволили себе от имени несчастной супруги клеветника написать мне письмо, где бедная женщина горько жалуется на семейные неприятности, которые приходится ей терпеть с появлением моей статейки. Теперь нет слады с ее мужем, который дома хочет показать, что он герой. Малейший намек на трусость приводит его в бешенство. Раз вечером он поколотил ребенка за то, что тот пускал на стене зайчика. Недавно он в совершенном безумии пришел с заседания палаты сословий и неистовствовал, как Аякс, потому что там все взгляды обратились на него, когда обсуждался юридический вопрос: «Можно ли безнаказанно делать кого-либо предметом всеобщего осмеяния?» В другой раз он горько плакал оттого, что один

из благодарных евреев, которых он хотел эмансипировать, заявил на жаргоне ему в лицо: «Вы же таки не патриот, вы ничего для народа не делаете, вы совсем не отец отечества, а просто паршивый трус». Но настоящая горе с ним по ночам: тут он вздыхает, и скулит, и стонет так, что может камень разжалобить. Выносить это дольше невозможно, — так заканчивается мнимое письмо бедной женщины; она готова скорей умереть, чем терпеть это дольше, и, чтобы положить делу конец, она предлагает драться со мной сама вместо своего трусливого супруга. Готовая к услугам, и т. д.

Прочитав это письмо и по простоте душевной не заметив явной мистификации, я с воодушевлением воскликнул: «Благородная женщина! Достойная швабка! Достойная своих прабабок, некогда вынесших на спине своих мужей из Вейнсберга!»

Женщины в земле швабской вообще как будто более энергичны, чем мужчины, которые нередко берутся за мечи лишь по приказу своих супругов. Так, я знаю одну прекрасную швабку, которая вот уже многие годы воюет со мной яростнее, чем двадцать чертей, и преследует меня непримиримой враждой.

Один естествоиспытатель совершенно правильно заметил, что летом, особенно в разгар жары, против меня пишут гораздо больше, чем зимою.

О том, что не исконное чванство удерживает меня от обсуждения нападок такого рода, я упоминал уже в другом месте. С одной стороны, у меня как бы язык прилипает к гортани, когда я, углубляясь в объяснение основных причин моего образа действий, пытаюсь защититься от обвинения в безнравственности, или антирелигиозной игривости, или даже политической непоследовательности. С другой стороны, я по отношению к моим противникам нахожусь в том же положении, которое так верно обрисовал где-то в своем путешествии по Африке мой друг Семилассо. Он рассказывает, как однажды во время ночлега в бедуинском лагере вокруг его палатки непрерывно лаяла, завывала и визжала огромная стая собак, что, однако, нимало не помешало ему спать. «Будь это один только пес, — прибавляет он, — я бы всю ночь не мог сомкнуть глаз». Вот в этом все дело: так как собак очень много и так как мопс должен перелаять шпица, а шпиц—

благодарную таксу, а последняя, в свою очередь, — благородную левретку или бравого дога и презренное тьяканье отдельных животных теряется в общем вое, то я могу не обращать внимания на весь яростный собачий лай.

Нет, г-н Густав Пффицер так же мало мешал мне спать, как и прочие, и можно мне поверить на слово, что при упоминании об этом рифмоплете в моей душе не возникает ни малейшей горечи. Но ради полноты картины не могу не упомянуть о нем; швабская школа причисляет его к своим, что кажется мне довольно странным, так как он, в противоположность этому содружеству, порхает больше в качестве умствующей летучей мыши, чем благодушного майского жука, и пахнет не столько желтофиолью, сколько «Гробницей» Шубарта. Мне как-то прислали из Штутгарта его стихотворения, и приветливые строки сопроводительного письма побудили меня бросить на них беглый взгляд; по совести, я нашел стихи очень плохими. То же самое могу сказать и о его прозе; она очень плоха, Должен, правда, сознаться, что ничего из его прозы не читал, кроме статьи, состряпанной им против меня. Она бездарна, беспомощна и написана отвратительным стилем; последнее тем непростительнее, что материалы для нее поставляла вся школа. Лучшее во всей статье — давно известная уловка: так сопоставить искаженные выдержки из разнороднейших сочинений автора, чтобы ему можно было приписать любое убеждение или отсутствие всяких убеждений. Эта уловка, конечно, стара, но она всегда достигает цели, так как опровержение со стороны автора невозможно, если он не станет писать целые фолианты, чтобы доказать, что одна из приведенных фраз имеет юмористический смысл, а другая, хотя сказана не шутки ради, но находится в связи с предшествующим предложением, именно и сообщаящим ему надлежащий смысл; что названные наугад фразы вырваны не только из их логической, но и хронологической связи с целью выудить хоть несколько мнимых противоречий; что как раз эти противоречия были бы свидетельством величайшей последовательности, если бы были при этом приняты в соображение время, обстоятельства времени, условия времени, — мало того, если бы принято было в соображение, как необычайно сложна стратегия писателя, борющегося за дело европейской свободы, как подвержена его тактика

всвозможным изменениям, как сегодня он вынужден отстаивать в качестве чего-то крайне важного то, что завтра покажется ему совершенно безразличным, как сегодня ему приходится защищать или обстреливать один пункт, завтра другой, в зависимости от положения противной партии, от перемен в составе союзников, от побед или поражений текущего дня!

Единственно новым и оригинальным в вышеупомянутой статье г-на Густава Пфифера показалось мне не только учиненное им в ряде мест хитроумное извращение смысла слов в моих сочинениях, но и прямая подделка. Вот это ново, это оригинально; во всяком случае, до сих пор в Германии из сочинений писателя не цитировали подложных слов. Но г-н Густав Пфифер, по-видимому, новичок; у него, правда, руки чешутся от желания пустить в ход свои способности к подлогу, однако в выполнении замечается еще некоторая пеловкость, и если он, например, цитируя, пишет: «Святые дары» вместо обычных «облаток» подлинного текста или много раз пишет: «божественный» вместо моего «превосходный», то все же он по-настоящему не знает, какое употребление ему сделать из такого подлога. Он юный новичок. Но талант его бесспорен, он обнаружил его в достаточной мере, ему невозможно отказать в должном признании, он заслуживает, чтобы Вольфганг Менцель мужественною рукой возложил на голову его самый истрепанный из своих лавровых венков.

И все же, сказать по совести, я советую ему не давать дальнейшего развития своему дарованию. Чего доброго, когда-нибудь его потянет использовать этот благородный талант также для целей вселитературных. Есть страны, где такие вещи награждаются пеньковым галстуком. В Олд Бейли в Лондоне я видел человека, повешенного за то, что он сделал подложную подпись на векселе, а бедняга пошел на это, быть может, от голода, не по зловредности, не из чистой зависти или просто из желания заработать скудную похвалу «Штутгартской литературной газеты» — литературным образом «на чай». Мне поэтому жаль было беднягу, казнь которого совершалась весьма медленно. Ошибаются те, кто думает, что в Англии вешают очень быстро. Приготовления длились почти четверть часа. Я до сих пор прихожу в негодование, когда вспоминаю, с какой медлительностью была падета петля

на шею несчастного и надвинут белый колпак ему на глаза. Подле него стояли его друзья, быть может товарищи по школе, к которой он принадлежал, и ждали мгновения, чтоб оказать ему дружескую услугу; эта дружеская услуга заключается в том, что для сокращения мучительных предсмертных судорог они как можно сильнее тянут за ноги повешенного друга.

Я говорил о г-не Густаве Пфигере потому, что неправильно было бы обойти его в обзоре швабской школы. Во всяком случае, смею уверить, что по жизнерадостному своему нраву не чувствую ни малейшего недоброежелательства к г-ну Пфигеру. Наоборот, если бы в моих силах было оказать ему дружескую услугу, то я, конечно, не заставил бы его долго дрыгать ногами.

...А теперь, любезный читатель, поговорим серьезно; шутливый тон, легкомысленно-веселое расположение духа, в котором я писал эти страницы, не соответствуют тому, что я должен еще сказать тебе теперь. Есть у меня на душе нечто, о чем я не могу говорить совершенно свободно, но о чем следует сказать со всей откровенностью. Дело в том, что мне просто страшно заговорить в связи со швабской школой также и о Людвиге Уланде, большом поэте, которого я почти боюсь оскорбить, связывая его мысленно с таким жалким обществом. И все же, поскольку вышеуказанные рифмоплеты причисляют Людвигу Уланду к своим или даже выдают за главу своей братии, всякое умалчивание здесь его имени могло бы показаться недоброеосновательным. Будучи очень далек от намерения принизить его значение, я хотел бы, наоборот, полным голосом заявить об уважении, которое питаю к его творчеству. Для этого я скоро буду иметь более подходящий повод. Я покажу тогда с достаточной полнотой, что, хотя в мои прежние суждения о прекрасном певце могли прокрасться некоторые ворчливые ноты, некоторое преходящее недовольство, я, однако, никогда не имел намерения отнести несправедливо к его внутренней ценности, к его дарованию. Лишь о его литературно-историческом значении, о внешних связях его музыки мне пришлось прямо высказать мнение, которое, быть может, было неприятно его друзьям, но тем не менее совершенно правильно. Дав беглую оценку Людвигу Уланду в связи с «романтической школой» в книге,носящей именно это заглавие, я с достаточной отчетливостью

показал, что прекрасный поэт не создал нового, оригинального поэтического стиля, но лишь умело воспроизвел мотивы романтической школы; что с тех пор, как отзвучали песни его товарищей по школе, собрание стихотворений Уланда должно рассматривать как единственный уцелевший памятник этих мотивов романтической школы, что, однако, поэт, так же как и вся школа, давно мертв. Подобно Шлегелю и Тику, подобно Фуке, Уланд давно уже мертв и имеет в сравнении с этими благородными мертвецами лишь ту заслугу, что, очевидно, уразумел свою смерть и вот уже двадцать лет ничего не пишет. И теперь столь же отвратительно, сколь и смешно смотреть, как моя швабская мелкота причисляет Уланда к своей братии, как вытаскивают великого покойника из его могилы, нахлобучивают ему на голову детскую шапочку и впахивают в низенькую каморку своей школы или как они усаживают усопшего героя в полном вооружении на коня, как это некогда сделали испанцы со своим Сидом, и в таком виде отправляют его в бой против неверных, презирающих швабскую школу.

Этого мне еще недоставало, чтоб я и в искусстве боролся с мертвецами! Увы, я достаточно часто вынужден это делать в других областях, и, уверяю вас всеми муками моей души, такая борьба — самая несносная и докучливая из всех. Тут нет того пламенного нетерпения, от которого сыплется удар за ударом, пока бойцы, словно осыпаясь, не упадут, истекая кровью. Ах, мертвецы не столько ранят, сколько утомляют нас, и борьба в конце концов превращается в фехтовальную скуку. Знаешь ли ты историю молодого рыцаря, забредшего в волшебный лес? У него были золотистые кудри, на шлеме задорно развевались перья, из-под решетки забрала горели румяные щеки, и под блестящим панцирем билась самая юная отвага. Но в лесу очень странно перешептывались ветерки. Зловеще покачивались деревья, искривленные порой столь отвратительно, что напоминали человеческих уродов. То здесь, то там из листвы привидением выглядывала белая птица, которая чуть не издевательски хихикала и смеялась. Всевозможные сказочные звери призраками мелькали среди кустов. Иногда, правда, чиркал безобидный чижик, и тихий прекрасный цветок кивал из-под широколистных вьющихся растений. Но

юный удалец проникал все дальше и, наконец, вызывающе воскликнул: «Когда же явится боец, способный победить меня?» Тут выступил не очень бодрый, но и не слишком дряхлый долговязый, тощий рыцарь с опущенным забралом и изготовился к бою. Перья на его шлеме были помяты, панцирь не столько плох, сколько обветшал, меч его был зазубрен, но из лучшей стали, и рука его была крепка. Не знаю, как долго они сражались, но, очевидно, длилось это немало, ибо за это время листья попадали с деревьев, и деревья долго стояли голые и зябнувшие, а потом вновь покрылись почками и зазеленели под лучами солнца, и так сменялись времена года, а они и не замечали этого, оба бойца, неустанно рубившие друг друга — сперва с яростным неистовством, потом не так бешено, потом даже несколько флегматично, — пока, наконец, совсем не опустили мечи и в изнеможении не подняли забрала. Какое это было печальное зрелище! Один рыцарь, вызванный на бой, — был мертвец, и из-под откинутого забрала скалил зубы обнаженный череп. У другого рыцаря, вступившего в лес таким юным, было теперь старчески изможденное, увядшее лицо, и волосы его были белы как снег. С вершин деревьев, словно издеваясь, хихикали и хохотали прозрачно-белые птицы.

Написано в Париже в мае 1838 г.



ТОМАС РЕЙНОЛЬДС

Париж, ноябрь [1841 г.]

«Уэверли» Вальтер Скотта пользуется большой популярностью, и если широкую массу этот роман захватывает своим сюжетом, то читателя более просвещенного восхищает в нем трактовка, форма, несравненная по простоте и в то же время чрезвычайно разнообразная. Эта непревзойденная в своем богатстве форма напоминает нам о другой книге, подлежащей сегодня нашему обсуждению и вызывающей такие различные оценки со стороны живущих здесь соотечественников автора. Она появилась в прошлом году одновременно в Лондоне у Лонгмена и здесь, в Париже, в английском книжном магазине на Rue neuve St. Augustin ¹ и озаглавлена: «The life of Thomas Reynolds, Esq., by his son Thomas Reynolds». ² Удивительно! Та форма, которую художественный талант Скотта создал путем тончайшего расчета, встречается и в этой книге, но как продукт природы, как следствие, непосредственно вытекающее из материала. Материал здесь совершенно тот же, что и в скоттовском романе, — неудавшееся восстание; и здесь, в картине ирландского мятежа, совершенно так же, как и там, в описании возмущения шотландских горцев, мы видим несколько слабохарактерного героя, почти пассивно повинующегося событиям, которые кидают его из стороны в сторону; разница в том, что великий поэт, привлекательнейшим образом разукрасив своего

¹ Новой улице св. Августина (*франц.*).

² «Жизнь Томаса Рейнольдса, эсквайра, сочинение его сына, Томаса Рейнольдса» (*англ.*).

героя, завоевал ему многочисленные симпатии читающей публики, чего биограф Томаса Рейнольдса, к сожалению, не мог для него сделать именно потому, что он написал не роман, а истинную историю. Да, жизнь своего героя он описал с такой безотрадной правдивостью, он показал прискорбнейшие факты в такой разительной наготе, что читатель порой почти пугается. Сын в точности воссоздает здесь образ своего отца, но он так любит в нем даже и некрасивые черты, что не желает идеализировать их с помощью вымысла и тем самым лишать весь портрет его драгоценного сходства. Он столь высокого мнения о характере своего отца, что гнушается возможностью скольконибудь приукрасить его самые недостойные поступки; они для него — лишь печальное следствие фальшивого положения, но не личной воли. В этой книге царит страшная гордость: ничто не должно быть утаено, ничто не должно быть замаскировано; сын хочет осветить обстоятельства, поставившие его отца в роковое положение, мотивы его дел и поступков, клевету партийной ненависти; и после такого выяснения действительно нельзя уже произнести суровый приговор человеку, который по отношению к революционной братии в Ирландии сыграл весьма гнусную роль; но, во всяком случае, мы должны признать, что он оказал своей родине и большую услугу, ибо у вождей заговора было на уме не что иное, как намерение с помощью французского вмешательства совершенно вырвать Ирландию из великобританского государственного союза; союз этот, правда, тогда, в девяностых годах, так же как и теперь, ложился на ирландский народ чрезвычайно тяжелым и печальным гнетом, но в будущем, когда сгладятся мелкие средневековые раздоры и Ирландия, Шотландия и Англия сольются духовно в одно органическое целое, он принесет ему неисчислимые выгоды. Не будь этого слияния, ирландцы сыграли бы крайне жалкую роль в предстоящем турнире европейских народов, ибо во всех странах, по примеру Франции, соседние и родственные по языку племена стараются объединиться. Образуются большие, плотные государственные массы, и если некогда эти гигантские бойцы вступят в бой, сражаясь за всемирную гегемонию, то лучший патриот в Дублине ни минуты не будет сомневаться в том, что Томас Рейнольдс оказал своей стране большую услугу, раскрыв планы заговора,

имевшего целью отторгнуть Ирландию от Англии, и выступив против него со своими показаниями. Но сейчас такая терпимость в суждениях невозможна еще в зеленом Эрине, где две враждебные партии, протестантско-британская и католическо-национальная, противостоят друг другу с такой же злобой и упорством, как и в девятых годах или даже как во времена Вильгельма Оранского, оставившего свое имя так называемым orangemen¹ и до сих пор вызывающего в противниках беспощадную ненависть; в то время как первые на своих пирах произносят в память короля Вильгельма самые радостные тосты, последние пьют за здоровье упрямой кобылы, благодаря которой король Вильгельм сломал себе шею.

Но если, пытаясь хоть в слабой степени облагородить деятельность Томаса Рейнольдса, мы вынуждены ссылаться на будущее, если, пытаясь оправдать то, что он сделал, мы должны подавить наши лучшие чувства, то зато мы уже и теперь с чистой совестью можем опровергнуть худшие из обвинений: мы убеждены в том, что мотивы его поступка были отнюдь не так безобразны, как думали его враги, что он, правда, раскрыл заговор, однако отнюдь не явился предателем по отношению к самим заговорщикам, менее всего — по отношению к достойному лорду Эдварду Фицджеральду, как неправильно утверждал в биографии последнего Томас Мур. Сын явно доказал, что денежная выгода не могла побудить его отца стать на сторону правительства, которое, напротив, мало для него сделало и лишь скупо вознаградило его за потери. В этом смысле его берут под защиту и показания благороднейших государственных людей Англии, а именно графа Чичестера, маркиза Кембдена и лорда Каслри, стоявших тогда во главе ирландского правительства. Они прославляют его бескорыстие, признают, что его деятельность заслуживает почтения, уверяют его в своем глубоком уважении, — и как ни мало я люблю этих британских тори, все же я не сомневаюсь в истинности их слов, ибо знаю — они слишком высокомерны, чтобы публично лгать ради подкупленного предателя. Они презирают всех людей и вдвойне презирают тех, кому они давали деньги, и по отношению к таким они еще более скупы на слова. Но не только лица, стоявшие

¹ Оранжевым людям (англ.). (См. комментарий.)

у власти, — также и многие соотечественники, занимавшие менее значительное положение, безусловно освободили Томаса Рейнольдса от упрека, будто им руководила корысть. Гильдия дублинских купцов обратилась к нему с адресом, полным уважения и составляющим почти комическую противоположность ругани его врагов.

Если Рейнольдс-сын с помощью точнейших деталей и глубокомысленнейших заключений наглядно доказал, что отец его не из корысти предал заговор, то он столь же наглядно доказал, что по отношению к заговорщикам он не повинен в гнусном предательстве и что он отнюдь не был причиной ареста лорда Фицджеральда, а, напротив, проявил величайшую заботливость, стараясь спасти его, и от всего сердца помогал ему и деньгами. В жизнеописании Фицджеральда, которым мы обязаны красочному перу Томаса Мура, по-видимому больше поэзии, чем правды, и поэту приходится переносить справедливый гнев сына, карающего его за клевету на отца самыми отточенными колкостями. Томас Литтл (как обычно называют Томаса Мура из-за его крохотного роста) подвергается здесь поучительной порке, и не удивительно, что этот человек, пользующийся сильнейшим влиянием на всю лондонскую прессу, пустил в ход все средства, лишь бы уронить в общественном мнении книгу Рейнольдса. Его герой, Фицджеральд, лишен здесь, правда, всякого романтического ореола, однако он от этого не кажется менее героичным, особенно когда речь идет о его аресте, и я приведу это место.

«Нижеследующий рассказ об аресте лорда Фицджеральда отец мой слышал от г-на Серра и г-на Сванна; первый из них еще жив и может поправить меня там, где я ошибаюсь. 18 мая г-н Эдвард Кук, тогдашний помощник статс-секретаря, позвал к себе Чарлза Серра, бургомистра (town mayor), честного, деятельного и умного чиновника, и поручил ему отправиться на другой день между 5 и 6 часами вечера в дом некоего Никласа Мерфи, торговавшего на Томас-стрит лесом и пухом; там, мол, он найдет лорда Эдварда Фицджеральда, которого должен арестовать согласно с вручаемым ему приказом. Г-н Серр в тот же вечер принял необходимые меры, а на следующее утро посоветовался насчет порученного ему дела с г-ном Сванном и неким г-ном Райаном, двумя чинами магистрата, к которым относился с величайшим доверием и к помощи

которых он прибег. Г-н Райан был в то время издателем газеты, в которой появлялись весьма злые нападки на лорда Эдварда, вызывавшие в нем сильную ненависть к г-ну Райану. Г-н Серр снарядил девять человек из лондондерийской милиции в полной форме. Г-н Стерлинг, ныне консул в Генуе, и доктор Бенкхед, бывшие оба офицерами этого полка, сопровождали их, тоже одетые в форму.

Замечателен тот факт, что лорд Эдвард отправился в дом Мерфи лишь ночью 18 мая, а статс-секретарь еще до того, как он пошел туда, имел уже настолько точные сведения об этом его намерении, что уже пополудни, то есть за восемь или десять часов до прихода лорда Эдварда, мог дать г-ну Серру инструкцию и приказ об аресте.

Г-да Серр, Сванн и Райан со своими спутниками направились к дому Мерфи в двух наемных каретах. Г-н Серр позаботился о том, чтобы сильный военный отряд выступил из казармы одновременно с ними и мог подойти к дому Мерфи сразу же по прибытии карет и тем самым защитить его и всех этих людей от черни, которая в этом квартале Дублина легко собирается в значительные толпы. Приехав к дому, г-н Серр расставил своих девять человек так, что они заняли все выходы как у боковых, так и у задних дверей. Пока он был занят этими приготовлениями, г-н Сванн и г-н Райан поспешили наверх, так как в нижнем этаже находились только конторские помещения и склады товаров. В первой комнате никого не оказалось, но из столовой, по-видимому, только что ушли, так как на столе еще были остатки десерта и вин. Они поторопились проникнуть во вторую комнату, однако и здесь никого не увидели; они отворили дверь в спальню, которая не была заперта ни на ключ, ни на замок; тут, наконец, оказался Мерфи; он стоял у окна, лицом к улице, и держал в руке какую-то бумагу, чтением которой был, по-видимому, занят в эту минуту, а на постели, полураздетый, лежал лорд Эдвард Фицджеральд. На стуле возле постели стоял ящик с карманными пистолетами; г-н Сванн тотчас бросился к ящику и, став между стулом и постелью, воскликнул: «Лорд Эдвард Фицджеральд, вы мой пленник! У нас сильная подмога, и всякое сопротивление бесполезно». Лорд Эдвард вскочил с постели и нанес г-ну Сванну удар в грудь обоюдоострым кинжалом, который у него был где-то спрятан; Сванн хотел отвести удар рукой и был ра-

пес в указательный палец, в сустав, так что рука его, в буквальном смысле слова, на мгновение оказалась пригвожденной к его груди. Кинжал вонзился в грудь между ребрами и вышел сзади под лопаткой. В эту минуту г-н Райан бросился вперед, выстрелил в лорда Эдварда из пистолета, но промахнулся. Лорд Эдвард, знавший его, воскликнул: «Райан, негодяй!» («Ryan, you villain!») и, вырвав из груди Сванна кинжал, рукоять которого он все еще не выпускал из рук, ударил им г-на Райана под ложечку и, снова вытаскивая кинжал, лезвием распорол ему живот до самого пупа. Г-да Сванн и Райан обхватили лорда Эдварда, а так как он не был еще ранен, то ему удалось добраться до двери, где г-н Райан, у которого кишки висели из живота, наконец выпустил его и тут же грохнулся на пол, но г-н Сванн еще крепко держал пленника. В передней возле двери была лестница, которая вела на чердак, где открывался выход на крышу. Эта лестница была устроена для того, чтобы в случае надобности дать возможность бежать, и этим путем хотел воспользоваться для бегства лорд Эдвард: но г-н Сванн, всей тяжестью повисший на нем, помешал ему взобраться на лестницу, и, чтобы избавиться от Сванна, он занес руку и снова собирался ударить его кинжалом, который все еще был у него в руках. Все это произошло менее чем в минуту. Тем временем прибыли из казармы войска, и г-н Серр, расставив солдат, поспешил в дом, поднялся наверх, где раздавался выстрел, и с пистолетом в руке вошел в комнату в тот самый миг, когда лорд Эдвард поднял руку, чтобы нанести г-ну Сванну последний удар; итак, он, не раздумывая, выстрелил и ранил лорда Эдварда в руку около плеча. Рука бессильно повисла, и лорд Эдвард был взят в плен.

Тут возникает вполне естественный вопрос: что делал в это время Мерфи, хозяин дома, человек в расцвете лет и полный сил, защите которого доверился лорд Эдвард? Он оставался безмолвным зрителем всей этой сцены, хотя всякому должно быть ясно, что, оказав своему гостю малейшую поддержку, он помог бы ему освободиться от г-на Сванна и убежать через крышу. Окно, у которого стоял Мерфи, выходило на улицу, до земли было не больше тридцати футов, кареты же могли приблизиться к стене дома футов на четырнадцать. Непостижимо, чтобы две наемные кареты, в которых было четырнадцать человек,

остановившись у самого дома, не привлекли его внимания. Непостижимо также, что в доме, приютившем такого гостя, ворота и все двери сверху донизу оставались незаперты и не охранялись и что не было в нем ни души, кроме самого владельца. Малейший знак, поданный до того, как г-н Сванн поднялся по лестнице, малейшая помощь, оказанная уже после нападения, дали бы бегству благополучный исход. Может быть, все это было случайностью. Я только излагаю факты в том виде, как о них рассказывали моему отцу г-да Серр и Сванн; с первым из них он беседовал уже на другое утро, 20 числа, со вторым лишь по его выздоровлении. Мерфи был арестован, но не подвергался допросу. Лорда Эдварда, после того как рана его была перевязана, увезли, окружили заботами; но пуля проникла в верхнюю часть груди, началось воспаление, и он умер 4 июня. Рана г-на Райана ни минуты не позволяла надеяться на его выздоровление; смерть последовала через несколько дней».

Рассматриваемая книга содержит интереснейшие сведения как о Фицджеральде, так и о Тиоболде-Вольфе Тоне, который тоже сыграл значительную роль в ирландском восстании и кончил столь же печально. Он был благородный человек, горел любовью к свободе и некоторое время действовал среди французских республиканцев в качестве полномочного посла заговорщиков. Дневник Тона, изданный его сыном, содержит замечательные записи о его пребывании в Париже в период бури и натиска французской революции. В Ирландию он вернулся вместе с экспедицией, посланной туда Директорией с некоторым опозданием. Обстоятельный рассказ об этой экспедиции, содержащийся в книге Рейнольдса, крайне знаменателен и показывает, какое слабое сопротивление встретила бы высадка в Англии, если бы она была организована лучше, чем тогда. Можно подумать, будто действие происходит в Китае, когда читаешь о том, как несколько сот самоуверенных французов, предводительствуемых генералом Эмбером, рыщут по всей стране и побеждают тысячи англичан. Не могу устоять перед соблазном и приведу следующее место.

«Когда 24 августа маркиз Корнуэлский получил известие о высадке французов, он отдал генерал-лейтенанту Лейку приказ отправиться в Голвей и принять командование над войсками, собирающимися в Коннауте. Итак,

этот генерал отправился с войском, которое ему удалось собрать, к Каслбару, куда он прибыл 26 числа и где встретил генерал-майора Хэтчинсона, прибывшего туда накануне вечером. Отряды, собранные таким образом в Каслбаре, состояли из четырех тысяч человек регулярного войска именов и местной милиции, сопровождаемых сильным обозом артиллерии. Генерал Эмбер (командовавший французами) покинул Баллину 26 числа с восемьюстами человек и двумя кулевринами, но, вместо того чтобы направиться по обыкновенной столбовой дороге через Фоксфорд, где находился генерал Тейлор с сильным корпусом, он у Барнаги, где стоял лишь незначительный отряд, свернул на горную дорогу и в семь часов утра 27-го был в двух милях от Каслбара; тут, вблизи города, как выяснилось, стояли королевские английские войска, занявшие наивыгоднейшее положение. Все, казалось, обещало им легкую победу. Их было много, три или четыре тысячи человек, вполне обеспеченных артиллерией и провиантом, бодрых и свежих, тогда как в распоряжении неприятеля находилось всего лишь восемьсот человек да две кулеврины и отряд был крайне утомлен, обессилен тяжелым, весьма трудным переходом по горам, длившимся примерно сутки. Королевская артиллерия, которой прекрасно командовал капитан Шортал, вначале причинила французам большой ущерб и некоторое время не позволяла им двинуться вперед, но когда французы увидели, что недолго смогут сопротивляться, если будут стоять слишком широким фронтом под пушечным огнем англичан, метко направляемым по ним, они разделились на маленькие колонны и с такой неистовой отвагой ринулись вперед, что королевские войска через несколько минут отступили и, охваченные паническим страхом, стали разбегаться во все стороны; в крайнем смятении пробежали они через город и направились в Туам — место, находящееся в тридцати милях от Каслбара. Но даже и в Туаме, куда они попали ночью, они не сочли себя в полной безопасности, пробыли здесь ровно столько, сколько потребовалось, чтобы промочить горло, и продолжали свое позорное бегство до Атлона, находящегося тридцатью тремя милями дальше, куда авангард прибыл во вторник 29-го в час дня. Их страх был так велик, что тридцать шесть миль они пробежали за двадцать семь часов! Потери королевской армии составили

пятьдесят три человека убитыми, тридцать пять ранеными и двести семьдесят девять пленными. Потеряла она также десять тяжелых орудий и четыре полевые пушки. Каковы были потери французов, неизвестно. Французские войска вступили в Каслбар, где спокойно пробыли до 4 сентября».

Но так как ожидаемая помощь не подоспела и вообще вся экспедиция велась по неудачному плану, то она и завершилась поражением. Вольфа Тона, попавшего в руки англичан, судили военным судом и приговорили к повешению. Он, бедный малый, не боялся смерти; в Париже, на Гревской площади, он достаточно нагляделся на казни, но он привык только к гильотинированию и питал непреодолимую антипатию к вешательной процедуре. Тщетно он просил, чтобы его хоть расстреляли, так как этот род смерти более подобал ему, поскольку он являлся французским офицером и на него следовало смотреть как на военнопленного. Нет, просьбе его не вняли, и несчастный из отвращения к виселице перерезал себе горло в тюрьме.

О милосердии со стороны английского правительства во времена ирландского восстания не могло быть и речи. Я не друг гильотины и не питаю особого предубеждения к виселице, но, должен признаться, в течение всей французской революции вряд ли бывали такие ужасы, какие направила в Ирландии английская военщина. Автор наш, будучи сторонником правительства, все же самыми правдивыми красками описал, вернее — заклеймил, это позорное хозяйничанье солдат. Да сохранит нас господь от такого постоя, какой бесчинствовал в Кастел-Килки! Более всего меня тронула участь прекрасной арфы, которую англичане разбили в куски с особой яростью, потому что ведь арфа — эмблема Ирландии. С беспристрастием рисует автор и кровавую грубость мятежников, и нижеследующее описание отмечено печатью отвратительной правды:

«Инсургентов вполне характеризовал их способ ведения войны. Они располагались всегда на особенно возвышенных местах и называли это своим лагерем. Одна-две палатки или какое-нибудь другое сооружение давало кров их предводителям, прочие оставались под открытым небом: мужчины и женщины ложились рядом, вперемежку, закутанные в лохмотья или в простыни, большинство же покрывалось на ночь той самой одеждой, какая была на них днем. Ведению такого образа жизни способствовала и

неизменно ясная погода, совершенно непривычная в Ирландии. И в этом обстоятельстве инсургенты видели особую милость providения, им даже внушили, — и они поверили, — что не упадет ни единой капли дождя, пока они не станут хозяевами Ирландии. В этих лагерях, среди этой массы грубых, мятежно настроенных людей, царили, как нелегко себе представить, величайшая неурядица и всякого рода бесчинства. Ночью, когда человек преспокойно спал, у него крали ружье и другие вещи. Чтобы обезопасить себя от подобных злоключений, люди взяли за правило ложиться спать всегда плашмя на живот и крепко привязывать к груди шляпу, башмаки и тому подобное. Кухня была невероятно грубая: скотину валили на землю, затем резали, каждый отрывал себе кусок мяса, какой ему хотелось, не спимая с него кожи, и жарил, скорее жег, на огромном костре, вместе с клочьями шкуры, оставшимися на мясе. Голову, ноги и остатки скелета бросали тут же, и они гнили на том месте, где было убито животное. Если инсургентам не доставало кожи, они раздобывали книги и пользовались ими вместо седел, кладя раскрытую книгу на спину лошади; веревки же заменяли им подпругу и стремяна. Толстые фолианты, достававшиеся им во время грабежей, оказались в этом отношении особенно ценными. Так как запас снарядов был весьма скудный, то пользовались и валунами, а то и пулями из затвердевшей глины. Предводители все время избегали нападать на неприятеля ночью, так как их люди никогда по-настоящему не следовали их приказаниям и больше повиновались собственному буйству и внушениям мипуты. Во время битвы они следили друг за другом, так как всякий боялся, что в случае отступления, происходившего большей частью быстро и неожиданно, остальные бросят его на произвол судьбы; поэтому они не любили сражаться ночью, когда никто не мог как следует присматривать за своими товарищами и каждому все время приходилось беспокоиться, как бы они, прежде чем он это заметит, не обратились в бегство (это называют *make the run*) и не оставили его в руках тех, которые никогда не прощают; один не доверял другому. Нужно решительно заявить, что эти мятежники не повинуны ни в одной жестокой или непристойной выходке по отношению к женщинам или детям; только пожар в Скеллабоге и судьба Мэки и его семьи в графстве

Даун составляют исключение; не считая этих двух случаев, когда мятежники уже не смотрели ни на пол, ни на возраст, я не знаю примера, чтобы они дурно обошлись с женщиной. Боюсь, что их противникам мы не можем воздать такую же похвалу».

Это описание войны, которую вели ирландские инсургенты, вызвало у меня два соображения, и я вкратце поделюсь ими здесь. Прежде всего отмечу, что во время народного восстания книги могут весьма пригодиться, а именно — в качестве седел, о чем, наверное, еще не думали наши революционные деятели, иначе всякое книгописание не раздражало бы их так сильно. А затем отмечу, что Пэдди в борьбе с Джоном Булем всегда будет в убытке и что поэтому последний не так легко утратит свое господство над Ирландией. Быть может, ирландец менее храбр, чем англичанин? Нет, у него, пожалуй, даже больше личной отваги. Но индивидуализм в нем настолько силен, что, будучи весьма храбрым в одиночку, он робок и ненадежен во всяком объединении, где должен доверять своему товарищу и подчиняться общей воле. Этот индивидуализм, должно быть, характерная черта того кельтского племени, что составляет ядро ирландского народа. У обитателей Бретани мы встречаем то же самое явление, и гениальный Мишле в своей «Истории Франции» не без основания всюду указывал на то, как знаменательно выступает эта характерная черта индивидуализма в жизни и стремлениях знаменитых бретонцев. Они прославили себя почти фантастической борьбой индивидуального духа против установленного авторитета, выступая в защиту личности. Германское племя более склонно к дисциплине и лучше сражается и думает в строю, но зато и к подневольному положению оно более склонно, чем кельтское племя. Слияние обоих элементов, германского и кельтского, всегда будет давать превосходный результат, и Англия, так же как и Ирландия, выиграет не только в политическом, но и в моральном отношении, если когда-нибудь они составят единое органическое целое.



ГАМБУРГСКИЙ ПОЖАР

Париж, 20 мая [1842 г.]

В настоящее время большая часть народов, несомненно, все еще вынуждена культивировать свое национальное чувство, или, точнее говоря, эксплуатировать его, чтобы достигнуть внутреннего единства, централизации своих сил и таким путем укрепиться также и вовне по отношению к опасным соседям. Однако национальное чувство — это только средство достичь той или другой цели, оно исчезнет, едва последняя будет достигнута, и у него нет той огромной будущности, что у идеи мирового гражданства, которая была провозглашена благороднейшими умами восемнадцатого столетия и раньше или позже добьется господства, — конечно, навсегда. Насколько глубоко этот космополитизм коренится в сердцах французов, проявилось достаточно наглядно после гамбургского пожара. Партия человечества отпраздновала на этот раз великую победу. Превосходит всякое воображение та сила сочувствия, которым охвачены были все до единого классы этой нации, когда они услышали о несчастье, постигшем далекий немецкий город, географическое положение которого известно, быть может, только весьма немногим. Да, в подобных случаях оказывается, что народы на сей земле связаны более тесно, чем это кое-где полагают или чем этого хотят, и что в урочный час в Европе, несмотря на все разнообразие интересов, все же может вспыхнуть пламенная братская любовь. Но если известие об этом ужасном пожаре вызвало самые трогательные симпатии у французов, переживших у себя дома в те же дни тяжелое и страшное событие, то тем с большей силой должно было проявиться сочувствие у проживающих здесь немцев, имеющих в Гам-

бурге друзей и родственников. В числе соотечественников, выделявшихся усердною благотворительностью, следует совершенно особо отметить г-на Джеймса фон Ротшильда, да и вообще имя этой семьи всегда выступает на первый план в тех случаях, когда является нужда в делах человеколюбия.

Да, мой бедный Гамбург лежит в развалинах, и места, которые я так хорошо знаю, с которыми так тесно сплелись все воспоминания моей юности, превратились в кучу дымящегося мусора! Тяжелее всего для меня гибель колокольни св. Петра — она так возвышалась над ничтожеством окружающего. Город вскоре вырастет снова, с выстроенными в одну линию новыми домами, вытянутыми в струнку улицами, но это уже не будет мой старый, бестолковый, кособокий и кривой Гамбург! Брейтенгбелль, где жил мой сапожник и где я ел устрицы у Уибшейдена, стал жертвою пламени. Правда, «Гамбургский корреспондент» сообщает, что Дрекваль вскоре восстанет, как феникс из пепла, — но, ах! это будет все-таки уже не старый Дрекваль! А ратуша! Как часто наслаждался я украшающими фасад изображениями императоров, изваянными из гамбургской ветчины! Удалось ли спасти хоть высокопоставленные пудренные парики, придававшие столь величественный вид стоявшим там же главам республики! Да сохранит меня небо от того, чтобы в минуту, подобную нынешней, выдернуть хоть волосок из этих древних париков. Наоборот, мне хотелось бы при настоящих обстоятельствах засвидетельствовать, что в стремлении к общественному прогрессу гамбургское правительство всегда превосходило своих подданных. Народ стоял здесь всегда ниже, чем его представители, в числе которых найдутся люди широчайшего образования и ума. Однако можно надеяться, что пожар такой силы немножко просветит также низменные умы и что гамбургское население в целом поймет теперь, что не следует впредь, после всего происшедшего, оскорблять мелочным торгашеством дух времени, облагодетельствовавший его в несчастье. Так, например, теперь не представляется возможным долгие откладывать в Гамбурге провозглашение равенства гражданских прав для лиц различных вероисповеданий. Мы ожидаем от будущего всего наилучшего; небо недаром шлется великие испытания.



ЛЮДВИГ МАРКУС

ПОМИНАЛЬНОЕ СЛОВО

(НАПИСАНО В ПАРИЖЕ 22 АПРЕЛЯ 1844 г.)

Отчего столь многие немцы, переселившиеся во Францию, впадают в безумие? Смерть избавила большинство из них от духовного мрака; другие как бы заживо погребены в домах для умалишенных; многие, сохранив хотя бы искру сознания, еще пытаются скрыть свое состояние и, чтобы не попасть под замок, ведут себя до известной степени разумно. Это все хитрецы; глупцы не умеют долго притворяться. Количество страдающих этим мрачным недугом, прерываемым более или менее длительными моментами просветления, очень велико, и, пожалуй, можно почти утверждать, что сумасшествие — национальная болезнь немцев во Франции. По всей вероятности, мы приносим зародыш недуга с собою, переходя Рейн, и то, что в Германии осталось бы на всю жизнь нелепым и уродливым ростком, бурно расцветает пышнейшим безумием на раскаленной почве, на пылающей асфальтовой постовой здешнего общества. Или, быть может, свидетельством крайней степени безумия является уже то, что человек покидает отчизну, чтобы подниматься и спускаться по «крутым ступеням чужих лестниц» и увлажнять собственными слезами черствый хлеб изгнания? Но только не следует думать, будто все это — эксцентрические, трагически-беспокойные натуры или хотя бы поклонники праздности и разнузданной чувственности, кидющиеся здесь в бездны безумия, — нет, беда обычно постигает наиболее благородные натуры, наиболее трудолюбивые и воздержанные создания.

К самым горестным жертвам этого недуга принадлежит и наш бедный соотечественник Людвиг Маркус. Этот немецкий ученый, замечательный как богатством своих знаний, так и высокою нравственностью, заслуживает того, чтобы мы почтили его память несколькими словами.

Мы никогда в точности не знали ни его семейных обстоятельств, ни всех подробностей его жизненного пути. Насколько мне известно, он родился в Дессау в 1798 году от несостоятельных родителей, богобоязненных людей иудейского вероисповедания. В лето 1820-е он прибыл в Берлин изучать медицину, однако вскоре бросил эту область науки. Там, в Берлине, я увидел его впервые, а именно — на лекциях Гегеля, где он часто сидел рядом со мною и с должною тщательностью записывал слова учителя. Ему исполнилось тогда двадцать два года, но во внешнем его облике не было ничего юношеского. Маленькое, щедедушное тело, точно у восьмилетнего ребенка, лицо же старообразное, какие обыкновенно бывают у горбунов. Однако этим уродством он не страдал, и это казалось особенно удивительным. Те, кто лично знал покойного Мозеса Мендельсона, с удивлением отмечали сходство между Маркусом и прославленным мудрецом, по странному совпадению тоже происходившим из Дессау. Если бы хронология и добродетель не ручались столь определенно за почтенного Мозеса, мы могли бы высказать кое-какие фривольные предположения.

Однако по духу Маркус был действительно близким родственником этого великого реформатора немецких евреев, и в душе его тоже жили величайшее бескорыстие, терпеливая кротость, чувство справедливости, снисходительное презрение к злу и непреклонная, железная любовь к угнетенным единоверцам. Судьба последних была как для Мозеса, так и для Маркуса мучительно жгучим средоточием всех его помыслов, сердцевиной его жизни. Уже в то время, в Берлине, Маркус обладал разносторонними знаниями; поглощая целые библиотеки, рылся во всех лингвистических сокровищах древности и нового времени, и география в самом общем и в самом узком смысле стала в конце концов его излюбленной наукой: не было на земном шаре ни одного явления, ни единой развалины, ни единого наречия, ни единой глупости, ни единого цветка,

которых бы он не знал, — но из всех своих духовных экскурсий он неизменно возвращался, точно домой, к истории страданий Израиля, к лобному месту Иерусалима и к крохотному родному диалекту Палестины, ради которого он, быть может, и занимался семитическими языками с большим пристрастием, чем всеми другими. Эта черта была, пожалуй, наиболее отличительной и существенной в характере Людвиг Маркуса, и сй он обязан как своим значением, так и своими заслугами, ибо не только творчество, не только остающиеся после нас труды дают нам право на почетное признание после смерти, но и стремление само по себе, в особенности, пожалуй, стремление неудачное, потерпевшее крах; бесплодное, но великодушное хотение.

Иные станут, быть может, восхвалять и превозносить те изумительные знания, которые покойный нагромоздил в своей памяти, для нас же они не имеют особой цены. Мы вообще, говоря честно, никогда не находили вкуса в этих знаниях. Все, что Маркус знал, он знал не как нечто живое и органическое, но как мертвую историю, вся природа в целом представлялась ему окаменелой, и, в сущности, он воспринимал только ископаемых и мумии. К этому присоединялась неспособность к художественному выражению, и когда он принимался о чем-нибудь писать, было жалко смотреть, как тщетно выбивается он из сил, чтобы изобрести хоть самую убогую форму для изображаемого. Безвкусны, неудобоваримы, бестолковы были поэтому статьи и, в особенности, книги, которые он писал.

Кроме ряда лингвистических, астрономических и ботанических сочинений, Маркус издал историю вандалов в Африке и, в сотрудничестве с профессором Дуисбергом, — географию Северной Африки. После него осталось в рукописном виде необычайно объемистое сочинение об Абиссинии, по-видимому основной труд его жизни, так как он занимался Абиссинией уже в Берлине. К этой стране его влекли, вероятно, прежде всего исследования о фалаша — иудейском племени, долгое время сохранявшем среди абиссинских гор свою независимость. Да, хотя его познания охватывали все уголки мира, но все же Маркусу был лучше всего осведомлен о местности по ту сторону Лунных гор Эфиопии, близ скрытых истоков

Нила, и для него было величайшей радостью уличить в ошибках Брюса или самого Гассельквиста. Он был счастлив, когда я попросил его скомпиллировать для меня из арабских и талмудических сочинений все относящееся к царице Савской. Этой работе, быть может еще сохранившейся среди моих бумаг, я обязан тем, что до сих пор знаю, почему абиссинские цари хвастают своим происхождением из рода Давидова: они связывают свое происхождение с визитом, который их прародительница, вышеупомянутая царица Савская, нанесла в Иерусалиме премудрому Соломону. Как я узнал из указанной компиляции, эта дама была, несомненно, так же хороша, как и Елена Спартанская. Во всяком случае, посмертно ей на долю выпала подобная же судьба, ибо существуют влюбленные в нее раввины, которым удается вызвать ее из гроба с помощью кабалистических чар; правда, иной раз они попадали в неприятную передрагу. Завороженная ими красавица обладает прескверным свойством: уж если она займет где-нибудь местечко, то засядет надолго, ни за что от нее не отвяжешься.

Как я уже отметил, интерес к еврейской истории был всегда основным мотивом и поводом для ученых работ покойного Маркуса; что дело обстояло именно так и с его абиссинскими исследованиями и что последние занимали его уже очень давно, неопровержимо доказывает статья, которую он напечатал еще в те времена в Берлине, в «Журнале еврейской культуры и науки». Он касался в ней обрезания у абиссинок. Как искренне хохотал покойный Ганс, показывая мне в этой статье место, где автор высказывает пожелание, чтобы над этим вопросом поработал кто-нибудь более компетентный, чем он.

Внешний облик маленького человечка, возбуждавший нередко смех, ничуть не помешал ему быть одним из наиболее почетных сочленов общества, издававшего вышеупомянутый журнал и под названием «Общество еврейской культуры и науки» преследовавшего огромную по размаху, но неосуществимую идею. Духовно одаренные и глубоко чувствующие люди пытались спасти с помощью этого общества давно проигранное дело, но самое большее, чего им удалось добиться, — это разыскать останки более древних борцов на полях прошлых битв. Все достижения этого общества заключаются в нескольких истори-

ческих работах, среди которых исследования доктора Цунца об испанских евреях в средние века должны быть отнесены к замечательнейшим примерам тончайшего критического чутья.

Как мог бы я, говоря об этом обществе, не упомянуть о замечательном Цунце, который в неустойчивый переходный период неизменно проявлял непоколебимое постоянство и, несмотря на свою пропнитательность, свой скепсис, свою ученость, все же сохранил верность данному себе самому слову, верность великодушной прихоти своей души. Муж слова и дела, он создавал и действовал там, где другие мечтали или малодушно сдавались.

Я не могу не упомянуть здесь и о моем миле Бендавиде, в котором ум и сила характера сочетались с блестящим светским образованием и который, несмотря на свой почтенный возраст, разделял юношеские заблуждения общества. Это был мудрец античного склада, осиянный солнечным светом греческой жизнерадостности, монументальное воплощение самой подлинной добродетели, твердой в сознании долга, подобно мрамору категорического императива его учителя Иммануила Канта. Бендавид был в течение всей своей жизни самым ревностным последователем кантианской философии; во имя ее он в своей юности претерпел величайшие преследования, и, несмотря на все это, ему ни разу не захотелось расстаться со старою Моисеевой общицею, он ни разу не пожелал изменить хотя бы внешнему ритуалу вероисповедания. Даже видимость такого отступничества вызывала в нем раздражение и отвращение. Лацарус Бендавид был, как я сказал, заядлый кантианец, и этим я определяю также пределы его ума. Когда мы говорили с ним о гегелевской философии, он потряхивал лысой головой и утверждал, что она суеверие. Он писал довольно хорошо, но говорил много лучше. Он дал для журнала общества замечательную статью о вере в мессию у евреев; в ней он пытался с критической пропнитательностью доказать, что вера в мессию отнюдь не принадлежит к главным основам иудейской религии и должна рассматриваться как случайный прибесок.

Наиболее деятельным членом общества, собственно — душою его, был М. Мозер, умерший несколько лет тому назад; он уже в юности не только обладал основательней-

шими познаниями, но при этом горел еще великим состраданием к человечеству, жаждой претворить знания в спасительный подвиг. Он был неутомим в своих филантропических устремлениях, был очень деловит и в тишине, не привлекая ничего внимания, отдавался всякого рода подвигам милосердия. Широкая публика ничего не знала о его делах и трудах, он сражался и истекал кровью инкогнито, его имя осталось совершенно неизвестным и не было занесено в адрес-календарь самопожертвования. Наше время не так убого, как думают иные: оно произвело на свет изумительное множество таких же анонимных подвижников.

Некролог покойного Маркуса невольно привел меня к некрологу самого общества, наиболее достойным членом которого он был и в качестве председателя которого проявил себя уже упомянутый, также покойный, Эдуард Ганс. Этот высокоодаренный человек менее всего заслуживает похвал в отношении скромного самопожертвования и анонимного мученичества. Да, если его душа и раскрывалась легко и широко для всех проблем, связанных с благом человечества, то даже в пылу вдохновения он никогда не терял из виду личные интересы. Одна остроумная дама, к которой Ганс часто приходил по вечерам пить чай, правильно заметила, что и во время самых рьяных дискуссий и вопреки своей чудовищной рассеянности, он все-таки, добравшись до тарелки с бутербродами, неизменно захватывал бутерброды не с обыкновенным сыром, а со свежей лососиной.

Заслуги покойного Ганса перед немецкой наукой общеизвестны. Он был одним из наиболее деятельных апостолов гегелевской философии и в области правовых наук сокрушительно боролся против тех лакеев древнеримского права, которые, не имея представления о духе, жившем некогда в старом законодательстве, занимаются только выколачиванием пыли из унаследованного от него гардероба, чистят его от моли или еще с помощью заплат приспособляют для современного употребления. Ганс пускал в ход палку, расправляясь с такого рода раболепством, даже если оно являлось в самую элегантную ливрею. Как жалобно стонет под его каблуками бедный г-н де Савиньи! Ганс содействовал развитию немецкого свободомыслия еще больше словом, чем писанием,

он расковывал наиболее связанные мысли и срывал маску со лжи. Это был живой, огненный дух, искры остроумия которого превосходно поджигали или, по меньшей мере, чудесно светили. Припомним пессимистическое изречение поэта (во второй части «Фауста»):

Старо, но вечно верно слово мудрое,
Что стыд с красой по-дружески, рука с рукой,
Вовек не шли по полю жизни светлomu.
Глубоко в них таится злая ненависть:
Когда они сойдутся на пути своем, —
Спиной тотчас друг к другу обращаются...¹

Эти роковые слова мы должны отнести и ко взаимоотношениям между гениальностью и добродетелью: они тоже живут в непрерывной вражде между собою и подчас раздраженно поворачиваются спинами друг к другу. С грустью вынужден я здесь указать, что по отношению к упомянутому «Обществу еврейской культуры и науки» Ганс поступал, во всяком случае, не добродетельно и что он повинен в самом непростительном вероломстве. Его предательство было тем отвратительнее, что он играл роль агитатора и нес своего рода председательские обязанности. Исстари повелось, что капитан всегда последним покидает гибнущее судно, а Ганс раньше всего подумал о собственном спасении. Поистине, в моральном отношении маленький Маркус превосходил большого Ганса, и в данном случае он тоже мог бы пожалеть, что Ганс не вполне дорос до своих задач.

Мы указали, что участие Маркуса в «Обществе еврейской культуры и науки» представляется нам обстоятельством более значительным и достопамятным, чем все его изумительные познания и его ученые труды вместе взятые. Вероятно, время, когда он отдавался устремлениям и иллюзиям этого общества, представлялось ему самому солнечным часом расцвета его печальной жизни. Поэтому мне и пришлось здесь особо говорить об обществе, и излишним будет более подробно изложить его цели. Однако место и время и их блюстители не допустят на этих страницах столь развернутого изображения, тем более что оно должно было бы охватить религиозные и

¹ Перевод Н. Холодковского.

гражданские отношения не только среди евреев, но и среди всех действительских сект нашей планеты. Я укажу здесь только на то, что эзотерической целью общества было не что иное, как установление связи между историческим юдаизмом и современной наукой, которая, как предполагалось, с течением времени достигнет мирового господства. Нечто подобное — с большим или меньшим неуспехом — имело место при соответствующих обстоятельствах в Александрии в эпоху Филона, когда греческая философия объявила войну всем старым догматам. Здесь не было и речи о расколыническом просветительстве и, еще менее, о той эмансипации, о которой в наши дни болтают иной раз настолько отвратительно неостроумно, что теряешь к ней всякий интерес. Именно иудейские сторонники этой проблемы ухитрились окутать ее водянисто-серым облаком скуки, которая для нее вреднее тупоумного яда противников. Там имеются добродушные фарисеи, особенно похваляющиеся тем, что, не обладая литературным талантом, они взяли за перо во имя Иеговы, назло Аполлону. Хотя бы немецкие правительства поскорее прониклись эстетическим милосердием к публике и положили конец этому шарлатанству, этому пустозвонству и ускорили эмансипацию, на которую им рано или поздно все-таки придется пойти.

Да, на эмансипацию все-таки придется согласиться рано или поздно, по чувству ли справедливости, по благоразумию ли, или по необходимости. Антипатия к евреям среди высших классов не имеет уже религиозных корней, а среди низших классов она с каждым днем все больше и больше превращается в социальную ненависть к господствующей власти капитала, к эксплуатации бедных богатыми. Юдофобство посит теперь совсем другое название, даже у черни. Что же касается правительств, то они, наконец, добрались до высокоумной идеи, что государство есть организм и что последний не может быть абсолютно здоровым до тех пор, пока хотя один единственный из его членов, будь то хоть мизинец ноги, страдает каким-нибудь недугом. Да, как бы гордо государство ни подымало свою голову и как бы ни встречало оно открытой грудью всяческие бури, — сердцу, и груди, и даже этой гордой голове все-таки придется разделить боль с мизинцем, если он страдает от мозолей; ограииче-

ния в правах евреев являются такого рода мозолями на ногах немецкой государственности.

И если бы правительства вдобавок поняли, какая ужасная опасность угрожает основе всех позитивных религий, самой идее деизма, со стороны новых учений, если бы они поняли, что борьба между знанием и верою уже вообще перестала быть домашней ссорой, но превратится вскоре в дикую битву не на живот, а на смерть, — если бы правительства поняли эти невыявленные опасности, они порадовались бы тому, что евреи еще существуют на свете, что швейцарская гвардия деизма, как их назвал поэт, еще стойко держится, что еще существует на свете богом избранный народ. Вместо того чтобы поуждать их к отсутствию от собственной веры путем законодательных ограничений, следовало бы попытаться укреплять их в этой вере с помощью премий, следовало бы на государственный счет строить им синагоги только для того, чтобы они ходили туда, а толпящийся вокруг народ воображал, будто вера еще кое-как держится на свете. Остерегайтесь поощрять крещение среди евреев. Это всего-навсего вода, и она легко высохнет. Наоборот, поощряйте обрезание, — это вера, врезанная в плоть; в дух ее уже невозможно врезать.

Поощряйте обряд памятного ремня, которым вера привязывается к руке; государству следовало бы даром отпускать евреям кожу для него, да еще муку для мацы, которую верный Израиль грызет уже три тысячи лет. Содействуйте эмансипации, чтобы она не пришла слишком поздно и чтобы она вообще еще застала на свете евреев, которые веру своих отцов предпочитают благоденствию своих детей. Есть на свете поговорка: «Пока соображает мудрец — соображает и глупец».

Вышеизложенные рассуждения связаны, конечно, с личностью, о которой я хотел здесь рассказать и которая, как я уже заметил, привлекает наш интерес не столько в индивидуальном, сколько в историческом и моральном разрезе. Кроме того, по собственным воспоминаниям я очень мало что могу рассказать о внешних событиях жизни нашего Маркуса, которого я вскоре потерял из виду в Берлине. Я слышал, будто он переселился во Францию, так как, несмотря на исключительные познания и высокую правдивость, он все-таки встретил преграду

своему преуспеянию на родине — в виде остатков средневекового законодательства. Его родители умерли, и он великодушно отказался от наследства в пользу своих братьев и сестер, нуждающихся в поддержке. Прошло около пятнадцати лет, я все это время ничего не слышал ни о Людвиге Маркусе, ни о царице Савской, ни о Гассельквисте, ни об обрезанных абиссинках, и вдруг однажды здесь, в Париже, передо мной снова предстал этот маленький человек и рассказал мне, что он за это время, между прочим, побывал профессором в Дижоне, но в результате какой-то несправедливости со стороны министерства отказался от профессуры и хочет остаться в Париже, чтобы воспользоваться ресурсами библиотеки для своего большого труда. Как я слышал от других, здесь сыграла роль известная доля упрямства; министерство предлагало даже, как это принято во Франции, найти более скромно оплачиваемого заместителя, ему же лично оставить большую часть жалованья. Этому воспротивилась благородная душа маленького человечка: он не хотел злоупотреблять чужим трудом и предоставил преемнику полностью все свое содержание. Это бескорыстие тем замечательнее в данном случае, что он был нищенски беден и влачил трогательно скудное существование. Ему приходилось совсем скверно, и если бы не ангельская помощь одной прекрасной женщины, он бы, наверное, погиб от крайней нищеты. Да, весьма красивая и высокопоставленная парижская дама, одна из самых блестящих представительниц здешнего светского общества, услышав об этом своеобразном чуде, спустилась во мрак его бедственной жизни и с грациозной деликатностью сумела убедить его принять от нее значительное годовое содержание. Мне кажется, его гордость была укрощена главным образом надеждой на то, что эта покровительница, супруга самого богатого банкира нашей планеты, издаст когда-нибудь впоследствии на свой счет его большой труд. Даме, думал он, ум и образование которой пользуются такой славой, должно быть очень важно, чтобы в конце концов была создана подробная история Абиссинии, и он находил вполне естественным, что она пыталась с помощью годового содержания облегчить автору его великое бремя.

Годы, в течение которых я не видел доброго Маркуса, не украсили его внешность. Его облик, который и раньше

был на грани смешного, стал ныне решительной карикатурой, но приятной, милой, я почти готов сказать — отрадной, карикатурой. Забавно меланхолический вид придавало ему изборозженное страдальческими морщинами старческое лицо, на котором живым и веселым блеском выделялись маленькие черные глазки, а также его баснословно богатая растительность. Дело в том, что его волосы, прежде черные как смоль и прямые, теперь поседели и покрывали курчавой всклокоченной копной и без того несоразмерно большую голову. Он сильно смахивал на большеголовые фигуры на коротких ножках, с худеньким тельцем, какие приходится видеть на стеклах китайского театра теней. Мое сердце радостно трепетало от смеха, когда мне случалось видеть эту карликовую фигуру на бульварах в сопровождении его сотрудника, страшно высокого и предстательного профессора Дуисберга. Одному из моих знакомых, спросившему, кто этот маленький человечек, я сказал, что это — абиссинский король, и эта кличка сохранилась за ним до самой смерти. Ты сердился на меня за это, дорогой, милый Маркус? В самом деле, творец мог бы создать более подходящую оболочку для твоей прекрасной души. Однако господь бог слишком занят; порою, как раз когда он приготовится снабдить благородную жемчужину золотой оправой прекрасной чеканки, ему вдруг помешают, и он заворачивает драгоценный камень в первый попавшийся под руку обрывок промокательной бумаги или в тряпочку, — иначе я не могу объяснить себе такое положение вещей.

Приблизительно пять лет прожил Маркус в Париже, преисполненный самого мудрого душевного спокойствия; жилось ему хорошо, осуществилось даже одно из заветнейших его желаний: у него была маленькая квартирка с собственной мебелью и, к тому же, поблизости от библиотеки! Однажды вечером к нему приходит один из родственников, сын его сестры, и не может опомниться от изумления, когда дядюшка внезапно садится на пол и начинает диким, неистовым голосом распевать самые отвратительные уличные песенки. Он, который никогда не пел и был воплощением целомудрия в речах и в манерах! Но еще страшнее стало гостю, когда дядя гневно вскопчил, распахнул окно и выкинул на улицу сначала свои часы, затем рукописи, чернильницу, перья, кошелек. Когда племянник увидел,

что дядя швыряет за окно деньги, он уже больше не сомневался в его безумии. Несчастного отвезли в лечебницу доктора Пинпель в Шайо, где он через две недели в ужасных мучениях испустил дух.

Он умер 15 июля и 17-го был похоронен на кладбище Монмартр. Я, к сожалению, слишком поздно узнал о его смерти и не мог отдать ему последний долг. Посвящая сегодня эти страницы его памяти, я хотел исправить свое упущение и как бы принять мысленно участие в его похоронах.

А теперь откройте мне еще раз его гроб, чтобы я мог, согласно старому обычаю, попросить прощения у покойника — на случай, если я при жизни чем-нибудь его обидел. Как спокоен сейчас маленький Маркус!.. Кажется, он посмеивается над тем, что я недостаточно высоко оценил его ученые труды. Впрочем, это не может иметь для него большого значения, так как в этом случае я ведь вовсе не являюсь таким компетентным судьей, каким был хотя бы его друг С. Мунк, ориенталист, который, как говорят, занят исчерпывающей биографией покойного, а также изданием его посмертных трудов.

ПОЗДНЕЙШАЯ ЗАМЕТКА

(В марте 1854 г.)

Я всегда стремился к правильному образу мысли и соответствующему стилю и потому испытываю удовлетворение от того, что смог решиться опубликовать здесь предыдущие страницы под заглавием «Поминальное слово», обязывающим ко многому, хотя они были уже десять лет тому назад написаны анонимно для аугсбургской «Всеобщей газеты». С тех пор многое изменилось в Германии, и вопрос о гражданском равноправии последователей Моисеева закона, затронутый мимоходом на предшествующих страницах, постигла чрезвычайно своеобразная судьба. Весною 1848 года он казался решенным навсегда. Но как и многие другие завоевания той поры расцвета немецких упований, так и указанный вопрос в данную минуту отброшен на нашей родине далеко назад и в некоторых местах, как мне передают, находится снова в самом позорном статус-кво. Евреи могли бы, наконец, прийти к убеждению, что они лишь тогда будут по-настоя-

щему эмансипированы, когда христианае также полностью добьются эмансипации. Их дело тождественно делу немецкого народа, и они в качестве евреев не имеют права притязать на то, что уже давно должно было бы принадлежать им как немцам.

Я намекнул на предшествующих страницах, что ученый С. Мунк предполагал заняться изданием рукописей, оставшихся после покойного Маркуса. К сожалению, теперь это невыполнимо, так как наш выдающийся ориенталист страдает недугом, не дающим ему возможности взяться за подобного рода работу: дело в том, что два года тому назад он совершенно ослеп. Я лишь недавно услышал об этом грустном событии и вспоминаю теперь, что этот прекрасный человек, несмотря на угрожающие симптомы, никогда не берег свое зрение. Когда я имел честь в последний раз встретиться с ним в Королевской библиотеке, он сидел, зарывшись в грудь арабских манускриптов, и мучительно было видеть, как он напрягает свои больные, выцветшие глаза, расшифровывая фантастически замысловатую абракадабру. Он был хранителем названной библиотеки, но теперь он уже не в состоянии справиться с этой несложной должностью. Он содержал свою многочисленную семью главным образом на доходы от литературных работ. Слепота, пожалуй, самое жестокое испытание, какое может поразить немецкого ученого. Она поразила на этот раз благороднейшую душу, какую только можно найти. Мунк бескорыстен до высокомерия, и при всем богатстве познаний этот человек сохраняет трогательнейшую скромность. Он, наверное, переносит свою участь со стоическим самообладанием и религиозной покорностью господней воле.

Почему, однако, праведнику приходится столько страдать на земле? Почему талант и честность должны погибать, между тем как хвастливый паяц, который никогда не стал бы утруждать свои глаза арабскими манускриптами, потягивается на перинах счастья и чуть ли не вопиет от благополучия? Книга Иова не разрешает этого жестокого вопроса. Наоборот, эта книга есть песня песней скептицизма, и страшные змеи с шипом и свистом задают в ней свой вечный вопрос: почему? Как могло случиться, что благочестивая архивно-храмовая комиссия, председателем которой был Ездра, после возвращения из Вави-

лона приняла эту книгу в канон священного писания? Я часто спрашивал себя об этом. По моим представлениям, те боговдохновенные мужи поступили так не по недомыслию, а потому, что, по великой мудрости своей, они, конечно, знали, как глубоко заложено и оправдано в человеческой душе сомнение, знали, что поэтому его нельзя грубо подавлять, а следует лишь врачевать. Они применяли при лечении этого недуга гомеопатические методы, воздействуя подобным на подобное, однако давали при этом вовсе не гомеопатически малые дозы, — напротив, они самым чудовищным образом увеличивали их, и вот такую сверхмощную дозою сомнений является книга Иова; нельзя, чтобы этого яда не оказалось в библии, в этой огромной домашней аптеке человечества. Да, подобно тому как страдающий человек должен выплакаться, так же должен насытиться сомнениями тот, кто чувствует себя жестоко оскорбленным в своих притязаниях на жизненное счастье; и как в результате обильных слез, так и в результате высшей степени сомнения, которое немцы так правильно называют отчаянием,¹ возникает кризис морального исцеления. Но благо тому, кто здоров и не нуждается ни в каких лекарствах!

¹ По-немецки *der Zweifel* — сомнение, *die Verzweiflung* — отчаяние.

**БАХЕРАХСКИЙ
РАВВИН**

(ФРАГМЕНТ)



Своему любимому другу
Генриху Лаубе посвящает
легенду о бахерахском
равнине с радостным при-
ветом

астор

ГЛАВА ПЕРВАЯ

На Нижнем Рейне, где берега реки теряют смеющийся свой облик, где горы и утесы с затейливыми руинами замков насупились еще упрямей и дикос, суровое великолепие вздымается еще выше, там, словно ужасающая старинная легенда, стоит мрачный, незапамятно-древний город Бахерах. Эти стены с беззубыми амбразурами и слепыми дозорными башенками, в расщелинах которых свищет ветер и гнездятся воробьи, не всегда были такими замшелыми и разрушенными; в этих убого-безобразных главистых улочках, что виднеются сквозь развалившиеся ворота, не всегда владычествовала эта пустынная тишина, лишь по временам нарушаемая криками детей, перебранкой женщин и ревом коров. Эти стены некогда были горды и крепки, а в этих улочках кипела свежая, свободная жизнь, мощь и блеск, смех и скорбь, много любви и много ненависти. Бахерах принадлежал некогда к тем муниципиям, что были заложены римлянами в пору их владычества над Рейном, и хотя последующие времена были весьма бурными и хотя впоследствии жители его попали под власть Гогенштауфенов, а под конец — Виттельсбахов, — однако ж, по примеру других прирейнских городов, они сумели сохранить довольно свободное общинное устройство. Оно состояло в соединении отдельных корпораций, когда единовластия домогались

корпорация патрицианских родов и корпорация цехов, в свою очередь делившаяся по ремеслам, так что вовне, для защиты и отпора окрестному разбойничьему дворянству, они держались сплоченно, а внутри, из-за несогласия в интересах, закоснели в беспрестанных раздорах; а посему между ними было мало общения, много подозрительности, и часто всерьез разгорались страсти. Фохт сеньера обитал в высоком замке Зарек и, подобно своему соколу, стремительно бросался вниз по первому зову, а порой и без зова. Духовенство господствовало во мраке посредством помрачения духа. Наиболее отчужденной, немощной, постепенно лишавшейся гражданских прав корпорацией была маленькая еврейская община, осевшая в Бахерахе еще при римлянах и впоследствии, во время великих гонений на евреев, принявшая к себе целые толпы беглых единоверцев.

Великое гонение на евреев началось с крестовых походов и неистовствовало всего яростней в середине четырнадцатого века, на исходе великой чумы, причину коей, как и всякого другого общественного бедствия, приписывали евреям, утверждая, что они навлекли на себя гнев божий и с помощью прокаженных отравляли колодцы. Вздуродженная чернь — в особенности орды флагеллантов, полунагие мужчины и женщины, которые, каясь, бичевали себя и, распевая безумные гимны в честь богоматери, прошли Рейнскую область и всю остальную Южную Германию, — умертвила тогда многие тысячи евреев, или подвергла их пыткам, или насильственно крестила. Другое обвинение, которое с давних времен, на протяжении всего средневековья, до начала прошлого столетия, стоило евреям много крови и страха, была затасканная, до тошноты повторявшаяся в хрониках и легендах басня, что евреи похищают освященные гостии и до тех пор пронзают их ножом, пока не истечет кровь, а на пасху закалывают христианских детей, дабы употребить их кровь в ночном богослужении. Евреи, достаточно несправедливые за свою веру, свое богатство и свои долговые книги, в этот праздник были всецело в руках врагов, которые так легко могли погубить их, распустив слух о подобном детоубийстве, быть может даже тайно подбросив окровавленный детский труп в опальный дом еврея, а ночью напав на молящееся еврейское семейство; и вот

тогда убивали, грабили и крестили, и совершались великие чудеса от найденного мертвого младенца, которого под конец церковь сопричисляла к лику святых. Святой Вернер — как раз такой святой, и в его честь в Обервезеле было основано то великолепное аббатство, развалины которого принадлежат сейчас к самым живописным на Рейне и так восхищают нас готическим великолепием своих длинных, остроконечных окон, гордо устремленных ввысь пилястр и каменной резьбы, когда в летний, весело зеленеющий день мы плывем мимо, ничего не зная о его возникновении. В честь этого святого воздвигнуты на Рейне еще три большие церкви и умерщвлено или замучено бесчисленное множество евреев. Это случилось в 1287 году также и в Бахерахе, где построили одну из церквей святого Вернера; евреи тогда испытали много бед и напастей. Однако ж с тех пор прожили они два столетия, не страдая от подобных взрывов народной ярости, хотя угроз и гонений было еще немало.

Но чем сильнее ненависть притесняла их извне, тем искренней и сердечней становилась домашняя жизнь, тем глубже в бахерахских евреях укоренялись благочестие и страх божий. Примером богоугодного жития был тамошний раввин, рабби Авраам, человек еще не старый, однако ж повсеместно прославившийся своей ученостью. Он тут родился, и отец его, также бывший раввином в этом городе, перед смертью велел ему посвятить себя тому же служению и никогда не покидать Бахераха, даже в случае смертельной опасности. Этот наказ и шкаф с редкостными книгами было все, что оставил ему отец, живший в бедности и книжной учености. Но рабби Авраам был весьма богат, ибо, женившись на единственной дочери покойного брата своего отца, торговца драгоценностями, он унаследовал его богатства. Некоторые злоязычники намекали даже, что рабби женился как раз ради денег. Но все женщины оспаривали это и принимались рассказывать старые истории: как рабби еще до своей поездки в Испанию был влюблен в Сарру — ее, собственно, прозывали прекрасной Саррой, — и как Сарра семь лет принуждена была ждать, пока рабби не воротился из Испании, после чего он против воли ее отца и даже вопреки ее собственному желанию женился на ней с помощью обручального кольца. Именно так каждый еврей может сделать еврейскую

девушку законной своей женой, если ему удастся надеть ей на палец кольцо и притом сказать: «Я беру тебя в жены по закону Моисееву и Израилеву». При упоминании Испании злоязычники имели обыкновение улыбаться совсем особенным образом, что происходило по причине темной молвы, будто рабби Авраам хотя и довольно ревностно занимался изучением божественного закона в высшей школе Толедо, однако ж вместе с тем перенял христианские обычаи и усвоил вольнодумный образ мыслей, подобно тем испанским евреям, которые в то время достигли чрезвычайных высот образованности. Но в глубине души эти злоязычники весьма мало верили в справедливость молвы, на которую намекали, ибо безгранично чист, благочестив и серьезен был уклад жизни рабби по возвращении из Испании: самые маловажные обряды выполнял он с боязливой добросовестностью, постился все четверги и понедельники, только по субботам или в другие праздники вкушал мясо и вино. Жизнь его протекала в молитве и ученых занятиях: днем толковал он божественный закон в кругу учеников, которых слава его имени привлекла в Бахерах, а ночью созерцал звезды на небе или очи прекрасной Сарры. Бездетным оставался брак рабби. Однако ж вокруг него не было недостатка в жизни и движении. Большая зала в его доме, расположенном возле синагоги, всегда была открыта для всей общины: сюда приходили и отсюда уходили не спросясь, свершали наскоро молитвы, или набирались новостей, или держали совет в случае общей нужды; здесь дети играли по субботам утром, в то время как в синагоге читали недельную главу писания, здесь собирались на свадебные и погребальные процессии, здесь ссорились и мирились, здесь зябнувший находил теплую печь, а голодный — накрытый стол. Помимо того, вокруг рабби копошилось множество родичей, сестер и братьев с их женами и детьми, а также все дядюшки и тетушки как с его стороны, так и со стороны жены, пространная родня, считавшая рабби главой семейства и наполнявшая его дом спозаранку до поздней ночи; по большим же праздникам имели обыкновение обедать все вместе. С особой торжественностью эти общесемейные трапезы в раввинском доме устраивали каждый год на пасху, этот древний дивный праздник, который и поныне в канун четырнадцатого дня месяца ниссен

евреи, в память своего избавления от египетского рабства, справляют по всему свету следующим образом.

Как только наступит ночь, хозяйка дома зажигает светильники, покрывает скатертью стол, кладет посредине три плоских опреснока, прикрывает их салфеткой и на это возвышение ставит шесть мисочек, содержащих символические кушанья, именно — яйца, латук, хрен, кости ягненка и коричневую смесь из корицы, изюма и орехов. За этот стол садится отец семейства со всеми родичами и друзьями и читает им вслух затейливую книгу, что зовется Агада, содержание которой представляет собой диковинную смесь из сказаний праотцев, рассказов о чудесах в Египте, любопытных историй, вопрошаний, молитв и праздничных песнопений. В разгар праздника открывается большая трапеза, и даже во время чтения, в назначенное к тому время, отведывают символические кушанья, а потом съедают по куску опресноков и осушают четыре кубка вина. Скорбно-весел, серьезно-театрален, сказочно-таинствен нрав этого вечернего праздника, и традиционный певучий тон, с каким отец семейства читает Агаду, а слушатели время от времени повторяют за ним хором, звучит так жутко-сердечно, так по-матерински убаюкивает и тут же торопливо будит, что даже евреи, давно отпавшие от веры отцов своих и прельщенные чужими радостями и почестями, бывают потрясены до глубины души, когда случайно их слуха коснутся старые, хорошо знакомые пасхальные звуки.

Однажды в большой зале своего дома восседал рабби Авраам и вместе со своими родичами, учениками и остальными гостями приступил к вечернему празднованию пасхи. Зала больше чем обыкновенно сверкала чистотой, стол был накрыт пестро вышитой шелковой скатертью, золотая ее бахрома свисала до земли, мирно мерцали тарелочки с символическими кушаньями, так же как и высокие, наполненные вином кубки искусной чеканки, украшенные сценами из священной истории; мужчины сидели в черных плащах, в черных плоских шляпах и белых брыжах, женщины — в причудливо сверкающих платьях из ломбардского штофа, с жемчужными и золотыми уборами на голове и ожерельями на шее; а серебряная субботняя свечильница лила праздничный свой свет на благоговейно увеселенные старческие и молодые лица.

На пурпурной бархатной подушке кресла, поставленного несколько выше, чем остальные, прислонившись к спинке, как того требовал обычай, восседал рабби Авраам и читал и пел Агаду, и пестрый хор вторил или отвечал в установленных местах. На рабби также было надето черное праздничное платье; черты его благородного, несколько строгого лица были мягче обыкновенного; губы улыбались из каштановой бороды, словно собирались вымолвить много отрадного, а на глаза навернулись слезы как бы блаженного воспоминания и предчувствия. Прекрасная Сарра, которая как хозяйка сидела подле него на таком же высоком бархатном кресле, не надела на себя ни одной драгоценности; только белое полотно облекало ее стройное тело и обрамляло кроткое лицо. Это лицо было трогательно-прекрасно, как, впрочем, своеобразно трогательна красота евреек; сознание тяжкого злополучия, горького позора и печальных превратностей, среди которых живут их родные и друзья, разливает по их прелестным чертам выражение страдающей искренности и наблюдательной, любящей пугливости, что так странно очаровывает наши сердца. Так сидела сегодня прекрасная Сарра, не сводя глаз со своего мужа; время от времени она поглядывала на Агаду, красивую, в золото и бархат переплетенную пергаментную книгу, издревле переходившую из рода в род, со стародавними, еще дедами оставленными пятнами вина на страницах, где было много пестро и живо написанных картинок, которые она еще маленькой девочкой так любила рассматривать пасхальным вечером и где изображались различные библейские события, а именно: как Авраам молотком разбивает каменных кумиров отца своего, как приходят к нему ангелы, как Моисей убивает Мицри, как величественно восседает фараон на троне, как жабы не дают ему покоя даже за трапезой, как он — благодарение богу — тонет, а сыны Израиля осторожно переходят Чермное море, как они, разинув рты, стоят вкупе со своими овцами, коровами и быками у горы Синай, и потом как благочестивый царь Давид играет на лютне, и, наконец, как Иерусалим, с башнями и зубцами своего храма, стоит, озаренный солнечным светом!

Уже налили второй кубок, лица и голоса просветлели, и рабби, взяв один из опресноков и подняв его и радостно приветствуя им, прочитал следующие слова Агады:

«Смотри! Вот пища, что отцы наши вкушали в Египте! Всякий алчущий да придет и вкусит от нее! Всякий, кто печалится, да придет и возрадуется с нами о пасхе! Нынешний год празднуем мы пасху здесь, но в грядущем году будем праздновать ее в земле Израиля! Нынешний год празднуем мы как рабы, но в грядущем году будем праздновать как сыны свободы!»

Тут отворилась дверь, и в залу вошли двое высоких бледных мужчин, укутанных в широкие плащи, и один из них сказал: «Мир вам! Мы путешествующие единовѣрцы и хотим праздновать с вами пасху». И рабби ответил им поспешно и радостно: «Мир и вам, садитесь подле меня!» Оба чужестранца тотчас присели к столу, и рабби продолжал читать. По временам, когда собравшиеся еще вторили ему, он бросал ласковые слова своей жене, и, намекая на шуточный обычай, по которому еврейский отец семейства считает себя в этот вечер царем, он сказал ей: «Радуйся, моя царица!» Она же с грустной улыбкой ответила: «Однако недостает нам царевича!», подразумевая под тем сына, коему, как предписывает в одном месте Агада, надлежит установленными словами спросить отца о значении этого праздника. Рабби ничего не ответил и лишь указал пальцем в Агаде на только что открывшуюся картину, где с необычайной приятностью было изображено, как три ангела приходят к Аврааму, чтобы возвестить ему, что жена его Сарра родит ему сына, она же, по женской хитрости, стоит у входа в шатер, подслушивая их беседу. Этот легкий намек разлил густой румянец по щекам красивой женщины. Она опустила глаза, а потом снова приветливо взглянула на мужа, продолжавшего напевное чтение диковинного сказания, как рабби Иошуа, рабби Элиазар, рабби Азария, рабби Акиба и рабби Тарфен в Бона-Браке всю ночь говорили об исходе детей Израиля из Египта, пока не пришли к ним их ученики и не крикнули им, что наступил день и в синагоге уже читают большую утреннюю молитву.

Меж тем как прекрасная Сарра благоговейно слушала, не сводя глаз со своего мужа, вдруг заметила она, как внезапно исказилось и оцепенело от ужаса его лицо, кровь отхлынула от щек и губ, глаза остекленели, словно ледяные сосульки; но почти в то же мгновение увидела она, что черты его стали по-прежнему спокойными

и веселыми, на губы и щеки вернулась краска, глаза стали весело смотреть по сторонам, и даже папало на него какое-то совсем не свойственное ему буйное веселье. Прекрасная Сарра испугалась, как никогда в жизни, и внутреннее содрогание пронизало ее холодом не столько от того, что на лице мужа на мгновение увидела она признаки цепенящего ужаса, сколько от теперешней его веселости, постепенно переходившей в ликующую несдержанность. Рабби, играючи, передвигал берет с уха на ухо, забавно подергивал и закручивал свою бороду, пел Агаду на манер уличных певцов, а при перечислении казней египетских, когда надлежит многократно погрузить в кубок указательный палец и повиснувшую на нем каплю стряхнуть на землю, обрызгал красным вином молодых девушек, вызвав тем большие сетования об испорченных брыжах и громкий смех. Все тревожней чувствовала себя прекрасная Сарра при виде судорожно бурлящей веселости мужа, и, скованная невыразимой боязнью, она глядела в жужжащую сушту пестро освещенных, с довольством покачивающихся людей, грызущих тонкие пасхальные хлебцы, или потягивающих вино, или болтающих друг с другом, или громко поющих в чрезвычайном веселье.

Настал час вечерней трапезы, все поднялись, чтоб совершить омовение, и прекрасная Сарра принесла большую серебряную, украшенную златочеканными фигурами умывальную лохань, которую она подносила каждому из гостей, в то время как ему поливали руки водой. Когда она оказала эту услугу рабби, он многозначительно подмигнул ей и проскользнул за дверь. Прекрасная Сарра последовала за ним, рабби торопливо схватил ее за руку и скорей повел прочь, по темным улочкам Бахераха, скорей за городские ворота, на большую дорогу, что ведет вдоль Рейна на Бинген.

То была одна из тех весенних ночей, хотя довольно теплых и звездных, однако ж наполняющих душу странном трепетом. Запах тления источали цветы; злорадно и в то же время перепуганно щебетали птицы; месяц отбрасывал коварные желтые полосы света на невнятно бормочущий поток; высокие массивы скал на берегу казались угрожающе покачивающимися головами исполипов; дозорный на башне замка Штрадек меланхолично

трубил в трубу, и среди всего этого торопливо, пронзительно звенел колокольчик церкви святого Вернера, вещающий о чьей-то смерти. Прекрасная Сарра в правой руке несла серебряную лохань, а левой все еще сжимала руку рабби, и она чувствовала, как леденисто холодны были его пальцы, как дрожала его рука; но она безмолвно следовала за ним, быть может оттого, что издавна привыкла слепо и беспрекословно повиноваться мужу, быть может и оттого, что губы ее были сомкнуты внутренним страхом.

Ниже замка Зошпек, против Лорха, примерно там, где теперь расположена деревушка Нидеррейбах, возвышается скалистая площадка, дугообразно нависшая над берегом Рейна. На нее взобрал с женою рабби Авраам, осмотрелся по сторонам и устремил неподвижный взор на звезды. Дрожая и холодея, в смертельном страхе стояла подле него прекрасная Сарра и смотрела на его бледное, призрачно освещенное луной лицо, на котором судорожно сменялись скорбь, страх, благоговение и ярость. Но когда рабби внезапно выхватил из ее рук серебряную лохань, разбил ее и бросил в Рейн, она уже не могла дольше сдерживать томительное чувство страха и с криком «Шадаи всеблагий!» рухнула к ногам мужа, заклинающая его пояснить наконец ей эту темную загадку.

Рабби, утративший дар речи, долго беззвучно шевелил губами и, наконец, воскликнул:

— Видишь ли ты ангела смерти? Там, внизу, парит он над Бахерахом! Но мы избежали его меча! Хвала вышнему! — И голосом, все еще дрожащим от внутреннего ужаса, поведал ей, как он в добром расположении духа сидел, прислонясь к спинке кресла, и читал нараспев Агаду и, случайно глянув под стол, узрел там у своих ног окровавленный детский труп. — Тогда заметил я, — прибавил рабби, — что двое поздних наших гостей — не от сынов Израиля, а от собрания безбожников, которые согласились тайно подбросить в дом наш труп, чтобы обвинить нас в детоубийстве и возбудить народ грабить и убивать нас. Я не показывал виду, что проник в козны тьмы, ибо навлек бы тем на себя погибель, и лишь хитростью спасены мы. Хвала вышнему! Не страшись, прекрасная Сарра, наши друзья и родичи также будут спасены. Лишь моей крови жаждали нечестивцы; я убежал

от них, и они удовольствуются моим серебром и золотом. Пойдем со мною, прекрасная Сарра, в другую землю, оставим позади себя несчастье, а дабы оно нас не преследовало, я бросил ему, чтоб умиротворить его, мое последнее достояние — серебряную лохань. Бог отцов наших не оставит нас. Сойди вниз, ты устала. Там, внизу, ждет у лодки тихий Вильгельм; он повезет нас вверх по Рейну.

Беззвучно, словно подкошенная, опустилась прекрасная Сарра на руки рабби, и он медленно понес ее вниз, к берегу. Там стоял тихий Вильгельм — глухонемой мальчик, однако ж писанный красавец: он для пропитания своей приемной матери, соседки раввина, промышлял рыбной ловлей и всегда причаливал здесь к берегу. Но он как будто сразу угадал намерение рабби; да, казалось, он тоже ожидал его, и на его сомкнутых устах мелькнуло кроткое сострадание. Его большие голубые глаза проникновенно глядели на прекрасную Сарру, и он бережно снес ее в лодку.

Взгляд немого мальчика пробудил прекрасную Сарру от ее беспамятства. Она внезапно почувствовала, что все, о чем рассказал ей ее муж, не было только сном, и потоки горьких слез полились по ее щекам, теперь столь же белым, как и ее платье. И так сидела она посреди челнока, подобно плачущему изваянию; подле нее сидели ее муж и тихий Вильгельм, которые усердно гребли.

То ли от однообразных ударов весел, или от покачивания лодки, или от аромата тех горных берегов, на которых произрастает радость, но только всегда бывает, что даже самый печальный человек странным образом успокаивается, когда он весенней ночью в утлом челноке легко скользит по милому, чистому Рейну. Поистине, старый добросердечный батюшка Рейн не переносит, когда плачут его дети; утоляя слезы, баюкает он их на своих верных руках, и рассказывает им прекраснейшие свои сказки, и сулит им самые золотые свои сокровища, быть может даже незапомненно давно утонувшее сокровище Нибелунгов. Так и слезы прекрасной Сарры струились все тише и тише, ее мучительную боль унесли журчащие волны, ночь утратила мрачный свой ужас, и родные горы приветствовали ее, словно посылая нежнейшее прощанье! Но всех приветливей просталась с ней любимая ее гора Кедрих, и в странном сиянии месяца чудилось, что вновь стоит

на вершине девушка, испуганно простирая руки, что проворные карлики в бесчисленном множестве выползают из расщелины скалы и какой-то всадник въезжает на гору на всем скаку; и прекрасной Сарре казалось, что она вновь стала маленькой девочкой, и сидит на коленях тетки из Лорха, и эта тетка рассказывает ей прелестную историю о смелом всаднике, освободившем бедную, похищенную карликами девушку, и другие правдивые истории о диковинной Долине шепота, где птицы ведут разумные речи, о пряничной стране, куда попадают послушные дети, о заколдованных принцессах, поющих деревьях, стеклянных замках, золотых мостах, смеющихся русалках... Но среди всех прелестных этих сказок, что начали оживать перед ней, сверкая и звеня, послышался прекрасной Сарре голос ее отца, сердито бранившего бедную тетку за то, что она пичкает ребенка таким множеством нелепиц! Тотчас представилось ей, будто посадили ее на маленькую скамеечку перед бархатным креслом отца, который мягкой рукой гладит ее длинные волосы; его глаза смеются от удовольствия, и он покойно покачивается в своем широком шелковом синем субботнем шлафроке... Это, наверное, была суббота, ибо на столе была разостлана расшитая цветами скатерть, вся утварь в комнате сверкала, начищенная до зеркального блеска, седобородый общинный служка сидел подле отца и жевал изюм и говорил по-древнееврейски; маленький Авраам тоже вошел в комнату с необъятно большой книгой и учтиво попросил у своего дяди позволения истолковать одну из глав священного писания, дабы дядя сам удостоверился, что прошедшую неделю он много учился и заслуживает похвалы и пирожного... И вот мальчуган кладет книгу на широкую ручку кресла и толкует историю Иакова и Рахили: как Иаков возвысил голос свой и громко восплакал, когда впервые увидел двоюродную сестрицу свою Рахиль, как он мирно беседовал с ней у колодца, как пришлось ему семь лет служить ради Рахили, и как быстро эти годы протекли для него, и как он женился на Рахили и всегда, всегда непрестанно любил ее... Также вспомнила вдруг Сарра, что отец ее тогда весело воскликнул: «А не хочешь ли и ты так же вот жениться на двоюродной сестре твоей Сарре?», на что маленький Авраам серьезно ответил: «Да, хочу, и она должна будет ждать семь лет». Смутно пронеслись

эти картины в душе прекрасной женщины; она видела, как она и двоюродный ее брат, который стал теперь таким большим и ее мужем, ребячески играли друг с другом в куще, как они забавлялись пестрыми коврами, цветами, зеркалами и золочеными яблоками, как маленький Авраам все нежнее болтал с нею, пока мало-помалу не становился все взрослей и угрюмой и наконец совсем вырос и стал совсем угрюмым... И, наконец, в субботний вечер сидит она дома одна в своей комнате, месяц ярко светит в окно, дверь распахивается, и в комнату как буря врывается ее двоюродный брат Авраам в дорожном платье и бледный как смерть; и он хватает ее руку, надевает на палец золотое кольцо и торжественно произносит: «Этим я беру тебя в жены по закону Моисееву и Израилеву! А теперь, — добавляет он с дрожью, — теперь принужден я отправиться в Испанию. Прощай. Семь лет должна ты будешь ждать меня!» И он бросается прочь, а прекрасная Сарра, плача, рассказывает обо всем своему отцу... Тот разгневан и беснуется: «Остриги волосы, ибо теперь ты замужняя!» И он скачет в погоню за Авраамом, чтобы вынудить у него разводную; но тот уже за тридевять земель; отец молча возвращается домой, и когда прекрасная Сарра помогает ему снять дорожные сапоги и, желая смягчить его, говорит, что Авраам возвратится через семь лет, отец раздражается проклятьем: «Семь лет будете вы нищенствовать!» И вскоре после того умирает.

Так пробегали в мыслях прекрасной Сарры былые истории, словно торопливая игра теней; картины причудливо перемещивались, и сквозь них проглядывали полузнакомые-получужие бородатые лица и большие цветы со сказочно широкими листьями. И чудилось ей также, будто Рейн журчит мелодии Агады и картинки этой книги подымаются из него в человеческий рост — искаженные, безумные картины: праотец Авраам боязливо разбивает идолов, которые поспешно вновь срастаются сами собой; Мицри жестоко отбивается от разгневанного Моисея; гора Синай сверкает молниями и извергает пламя; фараси плывет по Чермному морю; крепко держа в зубах золотую зубчатую корону, лягушки с человеческими лицами плывут за ним следом, и волны пеняются и кипят, и темная испанская рука угрожающе высовывается из воды.

То была мышиная башня Гаттона, и челнок как раз проскочил бингенский водоворот. Прекрасную Сарру это слегка пробудило от грез, и она взглянула на прибрежные горы, на вершинах которых мерцали огни замков, а у подножия стлался озаренный месяцем ночной туман. Но вдруг показалось ей, что она видит там своих родичей и друзей, бегущих вдоль Рейна в развевающихся белых саванах, с лицами мертвецов... У нее потемнело в глазах; ледяной поток захлестнул ее душу, и, словно во сне, слышала она еще только, что раввин читал ей вечернюю молитву, медленно-тоскливо, как над умирающими, и в забытии она еще бормотала слова: «Десять тысяч одесную, десять тысяч ошуюю, царю защиты от ужасов ночи».

Тут внезапно отступили нахлынувшая тьма и ужас; мрачная завеса сорвана была с неба, и вверху явился священный град Иерусалим со своими башнями и воротами; в золотом великолепии сверкал храм; в притворе увидела прекрасная Сарра своего отца в желтом субботнем шлафроке и со смеющимися от удовольствия глазами; из круглых окон храма радостно приветствовали ее все родичи и друзья; в святая святых стоял на коленях благочестивый царь Давид в пурпурном облачении и сверкающей короне, и сладостно звучали его пение и струны арфы, — и, блаженно улыбаясь, заснула прекрасная Сарра.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Когда прекрасная Сарра раскрыла глаза, ее едва не ослепили лучи солнца. Высокие башни большого города вздымались перед ней, и немой Вильгельм с багром стоял в челноке и проводил его через веселую сутолоку множества пестрящих вымпелами кораблей; матросы или праздно созерцали проезжающих, или были заняты выгрузкой ящиков, тюков и бочек, которые отвозили они потом на маленьких суденышках на берег; тут стоял оглушительный шум — непрерывные возгласы лоцманов, крики купцов с берега и визг таможенных досмотрщиков, прыгавших с корабля на корабль на красных кафтанах, с белыми палочками и белыми лицами.

— Да, прекрасная Сарра, — сказал рабби своей жене, весело улыбаясь, — вот и прославленный во всем мире вольный имперский и торговый город Франкфурт-на-Майне, и это вот Майн, по которому мы теперь плывем. Там, наверху, смеющиеся дома, окруженные зелеными холмами, — это Саксенхаузен, откуда хромой Гумперц привозит нам на праздник кущей прекрасные мирты. А здесь ты видишь надежный Майнский мост с тринадцатью арками, и множество народа, повозок и лошадей без опасения проходит по нему, а посредине стоит домик, где, как рассказывала тетюшка Тейбхен, живет крещеный еврей, который каждому, кто принесет мертвую крысу, выплачивает шесть геллеров за счет еврейской общины, обязанной каждый год поставлять магистрату пять тысяч крысиных хвостов.

Над этой войной, которую франкфуртские евреи вели с крысами, прекрасная Сарра не могла не расхотаться; ясный солнечный свет и новый, пестрый мир, раскрывшийся перед ней, изгнали из ее души все страхи и ужасы прошедшей ночи, и когда муж и немой Вильгельм вынесли ее из причалившего челнока на берег, она почувствовала себя словно проникнутой ощущением радостной безопасности. Но немой Вильгельм пристально посмотрел ей в лицо своими прекрасными темно-голубыми глазами, полускорбно-полувесело, потом, бросив еще многозначительный взгляд на рабби, прыгнул обратно в челнок и скоро исчез вместе с ним.

— Однако как похож немой Вильгельм на моего покойного брата, — заметила прекрасная Сарра.

— Ангелы все похожи друг на друга, — проронил рабби и, взяв под руку жену, повел ее через толпу, кишевшую на берегу, где теперь по случаю пасхальной ярмарки было разбито множество деревянных лавчонок. Когда они через темные Майнские ворота попали в город, то и там увидели не менее шумную торговлю. Здесь на узких улицах высились лавки купцов, одна подле другой, и дома, как всюду во Франкфурте, были особо приспособлены для торговли: в первом этаже не было окон, а только открытые сводчатые двери, так что можно было заглянуть далеко вглубь, и каждый, проходивший мимо, мог подробно осмотреть выставленные товары. Как изумлялась прекрасная Сарра множеству драгоценных

вещей, невиданному их великолепию! Там стояли венецианцы, выставившие на продажу всю роскошь Востока и Италии, и прекрасную Сарру словно заорожил вид разложенных уборов и драгоценностей, пестрых папок и корсетов, золотых браслетов и ожерелий, всей той мишуры, которой так охотно восхищаются и еще охотнее украшают себя женщины. Богато вышитые бархатные и шелковые ткани, казалось, хотели заговорить с прекрасной Саррой, пробудив в ее памяти всяческие диковины; и в самом деле, ей уже казалось, что она вновь стала маленькой девочкой и тетушка Тейбхен, исполнив свое обещание, свезла ее на франкфуртскую ярмарку, и вот теперь она глядит на прелестные платья, про которые ей так много рассказывали. С тайной радостью обдумывала она уже, что бы ей привезти в Бахерах, какой из ее кузиночек больше понравится синий шелковый пояс — маленькой Блюмхен или маленькой Фегельхен — и в пору ли также будут зеленые штанишки малышу Готшалку. Но вдруг сказала она себе самой: «Ах, боже мой!.. Да ведь они меж тем выросли, а вчера их умертвили!» Она сильно вздрогнула, и образы ночи со всеми ее ужасами едва не ожили в ней, но золототканые платья подмигивали ей как бы тысячами плутовских глаз и отговаривали ее от всего мрачного, что возникло у нее на уме, и когда она взглянула на лицо мужа, оно было совсем безоблачно и приобрело свою обычную серьезную кротость.

— Закрой глаза, прекрасная Сарра, — сказал рабби и повел свою жену дальше по людскому потоку.

Какая пестрая суета! По большей части тут были купцы, которые громко торговались между собой, или, бормоча про себя, высчитывали что-то по пальцам, или отсылали тяжело нагруженных рыночных носильщиков, бежавших за ними мелкой рысью, отнести покупки на постоянный двор. По другим лицам было видно, что их привлекло сюда простое любопытство. Красный плащ и золотая цепь выдавали широкоплечего ратмана. Черный добротный камзол изобличал почтенного гордого патриция. Железный шишак, камзол из желтой кожи и тяжелые железные шпоры возвещали о грузном конюхе. Под черным бархатным чепчиком, который острием заходил на лоб, пряталось розовое девичье лицо, и молодые парни, бежавшие следом, подобно рыщущим гончим псам, являли

себя совершенными щеголями: в беретах с заorno посаженными перьями, в остроносых башмаках с бубенчиками, в шелковых разноцветных плащах, где правая сторона — зеленая, левая — красная, или одна — радужными полосами, а другая — пестрыми шашками, так что дурашливые парни казались рассеченными пополам. Увлеченный людским потоком, рабби со своей женой достиг Ремера. Это — большая, окруженная домами с остроко-нечными крышами рыночная площадь, получившая свое имя от огромной гостиницы, которая была куплена магистратом и обращена в ратушу. В этом здании избирали германских императоров, и перед ним часто происходили благородные рыцарские игры. Король Максимилиан, страстно любивший такие потехи, пребывал тогда во Франкфурте, и в его честь на этой площади был устроен большой турнир. У деревянной ограды, которую в то время сносили плотники, все еще стояло множество зевак, рассказывавших друг другу, как вчера при звуках литавр и труб сшиблись герцог Брауншвейгский и маркграф Бранденбургский, как господин Вальтер, по прозванию Гольш, с такой силой вышиб Медвежьего рыцаря из седла, что копые разлетелось в щепки, и как высокий белокурый король Макс стоял на балконе в кругу придворных и от радости потирал руки. Перила балконов и остроко-нечные окна ратуши были увешаны золотой парчой. Также и прочие дома на рыночной площади стояли еще празднично украшенные и убранные гербами, в особенности дом Лимбурга, на флаге которого была изображена девушка с ястребом на руке, а перед ней — обезьяна, подставляющая ей зеркало. Рыцари и дамы в большом числе стояли на балконе этого дома и, веселясь беседой, смотрели на волнующиеся и беспорядочно движущиеся толпы и вереницы народа. Какое множество зевак всякого звания и возраста теснилось здесь, чтобы утолить свою страсть к зрелищам! Здесь смеялись, хныкали, воровали, щинали за ляжки, потешались, а среди всего этого визгливо дребезжала труба медикуса, который стоял в красном плаще со своим паяцем и обезьяной на высоком помосте и весьма усердно расхваливал собственное искусство, прославляя свои микстуры и чудодейственные мази, или серьезно разглядывал склянку с мочой, что держала перед ним какая-нибудь

старуха, или брался вырвать коренной зуб у бедного мужика. Два фехтовальщика в пестрых развевающихся лентах, размахивая рапирами, сошлись здесь словно пенароком и с притворной яростью колололи друг друга; после долгой схватки они обоюдно объявили себя непобедимыми и собрали несколько пфеннигов. Вот с флейстами и барабанщиками промаршировала мимо вновь утвержденная гильдия стрелков. За ними, предводительствуемая тюремщиком, несли красное знамя, проследовала ватага гулящих девок, перебивавшихся из вюрцбургского распутного дома «У осла» в Розенталь, где достохвальный магистрат назначил им местопребывание на время ярмарки. «Закрой глаза, прекрасная Сарра», — сказал рабби. Ибо эти фантастически и слишком скудно одетые женщины — среди них некоторые были весьма красивы — вели себя непотребнейшим образом, обнажали свои белые дерзкие груди, дразнили прохожих бесстыжими словами, махали длинными дорожными палками и, сев на них верхом, как на детских лошадок, скакали к воротам св. Екатерины и визгливыми голосами пели песню ведьм:

Козла! Козла! Как быть с козлом?
Куда девался бородач?
Коль нет козла, так мы верхом
На палочке — и вскачь! ¹

Это неумолчное пение, все еще слышавшееся вдали, наконец растворилось в протяжных церковных напевах приближающейся процессии. То было печальное шествие плешивых и босых монахов, несших горящие восковые свечи, или хоругви с изображением святых, или же большие серебряные распятия. Впереди шли мальчики в красных и белых стихарях, несшие дымящиеся кадильницы. Посреди шествия под великолепным балдахином шли священники в белых стихарях из драгоценных кружев или в пестрых шелковых облачениях, и один из них нес в руках золотой, подобный солнцу, сосуд, который он, поравнявшись на углу рыночной площади с нишей, где помещалось изображение святого, высоко поднял, наполнив провозгласив, наполовину пропев латинские слова... Тут же зазвенел маленький колокольчик, и весь

¹ Перевод В. Зоргенфрея.

народ вокруг замолк, пал на колени и закрестился. Рабби же сказал своей жене: «Закрой глаза, прекрасная Сарра!» — и поспешно повлек ее отсюда в узенький переулок, через лабиринт тесных и кривых улиц и, наконец, через необитаемую, пустынную площадь, отделявшую новое гетто от остального города.

До того времени евреи жили между собором и берегом Майна, именно от моста до Колодца бродяг и от Мучных весов до церкви св. Варфоломея. Но католические священнослужители выхлопотали папскую буллу, запрещающую евреям жить в такой близости к главной церкви, и магистрат отвел им место на Вольграбене, где они построили теперешнее гетто. Оно было обнесено надежной стеной, а ворота снабжены железными цепями, дабы запирать их от нападения черни. Ибо и здесь жили евреи в притеснении и страхе и больше, чем в наши дни, вспоминали прежние бедствия. В год 1240-й необузданный народ учинил среди них великое кровопролитие, которое прозвали первым избиением евреев, а в год 1349-й, когда бичующиеся, проходя через город, подожгли его и обвинили в том евреев, возбужденный народ умертвил большую часть из них или они обрели смерть в пламени собственных своих домов, что было прозвано вторым избиением евреев. Впоследствии евреям еще часто грозили подобными избиениями; а при внутренних волнениях во Франкфурте, особенно во время распри магистрата с цехами, христианская чернь намеревалась взять приступом гетто. Оно обладало двумя воротами, которые по католическим праздникам запирались снаружи, по иудейским праздникам — изнутри, и перед каждым воротами стояла караульня с городскими солдатами.

Когда рабби со своей женой подошел к воротам гетто, ландскнехты, как можно было видеть через раскрытые окна, валялись в караульне на нарах, а на дворе, перед дверьми, на самом солнцепеке сидел барабанщик и фантазировал на своем большом барабане. Это был грузный толстяк; камзол и штаны — огненно-рыжего сукна, сильно вздутые в рукавах и на бедрах и сверху донизу усаженные маленькими вшитыми в них красными валиками, высывающимися, словно бесчисленные человеческие языки; грудь и спина защищены черными суконными подушечками, на которых висит барабан; на голове — плоский

круглый черный берет; лицо такое же плоское и круглое, оранжево-желтое и усеянное красными болячками, искаженное зевотной улыбкой. Так сидел этот детина и выбивал на барабане ту песню, что некогда пели бичующиеся во время избиения евреев, и ворчал грубым, пивным голосом слова:

Ступала мать божья
По росам у подножья —
Господи помилуй! ¹

— Ганс, это дурной папев! — прокричал голос за воротами гетто. — Ганс, и песня худая, нейдет к барабану, совсем нейдет, ну вот, ей-ей, ни на ярмарку, ни на пасху, худая песня, опасная песня. Ганс, Гансик, маленький барабанщик Гансик, я один-одинешенек, и коли ты меня любишь, коли ты любишь Штерна, долговязого Штерна, долговязого Назенштерна, так перестань! — Эти слова были произнесены невидимым говоруном то боязливо-поспешно, то вздыхаючи-медленно, тоном, в котором вязкая мягкость резко сменяется хриплой сухостью, как это бывает у чахоточных. Барабанщик остался непоколебим и, продолжая выбивать прежний мотив, запел:

Тут выбежал мальчонка,
Бородка у ребенка —
Аллилуйя! ¹

— Ганс, — раздался опять голос упомянутого говоруна, — Ганс, я один-одинешенек, а это — опасная песня, и я не охотник ее слушать, и у меня есть на то своя причина, и коли ты меня любишь, ты споешь что-нибудь другое, а завтра мы выпьем.

При слове «выпьем» Ганс перестал барабанить и напевать и добродушно сказал:

— Черт побери всех евреев; но ты, любезный Назенштерн, мне друг, я тебя защищаю, и когда мы будем с тобой почаще пить, так я еще тебя обраду в истинную веру. Я буду твоим крестным отцом; когда ты окрестишься, ты станешь праведным, а коли у тебя есть смекалка и ты будешь прилежно у меня учиться, так сможешь даже стать барабанщиком. Да, Назенштерн, ты еще сможешь далеко пойти; я тебе завтра, когда мы будем пить, пробарабаню

¹ Перевод В. Зоргенфрея.

весь катехизис, — а пока что открой-ка ворота: тут стоят двое чужестранцев и просят впустить.

— Открыть ворота! — возопил Назенштерн, и голос у него едва не пресекался. — Не так скоро, любезный Ганс, нельзя знать, никак нельзя знать, а я ведь один-одинешенек. Ключ-то у Файтеля Риндскопфа, а он притулился в уголку и бормочет «Восемнадцать благословений», а их прерывать никак нельзя. Шут Екель-то как раз здесь, но он стоит и молится. Я один-одинешенек!

— Черт побери всех евреев! — закричал барабанщик и, громко засмеявшись собственной своей остроте, пошлепал к караульне и разлегся там на нарах.

Меж тем как рабби и его жена остались совсем одни перед большими закрытыми воротами, послышался из-за них картавый, гнусавый, немного насмешливый протяжный голос:

— Штерничик, не копайся так долго, вытани ключ из кармашка у Риндскопфа или возьми да и отопри ворота своим носом. Люди уже давно стоят и ждут.

— Люди? — испуганно вскричал тот, кого называли Назенштерном. — Я полагал, тут всего один человек, и я прошу тебя, шут, любезный шут Екель, глянь-ка, кто там?

Тут открылось в воротах маленькое решетчатое оконце, и в нем показалась двурогая желтая шапка, и под нею уморительно скорченное лицо потешника Екеля, шута. В то же мгновение глазок в воротах закрылся, и послышался сердитый картавый голос:

— Открывай, открывай, там всего один мужчина и одна женщина.

— Один мужчина и одна женщина? — закричал Назенштерн. — А когда отворишь ворота, так женщина скинет юбку, и выйдет, что это мужчина, и будет тогда двое мужчин, а нас всего трое!

— Не будь зайцем! — ответил Екель, шут. — Будь смелей, покажи отвагу!

— Отвагу? — вскричал Назенштерн и засмеялся с досадливой горечью. — Заяц! Заяц — худое сравнение: заяц — животное нечистое. Отвагу! Меня тут поставили не для отваги, а для осторожности. Когда придет слишком много людей, мне надлежит кричать. Сам я их не могу удержать. Руки у меня слабые, мне учинили фонтанель,

и я один-одинешенек. Когда в меня выстрелят, я умру! Тогда богач Мендель Рейс, сидя в субботу за столом, вытрет с губ изюмный соус, похлопает себя по брюшку и, быть может, скажет: «Долговязый Назенштерн как-никак славный малый; не будь его, они бы разнесли ворота; он все-таки дал себя застрелить ради нас; славный был малый, жаль, что помер!» — Тут голос стал малопомалу смягчаться и делаться плаксивым, но вдруг переломился в торопливый, почти озлобленный: — Отвагу! И для того, чтобы богач Мендель Рейс утирал с губ изюмный соус, и похлопывал себя по брюшку, и называл меня славным парнем, должен я дозволить себя пристрелить? Отвагу! Смелый! Малыш Штраус был храбрым и вчера на Ремере глазел на турнир и полагал, что его не опознают, ибо он напялил кафтан фиолетового бархата по три гульдена за локоть, с лисьими хвостинами, весь расшитый золотом — полное великолепие! А они так долго дубасили по фиолетовому кафтану, пока он весь не слинял, а у него самого спина стала фиолетовой и не схожей больше с человеческой. Отвага! Криеонгий Лезер был храбрым, обозвал подлецом нашего подлого фохта, и они повесили его за ноги посреди двух собак, и барабанщик Ганс бил в барабан. Отвага! Не будь зайцем! Где много собак, там зайцу гибель; я один-одинешенек, и мне взаправду страшно.

— Поклянись! — крикнул Екель, шут.

— Мне взаправду страшно! — повторил, вздыхая, Назенштерн. — Я знаю, страх заключен в крови, и я воспринял его от покойной матушки.

— Да, да, — перебил его Екель, шут, — а твоя матушка — от своего отца, а тот — опять от своего, и так все твои предки — один от одного, вплоть до вашего родоначальника, который при царе Сауле отправился в поход на филистимлян и первый дал тягу... Однако ж погляди: Риндскопфхен сейчас будет готов, он уже сделал четыре поклона, он уже скачет, как блоха, трижды сказав слово «свят», а теперь осторожно запускает руку в карман...

И в самом деле, загромыхали ключи, скрипя распахнулись створки ворот, и рабы и его жена вошли в совершенно безлюдную Еврейскую улицу. Привратник, маленький мужчина с добродушно-кислым лицом, рассеянно кивнул головой, как человек, который не любит, чтобы

ему мешали размышлять, и, старательно заперев ворота, пошелся, не сказав ни слова, в свой угол за воротами, беспрерывно бормоча про себя молитвы. Менее молчалив был Екель, шут, приземистый, несколько кривоногий малый со смеющимся багровым лицом и нечеловечески огромной, мясистой рукой, которую он приветливо протягивал из широкого рукава своей пестрой куртки. Позади него выглядывала, или, скорее, пряталась, длинная, тощая фигура, узкая шея в белом оперении тонкого батистового воротника и худое бледное лицо, диковинно украшенное почти невероятно длинным носом, любопытно-боязливо двигавшимся то туда, то сюда.

— Добро пожаловать! Со счастливым праздником! — вскричал Екель, шут. — Не дивитесь, что на улице так тихо и пусто. Весь наш народ теперь в синагоге, и вы пришли как раз в пору, чтобы услышать, как читают историю о жертвоприношении Исаака. Я ее знаю, это занимательная история, и когда бы мне не довелось слышать ее уже тридцать и три раза, я бы охотно послушал ее и в этом году. А это важная история, ибо если бы Авраам на самом деле заклал Исаака, а не козла, то теперь на свете было бы больше козлов и меньше евреев. — И с веселой, безумной гримасой принялся Екель петь следующую песнь из Агады:

Козлик, козлик, что купил батюшка, дал за него два грошика; козлик, козлик!

Вот пришла кошечка да съела козлика, что купил батюшка, дал за него два грошика; козлик, козлик!

Вот пришла собачечка да укусила кошечку, что сожрала козлика, что купил батюшка, дал за него два грошика; козлик, козлик!

Вот пришла дубинка да побила собачечку, что укусила кошечку, что сожрала козлика, что купил батюшка, дал за него два грошика; козлик, козлик!

Вот пришел огонек да сжег дубинку, что побила собачечку, что укусила кошечку, что сожрала козлика, что купил батюшка, дал за него два грошика; козлик, козлик!

Вот пришла водица да залила огонек, что сжег дубинку, что побила собачечку, что укусила кошечку, что сожрала козлика, что купил батюшка, дал за него два грошика; козлик, козлик!

Вот пришел бычок да выпил водицу, что залила огонек, что сжег дубинку, что побила собачечку, что укусила кошечку, что сожрала козлика, что купил батюшка, дал за него два грошика; козлик, козлик!

Вот пришел мясничок да заколол бычка, что выпил водицу, что залила огонек, что сжег дубинку, что побила собачечку, что укусила

кошечку, что сожрала козлика, что купил батюшка, дал за него два грошика; козлик, козлик!

Вот пришел ангельчик смерти да умертвил мясничка, что заколол бычка, что выпил водичку, что залила огонек, что сжег дубинку, что побила собачечку, что укусила кошечку, что сожрала козлика, что купил батюшка, дал за него два грошика; козлик, козлик!

— Да, прекрасная госпожа! — присовокупил певец. — Придет день, когда ангел смерти умертвит мясника и вся наша кровь падет на Эдом, ибо бог есть бог мстящий!..

Но вдруг, резко отбросив невольно завладевшую им серьезность, шут Екель снова ударился в балагурство и продолжал картавщим, скоморошным тоном:

— Не страшитесь, прекрасная госпожа, Назенштерн не причинит вам ничего дурного. Он опасен только для старой Элле Шнапер. Она влюбилась в его нос, но ведь он это вполне заслужил. Он прекрасен, как башня, обращенная к Дамаску, и возвышен, как кедр Ливана. Снаружи сверкает, как сусальное золото и сироп, а внутри — чистая музыка и приятность. Летом цветет, зимой замерзает, и летом и зимою лелеют его белые ручки Элле Шнапер. Да, Элле Шнапер влюблена в него, совсем рехнулась. Она холит его, она кормит его, и как только он нагуляет достаточно жира, она женит его на себе, а для своих лет она еще довольно моложава, и ежели кто через триста лет прибудет во Франкфурт — неба не будет видно от сплошных Назенштернов.

— Вы шут Екель! — вскричал, смеясь, рабби. — Я признал это по вашим словам. Я много о вас слышался!

— Да, да, — отвечал тот с забавной скромностью. — Да, да, вот что делает слава! Часто повсеместно слывешь за такого дурня, каким и сам себя не считаешь. Однако ж я прилагаю великое старание, чтобы быть шугом, и скачу, и трясую головою, чтоб звенели бубенцы. Другим это достается легче... Но скажите мне, рабби, чего ради путешествуете вы в праздник?

— Мое оправдание, — возразил раввин, — приведено в талмуде и гласит: «Опасность прогоняет субботу».

— Опасность? — внезапно вскричал долговязый Назенштерн и задергался, словно в смертельном страхе. — Опасность! Опасность! Ганс-барабанщик, барабань, барабань! Опасность! Опасность! Ганс-барабанщик...

А барабанщик за воротами кричал густым, пивным голосом:

— Тысяча громов! Черт побери всех евреев! Вот уж третий раз ты меня будишь сегодня, Назенштерн! Не беси меня! Когда я взбешусь, то стану сущим сатаной, и уж будь я нехристь, если не пальну через решетку ворот, и тогда пусть каждый бережет свой нос!

— Не стреляй! Не стреляй! Я один-одинешенек, — испуганно заскулил Назенштерн, и плотно прижал лицо к ближайшей стене, и остался в таком положении, дрожа и тихо молясь.

— Скажите, скажите, что случилось? — закричал теперь и шут Екель с тем торопливым любопытством, которыми уже в ту пору отличались франкфуртские евреи.

Но рабби вырвался от него и пошел со своей женой дальше по Еврейской улице.

— Видишь, прекрасная Сарра, — сказал он со вздохом, — как плохо защищен Израиль! Ложные друзья стерегут его ворота снаружи; а стража внутри — дурачество и трусость!

Медленно брели они по длинной пустынной улице, и то здесь, то там высывались из окон цветущие девические лица, меж тем как солнце празднично весело отражалось в сверкающих оконных стеклах. Тогда дома гетто были еще новы и опрятны, а также ниже, чем теперь, ибо только впоследствии, когда евреи во Франкфурте весьма умножились в числе, но не смели расширить гетто, они стали громоздить этаж на этаж, сдавливать их, как сардины, калеча себе тело и душу. Часть гетто, сохранившаяся после большого пожара, которую называют Старой улицей, — те высокие черные дома, где, скаля зубы, барышничают взмокшие люди, — ужасающий памятник средневековья. Старой синагоги больше нет; она была менее просторна, чем нынешняя, построенная позднее, после того как в общину были приняты нюрнбергские изгнанники. Она была расположена севернее. Рабби не надо было допытываться о ее местонахождении. Уже издали слышал он сбивчивые и чрезмерно громкие голоса. В синагогальном дворе он расстался с женой. Совершив омовение рук у находившегося там колодца, он прошел в нижнюю часть синагоги, где молятся мужчины, а прекрасная Сарра поднялась по лестнице и вошла в помещение для женщин.

Это верхнее помещение было особого рода галереей с тремя рядами деревянных, выкрашенных в коричнево-красный цвет сидений; их спинки были снабжены висячими дощечками, которые весьма удобно откидывались, чтобы можно было класть на них молитвенники. Женщины сидели здесь, болтая друг с другом, или стояли, усердно молясь; иногда они с любопытством подходили к тянувшейся вдоль восточной стороны большой решетке, сквозь тонкие зеленые планки которой была видна нижняя часть синагоги. Там за высокими молитвенными пультами стояли мужчины в черных плащах, с остроконечными бородами, спадавшими на белые воротники, в плоских шапочках, более или менее окутанных четырехугольными платками из белой шерсти или шелка с предписанными законом стежками, а иногда украшенными золотыми позументами. Стены синагоги были однообразно выбелены, и в ней не было видно никаких украшений, кроме золоченой железной решетки вокруг четырехугольного помоста, на котором читались главы писания, священного ковчега — драгоценной работы ларца, как будто несомого мраморными колоннами с роскошными капителями, листва и цветы которых изящно вились кверху, и прикрытого занавесом лазурно-голубого бархата, расшитого золотыми блестками, жемчугом и цветными камнями, образующими благочестивую надпись. Здесь висела серебряная поминальная лампада и возвышался помост, также обнесенный решеткой, на перилах которой находились различные священные сосуды, в том числе храмовый семисвечник, а перед ним лицом к кивоту стоял кантор, чье пение сопровождалось голосами его обоих помощников — баса и дисканта, как бы аккомпанирующих на инструментах. Евреи изгнали из своих храмов всю настоящую инструментальную музыку, полагая, что хвала богу благоговейней возносится из теплой человеческой груди, нежели из холодных труб органа. Совсем как дитя радовалась прекрасная Сарра, когда кантор, превосходный тенор, возвысил голос и древние серьезные мелодии, так хорошо знакомые ей, разлились с неопишуемой юной прелестью, между тем как бас для контраста ворчал низкие и глухие звуки, а в промежутках дискант пускал тонкие и сладостные трели. Такого пения прекрасной Сарре еще никогда не доводилось слышать в бахерахской синагоге, ибо

должность кантора исправлял там общинный староста Давид Леви, и когда этот, уже престарелый, трясущийся человек пытался своим разбитым, блеющим голосом пускать трели, словно молоденькая девушка, и в страшном напряжении судорожно тряс своими вялыми руками, то он возбуждал этим скорее смех, чем набожное чувство.

Благочестивое удовольствие, смешанное с женским любопытством, привлекло прекрасную Сарру к решетке, откуда она могла заглянуть в нижнее отделение, так называемую мужскую школу. Она еще никогда не видела столь большого числа единоверцев, как там, внизу, и ей втайне стало отрадней на сердце в кругу такого множества людей, так близко родственных ей общностью происхождения, образа мыслей и страдания. Но еще глубже взволновалась душа женщины, когда трое стариков благоговейно подошли к священному кивоту, отодвинули блестящий занавес, отомкнули ларец и заботливо вынули ту книгу, которую бог начертал собственной рукой и ради сохранения которой евреи претерпели столько бед и ненависти, позора и смерти, тысячелетнее мученичество. Эта книга — большой пергаментный свиток — была укутана, словно княжеское дитя, в пестро расшитый плащ красного бархата; наверху на обоих деревянных валиках помещались два серебряных ящичка, где пересыпались и звенели гранаты и колокольчики, а впереди на серебряных цепочках висели золотые щитки с пестрыми драгоценными камнями. Кантор взял книгу и, словно это было настоящее дитя — дитя, ради которого перенесли большие страдания и оттого еще более любимое, качал ее на руках, приплясывал с нею взад и вперед, прижимал к своей груди и, придя в трепет от этого прикосновения, вознес голос до такой ликующе-благочестивой благодарственной песни, что прекрасной Сарре почудилось, будто колонны священного ковчега стали расцветать и диковинные цветы и листья капителей расти все выше и выше, и звуки дисканта превратились в соловьиные трели, и свод синагоги раздался от могучего баса, и божественная радость полилась вниз с голубого неба. Это был прекрасный псалом. Община вторила припев, и к возвышенному помосту посреди синагоги медленно шел кантор со священной книгой, в то время как мужчины и мальчики торопливо теснились вокруг, чтобы

поцеловать бархатный плащ или хотя бы прикоснуться к нему. На помянутом помосте сняли со священной книги бархатный плащ, равно как и покрытую пестрыми письменами ленту, которой она была обязана, и кантор тем певучим голосом, который как-то особенно модулирует в праздник пасхи, начал читать из развернутого пергаментного свитка назидательную историю об искушении Авраама.

Прекрасная Сарра скромно отошла от решетки, и широкая, обремененная нарядами женщина средних лет, с чванливо-благосклонным лицом, безмолвным кивком головы дозволила ей смотреть в свой молитвенник. Повидимому, эта женщина была не особенно большим знатоком писания, ибо когда она бормотала про себя молитвы, как это обычно делают все женщины, так как им не разрешается громко петь в хоре, то прекрасная Сарра заметила, что чересчур много слов она приговаривала от себя, а через некоторые хорошие строки и вовсе перескакивала. Спустя несколько времени светлые, как вода, глаза этой доброй женщины томно-медленно поднялись кверху, плоская улыбка скользнула по румяно-белому фарфоровому лицу, и тоном, которому надлежало струиться наивозможно аристократичней, она произнесла, обращаясь к Сарре:

— Он поет очень хорошо. Но в Голландии я слышала пение, так еще гораздо лучше. Вы не здешняя и, пожалуй, не знаете, что этот кантор из Вормса и что его хотели здесь удержать, ежели он удовольствуется четырьмястами гульденов в год. Он приятный мужчина, и руки у него как алебастр. Я дорого ценю красивые руки. Красивая рука придает красоту всему человеку! — При этих словах добрая женщина самодовольно положила руку, которая на самом деле еще была красива, на спинку молитвенного пульта и, грациозно склонив голову, намекая этим, что недолюбливает, когда ее персбивают в разговоре, добавила: — Псвунчик еще дитя и выглядит совсем чахлым. Бас уж очень мерзок, и наш Штерн сказал о нем весьма остроумно: «Бас большой дурак, чем это от баса требуется!» Все трое обедают у меня в харчевне, а вы, пожалуй, не знаете, что я Элле Шнаппер!

Прекрасная Сарра поблагодарила за сообщение; в ответ на это Элле Шнаппер снова подробно рассказала,

как прежде она жила в Амстердаме, где, по причине ее красоты, ей ставили множество сетей, и как она за три дня до пятидесятницы прибыла во Франкфурт и вышла замуж за Шнаппера, как тот в конце концов умер, как он трогательно говорил на смертном одре и как ей тяжело содержать харчевню и сохранять при этом свои руки. По временам она бросала в сторону пренебрежительные взоры, вероятно относившиеся к насмешливым молодым женщинам, осматривавшим ее наряд. Он был довольно примечателен: пышно взбитая юбка белого атласа, на которой были пестро вышиты все звери Ноева ковчега, кацавейка золотой парчи, подобная латам, рукава красного бархата с желтыми прорезами, на голове нечеловечески высокая шапка, вокруг шеи всемогущественный воротник белого крахмаленного полотна, а также серебряная цепь, на которой, спускаясь на грудь, висели различные монеты, камни и редкости и между прочим большое изображение города Амстердама. Однако ж наряды остальных женщин были не менее примечательны и состояли из смешения мод различных времен; а иные женщины, усыпанные золотом и алмазами, уподоблялись ходячим ювелирным лавкам. Правда, в то время франкфуртским евреям законом была предписана определенная одежда, и для отличия от христиан должны были мужчины носить на плащах желтые кольца, а женщины — высоко насаженную на шапочку фату с синими полосами. Но в гетто мало соблюдали это установление властей, и особенно на праздниках и, наипаче того, в синагоге женщины всячески тщились перещеголять друг друга великолепием своих нарядов, частью для того, чтобы возбудить зависть, частью для того, чтобы выказать благосостояние и кредитоспособность своих супругов.

В то время как в нижнем отделении синагоги читают главы из Пятикнижия Моисеева, обыкновенно допускается послабление набожности. Многие устраиваются поудобнее и присаживаются, перешептываются с соседом о мирских делах или выходят на двор подышать свежим воздухом. Маленькие мальчики позволяют себе, между прочим, вольность навестить своих матерей в женском отделении, где набожность ослабевает куда больше: здесь болтают, судачат, смеются и, как это везде случается, молодые женщины подшучивают над пожилыми, а те

в свой черед сетуют на ветрпость молодежи и испорченность времени. Подобно тому как в пижнем отделении франкфуртской синагоги был запевала, так на хорах была своя заводчица сплетен. Это была Гюндхен Рейс, плоская, зеленолицая женщина, которая чуяла всякое несчастье и постоянно держала на кончике языка какую-нибудь скандальную историю. Обычной мишенью для ее колкостей служила бедная Элле Шнаппер: она презабавно умела передразнивать ее вымученно-благородные манеры, а также томную осанку, которую та принимала в ответ на лукавые любезности молодежи.

— А знаете, — выкрикнула Гюндхен Рейс, — вчера Элле Шнаппер сказала: «Когда бы я не была красива, умна и любима, то не пожелала бы жить на свете!»

Послышалось довольно громкое хихикапье, а стоявшая вблизи Элле Шнаппер, заметив, что это на ее счет, презрительно закатила глаза и, подобно гордому великолопному корвету, поплыла на более отдаленное место. Фегеле Окс, круглая, несколько мешковатая женщина, заметила с состраданием, что Элле Шнаппер, по правде говоря, тщеславна и ограничена, но зато она славная женщина и делает весьма много добра людям, которые в том нуждаются.

— В особенности Назенштерну, — прошипела Гюндхен Рейс.

И все, знавшие об их нежной связи, рассмеялись еще громче.

— А знаете, — язвительно добавила Гюндхен, — Назенштерн теперь и ночует в доме Элле Шнаппер... Однако ж поглядите, там, внизу, на Зюсхен Флерсхейм ожерелье, что Даниель Флеш заложил у ее мужа. Жена Флеша бесится... Сейчас вот она говорит с Флерсхейм... Как дружелюбно они пожимают руки! А ведь невадят друг друга, как Мидиан и Моаб. Как любезно они обмениваются улыбками! Не слопайте только одна другую от чистой чувствительности! Желала бы я послушать их разговор!

И вот, подобно подстерегающему зверю, подкралась Гюндхен Рейс и услышала, что обе женщины доверительно обменивались жалобами на то, как много пришлось им работать на прошлой неделе, чтобы прибрать в доме и вычистить кухонную посуду, что надлежит сделать перед

праздником пасхи, дабы нигде не осталось ни одной прилипшей крошки кислого хлеба. Обе женщины также заговорили о хлопотности выечки пресных хлебцев. У Флеш была еще своя жалоба: в общинной пекарне ей пришлось перенести много неприятностей — по жеребьевке ей выпало печь в конце праздника, да и то поздно вечером; старая Ганне плохо замесила тесто, служанки раскатали его скалками слишком тонко, половина хлебцев сгорела в печи, и, кроме того, шел такой сильный дождь, что деревянная крыша пекарни все время протекала, и они принуждены были, мокрые и усталые, работать там до глубокой ночи...

— А в этом, милая Флерсхейм, — прибавила Флеш с деликатной любезностью, в которой не было ни капли искренности, — и вы чуточку виноваты, потому что не прислали мне в помощь своих людей.

— Ах, простите, — отвечала другая, — мои люди были слишком заняты: надо было укладывать товары на ярмарку; у нас теперь столько дел, мой муж...

— Я знаю, — перебила ее Флеш резко-торопливым тоном, — я знаю, у вас много дела, много залогов, и различных сделок, и ожерелий...

Ядовитое слово уже готово было соскользнуть с уст говорившей, и Флерсхейм уже покраснела как рак, как вдруг Гюндхен Рейс пронзительно вскрикнула:

— Бога ради, приезжая женщина упала и умирает... Воды! Воды!

Прекрасная Сарра лежала в беспамятстве, бледная как смерть, а вокруг нее хлопотливо и участливо теснились толпой женщины. Одни держали ей голову, другие — руку; старухи опрыскивали ее водой из склянок, висевших за их молитвенными цультами на случай омовения рук, когда женщины случайно касались ими своего тела; другие давали нюхать упавшей в обморок старый лимон, утыканный гвоздикой, сбереженный еще с прошлого поста, когда его нюхали для подкрепления нервов. В изнеможении, с глубоким вздохом открыла наконец глаза прекрасная Сарра и немymi взорами благодарила за добрую заботливость. Но тут внизу торжественно запели «Восемнадцать благословений», молитву, которую никто не смеет пропускать, и хлопотливые женщины поспешили на свои места и творили эту молитву, как надлежит, стоя

и обратив лицо к востоку — стороне, где находится Иерусалим. Фегеле Окс, Элле Шнашер и Гюндхен Рейс всех дольше задержались возле прекрасной Сарры; две первые настойчиво предлагали ей свои услуги, последняя осведомлялась, почему она так внезапно впала в беспамятство.

Однако обморок прекрасной Сарры имел свою особенную причину. В синагоге существует обычай, что тот, кто избавился от большой опасности, после, при чтении глав священного писания, выходит вперед и благодарит божественный промысел за свое спасение. И вот когда рабби Авраам поднялся с своего места для такого возблагодарения и прекрасная Сарра узнала голос своего мужа, заметила она, что его тон переходил постепенно в печальное бормотанье молитвы о мертвых; она услышала милые и родные имена, и притом в сопровождении тех благословляющих слов, которыми наделяют умерших; и последняя надежда покинула душу прекрасной Сарры, и ее душа была растерзана уверенностью, что ее милые и родные действительно умерщвлены, что ее маленькая племянница убита, что и ее кузиночки Блюмхен и Фегельхен убиты и маленький Готшалк тоже убит, — все убиты и мертвы. От горечи этого сознания она и сама едва не умерла, но благодетельный обморок затуманил ее чувства.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Когда по окончании богослужения прекрасная Сарра сошла на синагогальный двор, рабби уже стоял там, ожидая свою жену. Он с веселым видом кивнул ей и вывел на улицу, где прежняя тишина совсем исчезла и сменилась шумным многолюдьем. Бородачи в черных кафтанах, словно скопище муравьев; порхающие и блестящие, подобно золотым жукам, женщины; одетые во все новое мальчики, несшие за стариками их молитвенники; молодые девушки, которые не имели права ходить в синагогу, теперь высказывали из домов навстречу родителям, склонная кудрявые головы, чтобы получить благословение: все радостные, веселые, прогуливающиеся взад и вперед

по улице, в блаженном предвкушении отличного обеда, милый запах которого заранее вызывал у всех слюнки, подымаясь от черных, меченных мелом горшков, которые только что были вынуты смеющимися служанками из большой общинной печи.

В этой толчее особенно выделялась фигура испанского рыцаря, чье юношеское лицо покрывала та пленительная бледность, которую женщины обыкновенно приписывают несчастной любви, а мужчины, напротив, — счастливой. Его походка, хотя и равнодушно-небрежная, однако ж скрывала в себе некоторое изысканное жеманство; перья его берета колыхались скорее от гордого покачивания головы, нежели от веяния ветра; громче, чем надобно, звенели его золотые шпоры и португезя меча, который, казалось, он нес в руках; сверкающая драгоценная рукоятка выглядывала из-под рыцарского плаща, накинутаго на его стройный стан мнимо небрежно, но все же избличая заботливейшую драпировку. Изредка, отчасти с любопытством, отчасти с миной знатока, приближался он к проходившим женщинам, со спокойной твердостью смотрел им в лицо, задерживался, разглядывая, когда они этого стоили, ронял несколько беглых льстивых слов иному прелестному созданию и беспечно шагал дальше, не дожидаясь, пока это возымеет действие. Он уже много раз появлялся вблизи прекрасной Сарры, однако его всегда отпугивал ее властный взгляд или загадочно улыбающееся лицо ее мужа, но наконец, гордо отбросив робкое смущение, он дерзко загородил им дорогу и с щегольской уверенностью, сладко-галантным тоном произнес следующую речь:

— Сеньора, клянусь! Слушайте, сеньора, клянусь! Розами обеих Кастилий, арагонскими гиацинтами и цветами андалузского граната! Солнцем, что освещает всю Испанию, все ее цветы, луковицы, гороховые похлебки, леса, лошаков, козлов и старокатоликов! Небесным балдахином, на коем это солнце всего только золотая кисть! И богом, что восседает на этом балдахине, размышляя денно и ночью о новом сотворении прелестных женских обликов... Клянусь, сеньора, вы прекраснейшая женщина, каную я только видел на немецкой земле, и коль скоро вы соблаговолите принять мои услуги, то я прошу вас о милости, благосклонности и позволении осмелиться назвать

себя вашим рыцарем и носить ваши цвета в забавах и битвах!

Вспыхнуло от боли лицо прекрасной Сарры, и, бросив взгляд, разящий тем более жестоко, чем нежнее посылающие его глаза, тоном, уничтожающим тем сильнее, чем мягче дрожащий голос, ответила глубоко оскорбленная женщина:

— Благородный господин! Когда хотите вы стать моим рыцарем, то принуждены будете сразиться с целым народом и в этой борьбе сыщете мало благодарности и еще меньше чести! И когда вы хотите носить мои цвета, то принуждены будете нашить на свой плащ желтые кольца или повязать фату с синими полосами, ибо это мои цвета, цвета моего дома — дома, что зовется Израиль и весьма страждет и над которым глумятся на улице сыны счастья!

Внезапная краска залила щеки испанца, бесконечное замешательство отразилось во всех чертах его лица, и, почти запинаясь, сказал он:

— Сеньора... Вы превратно меня поняли... Невинная шутка... Однако ж, клянусь богом, не глумление, не глумление над Израилем... Я сам происхожу из дома Израиля... Дед мой был евреем, быть может даже мой отец...

— И, наверное, сеньор, дядя ваш еврей? — внезапно перебил его рабби, спокойно наблюдавший эту сцену, и с веселым, дразнящим взором прибавил: — И я готов поручиться, что дон Исаак Абарбанель, племянник великого раввина, происходит от лучшей крови Израиля, если даже не от рода царя Давида!

Перевязь зазвенела под плащом испанца, его щеки вновь потускнели до землистой бледности; на верхней губе подергивалась как бы насмешка, борющаяся со страданием, а в глазах окалила зубы сама гневная смерть, и совершенно изменившимся, ледяным, отрывисто-резким тоном он сказал:

— Сеньор раввин! Вы меня знаете. Ну ладно; значит, ведомо вам, кто я. А когда лис знает, что я из рода льва, то поостережется и не станет рисковать своей лисьей бородой и распалать мой гнев! Как смеет лис судить льва? Конечно, тот, кто чувствует как лев, может понять его слабости...

— О, я прекрасно понимаю, — отвечал рабби, и печальная серьезность омрачила его лицо. — Я прекрасно понимаю, что гордый лев из гордости сбрасывает свою

княжескую шкуру и наряжается в пестрый чешуйчатый панцирь крокодила, ибо стало модой быть слезливым, коварным, прожорливым крокодилом! Как надлежит поступать более ничтожным зверям, когда лев отрывается от самого себя? Однако ж остерегись, дон Исаак, ты не создан для стихии крокодила. Вода (ты отлично знаешь, о чем я говорю) — твоё несчастье, и ты в ней погибнешь. Не в воде твоя держава: слабейшей форели живется в воде лучше, чем царю лесов. Ведь ты помнишь, тебя едва не затащило в пучину Тахо...

Громко рассмеявшись, дон Исаак внезапно бросился на шею раввину, замкнул ему рот поцелуями и, гремя шпорами, подпрыгнул от радости так высоко, что проходившие мимо евреи испуганно шарахнулись в сторону, и естественным, сердечно-веселым тоном сказал:

— Взаправду, ты Авраам из Бахераха! И то была неплохая выдумка и, кроме того, еще дружеская услуга, когда ты в Толедо спрыгнул с Алькантарского моста в воду, схватил друга, умевшего лучше пить, чем плавать, за вихор и вытащил на берег! Я было намеревался основательно изучить, в самом ли деле золотой песок лежит на дне Тахо и справедливо ли прозвали его римляне золотой рекой. Уверяю тебя, я еще до сих пор простужаюсь при одном воспоминании об этой речной прогулке...

При этих словах испанец повел плечами, словно отряхиваясь от приставших капель воды. Лицо рабби теперь совсем просветлело. Он несколько раз пожал руку своему другу, говоря при этом: «Весьма рад!»

— И я тоже рад! — сказал тот. — Мы семь лет не виделись, и при нашем расставании я был совсем еще желторотый птенец, а ты, ты был уже такой степенный и серьезный... А что стало с той прекрасной донной, которая стояла тебе иногда стольких вздохов, отлично рифмованных вздохов, сопровождавшихся игрой на лютне?..

— Тихе, тихе! Донна нас слышит, она моя жена, и ты сам предложил ей сегодня образец твоего вкуса и поэтического таланта.

Не без следа прежнего замешательства поклонился испанец прекрасной женщине, которая с очаровательной добротой теперь высказала сожаление, что, изъявив неудовольствие, она огорчила друга своего мужа.

— Ах, сеньора, — отвечал дон Исаак, — кто неловкой рукой прикоснется к розе, тот не должен сетовать, что его укололи шипы! Когда вечерняя звезда, сверкая золотом, отражается в голубом потоке...

— Прошу тебя, бога ради, — перебил его рабби, — умоляю... Когда нам придется ждать до тех пор, пока вечерняя звезда, сверкая золотом, отразится в голубом потоке, то моя жена умрет с голоду; она со вчерашнего дня ничего не ела и перенесла за это время много беспокойства и горя.

— Ну, так я сведу вас в лучшую харчевню Израэля, — вскричал дон Исаак, — в дом моей приятельницы Элле Шнаппер, здесь поблизости! Я уже обоняю ее прелестный запах (я разумею — харчевни). О, когда бы ты знал, Авраам, как приятен мне этот запах! Это он, с тех пор как я гошу в этом городе, так часто привлекает меня к шатрам Иакова! Ибо вообще-то я не охотник общаться с народом, избранным богом, и, поистине, я посещаю эти еврейские улицы не для того, чтобы помолиться, а затем, чтобы покушать...

— Ты никогда не любил нас, дон Исаак...

— Да, — продолжал испанец, — вашу стряпню я люблю гораздо больше, чем вашу веру; вашей вере недостает надлежащего соуса. Вас самих я никогда не мог хорошенько переварить. Даже в лучшие ваши времена, даже под управлением предка моего Давида, который царствовал над Израилем и Иудой, я бы не ужился с вами и уж наверно в одно прекрасное утро спрыгнул бы со стен Сиона и эмигрировал в Финикию или Вавилон, где в храме богов пенится веселье жизни...

— Ты, Исаак, хулишь единого бога, — угрюмо пробормотал рабби, — ты куда хуже, чем христианин, ты язычник, идолопоклонник...

— Да, я язычник, и равно противны мне как сухие, безрадостные иудеи, так и пасмурные, ищущие мучений назаряне... Да простит мне наша богородица из Сидона, священная Астарта, что я преклоняю колена и молюсь перед многострадальной матерью распятого... Только колена мои и язык мой славят смерть, сердце мое хранит верность жизни!..

— Однако ж не принимай кислого вида, — продолжал испанец, заметив, как мало радовала раввина его

речь, — не смотри на меня с отвращением. Мой нос не стал отступником. Когда случай завел меня однажды в обеденное время на эту улицу и хорошо знакомые запахи еврейских кухонь защекотали мои ноздри, тогда овладела мною та самая тоска, которую ощутили наши отцы, когда вспоминали о горшках с мясом в Египте; вкусные воспоминания юности зашевелились во мне; мысленно я вновь увидел карпов с коричневой изюмной подливкой, которых столь назидательно умела готовить моя тетка к пятничному вечеру; я вновь увидел тушеную баранину с чесноком и хреном, каким можно пробудить даже мертвых, и похлебку с мечтательно плавающими клецками... И моя душа растаяла, как пенie влюбленного соловья, и с тех пор я обедаю в харчевне моей приятельницы донны Элле Шнаппер!

Между тем они подошли к харчевне; сама Элле Шнаппер стояла у дверей своего дома, дружелюбно приветствуя проголодавшихся ярмарочных гостей, устремившихся к ее столу. За нею, высунув голову из-за ее плеча, стоял Назенштерн и любопытно-боязливо осматривал пришельцев. С преувеличенной важностью приблизился дон Исаак к трактирщице, которая ответила на его лукаво-почтительные поклоны нескончаемыми книксенами, после чего он стянул с правой руки перчатку, обернул эту руку полой плаща и, ухватив руку Элле Шнаппер, медленно провел ею по своим усам, сказав:

— Сеньора, ваши глаза посперят с жаром солнца. И хотя яйца, чем дольше их варить, тем тверже они станут, однако ж мое сердце, чем дольше оно варится в жарких лучах ваших глаз, тем мягче оно становится! Из желтка моего сердца выпорхнул крылатый амур, и он ищет уютное гнездышко на вашей груди. Эта грудь, сеньора, — чему надлежит мне ее уподобить? Во всем обширном творении не найти ни одного цветка, ни одного плода, который бы походил на нее. Это растение — единственное в своем роде. Хотя буря уносит лепестки нежнейшей розы, однако ж ваша грудь — зимняя роза, непокорная всем ветрам! Хотя кислый лимон, чем сильнее он стареет, тем желтей и морщинистей становится, однако ж ваша грудь посперит своим цветом и нежностью с самым сладким из ананасов! О сеньора, если даже город Амстердам так прекрасен, как вы рассказывали мне о нем вчера, позавчера и всякий

день, однако почва, на которой он покоится, еще в тысячу раз прекрасней...

Последние слова рыцарь проговорил с притворным замешательством, томно скосив глаза на большое изображение Амстердама, висевшее на шее Элле Шнаппер; Назенштерн заглянул вниз ищущими глазами, и хваленая грудь заколыхалась так сильно, что град Амстердам стал покачиваться из стороны в сторону.

— Ах! — вздохнула Элле Шнаппер. — Добродетель много дороже красоты. Что мне пользы от красоты? Молодость моя проходит, и с тех пор, как умер Шнаппер, — у него по крайности были красивые руки, — какая мне польза от красоты?

И тут она снова вздохнула, и, словно эхо, почти неслышно вздохнул за ней Назенштерн.

— Какая вам польза от красоты? — вскричал дон Исаак. — О донна Элле Шнаппер, не грешите против благости созидающей природы! Не поносите ее прелестнейших даров! Она жестоко может отомстить вам. Эти упоительные глаза тупо остекленеют, эти приятные губы сплюснутся до отвратительности, это целомудренное, томящееся по любви тело превратится в неуклюжую бочку сала, град Амстердам будет покоиться на затхлом болоте...

И вот, предмет за предметом описывал он теперешнюю наружность Элле Шнаппер, так что бедная женщина ощутила странное стеснение и пыталась избавиться от злоеущих речей рыцаря. Тут она вдвойне обрадовалась, заметив прекрасную Сарру, и могла настойчиво осведомиться, вполне ли та пришла в себя после обморока. Она пустилась в оживленную беседу, где раскрылись вся ее притворная чванливость и природная доброта, и скорее пространно, чем умно, рассказала фатальную историю, как она сама чуть не впала в беспамятство, когда совсем чужая прибыла на трешкоуте в Амстердам и продувной носильщик доставил ее не в честную гостиницу, а в бесстыжий непотребный дом, как она скоро заметила по обильному потреблению водки и бесчестным домогательствам... И она, как сказано, уж наверное бы впала в беспамятство, когда бы в течение шести недель, что провела в этом доме соблазна, отважилась хоть на мгновение смежить очи...

— Ради моей добродетели, — прибавила она, — я не могла на это отважиться. И это все приключилось со мной

по причине моей красоты! Однако ж красота проходит, а добродетель пребывает неизменной.

Дон Исаак собрался было критически осветить подробности этой истории, как, на счастье, из дома вышел косой Арон Гиршку из Гомбурга-на-Лане. Белая салфетка торчала у него под носом, и он сердито пожаловался, что суп давно подан, гости сели за стол, а хозяйки нет.

(Окончание и следующие главы пропали не по вине автора.)

О ФРАНЦУЗСКОЙ СЦЕНЕ

**ДРУЖЕСКИЕ ПИСЬМА
АВГУСТУ ЛЕВАЛЬДУ**

(ПИСАНЫ В МАЕ 1837 г. В ДЕРЕВНЕ
БЛИЗ ПАРИЖА)



ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Наконец-то, наконец-то погода позволила покинуть Париж и теплый камин; и первые часы, которые я провожу в деревне, пусть снова будут посвящены любимому другу. Как мило светит мне солнце на бумагу и золотит буквы, которые понесут вам мои самые радостные приветствия! Да, зима убегает за горы, и ей вслед порхают дразнящие весенние ветерки, подобные стае легкомысленных гризеток, преследующих влюбленного старца ироническим смехом, а то и березовыми хворостинами. Как он пытит и охает, седовласый франт! Как безжалостно гонят его перед собою эти молодые девушки! Как хрустят и блестят пестрые ленты на груди! То здесь, то там упадет в траву какой-нибудь бант. Фиалки с любопытством поднимают глаза и с боязливым блаженством смотрят на веселую травлю. Наконец-то старик уже окончательно обращен в бегство, и соловьи запевают торжествующую песнь. Их песнь так мила и так свежа! Наконец-то мы можем обойтись без Большой Оперы, без Мейербера и Дюпре. Без Нурри мы обходимся уже давно. В конце концов каждый в этом мире таков, что без него можно обойтись, за исключением разве солнца и меня. Потому что без этих двух я не могу представить себе весны, а также и весенних ветерков, и гризеток, и немецкой литературы!.. Весь мир был бы зияющим ничто, тенью нуля, сном блохи, стихотворением Карла Штрекфуса!

Да, теперь весна, и я наконец могу снять фуфайку. Маленькие мальчики сняли даже курточки и в одних

рубашках скачут вокруг большого дерева, растущего около маленькой деревенской церкви и заменяющего колокольню. Дерево сейчас все в цветах и похоже на старого напудренного деда, который стоит спокойный, улыбающийся посреди белокурых внуков, резвящихся вокруг него. По временам он, дразня, посылает их своими белыми хлопьями. Но тогда ликование детей становится еще шумнее. Строго запрещено, запрещено под страхом розог дергать за веревку колокола. Но тот большой мальчик, который должен был бы подавать пример остальным, не может противиться искушению: он украдкой дергает запретную веревку, и тогда голос колокола раздается словно дедовское предостережение.

Позднее, летом, когда дерево все блистает зеленью и листва плотно окутывает колокол, в звоне его появляется что-то таинственное; это странно приглушенные звуки, и как только они раздаются, сразу же умолкают болтливые птицы, качавшиеся на ветвях, и в испуге улетают.

Осенью звон колокола еще более строг и зловец, и кажется — слышишь голос призрака. Особенно же когда кого-нибудь хоронят, звон колокола будит невыразимо тоскливое эхо; при каждом его ударе падает с дерева несколько желтых больных листьев, и этот звенящий листопад, эта звучащая эмблема умирания навяли на меня однажды такую бесконечную печаль, что я заплакал как дитя. Это случилось несколько лет тому назад, когда Марго хоронила своего мужа...

Но сейчас стоит чудная весенняя погода, солнце смеется, дети ликуют даже громче, нежели следовало бы, и здесь, в маленьком деревенском домике, где я и в прошлом году провел лучшие месяцы, я собираюсь написать вам ряд писем о французском театре, притом, согласно вашему желанию, не упуская из виду отечественной сцены. Последнее представляет известную трудность, так как мои воспоминания о мире немецких подмостков с каждым днем всё более и более тускнеют. Из пьес, написанных в последнее время, я ничего не читал, кроме двух трагедий Иммермана: «Мерлин» и «Петр Великий», которые обе не могли быть поставлены на сцене: «Мерлин» — из-за поэзии, «Петр» — из-за политики... И представьте себе мою мину: в пакете, содержащем эти творения дорогого нам великого поэта, оказалось еще несколько томов,

озаглавленных: «Драматические сочинения Эрнста Раупаха»!

Этого баловня немецких театральных дирекций я знал в лицо, но никогда еще не читал ничего, написанного им. Я только видел в театре некоторые его пьесы, а тут никогда наверно не знаешь, автор ли губит актера или актер — автора. И вот судьбе угодно было, чтобы, живя на чужбине, я мог на досуге прочесть некоторые комедии доктора Эрнста Раупаха. Не без усилий добирался я до последних актов. Все плохие остроты я бы еще извинил ему: ведь в конце концов он всего лишь старается угодить публике; какой-нибудь бедный малый, сидя в партере, скажет: «Так и я могу острить», и за это удовлетворенное чувство собственного превосходства он будет признателен автору. Но невыносим был для меня стиль. Я так избалован, хороший тон в диалоге и настоящий легкий разговорный язык благодаря моему долгому пребыванию во Франции до такой степени стали для меня потребностью, что, читая раупаховские комедии, я чувствовал странное недомогание. В этом стиле есть что-то одинокое, отшельническое, нелюдимое, что-то такое, от чего сжимается грудь. Разговор в этих комедиях надуманный, это — всегда лишь чревовещательно-многоголосый монолог, глухая заваль холостых мыслей, которые спят одни, сами по утрам варят себе кофе, сами бредутся, в одиночестве отправляются на прогулку к Бранденбургским воротам и сами для себя собирают цветы. Там, где он заставляет говорить женщин, речи их под белым кисейным платьем носят грязные панталоны из фланели и пахнут табаком и юфтью.

Но среди слепых и одноглазый — король, а среди наших плохих комедиографов Раупах — самый лучший. Говоря о плохих комедиографах, я имею в виду только тех бедных малых, которые под названием комедий ставят на сцене свои изделия или — поскольку они большей частью комедианты — сами выступают в них на сцене. Но эти так называемые комедии, собственно говоря, только прозаические пантомимы с традиционными масками: отцами, злодеями, надворными советниками, кавалерами, любовником, возлюбленной, субретками, матерями и так далее, как бы они ни назывались в контрактах наших актеров, приученных лишь к таким неизменным ролям, традиционным типам. Наша немецкая комедия, так же

как итальянская комедия масок, — это одна бесконечно варьируемая пьеса. Характеры и отношения заданы, и тот, кто обладает даром комбинирования, приступает к сочетаниям этих заданных характеров и отношений и составляет из них новую на вид пьесу примерно таким же способом, каким в китайской головоломке из известного числа кусочков дерева разнообразной формы составляются всякого рода фигуры. Талантом этим часто бывают одарены люди самые незначительные, и тщетно стремятся к этому настоящий поэт, гений которого привык двигаться свободно и который умеет создавать только живые образы, а не искусственные, деревянные фигуры. Некоторые настоящие поэты, занимавшиеся неблагодарным делом — писанием немецких комедий, создали несколько новых комических масок; но тут они сталкивались с актерами, которые, будучи выдрессированы только в соответствии с ранее существовавшими масками и стараясь скрасить свое невежество или свою леность, так деятельно интриговали против новых пьес, что их нельзя было поставить на сцене.

Быть может, в основе того суждения, которое я высказал только что о сочинениях доктора Раупаха, лежит тайная вражда к личности автора. Вид этого человека заставил меня однажды трепетать, а, как вам известно, этого не прощает ни один монарх. Вы с удивлением смотрите на меня, доктор Раупах кажется вам вовсе не таким страшным, да вы и не привыкли к тому, чтобы я дрожал перед живым существом? Тем не менее это так; я почувствовал однажды такой страх перед доктором Раупахом, что колени у меня затряслись и зубы застучали. Еще и теперь, когда я гляжу на гравированный портрет Эрнста Раупаха, помещенный перед титульным листом его сочинений, сердце трепещет в груди... Вы с великим изумлением смотрите на меня, дорогой друг, и подле вас я слышу и женский голос, с любопытством умоляющий: «Пожалуйста, расскажите».

Однако это длинная история, и мне сегодня некогда рассказывать ее. Да и слишком много всяких вещей, которые я рад бы забыть, вспомнилось бы мне по этому поводу, — например, те хмурые дни, которые я проводил в Потсдаме, и та великая боль, которая прогнала меня тогда в уединение. Один-одинешенек я прогуливался там,

в забытом Сан-Суси, под померанцевыми деревьями большой аллеи... Боже мой, до чего безотрадны, непоэтичны эти померанцевые деревья! Они — словно замаскированные дубки, и к тому же у каждого дерева свой номер, как у сотрудника брокгаузовской «Энциклопедической газеты», и эта занумерованная природа так насмешливо скучна, в ней такая палочно-капральская принужденность! Мне всегда казалось, будто эти померанцевые деревья нюхают табак, так же как и их покойный государь, старый Фриц, который, как вам известно, был великий герой в те времена, когда и Рамлер был великий поэт. Бога ради не подумайте, что я собираюсь умалить славу Фридриха Великого! Я даже признаю его заслуги перед немецкой поэзией. Разве он не подарил Геллерту белую лошадь, а госпоже Карш — пять талеров? Разве, заботясь о пресуплении немецкой литературы, не писал он по-французски свои собственные плохие стихи? Если бы он издал их на немецком языке, его высочайший пример мог бы принести безмерный вред! Немецкая муза никогда не забудет этой его услуги.

В Потсдаме, как уже сказано, я находился не в слишком радостном расположении духа, а тут еще тело и душа побились об заклад — кто из них больше измучит меня. Ах! Страдание нравственное легче вынести, чем физическое, и если бы, например, мне дали на выбор большую совесть или большой зуб, я избрал бы первое. Ах! Ничего нет ужаснее зубной боли! Это я почувствовал в Потсдаме. Я позабыл все мучения души и решил ехать в Берлин, чтобы мне там вырвали большой зуб. Какая жуткая, страшная операция! Она так напоминает обезглавливание. Тут тоже надо, сидя совершенно неподвижно на стуле, спокойно ожидать страшного удара! При одной этой мысли волосы встают у меня дыбом. Но провидение в своей мудрости устроило все к нашему благу, и даже страдания человека служат ему в конце концов только на пользу. Конечно, зубная боль ужасна, невыносима; но благодетельно-предусмотрительное провидение придало нашей зубной боли именно такой ужасный, невыносимый характер, чтобы мы в отчаянии бросились, наконец, к врачу и дали вырвать себе зуб. Право, никто бы не решился на эту операцию, или, скорее, экзекуцию, если бы зубная боль была хоть мало-мальски выносима!

Вы не можете себе представить, какая робость, какой страх владели мной во время трехчасового переезда в почтовой карете. Когда приехали в Берлин, я был совершенно разбит, а так как в подобные минуты совсем не думаешь о деньгах, то я дал почтальону целых двенадцать грошей чаевых. Он посмотрел на меня странно нерешительно, потому что по новому, наглеровскому почтовому регламенту почтальонам строго запрещается брать чаевые. Он долго держал монету в руке, точно взвешивая ее, и, прежде чем сунуть ее в карман, печально произнес: «Уже двадцать лет я служу почтальоном и так привык получать чаевые, а теперь господин почт-директор вдруг запретил нам под страхом строгого наказания брать что бы то ни было от пассажиров. Но это — нечеловеческий закон: ни один человек не откажется взять чаевые. Это противоестественно». Я пожал руку честному человеку и вздохнул. Вдыхая, дошел я, наконец, и до гостиницы, а когда я сразу же спросил, не знают ли хорошего зубного врача, хозяин, весьма обрадованный, ответил мне: «Вот и превосходно! У меня только что остановился знаменитый зубной врач из Петербурга, и если вы будете обедать за табльдотом, то увидите его». «Да, — подумал я, — прежде чем я сяду на скамью смертника, мне предстоит моя последняя трапеза». Но за столом мне совсем не хотелось есть. Я ощущал голод, но не чувствовал аппетита. Несмотря на мое легкомыслие, я все же не мог выбросить из головы те ужасы, что ожидали меня через час. Даже мое любимое блюдо, баранина с тельтовской репкой, было мне противно. Глаза мои невольно искали страшного человека, зубного палача из Санкт-Петербурга, и вскоре инстинктом страха они нашли его среди остальных гостей. Он сидел далеко от меня, в конце стола; лицо у него было щемящее и колющее, лицо — словно клещи, которыми вырывают зубы. То было отвратительное существо в пепельного цвета сюртуке с блестящими стальными пуговицами. Я почти не смел взглянуть ему в лицо, а когда он взял в руки вилку, я испугался так, как будто к моей челюсти уже приближался страшный лом. Трепеща от страха, я отвернулся, чтобы не видеть его, и рад был бы заткнуть себе уши, чтобы не слышать звука его голоса. По этому звуку я заметил, что он один из тех людей, которые внутри выкрашены серой краской и кишки у которых

деревянные. Он говорил о России, где долго жил, но где его искусство не могло достаточно развернуться. Он говорил с той тихой, наглой сдержанностью, которая еще невыносимее, чем самое громкое хвастовство. Всякий раз, когда он начинал говорить, мне становилось дурно и душу охватывала дрожь. Я с отчаяния ринулся в разговор с моим соседом и, в немалом испуге повернувшись спиной к страшилищу, стал говорить так оглушительно громко, что, наконец, уже и не слышал его голоса. Сосед мой был человек очень любезный, благородной наружности, с утонченнейшими манерами, и его ласковая беседа смягчила то мучительное расположение духа, в котором я находился. Он был сама скромность. Слова мягко лились с его нежно округленных губ, глаза были ясны и приветливы, а услышав, что я страдаю от зубной боли, он покраснел и предложил мне свои услуги. «Бога ради, — воскликнул я, — по кто же вы?» — «Я зубной врач Мейер из Санкт-Петербурга», — ответил он. Я невежливо быстро отодвинулся от него и пробормотал в большом замешательстве: «Так кто же тот, в конце стола, человек в пепельном сюртуке с блестящими пуговицами?» — «Не знаю», — ответил мой сосед, удивленно посмотрев на меня. Но кельнер, слышавший мой вопрос, шепнул мне на ухо, как нечто очень важное: «Это — господин театральный сочинитель Раупах».

ПИСЬМО ВТОРОЕ

...Неужели это правда, что мы, немцы, в самом деле не можем создать хорошей комедии и навсегда обречены заимствовать у французов подобные сочинения?

Я слышал, что вы в Штутгарте до тех пор терзались этим вопросом, пока, наконец, не назначили с отчаяния плату за голову автора лучшей комедии. Как мне говорили, вы сами, дорогой Левальд, были в составе жюри, а книгоиздательство И.-Г. Котта держало вас взаперти до тех пор, пока вы не произнесли свой драматический приговор. Это, по крайней мере, доставило вам сюжет для хорошей комедии.

Нет ничего более шаткого, чем те доводы, которыми обычно подкрепляют утвердительный ответ на вопрос,

поставленный выше. Заявляют, например, будто у немцев потому нст хорошей комедии, что они серьезный народ, французы же, напротив, — народ веселый и поэтому более способны к комедии. Такой взгляд в корне неправилен. Французы — вовсе не веселый народ. Напротив, я начинаю думать, что Лоренс Стерн был прав, утверждая, что они чересчур серьезны. А в то время, когда Йорик писал свое «Сентиментальное путешествие во Францию», там еще цвело все легкомыслие, вся раздушенная пошлость старого режима. И гильотина и Наполеон еще не научили французов надлежащим образом размышлять. А уж теперь, после Июльской революции, — какие скучнейшие успехи они сделали в своей серьезности или, по крайней мере, в невеселии! Их лица вытянулись, губы опустились более глубокомысленно; они научились от нас философии и курению табака. С французами за это время произошла большая перемена — они уже не похожи на себя. Нет ничего более жалкого, чем болтовня наших тевтономанов, которые, ополчаясь на французов, все-таки по-прежнему имеют в виду французов Империи, виденных ими в Германии. Они не думают о том, что этот изменчивый народ, на непостоянство которого они сами вечно нападают, за двадцать лет не мог не изменить образ мыслей и чувств.

Нет, они не веселее нас; быть может, мы, немцы, более склонны и восприимчивы к комическому, чем французы, мы народ юмора. К тому же, в Германии есть более благодарный материал для смеха, в ней больше действительно смешных характеров, чем во Франции, где общественная насмешка в зародыше убивает все незаурядно смешное, где ни один оригинальный дурак не может расти и совершенствоваться на свободе. Немец с гордостью может утверждать, что только на немецкой почве дураки могут достичь того титанического роста, о котором не имеет понятия приплюснутый, рано подавленный в своем развитии французский дурак. Лишь Германия производит на свет тех колоссальных безумцев, колпаки которых достигают небес и звоном своих бубенцов тшат звезды! Не будем несправедливы к заслугам соотечественников и не будем чтить глупость иноземную; не будем несправедливы к нашей собственной отчизне!

Ошибаются также и те, кто бесплодие немецкой Галии приписывает отсутствию свободного воздуха или, извините

мне легкомысленное выражение, отсутствию политической свободы. То, что обычно называют политической свободой, отнюдь не необходимо для процветания комедии. Вспомним хотя бы Венецию, где, несмотря на свинцовые крыши и тайные приспособления, чтобы топить людей, Гольдони и Гоцци все же создали свои лучшие произведения, Испанию, где, несмотря на самодержавный топор и ортодоксальный огонь, сочинялись чудеснейшие пьесы плаща и шпаги, вспомним о Мольере, который писал при Людовике XIV; даже в Китае есть превосходные комедии... Нет, не политическое состояние определяет собой развитие комедии в той или иной стране, и я подробно доказал бы эту мысль, если бы она не завела меня в такую область, от которой я рад держаться вдалеке. Да, дражайший друг, политика прямо пугает меня, и всякую политическую мысль я обхожу за десять шагов, как бешеную собаку. Когда ход мысли нечаянно наталкивает меня на политическую идею, я скорее произношу заклинание.

Известно ли вам, любезнейший друг, заклинание, которое поскорее надо произнести, если встречаешь бешеную собаку? Оно мне памятно еще с детских лет, а научился я ему от старого капеллана Астхевера. Когда, гуляя вместе, мы замечали собаку, у которой хвост был опущен несколько подозрительно, мы спешили помолиться: «О пес, пес дворовый. Ты нездоровый. Проклят ты навек. Боится тебя всяк человек. Да минует нас твой укус. И да сохранит нас господь наш Иисус. Аминь!»

Так же как и политика, беспредельным страхом наполняет меня теология, доставлявшая мне одни только неприятности. Я более не поддаюсь соблазнам сатаны, я воздерживаюсь даже от всяких размышлений о христианстве, и теперь уже я не такой дурак, чтобы Генгстенберга и компанию стараться обратить к радостям жизни; пусть себе эти несчастные до самой смерти жрут чертополох вместо ананасов и умерщвляют свою плоть; *tant mieux*,¹ я сам предоставлю им для этого розги. Теология составила мое несчастье — вы знаете, путем какого недоразумения. Вы знаете, как Союзный сейм, хоть я и не ходатайствовал об этом, причислил меня к «Молодой Германии» и как я до сих пор тщетно просился в отставку. Тщетно

¹ Тем лучше (*франц.*).

я пишу смиреннейшие прошения, тщетно утверждаю, что совершенно не верю во все мои религиозные заблуждения... Ничто не помогает! Я, право же, не требую ни гроша пенсии, но мне хотелось бы уйти на покой. Любезнейший друг, вы доставили бы мне истинное удовольствие, если бы в вашем журнале при случае обвинили меня в обскурантизме и раболепстве, это для меня может быть полезно. Моих врагов мне особенно не приходится просить об этой дружеской услуге: они клеветают на меня с величайшей предупредительностью.

...Я остановился на том, что французы, которым комедия удалась лучше, чем нам, обязаны этим преимуществом не политической свободе; может быть, вы разрешите мне показать несколько подробнее, что авторы комедий во Франции обязаны своим первенством состоянию общества.

Авторы комедий во Франции редко берут в качестве основного материала общественную жизнь народа, они обычно пользуются только отдельными ее моментами; на этой почве они то там, то здесь срывают какой-нибудь комический цветок и украшают им зеркало, из граней которого, отшлифованных иронией, нас приветствует смехом домашняя жизнь французов. Больше материала дают авторам комедий контрасты, которые существуют между многими старыми учреждениями и нынешними нравами, а нередко и между нынешними нравами и тайными мыслями народа, и, наконец, особенно обильный материал представляют для них те противоречия, которые так забавно выступают наружу, когда благородный энтузиазм, всыхивающий у французов с такой легкостью и с такой же легкостью угасающий в них, приходит в столкновение с положительными устремлениями промышленников нынешнего времени. Тут под ногами у нас почва, где уже пятьдесят лет тешит свой произвол великий деспот — революция, то разрушая, то щадя, но всякий раз колебля основы общественной жизни: и это неистовство равенства, которое смогло только принизить высокое, но не возвысить низкое; этот раздор между прошлым и настоящим, которые издеваются друг над другом, драка безумца с привидением; это крушение всех авторитетов — как духовных, так и материальных; эти люди, спотыкающиеся на обломках, и эта безмозглость в великие роковые часы, когда чувствуется необходимость авторит-

тета и когда разрушитель сам пугается дела своих рук, от страха начинает петь и, наконец, раздражается смехом... Вы видите, это страшно, пожалуй даже ужасно, но для комедии это превосходно!

А все-таки немцу здесь жутковато. Клянусь вечными богами! Нам следовало бы всякий день благодарить спасителя и господа нашего за то, что у нас нет такой комедии, как у французов, что у нас не растут цветы, которые могут распуститься лишь на груде обломков, на груде развалин, какой является французское общество. Француз — автор комедии — напоминает мне порой обезьяну, которая сидит на развалинах опустошенного города и строит гримасы и смеется, скаля зубы, когда из обрушившейся арки собора выглядывает голова настоящей лисы, когда в бывшем будуаре королевской любовницы разрешается от бремени настоящая свинья, или когда на зубчатой крыше ратуши вброды важно слетаются на совет, или когда гиена откапывает старые кости в королевском склепе.

Я уже упоминал, что главные мотивы французской комедии черпаются не в общественном, а в домашнем быту народа; и здесь самая благодарная тема — отношения мужчины и женщины. Как во всех житейских отношениях, так и в семье у французов распались все связи и сломлены все авторитеты. Что уважение к отцу утрачено и у сына и у дочери, это вполне понятно, если принять в расчет разлагающую силу того критицизма, который родился из материалистической философии. Это отсутствие всякого пиетета еще резче проявляется в отношениях мужчины и женщины, союзах брачных и внебрачных, которые по своему характеру исключительно удобны для комедии. Здесь мы видим подлинную арену всех тех войн между двумя полами, что известны нам только по плохим переводам или переделкам и которые немец может описать разве как Полибий, но отнюдь не как Цезарь. Конечно, супруги воюют друг с другом, — как вообще мужчины и женщины, — во всех странах, но повсюду, кроме Франции, слабую полу не хватает свободы в движениях, и война должна вестись в более скрытой форме, она обходится без внешних драматических эффектов. В других странах женщина едва решается на маленькое возмущение, в крайнем случае — на бунт. Здесь же оба члена брачного

союза противостоят друг другу с равными военными силами и вступают в ужаснейшие домашние сражения. При однообразии немецкой жизни вам в немецком театре очень забавно смотреть на военные походы двух полов, которые хотят перехитрить друг друга с помощью стратегического искусства, засад, ночных нападений, двусмысленных перемирий, а то и заключения вечного мира. Но если ты сам находишься во Франции, на поле битвы, где подобные вещи разыгрываются не только для вида, но и по-настоящему, и если в груди у тебя немецкая душа, то пропадет всякое удовольствие от лучшей французской комедии. И — увы! — я давно уже не смеюсь, когда Арналь с восхитительной глупостью играет роль рогоносца. И я также не смеюсь, когда Женни Верпре в роли знатной дамы, проявляя всяческую грацию, играет цветами прелюбодейства. И я также не смеюсь, когда гляжу на мадемуазель Дежазе, которая — это вы знаете — столь превосходно, с таким классическим бесстыдством исполняет роли гризеток. Сколько потребовалось поражений в добродетели, прежде чем эта женщина смогла достичь таких побед в области искусства! Она, быть может, лучшая актриса Франции. С каким мастерством она играет бедную модистку, которая благодаря щедрости богача любовника вдруг оказывается окруженной роскошью, совсем словно знатная дама, или же маленькую прачку, которая впервые выслушивает нежные речи какого-нибудь *carabin*¹ (по-немецки — *studiosus medicinae*²) и отправляется в сопровождении его в «Grande chaumière»³ на *bal champêtre*...⁴ Ах! Все это очень мило и смешно, и публика смеется; но когда я подумаю про себя, чем в действительности кончается подобная комедия, а именно — грязью проституции, больницей Сен-Лазар, столами анатомического театра, где *carabin* нередко может увидеть поучительное зрелище, как вскрывают его бывшую возлюбленную... Тогда смех замирает у меня в горле, и если бы я не боялся показаться дураком в глазах самой просвещенной в мире публики, то я не прятал бы своих слез.

¹ Студента-медика (*франц.*).

² Студента-медика (*лат.*).

³ «Большую хижину» (*франц.*). (См. комментарии.)

⁴ Бал на открытом воздухе (*франц.*).

Видите ли, дорогой друг, тайное проклятие изгнания — именно в том, что в атмосфере чужбины мы никогда не чувствуем себя как дома, что, привезя с родины свой образ мыслей и чувств, мы стоим особняком среди народа, который чувствует и мыслит совсем иначе, нежели мы, что нас то и дело оскорбляют нравы, вернее — безнравственность, с которой туземцы давно примирились, которая даже не занимает их, как и явления природы их страны... Ах! Духовный климат на чужбине для нас так же негостеприимен, как и физический; к последнему даже легче привыкнуть, и в крайнем случае заболевает тело, а не душа!

Революционная лягушка, которая рада была бы подняться из стоячих вод отечества и которая идеалом свободы считает жизнь птицы в небе, не сможет, однако, выдержать долгого пребывания на так называемом свежем, сухом воздухе и, конечно, скоро начнет томиться по своему тяжелому, густому родному болоту. Сперва она раздувается вовсю, радостно приветствует солнце, которое столь пышно сияет в июле, и говорит, обращаясь сама к себе: «Я выше моих земляков, всякой рыбы, всякой трески, немых водяных животных. Юпитер наделил меня даром слова. Я ведь даже певица, и уже тем самым я чувствую себя сродни птицам; недостает мне только крыльев...» Бедная лягушка! А если бы ей и даны были крылья, то все же она не смогла бы подняться в самую высь — в вышине ей не хватило бы птичьей легкости в мыслях; она невольно стала бы поглядывать вниз, на землю. Только с этой высоты ей стали бы явственно заметны печальные явления земной долины плача, и пернатой лягушке стало бы еще тяжелее, чем было раньше — в самом немецком из всех болот!

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Голова у меня тяжелая и пустая. Нынче ночью мне почти совсем не пришлось уснуть. Я все время ворочался в постели, и в мозгу у меня все время ворочалась мысль: кто был палач с маской на лице, что обезглавил Карла I в Уайтхолле? Только под утро я задремал, и тут мне

приснилось: ночь, и я, одинокий, стоял на Pont Neuf¹ в Париже и глядел вниз, на темную Сену. А внизу, под сводами моста, видны были голые люди, стоявшие по пояс в воде с горящими светильниками в руках, и, казалось, чего-то искали. Они многозначительно смотрели на меня, и сам я кивал им головой, как будто мы таинственнейшим образом уславливались о чем-то... Наконец ударил тяжелый колокол Собора богородицы, и я проснулся. И вот я целый час уже все думаю: чего же, собственно, искали под Pont Neuf голые люди? Мне кажется, во сне я это знал, а потом забыл.

Лучистый утренний туман обещает ясный весенний день. Поет петух. Старый инвалид, что живет рядом с нами, сидит уже перед дверью своего дома и поет наполеоновские песни. Внук его, белокурый кудрявый мальчик, стоит уже на своих босых ножках перед моим окном с куском сахара в руке и собирается кормить им розы. Воробей бежит, семена маленькими лапками, и как будто с любопытством, как будто с удивлением смотрит на милого ребенка. Но быстро подходит мать, красивая крестьянка, берет ребенка на руки и уносит в дом, чтобы тот не простудился на утреннем воздухе.

А я снова берусь за перо, чтобы нацарапать мои путанные мысли о французском театре стилем еще более путанным. В дебрях этих писаний вряд ли окажется нечто такое, что могло бы быть поучительно для вас, дорогой друг. Вам, драматургу, во всех отношениях знакомому с театром и читающему в утробах комедиантов, как господь бог в наших утробах; вам, некогда жившему на подмостках, которые означают целый мир, любившему и страдавшему на этих подмостках, как некогда в нашем мире сам господь, — вам ведь я не смогу сообщить ничего нового ни о немецком, ни о французском театре! Здесь я осмеливаюсь набросать только беглые замечания, в ответ на которые вы благосклонно закиваете головой.

Так, я надеюсь, вы согласитесь с тем, что я в прошлом письме сказал о французской комедии. Нравственные отношения, или, вернее, нравственный разлад, между мужем и женой здесь, во Франции, являются тем навозом, который так прекрасно удобряет почву комедии. Супру-

¹ Новом мосту (франц.).

жество, или, вернее, супружеская неверность, — Это самая суть всех тех комедийных ракет, которые с таким блеском взлетают в высоту, но оставляют после себя меланхолический мрак, если даже не скверный запах. Старая религия, католическое христианство, освящавшее брак и грозившее адом неверному супругу, угасло здесь так же, как и этот ад. Мораль, являющаяся не чем иным, как религией, сросшейся с нравами, утратила тем самым все свои жизненные корни, уныло вянет, обвиняясь вокруг тощих прутьев разума, посаженных на место религии. Но даже и эту жалкую, беспочвенную, опирающуюся только на разум религию здесь не уважают как следует, и общество чтит только приличие, являющееся не чем иным, как видимостью морали, обязательством тщательно избегать всего того, что может вызвать публичный скандал; говорю — публичный, а не тайный скандал, ибо все то скандальное, что не показывается наружу, для общества не существует; грех оно карает только в тех случаях, когда языки слишком уж громко начинают бормотать о нем. И даже тут бывает милостивое смягчение вины. Грешницу не осуждают окончательно до тех пор, пока сам супруг не скажет: виновна. Самой порочной мессалине открыты двери французского салона, пока рядом с ней терпеливо трусит рогатая домашняя скотина. Напротив, девушка, которая с безумием великодушия, с женским самопожертвованием бросается в объятия любимого, навсегда изгоняется из общества. Но это случается редко — во-первых, потому, что здешние девушки никогда не любят, а во-вторых, потому, что если им и случится полюбить, они стараются как можно скорее выйти замуж, дабы воспользоваться той свободой, которую обычай предоставляет только женщинам замужним.

В том-то все и дело. У нас, в Германии, так же как в Англии и других германских странах, девушкам предоставляют возможно бóльшую свободу, женщины же замужние, напротив, находятся в строжайшей зависимости от своего супруга и под самым бдительным его надзором. Здесь, во Франции, как я сказал, имеет место противоположное: молодые девушки до тех пор пребывают здесь в монастырском уединении, пока не выйдут замуж или не вступят в свет под строжайшей охраной родственника. В свете, то есть во французском салоне, они сидят всегда

молча и мало привлекают к себе внимание, потому что не умно и не считается здесь хорошим тоном ухаживать за девушкой.

В том-то все и дело. Мы, немцы, так же как и наши германские соседи, поклоняемся только девушке, и только ее воспевают наши поэты; у французов, наоборот, лишь замужняя женщина является предметом любви как в жизни, так и в искусстве.

Я только что указал на факт, лежащий в основе одного существенного различия между немецкой и французской трагедией. Героини в немецких трагедиях почти всегда — девушки, во французской трагедии — замужние женщины, и более сложные отношения, возникающие здесь, дают, пожалуй, больше простора для игры страстей и для действия.

Мне никогда не придет в голову хвалить французскую трагедию в ущерб немецкой или наоборот. Искусство и литература каждой страны обусловлены местными потребностями, которых при оценке их нельзя не принимать в расчет. Ценность немецких трагедий, как то: Гете, Шиллера, Клейста, Иммермана, Габбе, Эленшлегера, Уланда, Грильпарцера, Вернера и других больших писателей, — скорее в поэзии, чем в действии и страсти. Но как бы чудесна ни была поэзия, все же влияние ее распространяется скорее на одинокого читателя, чем на многолюдное собрание. То, что в театре всего более захватывает широкую публику, — это именно действие и страсть, а в этом отношении французы — авторы трагедий — стоят на непревзойденной высоте. Французы по самой природе более деятельны и страстны, чем мы, и трудно решить: благодаря ли врожденной дееспособности страсть проявляется у них резче, нежели у нас, или же прирожденная страстность сообщает их поступкам более темпераментный характер и делает их жизнь гораздо более драматичной, чем наша, тихие воды которой спокойно текут по неизменному руслу традиции и отличаются скорее глубиной, чем бурными волнами. Словом, здесь, во Франции, жизнь более драматична, и в зеркале жизни — театре — действие и страсть достигают высшей ступени.

Страсть в том виде, какой она принимает во французской трагедии, эта непрестанная буря чувств, эти непрекращающиеся громы и молнии, это вечное движение эмо-

дий, в такой же мере соответствует потребностям французской публики, в какой, с точки зрения вкусов публики немецкой, необходимо, чтобы автор сперва постепенно мотивировал безумные взрывы страсти, чтобы затем он вводил спокойные пассажи, которые позволили бы немецкой душе прийти в себя, чтобы нашим чувствам и сознанию он давал маленькую передышку, чтобы мы со всеми удобствами и не торопясь могли предаваться умилению. В немецком партере сидят миролюбивые граждане и государственные чиновники, которые желали бы спокойно переваривать там свою кислую капусту, а повыше, в ложах, сидят голубоглазые дочери просвещенных сословий, прекрасные белокурые души, взявшие с собой в театр чулок, который они вяжут, или другое какое рукоделие и желающие ни меру пометать так, чтобы при этом не спустилась ни одна петля. И все зрители обладают той немецкой добродетелью, которая всем нам дана от природы или воспитана в нас терпением. Да ведь в драму и приходят затем, чтобы судить об игре комедиантов или, как мы выражаемся, о степени совершенства артистов, и последние дают материалы для толков в наших салонах и газетах. Француз же, напротив, идет в театр, чтобы видеть пьесу, чтобы получить эмоции; изображаемое заставляет его совершенно забыть об исполнителях, да и вообще о них почти нет речи. Француза в театр увлекает беспокойство, и менее всего он ищет там покоя. Если бы автор на мгновение оставил его в покое, он был бы в состоянии «кликнуть Азора»,¹ что по-немецки значит — «засвистать». Таким образом, главная задача французского драматурга состоит в том, чтобы его публика совершенно не могла опомниться, прийти в себя, чтобы эмоции неслись одна за другой, чтобы любовь, ненависть, ревность, честолюбие, гордость, *point d'honneur*² — словом, все те страстные чувства, которые в действительной жизни французов и так уже принимают достаточно шумную форму, вспыхивали на подмостках еще более дико и неистово.

Но чтобы судить о том, не преувеличивается ли во французской трагедии страсть, не нарушаются ли здесь

¹ Буквальный перевод французского выражения *arreter Azor* (засвистать, когда аплодируют клакеры).

² Вопрос чести (франц.).

все границы, требуется глубочайшее знание самой французской жизни, являвшейся прообразом для автора. Чтобы подвергнуть французскую пьесу справедливой критике, нельзя мерить ее немецким, надо мерить ее французским масштабом. Страсти, кажущиеся нам чрезвычайно преувеличенными, когда где-нибудь в тихом уголке мирной Германии мы смотрим или читаем французскую пьесу, может быть в точности воспроизводят действительную жизнь, и то, что в театральном наряде кажется нам таким чудовищно неестественным, ежедневно и ежечасно случается в Париже, в буржуазнейшей действительности. Нет, в Германии невозможно создать себе представление об этой французской страсти. Мы видим ее действия, слышим ее слова, но эти действия и эти слова хоть и приводят нас в изумление, заставляя, пожалуй, смутно о чем-то догадываться, все же никогда не дадут нам точного понятия о чувствах, породивших их. Кто хочет понять, что значит огонь, должен сунуть руку в огонь; недостаточно видеть обожженного человека, а меньше всего толку, если о природе пламени мы будем знать только понаслышке или из книг. Люди, живущие на северном полюсе общества, не имеют и понятия о том, как легко воспламеняются сердца в жарком климате французского общества, или о том, как в дни июля от безумнейших солнечных укулов воспаляются головы. Слыша, как они там кричат, или видя, какие они строят гримасы, когда это пламя опалает им сердце и мозг, мы, немцы, просто диву даемся, и качаем головой, и объявляем, что все это противоестественно или даже что это безумие.

Подобно тому как мы, немцы, не можем понять беспре- станную бурю и натиск страсти в произведениях французских поэтов, так и французам непонятна тихая задушевность, полная предчувствий и воспоминаний мечтательная жизнь, которая постоянно проступает у нас даже в произведениях, наиболее одушевленных страстью. Люди, мысли которых занимает только настоящий день, которые за ним признают высшее значение и поэтому-то распоряжаются им с поразительнейшей уверенностью, они не могут понять чувств народа, у которого есть только вчера и завтра, но нет сегодня, который беспрестанно вспоминает прошлое и беспрестанно предчувствует будущее, но никак не может понять настоящее ни в любви,

ни в политике. С удивлением смотрят они на нас, немцев, которые нередко целых семь лет с мольбой взирают на глаза любимой, пока не явится решимость обнять рукой ее стан. Они с удивлением смотрят на нас, когда мы сперва стараемся основательно изучить всю историю французской революции вместе со всеми комментариями к ней и выжидаем последних добавочных томов, прежде чем переводить этот труд на немецкий язык, прежде чем давать роскошное издание «Прав человека» с посвящением королю баварскому;...

«О пес, пес дворовый. Ты нездоровый. Проклят ты навек. Бойтся тебя всяк человек. Да минует нас твой укус. И да сохранил нас господь наш Иисус. Аминь!»

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Сегодня утром, любезнейший друг, я пахожусь в удивительно мягком расположении духа. Весна очень странно действует на меня. Целый день я как в дурмане, и душа моя дремлет. Ночью же я бываю так возбужден, что засыпаю лишь под утро, и тут мной овладевают самые мучительно прелестные сны. О томительное счастье, с какой тревогой прижимало ты меня к своему сердцу несколько часов тому назад! Мне снилась та, которую я не хочу любить и которую не смею любить, но чья страсть все же дарит мне тайное блаженство. Это было в ее загородном доме, в маленькой сумрачной комнате, где окно балкона оплетено дикими маслинами. Окно было открыто, и яркая луна светила к нам в комнату и бросала серебряные полосы света на ее белые руки, с такой любовью обнимавшие меня. Мы молчали и думали только о своем сладостном горе. По стенам двигались тени деревьев, цветы которых благоухали все сильнее. Там, в саду, сперва в отдалении, потом поближе, заиграла скрипка, — долгие, медленные звуки, то грустные, то вдруг благодушно-радостные, порой напоминающие унылое рыдание, по временам грозные, но все время чарующие, прекрасные и правдивые... «Кто это?» — тихо прошептал я, и она ответила: «Это мой брат играет на скрипке». Но вскоре скрипка в саду умолкла, и вместо нее мы услышали тающие, замирающие звуки флейты, и раздавались они,

полные такой мольбы, такой молитвы, словно истекали кровью, и были это такие жалобные таинственные звуки, что душу охватывала безумная боязнь и нельзя было не думать о самых страшных вещах, о жизни без любви, о смерти без воскресения, о слезах, которые мы не в силах выплакать... «Кто это?» — тихо прошептал я. И она ответила: «Это мой муж играет на флейте».

Дорогой друг, еще хуже, чем видеть сны, — пробуждаться от них.

Какие все-таки счастливые эти французы! Им совсем ничего не снится, — я наводил точные справки, — и это обстоятельство также объясняет, почему они с такой неусыпной уверенностью вершат свои дневные дела и не поддаются неясным, еле брезжащим мыслям и чувствам — как в искусстве, так и в жизни. В трагедиях наших великих немецких поэтов большую роль играют сны, а французские драматурги-трагики и не догадываются об их значении. Предчувствий у них вообще не бывает. То, что появляется в этом роде в новейших произведениях французской поэзии, не соответствует ни характеру писателя, ни характеру публики, а бывает лишь прочувствовано на немецкий лад, даже, в конце концов, чуть ли не оказывается жалким воровством. Ибо французы плагируют не только мысли, они похищают у нас не только поэтические фигуры и образы, мысли и взгляды, но крадут ощущения, настроения и душевные состояния; они плагируют чувства. В частности, это заметно тогда, когда некоторые из них подделываются под душевные бредни католико-романтической школы времен Шлегелей. За малыми исключениями, французы не могут отречься от своего воспитания; они более или менее материалисты, смотря по той степени, в какой на них повлияло французское воспитание, являющееся продуктом материалистической философии. Оттого их поэтам и не дано душевности и паивности, не дано познавать путем созерцания и растворяться в созерцаемом. У них есть лишь рефлексия, темперамент и септиментальность.

Да, мне хочется высказать здесь также и соображение, которое могло бы быть полезно для оценки кое-кого из немецких авторов: септиментальность — продукт материализма. В душе материалист смутно сознает, что в мире, как-никак, не все — материя; пускай ограниченный разум

так убедительно доказывает ему материальность всего сущего, все же против этого восстает его чувство: по временам в него прокрадывается тайная потребность увидеть в сущем также и нечто исконно духовное; это смутное стремление и эта потребность порождают ту смутную чувствительность, которую мы называем сентиментальностью. Сентиментальность — отчаяние материи, уже не самодовлеющей, а мечтательно стремящейся наружу, в неопределенность чувства, рвущейся к чему-то лучшему. И действительно, я видел, как именно сентиментальные авторы, дома у себя или когда вино развязывало им языки, в самых грубых, непристойных выражениях выкладывали свой материализм. Но сентиментальный тон, особенно если он разукрашен патриотическими, нравственно-религиозными нищими мыслишками, широкая публика читает признаком прекрасной души!

Франция — страна материализма; он сказывается во всех проявлениях здешней жизни. Некоторые одаренные умы пытаются, правда, выкорчевать его корни, но эти попытки вызывают еще большие опасности. На разрыхленную почву падают семена тех спиритуалистических ересей, яд которых самым болезненным образом ухудшает социальное состояние Франции.

С каждым днем мея все больше страшит кризис, который это социальное состояние может вызвать; если бы французы хоть немного думали о будущем, они не могли бы ни одной минуты радоваться жизни. И действительно, французы никогда не радуются ей спокойно. Не сидят они с комфортом на банкете жизни, а поспешно глотают очаровательные блюда, быстро выливают себе в глотку сладостный напиток и никогда не могут спокойно отдаться наслаждению. Они напоминают мне старую гравюру в нашей домашней библии, где изображены были дети Израиля, которые, перед тем как покинуть Египет, справляют праздник пасхи и, уже снарядившись в дорогу, стоя со странническим посохом в руке, поедают жаркое из молодого барашка. Если жизненные утехи отпускаются нам куда более скупой, то все же нам дано наслаждаться ими в самом уютном спокойствии. Дни наши плавно скользят, подобные волосу, плавающему в молоке.

Любезнейший Левальд, последнее сравнение принадлежит не мне, а одному раввину; я недавно прочел его

в сборнике раввинской поэзии, где поэт сравнивает жизнь праведника с волосом, плавающим в молоке. Сперва этот образ вызывал во мне легкую тошноту, ибо ничто не оказывает на мой желудок такого тошнотворного действия, как волос, который я нахожу в своем утреннем кофе. А в особенности, если это — длинный волос, который плавно держится на поверхности, точно жизнь праведника! Но у меня это — идиосинкразия; я во что бы то ни стало хочу свыкнуться с этим образом и пользоваться им по всякому случаю. Писатель не должен впасть в полный субъективизм, он должен уметь все писать, как бы дурно ему ни становилось от этого.

Жизнь немца подобна волосу, плавающему в молоке. Да, сравнению этому можно было бы придать форму еще более совершенную, если бы сказать: немецкий народ подобен косице, сплетенной из тридцати миллионов волос и преспокойно плавающей в большом горшке молока. Я мог бы наполовину сохранить этот образ и сравнить французскую жизнь с горшком молока, куда ринулись целые тысячи мух; каждая из них стремится взобраться на спину другой, но в конце концов они погибают все, за исключением немногих, которые случайно или из осторожности сумели добраться до края горшка и ползают тут по сухому, но с мокрыми крыльями.

У меня были особые причины к тому, чтобы поделиться с вами лишь немногими соображениями насчет социального состояния французов; но чем разрешится эта путаница, не в силах угадать ни один человек. Быть может, Франция приближается к страшной катастрофе. Те, кто начинает революцию, обычно становятся ее жертвами, и, быть может, эта участь постигает целые народы — совершенно так же, как и отдельные личности. Французский народ, начавший великую европейскую революцию, быть может, погибнет, а грядущие народы пожнут плоды его начинаний.

Но надо надеяться, что я ошибаюсь. Французский народ — это кошка, которая, даже если ей и случается свалиться с опаснейшей высоты, все же никогда не ломает себе шею, а, наоборот, каждый раз быстро становится на ноги.

Собственно говоря, любезнейший Левальд, я не знаю, правильно ли с точки зрения естественной истории счи-

тать, что кошки всегда падают на все четыре лапы и благодаря этому никогда не причиняют себе вреда, как мне однажды пришлось слышать, когда я еще был маленьким мальчиком. Я сразу же пожелал проделать эксперимент, взобрался с нашей кошкой на крышу и с этой высоты бросил ее на улицу. Но случилось, что мимо нашего дома как раз проезжал казак; бедная кошка упала прямо на острие его пике, и он весело поскакал дальше с пронзенной кошкой на своей пике. Если же и в самом деле правда, что кошки всегда невредимо падают на лапы, то в таком случае они должны остерегаться казачьих пик...

ПИСЬМО ПЯТОЕ

Мой сосед, старый гренадер, сидит сегодня, задумавшись, у двери своего дома; порой он начинает одну из своих старых бонапартистских песен, но от внутреннего волнения голос не повинуется ему; глаза у него красные, и по всему видно, что старик плакал.

Ведь вчера вечером он был у Франкони и смотрел там «Аустерлицкое сражение». В полночь он вышел из Парижа, и душа его так властно была охвачена воспоминаниями, что он, как лунатик, пробродил всю ночь и сам был удивлен, когда сегодня утром добрался до деревни. Он растолковал мне недостатки пьесы, так как сам был при Аустерлице, где было так холодно, что ружье примерзало к пальцам; у Франкони же, наоборот, была нестерпимая жара. Пороховым дымом он остался очень доволен, также и запахом лошадей; только он утверждает, что кавалерия при Аустерлице не располагала такими прекрасно выдрессированными лошадьми. Вполне ли правильно представлены передвижения пехоты, он не мог точно определить, ибо при Аустерлице, как во время всякого сражения, стоял такой густой пороховой дым, что едва было заметно даже происходившее совсем поблизости. Но у Франкони пороховой дым, по словам старика, был прямо превосходен и так приятно подействовал на его грудь, что он вылечился от своего кашля. «А император?» — спросил я его. «Император, — отвечал старик, — был все тот же, совсем как живой, в своем сером

сюртуке и треугольной шляпе, и сердце заколотилось у меня в груди. Ах, император! — прибавил старик. — Знает бог, как я люблю его, не раз в этой жизни ходил я за него в огонь, и даже после смерти придется мне за него идти в огонь!»

Последнюю фразу Рикю — так зовут старика — произнес таинственно, мрачным шепотом; уже много раз я слышал от него, что он за императора попадет когда-нибудь в ад. Когда же я сегодня настойчиво стал уговаривать его объяснить мне эти загадочные слова, он рассказал мне вот какую ужасную историю.

Когда Наполеон увез из Рима папу Пия VII и поместил его в Савоне, в высоком горном замке, Рикю принадлежал к роте гренадер, стороживших его там. Сперва папе была предоставлена некоторая свобода; он мог беспрепятственно в любое время покидать свои покои и посещать капеллу замка, где сам каждый день читал мессу. Проходя при этом через большой зал, где императорские гренадеры стояли на часах, он протягивал к ним руку и благословлял их. Но однажды утром гренадеры получили решительное приказание строже, чем прежде, охранять выход из папских покоев и не позволять папе проходить через большой зал. К несчастью, исполнение этого приказа выпало именно на долю Рикю — Рикю, родом бретонца, а значит архикатолика, чтившего в пленном папе заместника Христова. Бедный Рикю стоял на часах у двери в папские покои, когда папа, собираясь, как обычно, идти в капеллу, чтобы читать мессу, захотел пройти через большой зал. Но Рикю встал перед ним на дороге и объявил, что ему дан приказ не пропускать святого отца. Напрасно священники, находившиеся в свите папы, увещевали его и объясняли, какое святотатство, какой грех, какое проклятие он берет на себя, препятствуя его святейшеству, верховному главе церкви, читать мессу... Но Рикю остался непоколебим, он все ссылался на невозможность нарушить приказ, а когда папа все же захотел идти дальше, он, полный решимости, воскликнул: «*Au nom de l'Empereur!*»¹ — и оттеснил его назад, держа перед собой штык. Через несколько дней строгое приказание было отменено, и папа снова мог проходить через большой зал, отправляясь служить мессу.

¹ Именем императора! (франц.).

Он по-прежнему благословлял всех присутствующих — всех, кроме бедного Рикю, на которого теперь он бросал всегда строгий, наказующий взгляд и к которому поворачивался спиной, протягивая к остальным благословляющую руку. «А все-таки я не мог поступить иначе, — прибавил старый инвалид, рассказав мне эту ужасную историю, — я не мог поступить иначе: мне было дано приказание, я должен был повиноваться императору, а по его приказанию (бог да простит мне!) я бы и самого господ бога проткнул штыком!»

Я уверил беднягу, что за все грехи великой армии отвечает император, но в этом для него нет большой беды, так как в аду ни один черт не дерзнет и притронуться к Наполеону. Старик охотно согласился со мной и стал рассказывать, как всегда с болтливым воодушевлением, о великоколесии империи, о временах императора, когда всюду лилось золото и все было в цвету, — не то что теперь, когда весь мир вянет и блекнет.

Действительно ли время Империи было во Франции так прекрасно и так счастливо, как привыкли хвастать эти бонапартисты от мала до велика, от инвалида Рикю до герцогини Абрантской? Не думаю. Поля не возделывались, а людей уводили на бойню. Повсюду слезы матерей и запустение в домах. Но с этими бонапартистами происходит то же самое, что с пьяным бедняком, пронизательно заметившим, что, пока он трезв, жилище его остается жалкой лачугой, жена его закутана в лохмотья, а ребенок лежит больной и голодный, но как только он выпьет несколько стаканов водки, вся эта нищета сразу преобразается, жена его становится нарядной принцессой, а ребенок улыбается ему, как упитаннейшее олицетворение здоровья. Если порой его бранят за скверное хозяйство, он то и дело уверяет, что надо бы только дать ему достаточно водки, и скоро все в его доме примет вид более блестящий. Не водка, но слава, честолюбие и жажда завоеваний так опьяняли этих бонапартистов, что они во время Империи не видели подлинной сущности вещей, теперь же по всякому поводу, когда раздастся жалоба на плохие времена, они всегда кричат: «Все это сразу преобразилось бы, Франция засверкала бы и зацвела бы опять, если бы нас вновь, как прежде, стали поить ордецами, эполетами, contributions

volontaires,¹ испанскими картинами, герцогствами, дали бы пить все это залпом».

Но как бы то ни было, не только старые бонапартисты, а также и народная масса рада убаюкивать себя этими иллюзиями, и дни Империи — поэзия этих людей, поэзия, которая, к тому же, составляет оппозицию к умственной трезвости побеждающего буржуазного сословия. Героизм императорского владычества — единственный, к которому французы еще чувствительны, и Наполеон — единственный герой, в которого они еще верят.

Если вы взвесите это, дорогой друг, то поймете и его значение для французского театра и успех, которым так часто пользуются здешние драматурги, прибегая к этому единственному в песчаной пустыне равнодушия источнику вдохновения. Когда в водевиле в каком-нибудь бульварном театре изображается сцена из времен Империи, а то еще появляется и сам император, то, как бы плоха ни была пьеса, недостатка в аплодисментах не оказывается, ибо в представлении принимает участие и душа зрителей и они аплодируют собственным чувствам и воспоминаниям. И здесь встречаются куплеты, а в них — слова, которые ошеломляют мозг француза, точно удары дубиной, или производят на его слезные железы такое же влияние, как луковица. Зрители плачут, ликут, горят, когда раздается: *aigle français; soleil d'Austerlitz; Iena; les pyramides; la grande armée; l'honneur; la vieille garde; Napoléon...*² или когда сам этот человек, *l'homme*,³ появляется в конце пьесы, как *deus ex machina*.⁴ На голове у него все та же волшебная шапка, и руки заложены за спину, и говорит он как нельзя более лаконично. Он никогда не поет. Я не видел ни одного водевиля, где Наполеон пел бы. Все остальные поют. Я даже слышал, как пел в водевилях старый Фриц, *Frédéric le Grand*,⁵ и пел он, к тому же, такие скверные стихи, что прямо можно было подумать, будто он сам их и сочинил.

¹ Добровольными контрибуциями (*франц.*).

² Французский орел; солнце Аустерлиц; Иена; пирамиды; великая армия; честь; старая гвардия; Наполеон (*франц.*).

³ Человек (*франц.*).

⁴ Бог из машины (*лат.*). (См. комментарий).

⁵ Фридрих Великий (*франц.*).

Действительно, стихи в этих водевилях ниже всякой критики, но только не музыка, особенно в тех пьесах, где безногие старики воспевают величие полководца и горестный конец императора. Грациозное легкомыслие водевиля переходит здесь в элегически-сентиментальный тон, который и немца мог бы растрогать. Дело в том, что плохие тексты этих *complaintes*¹ приспособлены к тем известным мелодиям, которые звучат в народных песнях о Наполеоне. Песни эти раздаются здесь повсюду, можно бы подумать, что они витают в воздухе или птицы поют их на ветвях деревьев. У меня из головы не выходят эти элегически-сентиментальные мелодии, которые я со всяческими аккомпанеентами и всяческими вариациями слышал от девушек, маленьких детей, увечных солдат. Всего трогательнее пел их слепой инвалид в Дьеппской крепости. Дом, где я жил, находился у самого подножия этой крепости, в том месте, где она выступает в море, и там, на темной стене, этот старик просиживал целые ночи, воспевая подвиги императора Наполеона. Море как будто прислушивалось к его песням, слово *gloire*² всякий раз так торжественно проносилось над волнами, которые порой, словно от удивления, раздражались ропотом, а потом снова в тишине продолжали свой ночной путь. Когда они достигали Святой Елены, они, быть может, с благоговением приветствовали трагический утес или с мучительным пегодованием ударялись о него. Сколько ночей простоял я у окна, слушая этого старого дьеппского инвалида! Я не могу его забыть. Я все еще вижу, как он сидит на старой стене, а месяц выходит из темных облаков и меланхолично освещает этого Османа Империи.

Какое значение для французской сцены приобретет когда-нибудь Наполеон, это просто нельзя определить. Пока что императора приходилось видеть только в водевилях или пьесах, рассчитанных на пышные декорации и внешние эффекты. Но на этот высокий образ как на свою неотъемлемую собственность предъявляет права богиня трагедии. Как будто Фортуна, так удивительно руководившая его судьбой, предназначает его в исключительный

¹ Жалобных песен (франц.).

² Слава (франц.).

подарок своей кузине Мельпомне. Авторы трагедий всех веков будут в стихах и прозе возвеличивать судьбу этого человека. Но совершенно особое значение этот герой имеет для французских поэтов, потому что французский народ порвал со всем своим прошлым, к героям феодальной и придворной поры Валуа и Бурбонов не чувствует симпатии, если даже не питает к ним ненависти, и Наполеон, сын революции, — единственный высокий, державный образ, царственный герой, радующий сердце новой Франции.

Я мимоходом отметил здесь, что политическое состояние французов не может благоприятствовать процветанию трагедии. Когда они трактуют сюжеты из истории средних веков и времен последних Бурбонов, им никогда не удастся избавиться от влияния определенного партийного духа, и поэт уже заранее, сам того не зная, находится в современно-либеральной оппозиции по отношению к старому королю или рыцарю, которого он собрался прославить. Так возникают диссонансы, которые крайне неприятно поражают немца, в действительности еще не порвавшего с прошлым, а в особенности немецкого поэта, воспитанного в беспристрастном духе художественной манеры Гете. Последние отзвуки «Марсельезы» должны умолкнуть, прежде чем автор и публика во Франции смогут настроиться вновь на соответствующий лад по отношению к героям своего исторического прошлого. И даже если бы душа автора очистилась от всех осадков ненависти, слово его не встретило бы беспристрастного отклика в партере, где сидят люди, которые не могут забыть, какие кровавые столкновения случались у них с родней героев, действующих на сцене. Особого удовольствия не представляет вид отцов, если на Гревской площади приходилось рубить головы их сыновьям. Подобные вещи омрачают чистоту театральных наслаждений. Беспристрастие автора нередко остается настолько непонятным, что его обвиняют в антиреволюционных взглядах. «К чему это рыцарство, эта фантастическая ветошь?» — воскликнет раздосадованный республиканец и возгласит анафему поэту, который возвеличил своим стихом героев старых времен, чтобы оболетить народ, чтобы возбудить аристократические симпатии.

Здесь, как и во многом другом, сказывается родственная близость французских республиканцев с английскими пуританами. В их полемике против театра слышится почти

тот же ворчливый тон, с той лишь разницей, что нелепейшие доводы одни черпают в религиозном, другие же в политическом фанатизме. В числе материалов из эпохи Кромвеля имеется полемическое сочинение знаменитого пуританина Принна, озаглавленное: «*Histriomastix*»¹ (напечатано в 1633 году), откуда я извлекаю, чтоб позабавить вас, следующие нападки на театр:

«There is scarce one devil in hell, hardly a notorious sin or sinner upon earth, either of modern or ancient times, but hath some part or other in our stage-plays.

O, that our players, our play-hounters would now seriously consider, that the persons whose parts, whose sins they act and see, are even then yelling in the eternal flames of hell for these particular sins of theirs, even then, whiles they are playing of these sins, these parts of theirs on the stage! Oh, that they would now remember the sighs, the groans, the tears, the anguish, weeping and gnashing of teeth, the crys and shrieks that these wickednesses cause in hell, whiles they are acting, applauding, comitting and laughing at them in the playhouse!»²

ПИСЬМО ШЕСТОЕ

Мой дорогой, искренне любимый друг! Нынче утром мною овладело такое чувство, будто на голове у меня венок из маков, усыпляющих все мои помыслы и думы. Временами я сердито встряхиваю головой, и тогда в ней то здесь, то там пробуждаются, правда, кое-какие мысли, но они сразу же засыпают и начинают взапуски храпеть.

¹ «Бич актеров» (*греч.-лат.*). (См. комментарий.)

² Нет ни одного дьявола в аду, ни одного общеизвестного греха или отъявленного грешника на земле, нынешнего времени или прежнего, который не играл бы той или иной роли в наших театральных представлениях.

О, если бы теперь наши комедианты и зрители вправду поразмыслили о том, что те лица, чьи роли, чьи грехи они изображают и видят, воют в вечном пламени ада за эти самые свои грехи в то самое время, когда на сцене разыгрываются эти их грехи, их роли! О, если бы теперь они подумали о воздыханиях, столах, слезах, мучениях, о плаче и скрежете зубном, о воплях и криках, которые служат расплатой за эти беззакония, между тем как они в театре разыгрывают их, им рукоплещут, над ними смеются! (*англ.*)

Остроты, блохи мозга, скачущие среди дремлющих мыслей, тоже оказываются не особенно резвы, скорее даже сентиментальны и вялы. Весенний ли воздух вызывает такое ошеломление или перемена в образе жизни? Я ложусь здесь уже в десять часов вечера, не чувствую усталости и не сплю тем здоровым сном, который сковывает все тело, а всю ночь ворочаюсь в постели в полусне-полубреду. Напротив, в Париже, где мне удавалось лечь спать лишь через несколько часов после полуночи, сон у меня был как железный. Только в восемь часов я кончал обедать, а потом мы ехали в театр. Доктор Детмольд из Ганновера, проводивший прошлую зиму в Париже и всегда сопровождавший нас в театр, вселял в нас бодрость, как бы усыпительна ни была пьеса. Мы много смеялись с ним, критиковали и злословили. Будьте спокойны, дражайший, вас мы вспоминали только в самых приятных тонах. Вам мы воздавали самые лестные похвалы.

Вы удивляетесь, что я так часто бывал в театре; вы знаете, что посещение театра не вполне относится к моим привычкам. Этой зимой я из каприза воздерживался от салонной жизни, а для того чтобы друзья, у которых я редко появлялся, не увидели меня в театре, я обычно выбирал литерную ложу, в углу которой лучше всего прятаться от глаз публики. К тому же эти ложи у авансцены — мои любимые места. Тут видишь не только то, что изображается на сцене, но и то, что происходит за кулисами — за теми кулисами, где кончается искусство и начинается любезная природа. Когда на сцене разыгрывается патетическая трагедия, а в то же время за кулисами то здесь, то там открывается какая-нибудь деталь беспутной жизни комедиантов, это напоминает ту античную роспись стен или же те фрески Мюнхенской глиптотеки и некоторых итальянских палаццо, где в углах больших исторических картин нарисованы потешные арабески, изображены веселые забавы богов, вакханалии и идиллии с сатирами.

«Théâtre Français» я посещал очень редко; этот зал, по-моему, какой-то пустынный, унылый. Здесь еще являются призраки старой трагедии, с кинжалами и отравленными кубками в бледных руках; здесь еще клубится пудра с классических париков. Всего нестерпимее то, что на этой классической почве современному романтизму

порой разрешают его дикие игры или, идя навстречу требованиям публики старой и молодой и составляя смесь классического с романтическим, создают, так сказать, трагическую *juste milieu*.¹ Эти французские драматурги-трагики — освобожденные рабы, все еще таскающие на себе обрывки старой классической цепи; чуткое ухо при каждом их шаге все еще различает какое-то позвякивание, как во дни господства Агамемнона и Тальма.

Я далек от того, чтобы безусловно отвергать старую французскую трагедию. Я чту Корнеля и люблю Расина. Они создали мастерские произведения, которые будут стоять на вечных пьедесталах в храме искусства. Но на сцене их время прошло; они исполнили свою миссию перед публикой, состоявшей из дворян, которые любили считать себя наследниками древнего героизма или по крайней мере не отвергали с мешанской мелочностью этот героизм. Еще и в дни Империи герои Корнеля и Расина могли рассчитывать на величайшие симпатии — в те дни они играли перед ложей великого императора и партером королей. Времена эти прошли, старая аристократия умерла, умер Наполеон, и престол теперь не что иное, как обыкновенный деревянный стул, обитый красным бархатом, и властвует теперь буржуазия, герои Поль де Кока и Эжена Скриба.

Смесь стилей и анархия вкуса, господствующая сейчас в «*Théâtre Français*», отвратительна. Большинство новаторов склоняется даже в пользу натурализма, который так же не подходит к высокой трагедии, как и пустое подражание классическому пафосу. Вы достаточно хорошо знакомы, любезный Левальд, с той системой правдоподобности, тем иффиандизмом, что некогда сврепствовал в Германии и был побежден Веймаром, главным образом благодаря влиянию Шиллера и Гете. Такая же система правдоподобности хочет распространиться и здесь, и ее приверженцы ратуют против метрической формы и стихотворной читки. Если бы первая заключалась только в александрийском стихе, а вторая — в полных дрожи завываниях старого периода, то люди эти были бы правы и простае проза и самый трезвый разговорный тон были бы полезнее для сцены. Но тогда истинная трагедия должна

¹ Золотую середину (*франц.*).

погибнуть. Она требует ритмической речи и декламации, не похожей на разговорный тон. Эти условия, по-моему, необходимы почти для всякого драматического произведения. Пусть хоть сцена никогда не будет пошлым воспроизведением жизни, которой она придаст некое благородство, проявляющееся если не в количестве слогов и чётке, то в общем тоне, во внутренней торжественности пьесы. Ибо театр — это особый мир, отделенный от нас так же, как сцена — от партера. Между театром и действительностью находится оркестр, музыка и тянется огненная полоса рампы. Действительность, миновав область звуков и переступив через знаменательные огни рампы, является нам на сцене, преображенная поэзией. Как замирающее эхо, отдается в ней еще прелестная гармония музыки, и таинственные лампы освещают ее сказочными лучами. Это волшебные звуки и волшебный блеск, которые прозаической публике легко могут показаться неестественными и которые, однако, еще куда естественнее, чем обыкновеннейшая натура; это натура, которую возвысило искусство, подняло на высоту божественности в полном ее расцвете.

Лучшие трагические поэты французов — все по-прежнему Александр Дюма и Виктор Гюго. Последнего я называю во вторую очередь, потому что его театральная деятельность не так обширна и не так удачна, хотя по своему поэтическому значению он превосходит всех своих современников по эту сторону Рейна. Я отнюдь не отказываю ему в драматическом таланте, как делают многие, с коварной целью превозносящие его величие как лирика. Он поэт, и поэзия повинуетя ему во всех формах. Его драмы так же заслуживают похвал, как и его оды. Но на сцене большее влияние имеет риторика, нежели поэзия, и упреки, которые делаются поэту после провала пьесы, с большим основанием следовало бы обратить к широкой публике, менее восприимчивой к наивным неподдельным звукам, глубокомысленным образам и психологическим тонкостям, нежели к помпезной фразе, целлому ржанию страсти и театральным эффектам. Последнее на жаргоне французских актеров называется: *brûler les planches*.¹

¹ Играть со всей страстью (буквально: «сжигать подмостки») (франц.).

Вообще, Виктора Гюго во Франции еще не оцѣнили по достоинству. Немецкая критика и немецкое беспристрастие обладают лучшим масштабом, чтобы мерить его заслуги, и могут воздать ему хвалу более свободную. Здесь его признанию мешает не только жалкая литературная ругань, но и политические, партийные страсти. Карлисты смотрят на него как на отступника, который сумел перестроить свою лиру для гимна Июльской революции, хотя на ней еще дрожали последние аккорды оды на помазание Карла X. Республиканцы сомневаются в его преданности делу народа и в каждой фразе чувствуют скрытое пристрастие к дворянству и католицизму. Даже незримая сен-симонистская церковь, которая — всюду и нигде, как христианская церковь до Константина, даже она отвергает его, ибо она смотрит на искусство как на жречество и требует, чтобы каждое произведение поэта, живописца, скульптора, композитора свидетельствовало о высшем его призвании, доказывало его священную миссию, чтобы оно ставило себе целью счастье и красоту человеческого рода. Шедевры Виктора Гюго не допускают подобной нравственной мерки, они даже грешат против этих великодушных, но ошибочных требований новой церкви. Я называю их ошибочными, ибо, как вы знаете, я стою за автопомиию искусства. Оно не должно быть ни служанкой религии, ни служанкой политики, оно само себе цель, так же как и самый мир. Здесь мы сталкиваемся с теми же односторонними упреками, которым подвергался Гете со стороны наших блюстителей благочестия, и, подобно ему, Виктор Гюго должен выслушивать неуместные обвинения, будто идеальное не вызывает в нем восторга, будто он лишен нравственных устоев, будто он холодный эгоист и т. д. А ко всему этому присоединяется еще и неправильная критика, объявляющая ошибкой то лучшее, что заслуживает в нем похвалы, его способность создавать чувственные образы, и вот они говорят: творениям его недостает внутренней поэзии, *poésie intime*,¹ контуры и узор для него самое главное, его поэзия лишь внешне осязаема, а сам он материален; словом, они порицают его самое ценное свойство — склонность к пластическому.

¹ Интимной поэзии (франц.).

И столь несправедливо судят о нем не старики классики, сражавшиеся с ним только аристотелевским оружием и давно уже побежденные, но его бывшие соратники, часть романтической школы, окончательно поссорившаяся со своим литературным гонфалоньером. Почти все его прежние друзья отпали от него, и, по правде сказать, отпали по его собственной вине, оскорбленные тем эгоизмом, который очень удобен при создании шедевров, но в общении с людьми оказывается очень вредным. Даже Сент-Бёв не мог больше вынести этого; даже Сент-Бёв порицает его теперь — он, бывший некогда самым преданным оруженосцем его славы. Подобно тому как в Африке, когда царь Дафурский совершает торжественный въезд, впереди него бежит панегирист, все время выкрикивающий самым громким голосом: «Глядите на буйвола, потомка буйвола, быка среди быков, все прочие — волы, и только он — истинный буйвол!» — так прежде, всякий раз когда Виктор Гюго появлялся перед публикой с новым произведением, Сент-Бёв бежал впереди него и трубил в трубу и расхваливал буйвола поэзии. Это время прошло. Сент-Бёв восхваляет теперь обыкновенных телят и отборных коров французской литературы, голоса друзей молчат или порицают, и величайший поэт Франции никак не может добиться подобающего признания.

Да, Виктор Гюго — величайший поэт Франции, и это много значит, он даже и в Германии мог бы стать в один ряд с поэтами первого ранга. Он отличается фантазией, и чувством, и, к тому же, отсутствием такта, какое никогда не встречается у французов, а только у нас, немцев. Уму его недостает гармонии, и у него со всех сторон — безвкусные наросты, как у Граббе или Жан-Поля. Ему недостает прекрасного чувства меры, которым мы восхищаемся в классических писателях. Муза его, несмотря на свое величие, стеснена какой-то немецкой беспомощностью. Мне хотелось бы сказать о его музе то же самое, что говорят о красавице англичанке: у нее две левые руки.

Александр Дюма поэт не такой крупный, как Виктор Гюго, но у него есть свойства, благодаря которым ему на сцене удастся достигнуть гораздо большего. К его услугам то непосредственное выражение страсти, которое французы называют *verve*, и он в большей мере француз,

чем Гюго: он сочувствует всем добродетелям и порокам, насущным нуждам и тревогам своих соотечественников, он восторжен, кипуч, полон актерства, великодушен, легкомыслен, хвастлив, он истинный сын Франции, этой Гаскони Европы. С сердцем он говорит на языке сердца, и его понимают, и ему аплодируют. Голова его — гостиница, где порой останавливаются и хорошие мысли, но не остаются там дольше одной ночи: очень часто она пуста. Дюма, как никто, обладает драматическим талантом. Театр — его подлинное призвание. Он прирожденный драматург, и ему по праву принадлежат все драматические сюжеты, где бы он их ни нашел — в жизни или у Шиллера, Шекспира или Кальдерона. Он извлекает из них новые эффекты, он переплавляет старые монеты, чтобы они могли вновь приобрести веселую современную цену, и мы должны бы даже быть благодарны ему за то, что он обкрадывает прошлое — ведь он обогащает им настоящее. Несправедливая критика, статья в «*Journal des débats*», появление которой было связано с прискорбными обстоятельствами, очень сильно повредила нашему автору в глазах широкой невежественной массы, так как для многих сцен его пьес были указаны разительнейшие соответствия в трагедиях иностранных. Но ничего нет нелепее, чем упрек в плагиате; в искусстве не существует шестой заповеди, поэт имеет право черпать всюду, где он находит материал для своих произведений, и даже присваивать себе целые колонны с изваянными капителями, если прекрасен тот храм, который они будут поддерживать. Это очень хорошо понимал Гете и даже до него — Шекспир. Нет ничего нелепее, чем обращенное к поэту требование, чтобы все свои сюжеты он черпал в самом себе — в этом-де оригинальность. Мне вспоминается басня, где паук разговаривает с пчелой и упрекает ее в том, что она из тысячи цветов собирает материал, из которого сооружает свои восковые постройки и приготовляет мед. «Я же, — торжествуя прибавляет он, — я сам из себя вытягиваю нити, из которых создаю свою искусную ткань».

Как я уже отметил, появление в «*Journal des débats*» статьи против Дюма было связано с прискорбными обстоятельствами, а именно: она была написана одним из тех юных сеидов, которые слепо слушаются приказаний Виктора Гюго, и напечатана в газете, редакторы которой

в самой тесной дружбе с ним. Гюго был настолько благороден, что не отрицал своего общничества в напечатании этой статьи, и предполагал вовремя и кстати нанести смертельный удар своему старому другу Дюма, как это принято в литературных дружбах. Действительно, репутацию Дюма покрыл теперь черный, траурный флер, и многие утверждали, что если бы убрать этот флер, то за ним уже ничего больше и не пришлось бы увидеть. Но после постановки такой драмы, как «Эдмунд Кин», репутация Дюма в новом блеске выступила из мрака, обволакивавшего ее, и этой драмой он снова доказал свой большой драматический талант.

Эта пьеса, которая, наверно, привилась и на немецкой сцене, задумана и написана с такой живостью, какой мне никогда еще не приходилось видеть; тут цельность, новизна в средствах, которые как будто напрашиваются сами, фабула, сплетения которой совершенно естественно развиваются одно из другого, чувство, которое идет из сердца и говорит сердцу, одним словом — создание искусства. Пусть Дюма и допускает маленькие ошибки во внешних деталях костюма и места действия, тем не менее во всей картине царит потрясающая правдивость: он мысленно снова целиком перенес меня в старую Англию, и мне казалось, что я снова вижу, как живого, самого покойного Кина, которого я часто видел там. Правда, этой иллюзии способствовал и актер, игравший Кина, хотя своей наружностью, своей внушительной фигурой Фредерик Леметр так не похож на маленькую, приземистую фигуру покойного Кина. И все же в личности Кина, так же как и в его игре, было нечто такое, что я узнаю у Фредерика Леметра. Они связаны каким-то чудесным родством. Кин был одной из тех исключительных натур, которые неожиданным движением тела, непостижимым звуком голоса и еще более непостижимым взглядом выражают не столько простые, общие всем чувства, сколько все то необычайное, причудливое, выходящее из ряда вон, что может заключать в себе человеческая грудь. То же касается и Фредерика Леметра: и он тоже один из тех страшных шутников, при виде которых Талия в ужасе бледнеет, а Мельпомепа блаженно улыбается. Кин был одним из тех людей, характер которых противится влиянию цивилизации, которые созданы не то что из лучшего,

но из совершенно другого материала, чем все мы, одним из угловатых чудаков с односторонним дарованием, но исключительных в этой своей односторонности, стоящих выше всего окружающего, полных той беспредельной, неисповедимой, неосознанной, дьявольски-божественной силы, которую мы называем демоническим началом. Это демоническое начало встречается более или менее у всех великих людей слова или дела. Кин вовсе не был многосторонним актером; правда, он мог играть много ролей, однако в этих ролях он играл всегда самого себя. Но благодаря этому он достигал всегда потрясающей правды, и хотя десять лет протекло с тех пор, все же я как сейчас вижу его в роли Шейлока, Отелло, Ричарда, Макбета, и его игра помогла мне полностью уразуметь некоторые темные места в этих шекспировских пьесах. В голосе его были модуляции, в которых открывалась целая жизнь, полная ужаса; в глазах его — огни, освещавшие весь мрак души титана; в движениях рук, ног, головы были неожиданности, говорившие больше, чем четырехтомный комментарий Франца Горна.

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

Как вам известно, любезный Левальд, в мои привычки не входит уютно-многословное обсуждение игры комедиантов, или, пользуясь благородным языком, совершенства артистов. Но Эдмунд Кин, которого я коснулся в предыдущем письме и к которому я возвращаюсь снова, не был обыкновенным героем подмостков, и, признаюсь вам, мне не казалось неуместным заносить в мой английский дневник, наряду с замечаниями о каком-нибудь парламентском ораторе мирового значения, также и беглые записи моих впечатлений от игры Кина в каждом спектакле. К сожалению, вместе со многими из важнейших моих бумаг потерялась и эта книга. Мне кажется, однако, что как-то раз в Вандсбеке я читал вам из нее отрывки о Кине в роли Шейлока. Венецианский еврей — это была первая героическая роль, в которой я видел его. Говорю: «героическая роль», ибо он изображал его не разбитым стариком, чем-то вроде Шивы ненависти, как наш Девриент, а геросм. Таким я и сей-

час еще вижу его, одетого в черный шелковый *goquelaure* ¹ без рукавов, доходящий только до колен, так что красное, как кровь, исподнее платье, спускающееся до самых пят, выделяется еще резче. Черная широкополая, но с обеих сторон приплюснутая шляпа с высокой тульей, обвязанной кроваво-красной лентой, покрывает голову; волосы, так же как и борода, длинные и черные как смоль, свисают, как бы служа мрачной рамой для этого румяного, здорового лица, с которого смотрят, вселяя боязнь и трепет, два белых жадных глазных яблока. Правой рукой он держит палку, которая для него не столько опора, сколько оружие. Он опирается на нее только локтем левой руки, и левой же рукой он подпирает коварно-задумчивую черную голову, полную мыслей еще более черных, объясняя в это время Бассанио, что следует понимать под употребительным до сих пор выражением «добрый человек». Рассказывая притчу о праотце Иакове и овцах Лавана, он как бы оплетает себя собственными словами и внезапно обрывает: «*Au, he was the third*»,² потом в течение долгой паузы он словно обдумывает то, что собирается сказать; видишь, как рассказ постепенно округляется в его голове, и когда он затем вдруг, как будто вновь отыскав нить своего повествования, продолжает: «*Not take interest*»,³ то кажется, что слушаешь не роль, заученную наизусть, а речь, с трудом придуманную им самим. Кончая рассказ, он улыбается, как автор, довольный собственным измышлением. Он начинает медленно: «*Signor Antonio, many a time and oft*»,⁴ пока не доходит до слова «*dog*»,⁵ которое выбрасывает уже с большей резкостью. Злоба закипает при словах: «*And spit upon my jewish gabardine... own*». ⁶ Потом он подходит ближе, прямой и гордый, и с горькой насмешкой говорит: «*Well then... ducats*». ⁷ Но вдруг спина сгибается, он снимает шляпу и произносит, униженно кланяясь: «*Or, shall bent low... monies*». ⁸ Да и голос его

¹ Полуплащ-полусюртук (англ.).

² Да, он был третьим (англ.).

³ Не наживается (англ.).

⁴ Синьор Антонио, очень часто... (англ.).

⁵ Собака (англ.).

⁶ Плевали на еврейский мой кафтан... (англ.).

⁷ Хорошо же... дукатов (англ.).

⁸ Или я низко поклонюсь... денег (англ.).

тоже становится униженным, лишь еле слышен в нем сдержанный гнев, на приветливых губах извиваются резвые змейки, только глаза не в силах притворяться, они неустанно пускают свои отравленные стрелы, и этот разлад между наружным смирением и внутренней злобой завершается при последнем слове (*monies*) жутким смехом, обрывающимся внезапно, резко, между тем как лицо, судорожно искаженное выражением покорности, некоторое время хранит неподвижность маски, и только глаз, злой глаз, поблескивает на нем, грозящий и смертоносный.

Но я напрасно все это пишу. Лучшее описание не может дать вам ясного представления о личности Эдмунда Кина. Многие удачно переняли манеру его декламации, открытость его речи, ибо и попугай может с величайшим совершенством подражать голосу орла, царя воздуха. Но орлиный взор, смелый огонь, который может глядеть на родное ему солнце, глаз Кина, эту магическую молнию, это волшебное пламя — вот чего не смогла перенять обыкновенная театральная птица. Только во взоре Фредерика Леметра, именно когда он играл Кина, я открыл нечто представлявшее величайшее сходство со взглядом настоящего Кина.

После такого хвалебного отзыва о Фредерике Леметре было бы несправедливо обойти молчанием другого великого актера, которым может гордиться Париж. Бокаж пользуется здесь славой столь же блистательной, а личность его если не так же замечательна, то во всяком случае так же интересна, как личность его коллеги. У Бокажа красивая, аристократическая внешность, и движения его полны благородства. У него богатый голос, звенящий как металл, гибкий и способный передать любой оттенок речи, будь то самые грозные громы ярости и гнева или умильнейшая нежность любовного шепота. В самых бешеных взрывах страсти он сохраняет грацию, сохраняет достоинство искусства и отказывается от возможности перейти к грубой натуре, как Фредерик Леметр, достигая этой ценой больших эффектов, но эффектов, которые возбуждают в нас восторг не своей поэтической красотой. Леметр — исключительная натура, более подвластная демонической силе, чем владеющая ею, и его я бы мог сравнить с Кином; Бокаж от других людей отличается не органическими свойствами, а более тонкой

организацией; он не помесь Ариэля с Калибаном, а гармонический человек, прекрасная стройная фигура, подобная Фебу-Аполлону. Взор его не так глубок, но движением головы он может создавать необыкновенные эффекты, особенно когда по временам он высокомерно откидывает ее назад, насмехаясь над миром. У него холодные, иронические вздохи, которые задевают вашу душу, точно стальная игла. В голосе его — слезы и глубокие звуки скорби, и можно подумать, что он незримо истекает кровью. Когда он вдруг обеими руками закрывает себе глаза, то начинает казаться, что говорит смерть: «Да будет мрак!» Но когда он потом снова улыбается — улыбается, весь исполненный сладостного очарования, — тогда кажется, что в углах его рта восходит солнце.

Так как я все же начал говорить об игре актеров, то позволю себе поделиться с вами кой-какими субъективными замечаниями о различии декламации в трех монархиях цивилизованного мира — Англии, Франции и Германии.

Когда я в Англии впервые смотрел английские трагедии, меня особенно поразила жестикуляция, являвшая величайшее сходство с жестикуляцией в пантомимах. В этом, однако, я не усмотрел ничего неестественного, а увидел скорее преувеличенную естественность, и только много времени спустя я смог привыкнуть к ней и, невзирая на карикатурное исполнение, смог на английской почве наслаждаться шекспировской трагедией. Вначале я не выносил криков, тех раздирающих душу криков, с которыми разыгрывают там свои роли и мужчины и женщины. Или в Англии, где зрительные залы так обширны, эти крики необходимы для того, чтобы слова не терялись в огромном пространстве? И отмеченная выше карикатурная жестикуляция — тоже, может быть, местная необходимость, поскольку большая часть зрителей находится на очень большом расстоянии от сцены? Не знаю. Быть может, исполнение на английской сцене подчиняется праву традиции, и на ее счет следует отнести преувеличения, особенно поразившие меня в актрисах, которые, обладая нежными голосами, ставят их на ходули и нередко проваливаются в безобразнейшие диссонансы, а при изображении девственной страсти мечутся, как драмадеры. То обстоятельство, что прежде на английской сцене женские роли разыгрывались мужчинами, влияет еще на

декламацию теперешних актрис, которые, быть может по старым преданиям, по театральным традициям выкрикивают свои роли.

Между тем, как бы велики ни были те недостатки, которыми страдает английская декламация, все же она в значительной мере искупает их искренностью и наивностью, которые порой проявляются в ней. Этими особенностями она обязана родному языку, который, собственно, представляет собою диалект и обладает всеми достоинствами наречия, вышедшего непосредственно из народа. Французский язык — скорее продукт общества и лишен той искренности и наивности, которую может дать лишь более мощный, из сердца народа бьющий и кровью его сердца напоенный родник речи. Зато во французской декламации есть грация и плавность, которые английской совершенно чужды, даже невозможны в ней. Здесь, во Франции, болтливая жизнь общества, в течение трех столетий фильтрующая язык, так очистила его, что безвозвратно исчезли все низкие выражения и неясные обороты, все мутное и пошлое, но вместе с тем и весь аромат, все эти дикие целebные силы, все эти тайные чары, которые струятся и журчат в девственном слове. Французская речь, а следовательно, и французская декламация, так же как и сам народ, обращена только к настоящему, к современности: сумрачный мир воспоминаний и предчувствий для нее недоступен. Она расцветает на солнце, и в нем источник ее прекрасной ясности и теплоты; чужда и неласкова для нее ночь с бледным лунным светом, мистическими звездами, блаженными снами и зловещими призраками.

Но что касается собственно игры французских актеров, то они превосходят своих коллег во всех странах, притом по той естественной причине, что все французы — природжденные комедианты. Они с такой легкостью вникают в любую жизненную роль и всегда драпируются так удачно, что любо смотреть. Французы — придворные актеры господина бога, *les comédiens ordinaires du bon Dieu*, превосходная труппа, и вся французская история кажется мне иногда большой комедией, представленной, однако, в бенефис человечества. В жизни, так же как и в литературе и в изобразительных искусствах французов, господствует театральность.

Что до нас, немцев, то мы честные люди и добрые граждане. Того, в чем нам отказано природой, мы добиваемся с помощью науки. И только если наше рычание становится чересчур громким, мы иногда начинаем опасаться, как бы в ложах не испугались и не вздумали наказать нас, и тогда мы с известной хитростью намекаем на то, что мы не настоящие львы, а всего лишь Основы, зашитые в трагические львиные шкуры, и эти намеки мы называем иронией. Мы честные люди и лучше всего играем честных людей. Справляющие юбилей государственные чиновники, старые служаки, честные обер-форстмейстеры и верные слуги — вот наша улада. Герои нам солоно приходится, по все-таки мы с ними справляемся, особенно в городах с военным гарнизоном, где у нас перед глазами хорошие образцы. С королями нам не везет. В княжеских резиденциях почтение не позволяет нам играть с абсолютной смелостью роли королей, ведь на это могут обидеться, и вот из-под горностая мы высовываем напоказ жалкую блузу верноподданнического смирения. В немецких вольных городах, в Гамбурге, Любеке, Бремене и Франкфурте, в этих славных республиках, актеры с полной непринужденностью могли бы играть свои королевские роли, но патриотизм побуждает их к злоупотреблению сценой ради политических целей, и свои королевские роли они играют так плохо, что если и не внушают ненависти к королевской власти, то делают ее смешной. Они косвенно способствуют республиканским симпатиям, и это в особенности касается Гамбурга, где королей играют всего отвратительней. Если бы тамошний высокопремудрый сенат не был так же неблагодарен, как во все времена правительства всех республик — Афин, Рима, Флоренции, то Гамбургская республика должна была бы воздвигнуть своим актерам обширный пантеон с надписью: «Плохим комедиантам — благодарное отечество!»

Помните ли вы еще, любезный Левальд, покойного Шварца, который в Гамбурге играл в «Дон-Карлосе» короля Филиппа и всегда медленно волочил свои слова вниз, в подземные глубины, а затем вдруг так быстро устремлял их к небу, что они являлись нам в течение какой-нибудь секунды?

Но, во избежание несправедливости, мы должны признать, что если читка в нашем театре хуже, чем у англичан

и у французов, то дело главным образом в немецком языке. Язык англичан — диалект, язык французов — продукт общества; наш язык — ни то, ни другое, он поэтому лишен и наивной искренности и плавной грации, это только книжный язык, беспочвенное изделие писателей, получаемое нами с лейпцигской ярмарки через посредство книготорговцев. Декламация англичан — это преувеличенная естественность, сверхъестественность; наша декламация — это неестественность. Декламация французов — аффектированный тон тирады, наша декламация — ложь. На нашей сцене — традиционное хныканье, от которого нередко мне делались противны лучшие пьесы Шиллера, особенно в сентиментальных местах, где наши актрисы расплываются в водянистых напевах. Но не будем говорить ничего плохого о немецких актрисах, они ведь мои землячки, и, к тому же, ведь гуси спасли Капитолий, и притом среди них столько порядочных женщин и, наконец... Тут меня перебил чертовский шум, раздавшийся перед моим окном, на кладбище...

В мальчиках, которые только что так мирно плясали под большим деревом, зашевелился древний Адам, или, точнее, древний Каин, и они принялись тузить друг друга. Чтобы восстановить спокойствие, я должен был выйти к ним, и мне еле удалось унять их словами. Один маленький мальчик с особым остервенением колотил по спине другого маленького мальчика. Когда я спросил его: «Что тебе сделал бедный ребенок?» — он посмотрел на меня большими глазами и сказал запинаясь: «Это же мой брат».

И у меня сегодня в доме тоже отнюдь не расцветает вечный мир. Как раз в эту минуту из коридора ко мне доносится такой шум, словно с лестницы свалилась клопштоковская ода. Ссорятся хозяин и хозяйка, и последняя упрекает своего бедного мужа в том, что он расточитель, что он прожигает ее приданое и что она умирает от горя. Больна она в самом деле, но от скупости. Каждый кусок, который муж ее кладет себе в рот, причиняет ей боль. А, кроме того, когда муж ее принимает свое лекарство и в бутылках что-нибудь остается, она сама обыкновенно глотает эти остатки, чтобы не пропало ни одной капли дорогого лекарства, и от этого заболевает. Этот бедняга, портной по национальности, а по ремеслу немец, удалился

в деревню, чтобы в сельском спокойствии насладиться остатком своих дней. Но это спокойствие он обретет, наверно, лишь на могиле своей супруги. Быть может, поэтому он и купил себе дом возле кладбища и с таким вожделением глядит на могилы умерших. Единственное его удовольствие — табак и розы, и он умсет разводить лучшие сорта этих цветов. Сегодня утром он посадил в цветнике перед моим окном несколько горшков с розами. Эти розы чудесно цветут. Но, любезнейший Левальд, спросите-ка у вашей жены, почему они не благоухают? Или розы эти больны насморком, или насморк у меня самого?

ПИСЬМО ВОСЬМОЕ

В предпоследнем письме я говорил об обоих представителях французской драмы. Однако не имена Виктора Гюго и Александра Дюма всех пышнее цвели этой зимой в бульварных театрах. Из уст народа постоянно слышались три имени, хотя до сих пор они и неизвестны в литературе. Это были: Мальфиль, Ружмон и Бушарди. На первого я возлагаю весьма большие надежды: у него, насколько я заметил, большие поэтические данные. Вы, может быть, помните его «Семь инфантов Лары», эту пьесу, полную ужасов, которую мы как-то раз вместе смотрели у Сен-Мартенских ворот. В этой дикой смеси крови и ярости встречались по временам чудные, по-настоящему возвышенные сцены, свидетельствовавшие о романтической фантазии и драматическом таланте. Другая трагедия Мальфиля — «Гленарвон» — представляет собой нечто еще более значительное, так как в ней нет той путаницы и тех неясностей, а экспозиция в ней потрясающе прекрасна и грандиозна. В обеих пьесах роли матерей-прелюбодеек превосходно исполняет мадемуазель Жорж, огромное, лучезарно-мясистое солнце на театральном небе бульваров. Несколько месяцев тому назад Мальфиль поставил новую пьесу под заглавием «Альпийский крестьянин» — «Le paysan des Alpes». Здесь он постарался достигнуть большей простоты, но за счет поэтического содержания. Пьеса слабее его прежних трагедий. Здесь, так же как и там, автор патетически ломает брачные перегородки.

Второй бульварный лауреат, Ружмон, положил основание своей известности тремя драмами, появившимися на свет одна за другой за короткий срок, чуть ли не за полгода, и имевшими громаднейший успех. Первая называлась «Герцогиня Лавобальер» — слабая самоделщина; в ней много действия, которое, однако, не развивается неожиданно, смело и естественно, а все время кажется результатом потуг и мелочных расчетов, так же как и страсть в ней лишь притворяется пылкой, а внутренне полна вялости и мертвенной холодности. Вторая пьеса, под заглавием «Леон», уже лучше, и хотя она тоже грешит той же надуманностью, все же в ней есть несколько великодушных, потрясающих сцен. На прошлой неделе я смотрел третью пьесу, «Элали Гранже», чисто мощанскую драму, вещь прямо превосходную, так как автор повинулся в ней природе своего таланта и дает в прекрасном обрамлении ясную и умную картину печальных неурядиц нынешнего общества.

Бушарди, третий лауреат, поставил пока что только одну пьесу, которую, однако, увенчал неслыханный успех. Называется она «Гаспардо». В течение пяти месяцев ее давали каждый день, а если так пойдет и дальше, то вскоре будет насчитываться несколько сот представлений. Честно говоря, ум мой бессилен, когда я начинаю раздумывать о причинах этого огромного успеха. Пьеса посредственная, если даже не совсем плохая, полная действия, эпизоды которого, однако, спотыкаются друг о друга, так что эффекты один другому ломают шею. Мысль, в пределах которой движется вся пьеса, узка, и нет в ней ни характера, ни ситуации, которые естественно возникали бы и развертывались. Правда, это нагромождение ситуаций уже в самой невыносимой форме встречается и у двух драматургов, названных выше, но автор «Гаспардо» превзошел их. А между тем такова цель, таков принцип, как уверяют меня некоторые молодые драматурги; эти сваленные в одну грудку разнородные сюжеты, хронологические периоды и местности отличают нынешнего романтика от прежних классиков, которые в замкнутых пределах драмы так строго придерживались единства времени, места и действия.

В самом ли деле эти новаторы расширили границы французского театра? Не знаю. Но эти французские

драматурги всегда напоминают мне того тюремщика, который сетовал на тесноту темницы и, стремясь расширить ее пределы, не нашел лучшего средства, как запираť в нее все больше и больше заключенных, не раздвигавших, однако, стен тюрьмы, а только душивших друг друга.

Добавлю еще, что и в «Гаспардо» и в «Элали Гранже», как и во всех дионисийских играх бульвара, брак служит козлом отпущения, и его-то здесь и ведут на заклание.

Я был бы рад, любезный друг, поговорить с вами еще о некоторых других драматургах бульвара, но если они время от времени и ставят сносную пьесу, то в ней сказывается всего только легкость трактовки, которую мы находим у всех французов, но отнюдь не своеобразие замысла. Да и я, только что посмотрев пьесу, сразу же забывал ее и никогда не справлялся, как звали автора. Но взамен я сообщу вам имена евнухов, служивших камергерами при царе Агасфере в Сузе, их звали: Мегуман, Биста, Гарбона, Бигта, Абгата, Сетар и Каркас.

Бульварные театры, о которых я только что говорил и которые в этих письмах все время имел в виду, — это настоящие народные театры, начинающиеся у Сен-Мартенских ворот и расположенные вдоль всего бульвара Тампль по степеням нисходящего достоинства. Да, эта пространственная последовательность вполне правильна. Первое место занимает театр, называемый по имени Сен-Мартенских ворот и, конечно, являющийся в Париже лучшим драматическим театром, обладающий превосходной труппой, среди которой находятся мадемуазель Жорж и Бокаж, и превосходно показывающий произведения Гюго и Дюма. Затем идет «Ambigu-Comique», где дело уже обстоит хуже и с исполнением и с исполнителями, но где все-таки еще ставится романтическая драма. Оттуда мы попадаем к Франкони, театр которого, однако, здесь нельзя принимать в расчет, так как в нем ставятся скорее лошадиные, чем человеческие пьесы. Далее следует «La Gaite», театр, недавно сгоревший, но теперь снова отстроенный и как снаружи, так и внутри соответствующий своему веселому названию. Романтическая драма здесь также имеет право гражданства, и в этом приветливом здании тоже порой льются слезы, а сердца бьются во власти самых страшных ощущений; но все-таки здесь больше

поют и смеются, и на сцене здесь появляется водевиль со своими легкими рефренами. Это же относится и к находящемуся рядом театру «Les Folies dramatiques», где тоже даются драмы, но больше ставятся водевили; этот театр нельзя назвать плохим, и мне иногда случалось видеть там хорошие пьесы, и притом в хорошем исполнении. За «Folies dramatiques» как в смысле достоинства, так и в смысле местоположения следует театр г-жи Саки, где также даются драмы, но крайне посредственные, и пошлейшие буффонады с пением, переходящие, наконец, по соседству, у «Канатоходцев», в самый грубый фарс. За «Канатоходцами», где один из превосходнейших Пьеро, знаменитый Дебюро, строит свои белые гримасы, я обнаружил еще совсем маленький театр, называющийся «Lazargo», где играют совсем плохо, где плохое доходит, наконец, до предела, где искусство наглухо забито досками.

После вашего отъезда в Париже возник еще новый театр в самом конце бульвара, у Бастилии, и называется он «Théâtre de la porte Saint-Antoine». Он во всех отношениях hors de ligne¹ и как по своему художественному, так и по своему топографическому положению не может быть отнесен к упомянутым бульварным театрам. Но он еще и слишком нов, чтобы о его достоинстве можно было сказать что-нибудь определенное. Впрочем, пьесы, которые там ставятся, не плохи. Недавно я там, по соседству с Бастилией, видел драму, носящую имя этой тюрьмы и содержавшую ряд весьма захватывающих мест. Героиня, само собой разумеется, — супруга коменданта Бастилии и бежит с государственным преступником. Видел я там и хорошую комедию, озаглавленную «Mariez-vous donc!»² и рисовавшую судьбу супруга, который не пожелал вступить в великосветский брак по расчету, а женился на красивой девушке из простонародья. Кузен его становится ее любовником, и теща, заодно с ним и с верной женой, составляет домашнюю оппозицию к мужу, которого ее расточительность и бестолковое хозяйство доводят до нищеты. Чтобы добыть средства для пропитания своего семейства, несчастный, наконец, принужден открыть

¹ Ниже всякой критики (*франц.*).

² «Женитесь-ка!» (*франц.*).

у заставы танцклассе для всякого сброда. Когда в кадрили не хватает танцора, он заставляет танцевать своего семилетнего сына, и ребенок уже умеет перемежать свои па распутнейшей пантомимой канкана. В таком положении его паходит друг, и бедняга со скрипкой в руке, пиликаая, и прыгая, и дирижируя танцами, пользуется иногда паузой и рассказывает пришельцу о своих брачных бедах. Самое мучительное — это контраст между рассказом и занятнем рассказчика, которому часто приходится прерывать свою страдальческую повесть и, выкрикнув «Chassez!» или «En avant deux!», бросаться вприпрыжку в ряды танцующих и танцевать вместе с ними. Танцевальная музыка, составляющая мелодраматический аккомпанемент к этой брачной истории, эти звуки, сами по себе такие веселые, здесь иронически жутко врезаются в сердце. Я не в силах был смеяться, как прочие зрители. Смешил меня только тесть, старый пьяница, который пропил все добро и должен, наконец, просить милостыню. Но и милостыню он просит крайне юмористически. Это толстый бездельник с красным пьяным лицом, и водит он на веревке шелудивого слепого пса, которого называет своим Велизарием. Человек, утверждает он, неблагодарен по отношению к собакам, которые так часто служат верными проводниками слепым людям; но он хочет отплатить этим животным за их человеколюбие и служит теперь проводником своему слепому Велизарию, своему слепому псу.

Я так весело смеялся, что окружающие, наверно, приняли меня за *chatouilleur*¹ этого театра.

Знаете ли вы, что такое *chatouilleur*? Я лишь недавно узнал значение этого слова и обязан этим познанием моему цирюльнику, брат которого служит в качестве *chatouilleur* в одном из бульварных театров. Ему платят за то, что он во время представления комедий, всякий раз, когда откальвают удачную остроу, громко хохочет и возбуждает в публике охоту к смеху. Должность эта — очень важная, и успех многих комедий зависит от нее. Ибо удачные остроу порой весьма плохи, и публика вовсе не стала бы смеяться, если бы *chatouilleur* не обладал искусством с помощью различных модуляций своего

¹ Хохотуна (от глагола *chatouiller* — щекотать) (франц.).

хохота — от самого тихого хихиканья до самого громкого блаженного хрюканья — заставлять публику смеяться вместе с ним. Смех имеет эпидемический характер, так же как и зевота, и я рекомендую вам ввести в немецких театрах *chatouilleur* — хохотуна. Зевупов, наверно, у вас там достаточно. Однако должность хохотуна выполнять не легко, и, как уверяет меня мой цирюльник, для этого требуется большой талант. Его браг выполняет ее уже пятнадцать лет и дошел в этом деле до такой виртуозности, что ему стоит лишь издать фальцетом всего один тонкий, приглушенный, ускользящий звук, чтобы заставить публику разразиться диким хохотом. «Он человек с талантом, — прибавил мой цирюльник, — и денег зарабатывает больше, чем я; потому что он, кроме того, служит еще факельщиком в *Pompes funèbres*,¹ и у него по утрам часто бывает от пяти до шести похорон, и тут он, в черном траурном костюме, с белым носовым платком и скорбным выражением лица, кажется таким грустным, словно идет за гробом родного отца, — побожиться можно...»

Право же, любезный Левальд, я питаю уважение к этой многосторонности, но если бы я и был способен на нее, все же я ни за какие деньги в мире не согласился бы принять на себя обязанности этого человека. Подумайте только, как это ужасно: весенним утром, когда вы только что с удовольствием выпили кофе и солнце своей улыбкой освещает ваше сердце, сразу же принимать похоронный вид и лить слезы по каком-нибудь отдавшем душу бакалейном торговце, которого, может быть, вы и не знали вовсе и чья смерть, может быть, только отрадна, так как факельщику она приносит семь франков и десять су. А потом, когда вы шесть раз вернулись с кладбища, и смертельно устали, и страшно сердиты и серьезны, надо еще весь вечер смеяться всем тем скверным остроумам, которым вы уже так часто смеялись, и смеяться всем лицом, каждым мускулом, всеми судорогами тела и души, чтобы побудить к смеху пресыщенный партер... Это ужасно! Я уж предпочел бы быть французским королем.

¹ Бюро похоронных процессий (франц.).

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

Но что такое музыка? Этот вопрос долго занимал меня вчера вечером, пока я не заснул. Музыка — вещь причудливая; она — чудо, хочется мне сказать. Она находится посредине между мыслимым и видимым; смутно зримой посредницей стоит она между материей и духом; она родственна им и все же отлична от обоих: она дух, но дух, нуждающийся в темпе; она материя, но материя, которая может обойтись и без пространства.

Мы не знаем, что такое музыка. Но что такое хорошая музыка, это мы знаем, и еще лучше знаем, что такое плохая музыка; ибо последнюю нам приходилось слушать чаще. Музыкальная критика может опираться лишь на опыт, а не на синтез; она должна классифицировать музыкальные произведения только по их сходству и за масштаб принимать впечатление, которое они произвели на толпу.

Нет ничего менее совершенного, чем теоретизирование в музыке. Есть здесь, правда, законы, математически определенные законы, но эти законы — не музыка, а ее условия, подобно тому как искусство рисования и учение о красках или же палитра и кисть — не живопись, а только необходимое средство. Сущность музыки — откровение, о ней нельзя дать никакого отчета, и подлинная музыкальная критика есть наука, основанная на опыте.

Я не знаю ничего более безотрадного, чем критика *monsieur* Фетиса или его сына, *monsieur Foetus*,¹ которые априори, на основе высших соображений, доказывают достоинства музыкального произведения или отрицают их. Подобная критика, написанная на особом арго и напичканная техническими выражениями, известными не вообще образованным людям, а только артистам-исполнителям, придает этому пустословию некоторый авторитет в глазах широкой публики. Подобно тому как мой друг Детмольд написал по вопросам живописи справочник, благодаря которому в два часа становишься знатоком искусства, кому-нибудь следовало бы написать такую же книжечку по вопросам музыки и при помощи ирони-

¹ Господина Зародыша (*франц.*). (См. комментарии.)

ческого словаря музыкально-критических фраз и оркестрового жаргона положить конец пустому ремеслу, которым занимается какой-нибудь Fétis или foetus. Лучшую музыкальную критику, и единственную, которая, быть может, что-нибудь доказывает, мне пришлось слышать в прошлом году в Марселе, за табльдотом, где два коммивояжера дебатировали злободневный вопрос — кто больший мастер, Россини или Мейербер. Как только один признавал за итальянцем высшее совершенство, другой возражал ему, но не сухими словами, а напевал какие-нибудь особенно красивые мелодии из «Роберта-Дьявола». Первый не находил иного, более меткого возражения и пел в ответ несколько кусочков из «Севильского цирюльника», и это они оба проделывали в течение всего обеда; вместо шумного обмена ничего не говорящими фразами они угостили нас чудеснейшей застольной музыкой, и под конец я должен был сознаться, что о музыке либо вовсе не следует спорить, либо спорить только на этот реалистический лад.

Вы замечаете, дорогой друг, что я не собираюсь доучать вам никакими традиционными фразами по поводу оперы. Но при обсуждении французской сцены я не могу оставить ее совершенно без внимания. Вам нечего также опасаться сравнительного рассуждения о Россини и Мейербере в том виде, как это обычно принято. Я ограничиваюсь тем, что люблю обоих, и ни одного из них я не люблю в ущерб другому. Если первому я симпатизирую еще больше, чем второму, то это только личное чувство, а отнюдь не признание за ним высшего превосходства. Может быть, именно его недостатки и будят во мне такой родственный отголосок и находят соответствие в некоторых моих недостатках. По природе я склонен к известному *dolce far niente*:¹ люблю лежать на лугу, усеянном цветами, глядеть на спокойное движение облаков и наслаждаться их освещением; но случаю и року часто бывало угодно пробуждать меня от этих приятных грез жестокими пинками, мне приходилось поневоле принимать участие в скорбях и боях века, и я много раз участвовал в них и дрался с храбрейшими... Но не знаю, как мне выразиться, — в моих чувствах всегда оставалась известная обособленность от чувств

¹ Блаженному безделью (*итал.*).

прочих людей; я знал, что у них на душе, но на душе у меня было совсем иное, чем у них, и с каким бы рвением я ни прищипывал моего боевого коня и как бы неутомимо ни рубил врагов моим мечом, все же меня никогда не охватывали боевая горячка, увлечение бигвой или боязнь; мое внутреннее спокойствие часто пугало меня, я замечал, что мысли мои — не здесь, между тем как сам я, в разгаре партийной схватки, бился на все стороны, и порой я казался себе датчанином Ожье — лунатиком, который сражался с сарацинами, погруженный в сон. Такому человеку Россини должен быть ближе, чем Мейснер, и, наверно, он в известные периоды если и не целиком отдается музыке последнего, то все же будет восторженно восхищаться ею. Ибо на волнах музыки Россини всего безмятежнее могут покачиваться индивидуальные радости и горести человека, любовь и ненависть, нежность и тоска, ревность и досада, все здесь — только обособленное чувство отдельной личности. Характерно поэтому преобладание в музыке Россини мелодии, всегда являющейся непосредственным выражением обособленного чувства. У Мейснера мы, напротив, находим преобладание гармонии; в потоке гармонических масс умолкают, даже тонут мелодии, так же как собственные ощущения отдельного человека исчезают в общем чувстве целого народа, и в эти гармонические потоки радостно бросается наша душа, когда ею овладевают горести и радости всего человечества и когда она отстаивает великие общественные требования. Музыка Мейснера скорее социальна, чем индивидуальна; благодарная современность, когда узнаёт в его музыке свои внутренние и внешние распри, свой душевный разлад и борьбу воли, свои беды и свои надежды, справляет торжество собственной страсти и воодушевления, аплодируя великому маэстро. Музыка Россини более подходила к эпохе Реставрации, когда после великих боев и разочарований великие общие интересы должны были для пресыщенного человека отступить на задний план и чувство собственного «я» снова смогло вступить в свои законные права. Во время революции и Империи Россини никогда не достиг бы своей великой популярности. Робеспьер обвинил бы его, быть может, в антипатриотических, умеренных мелодиях, а Наполеон, конечно, не назначил бы его на должность капельмейстера в вели-

кой армии, где ему требовалось всеобщее воодушевление... Бедный Лебедь из Позаро!.. Галльский петух и императорский орел, быть может, растерзали бы тебя, и более подходящим, чем поля битв буржуазной добродетели и славы, для тебя было тихое озеро, с берегов которого тебе мирно кивали кроткие лилии и где ты мог спокойно плавать, каждым движением воплощая красоту и грацию! Реставрация была триумфальной порой для Россини, и даже звезды неба, отдохавшие в то время от работы и больше не заботившиеся о судьбе народов, с восхищением внимали ему. Между тем Июльская революция вызвала большое волнение на небесах и на земле. Звезды и люди, ангелы и короли и даже сам господь бог простились со своим спокойствием. У них опять много дела. Им надо устраивать новую эпоху, у них нет ни досуга, ни должного душевного спокойствия, чтобы наслаждаться мелодиями личного чувства, и только тогда, когда гармонически ропщут, гармонически ликуют, гармонически рыдают огромные хоры в «Роберте-Дьяволе» или тем более в «Гугенотах», сердца их прислушиваются и, восторженно вторя им, рыдают, ликуют и ропщут.

В этом, быть может, главная причина того огромного, неслыханного успеха, которым пользуются во всем мире две большие оперы Мейербера. Он человек своего времени, и время, всегда умеющее выбирать людей, с шумом подняло его на щит, и празднует его победу, и вместе с ним совершает свой радостный триумфальный въезд. Находиться в таком положении, восседать на щите, торжественно несомом, — отнюдь не уютно: несчастный случай или неловкость хоть одного из щитоносцев может вызвать опасный для вас крен или даже серьезное повреждение; венки, сыплющиеся на вашу голову, могут иногда не столько порадовать, сколько поранить, а то и замарать, если они попадают к вам из грязных рук; и непомерная тяжесть лавров может, разумеется, выжать из вас немало тоскливого пота... Россини, когда встречает такое шествие, крайне иронически улыбается тонкими губами, а потом жалуется на свой скверный желудок, состояние которого ухудшается с каждым днем, так что он ничего не может есть.

Это горестно: ведь Россини всегда был одним из величайших гурманов. Мейербер — полная противополож-

ность, как в смысле внешности, так и в смысле наслаждения жизненными благами: он — сама скромность. Только тогда, когда он приглашает друзей, у него бывает хороший стол. Однажды, когда я собрался к нему, чтобы пообедать à la fortune du pot,¹ оказалось, что весь его обед составляет скудное кушанье из трески; разумеется, я стал уверять, что уже обедал.

Многие утверждали, что он скуп. Это не так. Скупится он только на расходы, касающиеся его самого. По отношению к другим он сама щедрость, и особенно пользовались ею, вплоть до злоупотреблений, несчастные соотечественники. Благотворительность — фамильная добродетель мейерберовской семьи, в особенности матери, к которой я посылаю всех нуждающихся в помощи, и всегда — с успехом. А женщина эта — счастливейшая мать в мире. Всюду вокруг нее звучит великолепие ее сына. Где бы она ни была, вьются вокруг, касаясь ее слуха, отрывки из его произведений, всюду сверкает ей навстречу его слава, а уж в опере, где вся публика самым бурным образом выражает Джакомо свой восторг, ее материнское сердце трепещет в восхищении, которое мы едва можем вообразить. Во всей мировой истории я знаю только одну мать, которую можно было бы сравнить с ней, — это мать святого Борромео, которая видела, как сына ее еще при жизни причислили к лику святых, и могла вместе с тысячами верующих преклонить пред ним колена и молиться ему.

Мейербер пишет теперь новую оперу, которой я жду с большим любопытством. Развитие этого гения — для меня зрелище в высшей степени замечательное. Я с интересом прослеживаю фазы как музыкальной, так и личной его жизни и наблюдаю то взаимодействие, которое установилось между ним и его европейской публикой. Прошло уже десять лет с тех пор, как я впервые встретился с ним в Берлине, между зданием университета и гауптвахтой, между наукой и барабаном, и, по-видимому, он в этом окружении чувствовал себя очень стесненным. Помню, я встретил его в обществе доктора Маркса, входившего в те годы в состав некоего музыкального регентства, которое во время несовершеннолетия некоего юного гения,

¹ На риск (*франц.*).

считавшегося законным престолонаследником Моцарта, неизменно поклонялось Себастиану Баху. Увлечение Себастианом Бахом имело, однако, целью не только заполнить междуцарствие, но также уничтожить и репутацию Россини, которого регентство боялось больше всего, а значит, и больше всего ненавидело. Мейербер слыл тогда подражателем Россини, и доктор Маркс смотрел на него несколько свысока, с видом ласкового сверхпревосходства, что заставляет меня теперь от души смеяться. Россинизм был тогда тяжким преступлением Мейербера; ему далеко еще было до чести иметь своих собственных врагов. Да он и сам благоразумно воздерживался от всяких притязаний, и когда я рассказал ему, с каким восторгом я недавно смотрел в Италии представление его «Крестonosца», он улыбнулся плутиво-уныло и сказал: «Вы компрометируете себя, когда хвалите меня, бедного итальянца, здесь в Берлине, в столице Себастиана Баха!»

Мейербер в то время действительно сделался совершенным подражателем итальянцев. Недовольство холодным и сырым, рассудительно-остроумным, бесцветным берлинизмом рано вызвало в нем естественную реакцию: он бежал в Италию, радостно наслаждался там жизнью, всецело отдаваясь своим личным чувствам, и сочинял там чудесные оперы, где россинизм доведен до сладостнейшего преувеличения; золото покрыто здесь новой позолотой, и цветы надушены еще более сильными благоуханиями. То было для Мейербера счастливейшее время: он писал в веселом опьянении итальянской чувственностью и как в жизни, так и в искусстве срывал самые нежные цветы.

Но немецкую натуру это не могло долго удовлетворять. В нем пробудилась некая тоска по отечественной серьезности; в то время как он лежал под миртами в Италии, им овладели воспоминания о таинственном трепете немецких дубовых лесов; в то время как южные зефиры ласкались к нему, он думал о мрачных хоралах северных ветров, с ним случилось, быть может, то же самое, что и с г-жой де Севинье, которая, живя около оранжереи и непрестанно вдыхая благоухание цветов апельсина, под конец стала тосковать по скверному запаху здорового навоза... Словом, произошла новая реакция: синьор Джакомо снова внезапно превратился в немца и снова

вступил в союз с Германией — не старой, дряхлой, отжившей Германией узкогрудого мещанства, а с юной, великодушной, свободной, как мир, Германией нового поколения, которое все вопросы человечества превратило в свои собственные, запечатлев их если не на своем знамени, то — тем неизгладимее — в своем сердце.

Вскоре после Июльской революции Мейербер выступил с новым произведением, которое среди скорбей этой революции породил его гений, с «Роберт-Дьяволом» — героем, который не знает точно, чего он хочет, который постоянно борется с самим собой, являя верное отражение нравственных шатаний, неустойчивости того времени, с таким мучительным беспокойством колебавшегося между добродетелью и пороком, изнуравшего себя в стремлениях и в борьбе с преградами и не всегда находившего силы, чтобы устоять против соблазнов сатаны! Я совсем не люблю эту оперу, этот шедевр робости — робости, говорю я, не только в смысле сюжета, но и в смысле выполнения, так как композитор еще не доверяет своему гению, еще не решается всецело следовать воле его и, трепеща, служит толпе, вместо того чтобы бесстрашно повелевать ей. Мейербера тогда справедливо называли боязливым гением; ему недоставало победоносной веры в самого себя, он проявил испуг перед общественным мнением, его пугало малейшее порицание, он потворствовал всем прихотям публики и направо и налево усерднейшим образом раздавал *roignées de main*,¹ как будто в музыке он признавал суверенность народа и основывал свою власть на большинстве голосов, в противоположность Россини, который в царстве музыки, как король божьей милостью, властвовал без ограничений. Эта боязливость все еще не оставляет Мейербера как человека; он все еще озабочен мнением публики, но, к счастью, благодаря успеху «Роберта-Дьявола» эта тревога не мешает ему в работе; он сочиняет с гораздо большей уверенностью и выражает в своих произведениях великую силу своей души. И с этой возросшей свободой духа он написал «Гугенотов», где исчезло всякое сомнение, где кончилась его внутренняя борьба с самим собой и начался поединок с внешней средой, огромный размах которого повергает нас в изумление.

¹ Рукопожатия (франц.).

Только этим своим произведением Мейербер завоевал бессмертное право гражданства в вечном граде духа, в небесном Иерусалиме искусства. В «Гугенотах» Мейербер наконец показывает себя без боязни; бесстрашными линиями он начертал здесь полностью свою мысль, и все, что волновало его грудь, он решился выразить в необузданных звуках.

Исключительная особенность его произведения — это равномерность вдохновения и художественного совершенства, или, правильнее выражаясь, равная высота, которой достигают здесь искусство и страсть; человек и художник вступили здесь в состязание, и когда первый ударяет в набатный колокол неистовой страсти, второму удается преобразить грубые звуки природы в жуткую и сладостную гармонию. В то время как толпу захватывает внутренняя мощь, страсть «Гугенотов», ценитель искусства изумляется мастерству, которое проявляется в формах. Это произведение — готический собор, устремленные к небу колонны и огромный купол которого словно возведены рукою великана, тогда как бесчисленные изысканно-топкие гирлянды, розетки и арабески, накиннутые поверх, точно камешно-кружевное покрывало, свидетельствуют о неутомимом терпении карлика. Великан по силе замысла и выполнения всего целого, карлик в кропотливой обработке деталей, зодчий «Гугенотов» так же непонятен нам, как и композиторы старых соборов. Когда я недавно стоял с одним приятелем перед Амьенским собором и приятель с испугом и состраданием созерцал этот памятник, говорящий о богатырской силе великанов, громоздивших скалы, и неутомимом терпении карликов, работавших резцом, а затем, наконец, спросил меня, почему это мы теперь не в силах создавать такие здания, — я ответил ему: «Дорогой Альфонс, в те давние времена у людей были убеждения, а у нас, новых, есть только мнения; для того же, чтобы соорудить такой готический собор, требуется нечто большее, чем простое мнение».

В этом все дело. Мейербер — человек убеждения. Однако это касается, собственно говоря, не злободневных общественных вопросов, хотя и в этом отношении образ мыслей у Мейербера имеет более твердую основу, чем у других художников. В груди у Мейербера, которого

князя этой земли осыпают всевозможными почестями и который к тому же так любит эти почести, есть сердце, вдохновенное священнейшими интересами человечества, и он открыто чтит героев революции. Счастье для него, что иные судьи на Севере не понимают музыки, иначе они в «Гугенотах» увидели бы не только партийную борьбу протестантов с католиками. Но все-таки его убеждения, собственно, не политического, а тем менее религиозного свойства. Настоящая религия Мейербера — религия Моцарта, Глюка, Бетховена, это — музыка; он верит только в нее, только в этой вере он обретает блаженство и живет, полный убеждения, которое по глубине, страстности и твердости напоминает убеждения минувших веков. Да, мне хочется назвать его апостолом этой религии. Он с апостольским рвением и горячностью относится ко всему, что касается его музыки. В то время как другие художники бывают удовлетворены, создав нечто прекрасное, и даже теряют всякий интерес к своему произведению, как только оно закончено, у Мейербера, напротив, горшие родовые муки начинаются только после разрешения от бремени; тут он не успокаивается до тех пор, пока создание его духа не явится в блеске всему народу, пока вся публика не насладится его музыкой, пока его опера не прольет во все сердца те чувства, которые он хочет поведать целому миру, пока все человечество не станет причастно ему. Как апостол не страшится ни трудов, ни страданий, лишь бы спасти одну погибшую душу, так и Мейербер, узнав, что кто-нибудь отвергает его музыку, неустанно будет его преследовать, пока не обратит его; и одна спасенная овца, будь то хотя бы душа самого незначительного фельетониста, бывает ему дороже, чем целое стадо верующих, почитавшее его всегда с ортодоксальной последовательностью.

Музыка — убеждение Мейербера, и это, быть может, причина всех тех страхов и огорчений, которые так часто одолевают великого маэстро и которые нередко вызывают у нас улыбку. Надо видеть его в то время, когда разучивается его опера; тут он мучитель всех музыкантов и певцов, которых он терзает непрестанными репетициями. Он никогда не бывает доволен, один какой-нибудь фальшивый звук в оркестре — для него удар кинжалом, от которого он боится умереть. Это беспокойство долгое

время преследует его и после того, как опера уже поставлена на сцене и встречена шумным одобрением. Он и тогда еще продолжает опасаться, и, я думаю, он не успокоится до тех пор, пока несколько тысяч человек, слышавших его оперу и восхищавшихся ею, не умрут и не будут похоронены; с их стороны, по крайней мере, ему нечего бояться отступничества. В дни, когда дают его оперу, ему сам господь бог не угодит; если идет дождь и холодно, он боится, как бы мадемуазель Фалькон не схватила насморка, если же, наоборот, вечер ясный и теплый, то он боится, как бы хорошая погода не заманила публику за город и театр не оказался пуст. Ничему нельзя уподобить педантизм, с которым Мейербер правит корректуру, когда его музыка наконец печатается; эта неутомимая страсть к исправлениям, вносимым в корректуру, стала пословицей у парижских артистов. Но следует помнить, что музыка ему дороже всего, дороже, конечно, его жизни. Когда холера начала неистовствовать в Париже, я заклинал Мейербера уехать как можно скорее, но его еще на несколько дней задерживали дела, которых он не мог оставить: ему надо было с одним итальянцем заняться итальянским либретто «Роберта-Дьявола».

«Гугеноты» в гораздо большей степени, чем «Роберт-Дьявол», являются плодом убеждения как в смысле содержания, так и в смысле формы. Если, как я уже заметил, широкую публику увлекает содержание, то спокойный наблюдатель восторгается неслыханными успехами искусства, новыми формами, примененными здесь. Теперь, по отзыву компетентнейших судей, все композиторы, собирающиеся писать оперы, должны прежде изучить «Гугенотов». Наибольшего Мейербер достиг в области инструментовки. Неслыханна трактовка хоров, которые выступают здесь как личности и свободны от всякой оперной традиционности. После «Дон-Жуана» в мире музыки; конечно, не было явления более значительного, чем четвертый акт «Гугенотов», где за потрясающе зловещей сценой благословения мечей, освящения убийства, следует дуэт, дающий еще более сильный эффект, — огромная смелость, которой едва можно было ожидать от опасливого гения, но удача которой в одинаковой мере возбуждает в нас восторг и удивление. Мейербер, как я полагаю,

разрешил подобную задачу не средствами искусства, а средствами природы, так как этот дуэт выражает целый ряд чувств, которые никогда, или, по крайней мере, никогда с такой правдивостью, не проявлялись в опере и все же зажигают в современных умах самые неистовые симпатии. Что до меня, то, сознаюсь, никогда ни одно музыкальное произведение не заставляло мое сердце биться так бурно, как четвертый акт «Гугенотов», но все же я предпочитаю обходить этот акт и его треволнения и гораздо большее удовольствие испытываю от второго акта. Этот акт — идиллия, прелестью и грацией напоминающая романтические комедии Шекспира, а, пожалуй, в еще большей степени — «Аминту» Тассо. Действительно, под розами радости здесь таится нежная тоска, напоминающая о несчастном придворном поэте Феррары. Это скорее тоска по радости, чем самая радость, это не сердечный смех, а усмешка сердца — сердца, которое страдает тайным недугом и может только грезить о здоровье. Как могло случиться, что художник, от которого с самой колыбели отгоняли все высасывающие кровь жизненные заботы, который, будучи рожден в лоне богатства, ласкаемый всей семьей, с полной готовностью, даже энтузиазмом шедшей навстречу всем его наклонностям, более чем какой-либо другой смертный художник имел право на счастье, — как могло случиться, что он все же изведает те безмерные муки, стоны и рыдания, которые слышатся нам в его музыке? Ведь того, чего композитор не прочувствует сам, он не в силах высказать с такой потрясающей мощью. Странно, что художник, материальные потребности которого удовлетворены, терпит тем более невыносимые нравственные горести! Но это счастье для публики, которая обязана своими наиболее идеальными радостями мукам художника. Художник — дитя, о котором народная сказка повествует, будто слезы его — чистый жемчуг. Ах! Злая мачеха вселенная затем и бьет так беспощадно бедное дитя, чтобы оно роняло побольше слез-жемчужин.

«Гугенотов» в еще большей степени, чем «Роберта-Дьявола», упрекали в недостатке мелодий. Этот упрек основан на недоразумении. «Из-за леса не видно деревьев». Мелодия подчинена здесь гармонии, и уже при сравнении с музыкой России, где встречается обратное соотношение,

я отмстил, что это преобладание гармонии именно характеризует музыку Мейербера как музыку человечески взволнованную, общественно-современную. Право, у ней нет недостатка в мелодиях, но только эти мелодии не выделяются беспокойно-резко, я сказал бы даже — эгоистически; они и тут служат только целому, они дисциплинированы, тогда как у итальянцев мелодии выступают изолированно, я сказал бы даже — действуют вне закона, примерно так, как их знаменитые бандиты. Только этого не замечаешь; часто простой солдат дерется в большом сражении не хуже, чем калабриец, одинокий герой-разбойник, личная храбрость которого меньше поражала бы нас, если бы он сражался в строю как солдат регулярного войска. Я отнюдь не думаю оспаривать достоинства единовластной мелодии, но я должен заметить, что следствием ее в Италии является равнодушие к опере в целом, к опере как к замкнутому художественному произведению, и выражается оно настолько наивно, что если со сцены не раздастся какая-нибудь бравурная ария, то в ложах принимают знакомых, непринужденно беседуют, чуть ли не играют в карты.

Преобладание гармонии в творениях Мейербера является, может быть, необходимым следствием его широкого образования, включающего в себя мир мыслей и мир внешних явлений. На воспитание его были потрачены сокровища, и ум его был восприимчив; он рано был посвящен во все науки и этим также отличается от большинства композиторов, блистательное невежество которых до известной степени извинительно, так как чаще всего им не хватало ни средств, ни времени, чтобы приобрести значительные познания вне своего искусства. Полученное знание стало у Мейербера второй натурой, и школа света дала ему высшее развитие; он принадлежит к тому ничтожно малому числу пемцев, которых даже Франция должна была признать образцом светскости. Эта высота образования была, пожалуй, необходима для того, чтобы собрать воедино и с полной сознательностью обработать материал, связанный с созданием «Гугенотов». Но не пошла ли в ущерб другим особенностям эта широта концепции и ясность взгляда — вот вопрос. Образование уничтожает в художнике ту острую выразительность, ту резкую окраску, ту самобытность мыслей, ту непосредственность чувств,

которой мы так восхищаемся в грубо ограниченных, необразованных натурах.

Вообще, образование достается все более дорогой ценой, и маленькая Бланка, восьмилетняя дочка Мейербера, права. Она завидует праздности маленьких мальчиков и девочек, играющих на улице, и выразилась недавно так: «Какое несчастье, что у меня образованные родители! Я с утра до вечера должна учить наизусть всевозможные вещи, и смирно сидеть, и быть умной, а необразованные дети бегают там целый день по улице и могут забавляться вволю!»

ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ

Если не считать Мейербера, то в Académie royale de musique¹ почти нет композиторов, о которых стоило бы говорить обстоятельно. И все же французская опера сейчас — в полном расцвете, или, чтобы правильнее выразиться, она каждый день делает прекрасные сборы. Это процветание началось шесть лет тому назад благодаря руководству знаменитого г-на Верона, принципы которого с таким же успехом применялись после него новым директором, г-ном Дюпоншелем. Говорю: «принципы», ибо действительно у г-на Верона были принципы, результаты его размышлений в области искусства и науки, и подобно тому как, будучи аптекарем, он изобрел превосходную микстуру от кашля, так в качестве директора оперы он изобрел средство от музыки. Ведь он по себе заметил, что представление у Фракони доставляет ему большее удовольствие, нежели самая лучшая опера; он убедился в том, что и большую часть публики одушевляют такие же чувства, что большинство людей из приличия ходят в Большую Оперу и тешатся только тогда, когда красивые декорации, костюмы и танцы настолько приковывают к себе их внимание, что они совершенно перестают слышать несносную музыку. Этим путем великий Верон напал на гениальную мысль — так постараться угодить этой жажде зрелищ, чтобы музыка больше никому не мешала,

¹ Королевской музыкальной академии (*франц.*). (См. комментарий.)

чтобы в Большой Опере люди испытывали такое же удовольствие, как у Франкони. Великий Верон и широкая публика поняли друг друга: он сумел обезвредить музыку и под названием «опера» стал давать только пышные зрелищные спектакли; а публика смогла с дочерьми и супругами ходить в Большую Оперу, как подобает образованному сословию, не умирая при этом от скуки. Америка была открыта, яйцо поставлено на острый конец, театр оперы стал наполняться каждый день, Франкони был побежден и обанкротился, а г-н Верон с тех пор — богатый человек. Имя Верона вечно будет жить в летописях музыки; он украсил храм богини, но ее самое выгнал за дверь. Ни с чем не сравнится роскошь, воцарившаяся в Большой Опере, и место это стало теперь раем тугоухих.

Нынешний директор следует принципам своего предшественника, хотя их личности составляют самый забавный и резкий контраст. Видели ли вы когда-нибудь г-на Верона? В «Café de Paris»¹ или на Кобленцском бульваре вам, наверно, иногда бросалась в глаза эта жирная, карикатурная фигура, с криво нахлобученной шляпой, с головой, совершенно утопающей в огромном белом галстуке и воротничке, который поднимается до самых ушей, так что едва-едва заметно красное жизнерадостное лицо с маленькими поблескивающими глазками. Уверенный в своем знании света и в своей удаче, он выступает так безмятежно, так нагло безмятежно, окруженный придворным штатом молодых, а порой и пожилых литературных денди, которых он обычно угощает шампанским или красивыми фигурантками. Он бог материализма, и когда я встречался с ним, мне мучительно врезался в сердце его взгляд, издевающийся над духом.

Г-н Дюпоншель — худощавый бледно-желтый человек, если не аристократической, то все же благородной внешности, всегда печальный, с похоронным лицом, и кто-то совершенно верно назвал его: *un deuil perpétuel*.² По наружности его скорее можно было бы принять за сторожа с кладбища Пер-Лашез, чем за директора Боль-

¹ «Парижском кафе» (франц.).

² Вечный траур (франц.).

шой Оперы. Он всегда напоминает мне меланхолического придворного шута Людовика XIII. Теперь этот рыцарь печального образа — maître de plaisir¹ парижан, и мне иногда хочется подсмотреть, как он, сидя один у себя дома, обдумывает новые забавы, которыми должен тешить своего самодержца — парижскую публику, как он тоскливо-глуповато покачивает головой и хватается за красную книгу, чтобы справиться, когда Тальони...

Вы с удивлением смотрите на меня? Да, это курьезная книга, значение которой очень трудно было бы раскрыть подобающими словами. Я могу объяснить здесь лишь путем аналогий. Вы знаете, что такое насморк у певицы? Я слышу ваш вздох, и вот вы вспоминаете годы своего мученичества: кончена последняя репетиция, опера уже объявлена на вечер, и вдруг приходит примадонна и сообщает, что не может петь, что у нее насморк. Ничего тут не поделаешь, взгляд возводится к небу, безмерно скорбный взгляд! И вот печатается новая афиша, в которой почтенной публике сообщается, что по нездоровью фрейлейн Шнапс представление «Весталки» не сможет состояться и вместо нее будет дан «Рохус Пумперникель». Для танцовщиц не имело смысла говорить, что они больны насморком, ведь он не мешал им танцевать, и долгое время они завидовали простудному изобретению певиц, благодаря которому те в любой момент могут устроить себе маленький отдых, а своему врагу, директору театра, немалую неприятность. Поэтому они стали просить у господ бога такого же мучительного права, и он, любитель балета, как и все монархи, наделил их недомоганием, которое, будучи безобидно само по себе, все же мешает им делать публично пируэты и которое мы, по аналогии с thé dansant,² называли бы танцевальным насморком. Теперь, когда танцовщица не желает являться на сцену, у нее есть такая же неопровержимая отговорка, как и у лучшей певицы. Прежний директор Большой Оперы часто посылал себя ко всем чертям, если надо было давать «Сильфиду», а Тальони сообщала ему, что сегодня не может надеть крылья и трико, ибо у нее танцевальный

¹ Распорядитель на празднествах (франц.).

² Танцами с чаепитием (буквально: «танцевальным чаем» (франц.).

насморк... Великий Верон благодаря своему глубокомыслию открыл, что танцевальный насморк от певучего насморка отличается известной регулярностью и что появление его каждый раз можно рассчитать заранее: ибо господь бог, любя порядок, дал танцовщицам недомогание, связанное с законами астрономии, физики, гидравлики, словом, всего мироздания и, следовательно, поддающееся расчету; насморк же певиц, напротив, есть частное изобретение, изобретение женского каприза и, следовательно, расчету не поддается. В этом факте вычислимости периодического повторения танцевального насморка великий Верон стал искать средства, чтобы устранить гнет танцовщиц, и каждый раз, когда одна из них заболела этим насморком, дата этого события точно отмечалась в особой книге, и это-то и есть та красная книга, которую только что держал в руках г-н Дюпоншель и по которой он мог рассчитать, в какой день Тальони... Эта книга, характеризующая изобретательность ума, да и самый ум прежнего директора оперы, г-на Верона, конечно представляет практическую пользу.

По предыдущим заметкам вы могли составить себе понятие о теперешнем значении французской Большой Оперы. Она помирилась с врагами музыки, и в Académie royale de musique, так же как и в Тюильри, проникло зажиточное буржуазное сословие, а высшее общество оставило поле сражения. Изящная аристократия, эти избранные, которых отличают их положение, образование, рождение, светскость и праздность, бежали в Итальянскую оперу, в этот музыкальный оазис, где все еще заливаются трелями великие соловьи искусства, где все еще журчат волшебные родники мелодии и пальмы красоты одобрительно машут гордыми опахалами, а кругом — бледная песчаная пустыня, музыкальная Сахара. Лишь отдельные хорошие концерты всплывают еще порой в этой пустыне и доставляют любителям музыки исключительное наслаждение. Таковы были нынешней зимой воскресные концерты в Консерватории, несколько частных концертов на Rue de Bondy¹ и особенно концерты Берлиоза и Листа. Два последних, конечно, самые замечательные события здешнего музыкального мира, подчер-

¹ Улице Бонди (франц.).

киваю — самые замечательные, но не самые прекрасные, не самые отрадные. Скоро мы услышим оперу Берлиоза. Сюжет ее — один из эпизодов жизни Бенвенуто Челлини, отливка статуи Персея. Ждут чего-то исключительного, так как этот композитор уже создал произведения исключительные. Направление его ума — фантастика, связанная не с чувством, а с сентиментальностью; в нем большое сходство с Калло, Гоцци и Гофманом. Уже внешний его облик указывает на это. Жаль, что он остриг свою огромную допотопную шевелюру, эти взъерошенные волосы, подымавшиеся над его лбом, точно лес над крутым утесом; таким я увидел его в первый раз шесть лет тому назад, и таким он навсегда останется в моей памяти. Это было в Conservatoire de musique,¹ и исполнялась там большая симфония его сочинения, причудливая ночная картина, лишь время от времени освещаемая сентиментально-белым женским платьем, которое то тут, то там мелькает в ней, или серно-желтой молнией иронии. Лучшее в ней — шабаш ведьм, где черт служит обедню и католическая церковная музыка пародируется с самым зловецим, самым кровавым шутовством. Это фарс, от которого с радостным шипением выползают все тайные змеи, носимые нами в сердце. Мой сосед по ложе, словоохотливый молодой человек, показал мне композитора, находившегося в противоположном конце зала, в глубине оркестра, и ударявшего в литавры. Ведь литавры — его инструмент. «Видите в ложе у авансцены, — сказал мне сосед, — эту толстую англичанку? Это мисс Смитсон; господин Берлиоз уже три года смертельно влюблен в эту даму, и этой страсти мы обязаны дикой симфонией, которую вы сегодня слушаете». Действительно, в ложе у авансцены сидела знаменитая актриса Ковент-Гардена. Берлиоз не сводил с нее глаз, и всякий раз, как его взгляд встречался с ее взглядом, он словно в ярости ударял в свои литавры. Мисс Смитсон стала с тех пор мадам Берлиоз, да и супруг ее с тех пор остригся. Когда этой зимой я снова слушал в Консерватории его симфонию, он снова сидел в глубине оркестра за литаврами, толстая англичанка снова сидела в ложе у авансцены, их взгляды встречались снова... Но он уже не так яростно ударял в литавры.

¹ Музыкальной консерватории (франц.).

Лист — ближайший духовный родственник Берлиоза и лучше всех исполняет его музыку. Я могу не писать вам о его таланте: слава его — европейская. Бесспорно, что в Париже этот артист находит безусловнейших энтузиастов, но также и ревностнейших противников. Знаменательно, что равнодушно о нем никто не говорит. Без политического содержания в этом мире нельзя разбудить ни дружественных, ни враждебных страстей. Нужен огонь, чтобы воспламенять людей, будь то ненависть или любовь. Что убедительнее всего говорит в пользу Листа, это полное уважение, с которым даже противники признают его личные достоинства. Он человек с характером взбалмошным, но благородным, бескорыстен и чужд фальши. Крайне замечательно направление его ума: у него большие философские задатки, и еще больше, чем интерессы его искусства, его привлекают исследования различных школ, занятых разрешением великих, небо и землю охватывающих вопросов. Долгое время он страстно сочувствовал прекрасному сен-симонистскому мировоззрению, потом его затуманивали спиритуалистические, или, вернее, вапористические мысли Балланша, теперь он восторгается республиканско-католическим учением Ламенне, посадившего на крест якобинский колпак... Бог знает, в каком умственном стойле найдет он своего очередного конька. Но все же достойно похвалы это неустанное стремление к свету и божеству — оно свидетельствует о понимании святого, религиозного. Что такая беспокойная голова, в которой нужды и доктрины нашего времени вечно создают сумбур, которая чувствует потребность заботиться обо всех потребностях человечества и рада совать нос во все горшки, где господь бог варит будущее, что Франц Лист не может быть спокойным пианистом для мирных граждан и уютных ночных колпаков, — это понятно само собой. Когда он садится за фортепьяно и, несколько раз проведя рукой по волосам, начинает импровизировать, то нередко слишком уж неистово обрушивается на клавиши из слоновой кости, и тогда начинает звучать пустыня небесно-возвышенных мыслей, среди которых то тут, то там сладостнейшие цветы распространяют свое благоухание, так что в одно и то же время ощущаешь и тревогу и блаженство, но все же тревога при этом сильнее.

Признаюсь вам: как ни люблю я Листа, все же его музыка не всегда приятно действует на меня, тем более что я — особый счастливец и мне зримы те привидения, которых другие люди только слышат, ибо, как вам известно, при каждом звуке, который рука создает на рояле, в моем сознании вырастает соответствующий звуковой образ; словом, музыка становится для меня зримой. До сих пор еще мой разум трепещет при воспоминании о концерте, в котором я в последний раз слушал Листа. То был концерт в пользу несчастных итальянцев, в доме прекрасной, благородной мученицы-княгини, которая служит такой восхитительной представительницей своей телесной и своей духовной отчизны — Италии (вы, наверное, видели ее в Париже, видели этот идеальный образ, являющийся, однако, лишь теницей, в которую заключена святейшая ангельская душа... Но эта теница так прекрасна, что каждый, будто околдованный, останавливается перед ней и в изумлении на нее глядит)... То был концерт в пользу несчастных итальянцев, где истекшей зимой в последний раз я слушал игру Листа. Я не помню уже, что он играл, но готов поклясться—это были вариации на некоторые темы из «Апокалипсиса». Сперва я не мог отчетливо различить их, этих четырех мистических зверей, я слышал только их голоса, особенно рыкание льва и клекот орла. Быка с книгой в руке я видел совершенно ясно. Лучшее всего сыграл он долицу Иосафата. Была здесь арена, как на турнире, а зрители, теснившиеся вокруг огромного пространства, были воскресшие народы, могильно бледные и трепещущие. Сперва на арену проскакал Сатана в черном панцире, на млечно-белом копе. Вслед за ним медленно ехала Смерть на чалой лошади. Наконец появился Христос в золотых латах, и святым своим копьём он сперва поверг Сатану, затем Смерть, и зрители возликовали... Бурные аплодисменты были ответом на игру нашего славного Листа, который устало поднялся из-за рояля и раскланялся перед дамами... На губах прекраснейшей среди них мелькала та меланхолически-сладостная улыбка...

Было бы несправедливо, если бы я не упомянул здесь о пианисте, который после Листа пользуется наибольшей славой. Это Шопен, который не только блистает техническим совершенством как виртуоз, но создает величайшие

произведения как композитор. Это человек первостепенный. Шопен — любимец тех избранных, которые в музыке ищут высочайших умственных наслаждений. Слава его — аристократического характера: она благоухает от похвал хорошего общества, она аристократична, как и самая его личность.

Шопен родился в Польше от французских родителей и одно время воспитывался в Германии. Эти влияния трех национальностей делают из его личности явление в высшей степени замечательное; ведь он усвоил лучшее, что отличает эти три народа: Польша дала ему свой рыцарственный характер и свою историческую скорбь, Франция дала ему свою легкую прелесть, свою грацию, Германия дала ему свое романтическое глубокомыслие... А природа ему дала изящную, стройную, слегка болезненную фигуру, благороднейшее сердце и гений. Да, Шопена следует признать гением в полном значении этого слова; он не только виртуоз, он также и поэт, он может сделать для нас зримой ту поэзию, что живет в его душе, он композитор, и ничто не сравнится с наслаждением, которое он дарит нам, когда садится за рояль и импровизирует. Тогда он ни поляк, ни француз, ни немец, в нем сказывается тогда происхождение гораздо более высокое, тогда замечаешь, что он родом из страны Моцарта, Рафаэля, Гете, что его истинная родина — волшебное царство поэзии. Когда он сидит за роялем и импровизирует, мне чудится, будто меня навестил земляк из любимой отчизны и рассказывает мне забавнейшие истории, случившиеся там в мое отсутствие. Порой мне хочется перебить его вопросами: а как поживает прекрасная русалка, которая так кокетливо умела повязывать серебряной вуалью свои зеленые кудри? Преследует ли ее по-прежнему своей дурацкой тухлой любовью белобородый морской бог? По-прежнему ли розы у нас так пламенно горды? Все по-прежнему ли прекрасен напев наших деревьев в лучших лучах?..

Ах, я уже давно живу на чужбине, и временами мне кажется, что я с моей сказочной тоской — нечто вроде Летучего Голландца и его спутников, которых вечно качают холодные волны и которые тщетно томятся по тихим набережным, тюльпанам, разным шу frow,¹ глиция-

¹ Дамам (голл.).

ным трубкам и фарфоровым чашкам Голландии... «Амстердам! Амстердам! Когда вернемся мы в Амстердам?» — вздыхают они среди бури, а ревущие вихри то и дело швыряют их во все стороны по проклятым волнам их водяного ада. Мне понятна боль, с которой капитан заколдованного корабля однажды сказал: «Если когда-нибудь я вернусь в Амстердам, то скорее превращусь там в камень на углу улицы, чем снова уеду из города!» Бедный ван дер Декен!

Надеюсь, любезный друг, что письма эти застанут вас здоровым и веселым, в румянном цвете жизни и что со мной не случится того, что случилось с Летучим Голландцем, чьи письма бывали обычно адресованы лицам, которые давно успели умереть за время его отсутствия на родине!

**ДЕВУШКИ
И ЖЕНЩИНЫ
ШЕКСИРА**



Я знаю в Гамбурге доброго христианина, который никак не мог примириться с тем, что наш господь и спаситель был по происхождению еврей. Глубокое негодование овладевало им всякий раз, когда он представлял себе, что человек, заслуживающий величайшего поклонения, образец совершенства, принадлежит тем не менее к племени тех долгоносых, которые торгуют на улицах всяким старьем, которых он столь основательно презирает и которые кажутся ему еще отвратительнее, когда они вдобавок, подобно ему самому, принимаются за оптовую торговлю пряностями и москательным товаром, нанося ущерб его собственным интересам.

С Вильямом Шекспиром у меня дело обстоит точь-в-точь так же, как с Иисусом Христом у этого доброго сына Гаммонии. Мне становится тошно, когда я вспоминаю, что он в конце концов все-таки англичанин и принадлежит к самому противному народу, какой только господь создал во гневе своем.

Что за противный народ, что за унылая страна! Какие они вылощенные, накрахмаленные, какие пресные, какие эгоистичные, какие узкие, какие английские! Страна, которую давным-давно поглотил бы океан, если бы не боялся, что это причинит ему расстройство желудка... Народ, серое, зевающее чудовище, дыхание которого насквозь пропитано удушающим газом и смертельной скукой и который наверное повесится в конце концов на колоссальном корабельном канате...

И вот в такой-то стране и среди такого-то народа в апреле 1564 года увидел свет Вильям Шекспир.

Но Англия тех дней, — где в северном Вифлееме, именуемом Стрэтфорд-на-Эйвоне, родился человек, которому мы обязаны светским евангелием, как мы называли бы шекспировские драмы, — Англия тех дней, наверное, сильно отличалась от нынешней, и называли-то ее merry England,¹ и она цвела в сиянии красок, в веселии маскарадов, в глубокомысленных дурачествах, в кипучей жажде деятельности, в преизбытке страстей... Жизнь в ней была еще пестрым турниром, во время которого главную роль хотя и играли в шутку и всерьез рыцари благородного происхождения, но звонкие трубные звуки потрясали также сердца обыкновенных граждан... А вместо густого пива там пили легкомысленное вино, демократический напиток, уравнивающий во хмелю тех самых людей, которые на трезвой сцене действительности минуту тому назад различались по рангу и происхождению...

Все это многокрасочное веселье с тех пор поблекло, радостные трубные звуки умолкли, прекрасное опьянение угасло. И книга, именуемая драматическими произведениями Вильяма Шекспира, осталась в руках народных — утешением в трудные времена и свидетельством того, что та merry England действительно существовала.

Счастье, что Шекспир родился как раз вовремя, что он был современником Елизаветы и Иакова, когда протестантизм хотя уже и проявился в своем необузданном свободомыслии, но не повлиял ни на быт, ни на характер чувствований и когда, озаренная последними лучами заходящего рыцарства, королевская власть еще цвела и сияла во всем блеске поэзии. Да, средневековые народные верования католицизма были уже разрушены в теории; но в человеческой душе они еще жили во всей полноте своего очарования и сохранялись еще в нравах, обычаях и воззрениях. Только позже пуританам удалось основательно, цветок за цветком, вырвать с корнями религию прошлого и окутать всю страну, точно серым пологом тумана, угрюмой тоской, которая с тех пор, становясь все бездушнее и бессильнее, опошляясь все болес, превратилась в тепловатый, слезливый, расплывчато-сопливый цинтизм.

¹ Веселой Англией (англ.).

Королевская власть в Англии, подобно религии, тоже еще не претерпела во времена Шекспира тех изменений, не приняла тех бессильных форм, которые нынче господствуют там под названием конституционной формы правления, правда с пользой для европейской свободы, но, во всяком случае, не на благо искусства. Вся поэзия вытекла из артерий Англии вместе с кровью Карла Первого, великого, подлинного последнего короля; и трижды счастлив был поэт, что ему не пришлось в качестве современника переживать это скорбное событие, которое он, быть может, предчувствовал в душе. Шекспира часто называли в наши дни аристократом. Я отнюдь не стану возражать против этого обвинения и, напротив, готов оправдать его политические склонности, когда подумаю о том, что вещью око поэта провидело по знаменательным приметам то нивелирующее пуританское время, которому суждено было положить конец не только королевской власти, но и всякой жизнерадостности, всякой поэзии, всякому светлостому искусству.

Да, во времена господства пуритан искусство в Англии очутилось в опале; особенно свирепствовал евангелический фанатизм против театра, и даже самое имя Шекспира на долгие годы заглохло в народной памяти. С изумлением читаешь ныне в листках того времени, как, например, в «*Histrionomastix*» пресловутого Принна, злобные выпады, каркающие анафему злополучному театральному искусству. Следует ли нам слишком серьезно негодовать на пуритан за подобный фанатизм? Понистите, нет: в истории прав всякий, кто сохраняет верность своим внутренним принципам, и эти мрачные и упрямые тупицы только подчинялись велениям того враждебного искусству духа, который проявлялся уже в первые века существования церкви и который проявляется в виде более или менее рьяного иконоборчества вплоть до сегодняшнего дня. Это старое, непримиримое отвращение к театру — не что иное, как одна из сторон господствующей уже восемнадцать столетий вражды между двумя совершенно несхожими мировоззрениями, одно из которых выросло на чахлой почве Иудеи, другое же — в цветущей Греции. Да, уже восемнадцать столетий длится вражда между Иерусалимом и Афинами, между гробом господним и колыбелью искусства, между жизнью в духе и духом жизни;

и разногласия и открытая или тайная борьба, возникающие при этом, раскрываются в истории человечества перед посвященным читателем. Когда, как мы об этом читаем в современной газете, архиепископ парижский отказывается хоронить бедного умершего актера по надлежащему обряду, в основе такого поведения лежит вовсе не самодурство представителя церкви, и только близорукий увидит здесь узость мысли и злонамеренность. Здесь прежде всего сказывается старый фанатизм, борьба не на живот, а на смерть против искусства, которым эллинский дух часто пользовался как трибуной, чтобы с высоты ее проповедовать жизнь наперекор мертвящему иудаизму; церковь в лице актеров преследовала орудия эллинизма, и такого рода преследования были направлены нередко и против поэтов, которые вели свое вдохновение от Аполлона и предоставляли в царстве поэзии убежище осужденным на изгнание языческим богам. Или, может быть, здесь играет роль мстительность? В течение двух первых веков актеры были злейшими врагами преследуемой церкви, и в «Acta Sanctorum»¹ часто рассказывается о том, как эти нечестивые гистрионы занимались в римских театрах тем, что, на потеху языческой черни, пародировали обычаи и таинства назареев. Или это была взаимная зависть, породившая такую жестокую рознь между служителями духовного и светского слова?

Республиканский фанатизм наряду с аскетически-религиозным усердием воодушевлял пуритан в их ненависти к староанглийскому театру, в котором прославлялись не только язычество и языческое мировоззрение, но и монархизм и дворянские роды. В другом месте я показал, как много сходства в этом отношении между тогдашними пуританами и нынешними республиканцами.

Пусть Аполлон и вечные музы сохраняют нас от господства последних!

В водовороте вышеуказанных церковных и политических потрясений имя Шекспира затерялось на долгие времена, и прошло почти целое столетие, прежде чем он снова вернул себе славу и честь. Но с тех пор значение его возрастало день ото дня, и он превратился в некое духовное солнце той страны, которая почти двенадцать

¹ «Деяниях святых» (лат.). (См. комментарий.)

месяцев в году принуждена обходиться без настоящего солнца, превратился в солнце для этого отвергнутого боим острова, для этого Ботани-Бей, только без южного климата, для этой законченной камешугольным дымом, жужжащей машиннами, богомольной и безрадостнопьяной Англии! Милосердная природа никогда до конца не обездоливает своих созданий, и, лишив англичан всего, что прекрасно и мило, не наделив их голосом, чтобы петь, чувствами, чтобы наслаждаться, и снабдив их вместо человеческой души разве только кожаными мехами для портера, — она взамен всего уделила им большой ломоть гражданской свободы, талант комфортабельно устраивать домашний быт и Вильяма Шекспира.

Да, он духовное солнце, которое заливает эту страну своим прекраснейшим светом, своими благодатными лучами. Все в ней напоминает нам о Шекспире, и какими просветленными благодаря этому представляются нам самые обыкновенные предметы. Отовсюду в ней доносится к нам шелест крыльев его гения, из каждого значительного явления на нас глядит его светлый взор, а когда происходят великие события, порой кажется, что он кивает нам головой, тихо кивает головой и тихо улыбается.

Это непрерывное, прямое или косвенное, напоминание о Шекспире стало мне чрезвычайно понятным в Лондоне, когда я, любопытствующий путешественник, гонялся с утра до вечера за так называемыми достопримечательностями. Каждый Lion ¹ приводил на память более замечательного Lion — Шекспира. Все те места, которые я посетил, живут неумирающей жизнью в его исторических драмах, и именно поэтому я их знал с самых ранних юношеских лет. В той стране эти драмы знает не только образованный человек, но любой человек из народа, и даже тот толстый beefeater ² в красном мундире, с красной физиономией, что служит проводником в Тауэре, показывая вам подземелье у центральных ворот, где Ричард приказал умертвить юных принцев, своих племянников, он отсылает вас к Шекспиру, в подробностях описавшему эту страшную историю. И пономарь, который водит вас по Вестминстерскому аббатству, также все время поминает

¹ Лев (англ.). (См. комментарий.).

² Лейб-гвардеец (англ.).

Шекспира, в трагедиях которого играли такую бурную или жалкую роль эти усопшие короли и королевы, простертые в виде каменных изваяний на своих саркофагах и предъявляемые публике за один шиллинг шесть пенсов. И сам он стоит тут же, великий поэт, изваянный в натуральный свой рост, благородный образ, с челом, проникнутым мыслью. В руках у него пергаментный свиток... Быть может, там начертаны волшебные слова, и когда он в полночь шевелит белыми губами и заклинает лежащих в гробах мертвецов, они, рыцари Белой и Алой розы, встают в своих ржавых латах и старомодных придворных нарядах, и дамы тоже подымаются, вздыхая, со своего смертного ложа, и слышится звон мечей, смех и проклятия... Совсем так, как в Дрюри-Лейн, где я так часто видел представления исторических драм Шекспира и где Кин с такой могучей силой взволновал мою душу, когда он в отчаянии метнулся через сцену:

«A horse, a horse, my kingdom for a horse!»¹

Мне пришлось бы списать весь «Guide of London»,² если бы я захотел привести все места, которые вызывали в моей памяти Шекспира. Сильнее всего это было в парламенте, и не столько потому, что он помещается в том самом Вестминстерском дворце, о котором так часто говорится в шекспировских драмах, сколько потому, что, когда я присутствовал на происходивших там дебатах, там не раз поминали самого Шекспира и цитировали его стихи, правда в силу их исторической, а не поэтической значимости. С удивлением заметил я, что Шекспира в Англии почитают не только как поэта, — высшей государственной властью, парламентом он признан в качестве историка.

Это приводит меня к мысли, что несправедливо к историческим драмам Шекспира предъявлять только такие требования, какие может удовлетворить драматург, считающий высшей своей целью лишь поэзию и ее художественное выражение. В задачу Шекспира входила не только поэзия, но и история; он не мог перекраивать по произволу данную ему ткань, он не мог по своему капризу преобразовывать события и характеры; и, подобно тому

¹ Коня, коня! Венец мой за коня! (англ.). (См. комментарий.)

² «Путеводитель по Лондону» (англ.).

как он не мог сохранять единство времени и места, он не сохранял и единства действия, сосредоточенного на отдельной личности или на отдельном явлении. Тем не менее в этих исторических драмах поэзия струится более обильным, сладостным и могучим потоком, чем в трагедиях иных поэтов, которые либо сами изобретают сюжеты, либо перерабатывают их по крайнему своему разумению, достигая самой строгой гармонии форм и превосходя бедного Шекспира в том, что является искусством как таковым, — в *enchaînement des scènes*.¹

Да, это так, великий британец не только поэт, но и историк, он владеет не только кинжалом Мельпомены, но и более острым резцом Клио. В этом отношении он подобен древнейшим историкам, которые также не знали разницы между поэзией и историей и не только давали перечень событий, пыльный гербарий фактов, но прославляли правду пенным и в пенном позволяли звучать одному только голосу правды. Так называемая объективность, о которой нынче так много говорят, — всего-навсего сухая ложь; невозможно изображать минувшее, не сообщая ему окраску наших собственных чувствований. Да, поскольку так называемый объективный историк обращает свое слово к современности, он произвольно пишет в духе собственного времени, и этот дух времени неизбежно проявится в его писаниях, подобно тому как в письмах сказывается не только характер писавшего их, но и характер адресата. Эта так называемая объективность, которая царит на голгофе фактов и кичится своим бесстрастием, уже потому должна быть отвергнута как ложь, что для исторической правды необходимо не только точное обозначение факта, но известные данные о впечатлении, которое этот факт произвел на современников. Но сообщение этих данных является труднейшей задачей, ибо для этого требуется не только простое знание документов, но и созерцательная способность поэта, которому доступны, как говорит Шекспир, «сущность и плоть прошедших времен».

И его видению были доступны не только исторические события родной страны, но также и те, весть о которых донесли до нас аиналы древности, как мы это с удивлением

¹ Последовательности действия (*франц.*),

замечаем в его драмах, в которых он вернейшими красками изображает прошлую жизнь Рима. Он заглянул в самое нутро героев античного мира, как заглядывал в рыцарские образы средневековья, и заставил их выразить в словах глубочайшие переживания души. И он всегда умел поднять правду до поэзии, и даже бездушных римлян, этот суровый, трезвый, прозаический народ, эту помесь грубого хищничества и тонкого адвокатского ума, эту казуистическую солдатчину, он умел преобразить поэтически.

Однако и по отношению к римским драмам Шекспиру опять-таки приходится выслушать упрек в бесформенности, и даже такой высокоодаренный писатель, как Дитрих Граббе, назвал их «поэтически разукрашенными хрониками», в которых нет основного центра, в которых не разберешь, кто главное действующее лицо, а кто второстепенное, и в которых, даже если отказаться от единства места и времени, нельзя заметить и признака единства действия. Странная ошибка проникательнейших критиков! Наш великий поэт сохраняет не только последнее из названных единств, но не обходится и без единства места и времени. Только понятия эти у него несколько шире, чем у нас. Поле действия его драм — весь земной шар, и это и есть его единство места; период, во время которого разыгрываются его пьесы, — вечность, и таково его единство времени; и обоим соответствует герой его драм, который является их блистательным центром и представляет единство действия... Этот герой — человечество, герой, который непрестанно умирает и непрестанно возрождается, непрестанно любит, непрестанно ненавидит, но все же любит больше, чем ненавидит, — сегодня пресмыкается, как червь, завтра орлом взлетает к солнцу, сегодня удостоивается дурацкого колпака, завтра — лаврового венка, еще чаще — и того и другого одновременно, — великий карлик, маленький великан, гомеопатически изготовленное божество, в котором, хотя и в весьма разжиженном виде, все же присутствует божественное начало, — ах, не будем из скромности и стыдливости слишком много распространяться о героизме этого героя.

Ту же верность и правдивость, которую Шекспир проявил по отношению к истории, мы находим у него и по

отношению к природе. Принято говорить, будто он отражает природу в зеркале. Это выражение достойно порицания, ибо оно ложно передает отношение поэта к природе. В душе поэта отражается не природа, а ее образ, который, оставаясь вполне точным, как отражение в зеркале, все же кровно связан с душой поэта; поэт как бы приносит в мир свой собственный мир, и, когда, пробудившись от дремотного детства, он приходит к самопознанию, — ему сразу же становится понятной каждая частица внешнего мира явлений во всей ее взаимосвязи с целым; но так как он носит в своем сознании образ и подобие целого, он знает основные причины всех явлений, которые кажутся загадочными заурядному сознанию и методами обычного изучения постигаются лишь с трудом или не постигаются вовсе... И как математик по малейшему отрезку окружности тотчас же определит всю окружность и ее центр, так же и поэту, — стоит только внести извне в его сознание малейший обрывок мира явлений, — тотчас же откроется связь этого явления с целым. Он одинаково охватывает орбиты и центры вращения всех вещей; он постигает вещи в широчайшем объеме и глубочайшем средоточии.

Но обрывок мира явлений должен быть дан поэту всегда извне, прежде нежели в нем совершится этот удивительный процесс восстановления целостности мира; это восприятие обрывка мира явлений происходит при посредстве органов чувств и является чем-то вроде внешнего толчка, обуславливающего внутреннее откровение, которому мы обязаны произведениями поэта. Чем значительнее эти произведения, тем интересней нам знать внешние события, послужившие первоначальным поводом к их созданию. Мы охотно разыскиваем материалы о подлинных житейских отношениях поэта. Это любопытство тем нелепее, что, как явствует из вышесказанного, значительность внешних событий ни в какой степени не соответствует значительности порожденных ими творений. Эти события могут быть очень мелкими и ничтожными, и такими они обыкновенно и бывают, как вообще очень мелка и обычно ничтожна внешняя жизнь поэтов. Я говорю: «ничтожна и мелка», потому что мне не хочется употреблять более оскорбительные выражения. Поэты являются перед миром в блеске своих произведений, они

ослепляют своими лучами, и больше всего тогда, когда на них смотришь издали. Не станем же вблизи наблюдать их жизнь. Они точно те милые огоньки, которые так чудесно блистают среди трав и листвы в летний вечер, — можно подумать, что это земные звезды... можно подумать, что это алмазы и смарагды, что это драгоценные украшения, которые развесили в кустах королевские дети, играя в саду, и позабыли там; можно подумать — это пылающие брызги солнца, которые затерялись в высокой траве и радостно сверкают, наслаждаясь прохладой ночи, пока не наступит утро и пока пламенное багровое светило не впитает их снова в себя... Ах, не ищи среди бела дня признаков тех звезд, тех драгоценных камней, тех солнечных брызг! Вместо них ты увидишь жалкого бесцветного червячка, беспомощно извивающегося у дороги, противного на вид, — но все-таки из странного сострадания ты не захочешь раздавить его ногой.

Какова была личная жизнь Шекспира? Несмотря на все изыскания, не удалось почти ничего раскрыть на этот счет, — и это счастье. Только всевозможные бездоказательные пошлые легенды о юности и жизни поэта передавались из поколения в поколение. Говорили, будто ему приходилось резать быков у отца, который был мясником... Быть может, эти быки были предками тех английских комментаторов, которые, вероятно по запоздалой злобе, находили у него повсюду невежество и нарушение законов искусства. Говорили еще, будто он сделался торговцем шерстью и ему не повезло в делах... Бедняга! Он думал, что, занявшись торговлей шерстью, он сам будет ходить в бархате. Я решительно ничему не верю в этой истории; много крику, но мало толку. Я более склонен поверить тому, что наш поэт действительно стал браконьером и из-за теленка оленя попал в судебную передрагу, за что я его никак не могу осудить. «И честный однажды теленка украл», — говорит немецкая пословица. Затем он будто бы бежал в Лондон и там за чаевые стерег лошадей знатных господ у входа в театр. Таковы, приблизительно, сплетни, которые рассказывали друг другу старые бабы в истории литературы.

Достоверными свидетельствами о жизни Шекспира являются его сонеты, которых я, однако, не хотел бы касаться и которые, как раз в силу отраженной в них

глубокой человеческой слабости, привели меня к вышеизложенным размышлениям о личной жизни поэта.

Отсутствие более точных данных о жизни Шекспира легко объяснимо, если представить себе те политические и религиозные бури, которые разразились после его смерти и привели на некоторое время к полнейшему господству пуританизма, а позже и к другим неприятным последствиям, и не только похоронили золотой елизаветинский век английской литературы, но, более того, — предали его полному забвению. Когда в начале прошлого столетия произведения Шекспира были снова извлечены на свет, то традиции, необходимые для толкования текста, оказались уже забытыми, и комментаторам пришлось искать спасения в критике, черпавшей свои основные доводы в плоском эмпиризме и в еще более жалком материализме. За исключением Вильяма Хэзлита, Англия не дала ни одного значительного комментатора Шекспира; всюду копанье в мелочах, самовлюбленная поверхностность, самомнение, прикрывающееся восторженностью, ученое чванство, готовое лопнуть от блаженства, когда ему удастся указать бедному поэту на какую-нибудь историческую, географическую или хронологическую погрешность и выразить при этом сожаление, что он, увы, не изучал древних по подлинникам, да и вообще обладал скудными школьными познаниями, — например, римляне у него носят шляпы, корабли пристают к берегам Богемии, и во времена Трои у него цитируется Аристотель. Этого уже не в силах был вынести английский ученый, получивший в Оксфорде степень *magister artium*.¹ Единственным комментатором Шекспира, которого я считаю исключением, который и в других отношениях может считаться единственным в своем роде, был покойный Хэзлит, ум столь же блестящий, сколь и глубокий, смесь Дидро и Берне, пламенный поклонник революции и вместе с тем человек, горячо преданный искусству, вечно сверкающий вдохновением и остроумием.

Немцы поняли Шекспира лучше англичан. И здесь снова следует раньше других назвать дорогое имя, которое мы встречаем повсюду, где у нас требовалась сильная инициатива. Готхольд-Эфраим Лессинг был первым, кто

¹ Магистра искусств (*лат.*).

поднял в Германии голос за Шекспира. Он принес самый крупный камень для храма в честь величайшего среди поэтов и, что еще более достойно хвалы, взял на себя труд очистить от старого мусора место, на котором предстояло возвести этот храм. В своем восторженном созидательном рвении он беспощадно разрушил широко раскинувшиеся на этом месте легкие французские балаганы. Готшед в таком отчаянии потрясал локонами своего парика, что весь Лейпциг содрогнулся, а щеки его жены побледнели от страха или, может быть, от пудры. Пожалуй, «Драматургия» Лессинга целиком написана ради Шекспира.

После Лессинга следует назвать Виланда. Своим переводом великого поэта он еще успешнее содействовал его признанию в Германии. Замечательно, что именно его, автора «Агатона» и «Музариона», шаловливого *cavalier servente*¹ граций, приверженца и подражателя французов, британская серьезность захватила вдруг с такой силой, что он поднял на щит героя, которому суждено было положить конец его собственному господству.

Третий великий голос, прозвучавший в Германии в защиту Шекспира, принадлежал нашему милому, дорогому Гердеру, который с безграничным воодушевлением стал на его сторону. И Гете тоже громкими фанфарами воздал ему хвалу; короче говоря, это был блестящий ряд королей, один за другим подавших свой голос за Вильяма Шекспира и избравших его императором литературы.

Этот император уже прочно сидел на своем троне, когда рыцарь Август-Вильгельм фон Шлегель и его оруженосец надворный советник Людвиг Тик также приложились к его руке и заверили весь мир, что только теперь навеки обеспечено его царство — тысячелетнее царство великого Вильяма.

Было бы несправедливо отрицать заслуги г-на А.-В. Шлегеля в деле перевода шекспировских драм, как и в чтении лекций о нем. Но, говоря правду, в последних слишком уж чувствуется отсутствие философского обоснования; слишком скользят они по поверхности в каком-то фривольном дилетантизме и слишком проступают наружу кое-какие некрасивые задние мысли, чтобы я мог высказаться о них с безусловною похвалой. Восхищение

¹ Прислуживающего рыцаря (*итал.*).

г-на А.-В. Шлегеля — всегда искусственный, сознательно лживый дурман или опьянение. И у него, как и у всей романтической школы, апофеоз Шекспира должен был косвенно послужить уничтожению Шиллера. Шлегелевский перевод, несомненно, до сих пор остается самым удачным и соответствует требованиям, какие можно предъявить к стихотворному переводу. Женственный характер его таланта оказался для переводчика как нельзя более кстати, и при его мастерстве, лишенном индивидуальности, он в состоянии любовно и вполне точно приравливаться к чужому творчеству.

Между тем, сознаюсь, несмотря на все эти добродетели, я иногда склонен отдать предпочтение перед шлегелевским старому переводу Эшенбурга, целиком сделанному в прозе, и вот что меня к этому побуждает.

Язык Шекспира — не его собственный язык, он передан ему предшественниками и современниками; это традиционный сценический язык, которым в то время приходилось пользоваться драматургу, независимо от того, считал ли он его соответствующим своему таланту или нет. Стоит лишь бегло перелистать «Collection of old plays»¹ Додслея, чтобы заметить, что во всех трагедиях и комедиях того времени господствует тот же стиль, те же эвфуизмы, та же преувеличенная манерность, неестественность в словообразовании, те же *concetti*,² то же острословие, те же вычурные извороты мысли, которые мы встречаем и у Шекспира и которые вызывали слепое восхищение ограниченных умов; проникательный же читатель если не осуждал их, то снисходительно прощал, как нечто внешнее, как требование времени, которое приходилось по необходимости выполнять. Только в тех местах, где гений Шекспира встает во весь свой рост, где звучат его величайшие откровения, там он отбрасывает также и этот традиционный театральный язык и предстает в прекрасной, благородной наготе, в простоте, которая соперничает с неприкрашенной природой и преисполняет нас сладчайшим трепетом. Да, в подобных местах Шекспир так же и в языке проявляет определенное своеобразие, которое, однако, не в силах точно передать переводчик-

¹ «Собрание старинных пьес» (англ.).

² Натянутые остроты (итал.).

стихотворец, плетущийся за мыслью Шекспира, по рукам и ногам связанный размером стиха. При стихотворном переводе эти необыкновенные места теряются в обычной колее театральной речи, и г-н Шлегель также не избежал этой участи. Но к чему же труд стихотворного перевода, если в нем пропадает как раз лучшее у поэта и только самое слабое поддается передаче? Вот поэтому-то прозаический перевод, легче воспроизводящий лишнюю пышности, скромную, естественную целомудренность некоторых мест, несомненно заслуживает предпочтения перед стихотворным.

Непосредственно вслед за Шлегелем известная заслуга в деле истолкования Шекспира принадлежит г-ну Л. Тику благодаря его «Драматургическим листам», которые появились четырнадцать лет тому назад в «Вечерней газете» и вызвали величайший интерес среди актеров и любителей театра. К сожалению, в этих «Листах» господствует безразлично-созерцательный, нудный, поучительный тон, в котором этот милый бездельник, как его называет Гуцков, упражняется с определенным тайным лукавством. Свои пробелы по части знания классических языков и даже философии он возмещает благопристойностью и серьезностью; так и кажется, будто видишь перед собою в кресле сэра Джона, произносящего надгробное слово принцу. Но вопреки непомерно раздутой доктринерской важности, которой маленький Людвиг пытается прикрыть свое филологическое и философское невежество, свою *ignorantia*,¹ в упомянутых «Листах» можно найти остроумнейшие замечания о характерах шекспировских героев, а кое-где мы встречаем даже проявления того дара поэтического восприятия, которым мы всегда восхищались и который с радостью признавали в прежних писаниях г-на Тика.

Ах, этот Тик! Он был когда-то поэтом и считался если не великим, то по меньшей мере одним из тех, которые стремились к великому, — как он с тех пор опустился! Как жалок тот вызубренный урок, который он нам теперь ежегодно спешит отбарабапить, по сравнению со свободными произведениями его музы прежних времен — времен сказочного мира, озаренного лунным сиянием! Насколько

¹ Невежественность (лат.).

он был нам мил прежде, настолько он противен теперь, этот бессильный завистник, оклеветавший в своих пасквильных новеллах вдохновенную скорбь немецкой молодежи! К нему применимы слова Шекспира: «Ничто не имеет такого отвратительного вкуса, как сладкое, когда оно испортится; ничто не имеет такого скверного запаха, как гнилая лилия».

Среди немецких комментаторов великого поэта нельзя не упомянуть покойного Франца Горна. Его толкования Шекспира, во всяком случае, полнее всех других и составляют пять томов. В них есть мысль, но такая бесцветная и водянистая, что она кажется еще безотраднее, чем самая тупая ограниченность. Замечательно, что этот человек, всю свою жизнь изучавший Шекспира — из любви к нему — и принадлежавший к ревностнейшим его почитателям, был художочным пиетистом. Но, может быть, именно чувство собственной душевной скудости возбуждало в нем постоянное восхищение мощью Шекспира, и когда британский титан в своих страстных сценах громоздит Пелион на Оссу и бурно кидается ввысь на приступ небесной твердыни, тогда несчастный комментатор роняет в изумлении перо, и вздыхает, и тихонько хнычет. Как пиетист он, собственно, по ханжеской сущности своей, должен был ненавидеть поэта, чей дух, напоенный божественным весельем, дышит в каждом слове самым радостным язычеством; он должен был бы ненавидеть его, этого поклонника жизни, который втайне отвергает религию смерти и в сладчайшем трепетном восторге перед героической мощью древности не хочет ничего знать о печальных утлах смирения, отречения и уныния! И тем не менее он его любит, и в своей неутолимой любви он хотел бы, хотя и поздно, обратить Шекспира к истинной церкви; комментариями своими он вкладывает в него христианский образ мысли: благочестивый ли это обман или самообольщение, но повсюду в шекспировских драмах он открывает этот христианский образ мысли, и благочестивая водичка его толкований подобна пятитомной купели, содержание которой он проливает на голову великого язычника.

Но, повторяю, эти толкования не совсем лишены мысли. Порой Франц Горн производит на свет божий остроумную догадку; в таких случаях он корчит нудные кисло-сладкие гримасы, хнычет, вертится, извивается на родильном ложе мысли; разрешившись, наконец, от бремени остроум-

ной догадкой, он с умилением разглядывает новорожденного и утомленно, точно роженица, улыбается. В самом деле, столь же досадно, сколь и забавно, что именно наш слабосильный пиетист Франц комментировал Шекспира. Граббе все это весьма забавно изобразил навыворот в одной из своих комедий: Шекспир, попав после смерти в ад, вынужден писать комментарии к произведениям Франца Горна.

Гораздо более надежным средством популяризации Шекспира, чем комментарии, разъяснительная пачкотня и кропотливые восхваления комментаторов, была восторженная любовь, с которой представляли драмы Шекспира талантливые актеры, делавшие их, таким образом, доступными оценке широкой публики. Лихтенберг в своих «Письмах из Англии» сообщает нам некоторые важные сведения о мастерстве, с каким в середине прошлого столетия шекспировские характеры изображались на лондонской сцене. Я говорю: «характеры», а не «произведения в целом», ибо английские актеры и по сей день воспринимают у Шекспира только его характеры, но отнюдь не поэзию и еще меньше искусство. Однако подобная односторонность восприятия проявляется в еще гораздо большей степени у комментаторов, которым никогда не удавалось сквозь запыленные очки учености увидеть в шекспировских драмах самое простое, самое близкое — природу. Гаррик отчетливее видел шекспировскую мысль, чем доктор Джонсон, этот Джон Буль учености, на носу у которого, в то время как он писал о «Сне в летнюю ночь», царица Мэб, несомненно, выделявала самые забавные прыжки; он, само собой разумеется, не понимал, почему от Шекспира ему больше чихалось и больше щекотало в носу, чем от других поэтов, которых ему приходилось критиковать.

Пока доктор Джонсон вскрывал, точно трупы, шекспировские характеры и при этом выкладывал на цитероново-английском диалекте самые свои увесистые глупости и с неуклонным самодовольством раскачивался на антигезах латинских периодов, Гаррик, стоя на сцене, потрясал весь английский народ страшными заклинаниями и вызывал к жизни этих самых мертвецов, чтобы они на глазах у всех совершали свои гнусные кровавые или смехотворные дела. Но Гаррик любил великого поэта, и в награду за такую любовь его похоронили в Вестминстере

у пьедестала шекспировской статуи, словно верного пса у ног господина.

Перенесением гарриковских методов игры в Германию мы обязаны знаменитому Шредеру, который также впервые обработал для немецкой сцены некоторые из лучших шекспировских драм. Подобно Гаррику, Шредер тоже не понял ни поэзии, ни искусства, которые нашли свое выражение в этих драмах, он лишь уловил разумным взглядом природу, прежде всего выступающую в них; и он старался передать не столько пленительную гармонию и внутреннее совершенство той или иной пьесы, сколько отдельные характеры в ней, соблюдая самую одностороннюю верность природе. Право на такого рода отзыв дают мне не только традиции его игры, какими они и по сегодняшней день сохранились на гамбургской сцене, но и его обработки самих шекспировских пьес, в которых он стер все искусство и поэзию, но путем соединения наиболее резких черт добился четкого рисунка основных характеров и определенной, общепонятной естественности.

Из этого метода естественности развилась также игра великого Девриента, которого я видел когда-то в Берлине, — он играл одновременно с великим Вольфом, — последний, напротив, склонялся в своей игре к методу искусства. Однако, хотя они исходили из самых различных направлений, — один видел свою высшую цель в природе, другой — в искусстве, — все же они встретились в области поэзии и совершенно противоположными средствами потрясали и восхищали сердца зрителей.

Музы живописи и музыки позаботились о славе Шекспира меньше, чем можно было ожидать. Не завидовали ли они своим сестрам, Мельпомене и Талии, завоевавшим с помощью великого британца бессмертнейшие свои венцы? Ни одна шекспировская пьеса, кроме «Ромео и Джульетты» и «Отелло», не вдохновила сколько-нибудь значительного композитора на великие творения. Мне нет необходимости превозносить прелесть звенящих цветов, что распустились в ликующем соловьином сердце Цингарелли, и тем менее — сладчайшие мелодии, которыми Лебедь из Пезаро воспел исходящую кровью нежность Дездемоны и черный пламень ее возлюбленного! Живопись, как и графические искусства вообще, еще более скупо послужила славе нашего поэта. Так называемая шекспировская

галерея на улице Пелл-Мелл свидетельствует, правда, о добрых намерениях британских художников, но вместе с тем и об их холодном бессилии. Все это — сухие образы, совершенно в старофранцузском духе, но без того вкуса, который никогда не изменяет французам. Существует нечто, в чем англичане такие же смешные кропатели, как и в музыке: а именно живопись. Только в области портрета они добились превосходных результатов, в особенности в тех случаях, когда им приходится давать портрет в гравюре, а не в красках; здесь они выше художников остальной Европы. В чем причина того факта, что англичане, так позорно лишенные чувства краски, оказываются замечательнейшими рисовальщиками и способны создать превосходные образцы гравюры на меди и на стали? Что дело обстоит именно так, доказывают нарисованные ими портреты шекспировских женщины и девушек. Портреты эти я здесь прилагаю, и совершенство их, конечно, не нуждается ни в каких комментариях. Здесь вообще меньше всего можно говорить о комментариях. Настоящие страницы должны послужить лишь беглым введением к очаровательной книге, общепринятым вступительным приветствием. Я — привратник, отпирающий вам эту галерею, и то, что вы до сих пор слышали, было только позвякиванием ключей, и ничем больше. Сопровождая вас, я иной раз вверну краткое словечко в ваши собственные наблюдения; я буду временами поступать, как чичероне, который никогда не дает слишком восторженно погрузиться в созерцание той или другой картины и всегда умеет каким-нибудь банальным замечанием пробудить вас от созерцательного восторга.

Во всяком случае, этой книгой я надеюсь доставить радость моим друзьям на родине. Пусть образы этих прекрасных женщин прогонят с их чела печаль, предаваться которой у них есть все основания. Ах, почему я не в силах предложить вам нечто более реальное, чем эти призраки красоты! Почему я не могу раскрыть перед вами дверь к радужной действительности! Когда-то я хотел сломать алебарды, которыми вам преграждают путь к садам наслаждения... Но рука была слаба, и стражи, рассмеявшись, ударили меня в грудь рукоятками своих алебард, и не по силам великодушное сердце замолкло от стыда, а может быть, даже и от страха. Вы вздыхаете?

ТРАГЕДИИ

КРЕССИДА

(«Троил и Крессида»)

Вот она, славная дочь жреца Калхаса, — ее я раньше всего представлю почтеннейшей публике. Пандар, ловкий сводник, приходился ей дядей; однако его посреднические услуги почти не понадобились. Троил, сын многоплодного Приама, был ее первым любовником; она исполнила все формальности, поклялась ему в неизменной верности, нарушила ее с подобающей благопристойностью и, прежде чем отдаться Диомеду, произнесла чувствительный монолог о слабости женского сердца. Соглядатай Терсит, столь негалантно называющий вещи своими именами, обозвал ее публичной девкой. Однако когда-нибудь ему, пожалуй, придется смягчить свои выражения, ибо может статься, что красавица, переходя от одного героя к другому, каждый раз ко все меньшему, достанется, наконец, и ему самому в качестве нежной возлюбленной.

Не без некоторых оснований поместил я портрет Крессиды у самого входа в галерею. Поистине, не ради добродетелей ее, не потому, что она является представительницей зауряднейшего женского характера, разрешил я ей стать впереди столь многих прекрасных, идеальных образов шекспировского творчества; нет, я начинаю галерею с портрета этой двусмысленной дамы потому же, почему я бы поставил впереди других, если бы мне пришлось издавать полное собрание сочинений нашего поэта, и произведение, носящее название «Троил и Крессида». То же самое делает Стивенс в своем роскошном издании Шекспира, не знаю, в силу каких причин; однако сомневаюсь, чтобы причины, которые я здесь приведу, руководили также и этим английским издателем.

«Троил и Крессида» — единственная драма Шекспира, где он выводит тех же героев, которых избрали объектами своих драматических представлений и греческие поэты; таким образом, приемы Шекспира довольно отчетливо обнаруживаются перед нами благодаря сравнению с приемами обработки той же материи древними поэтами. В то время как классические поэты Греции стремятся к самому

возвышенному освещению действительности и подымаются до идеализации, наш современный трагик больше проникает в глубь вещей, остро отточенным заступом мысли он взрывает безмолвную почву явлений и обнажает их сокровенные корни перед нашими взорами. В противоположность античным трагикам, которые, подобно античным ваятелям, стремились только к красоте и благородству и превозносили форму за счет содержания, Шекспир обращал свой взор и свое внимание прежде всего на правду и сущность; отсюда его мастерство характеристики, благодаря которому он, нередко скользя на грани язвительной карикатуры, снимает с героев блестящие латы и заставляет их появляться в забавнейших шлафроках. Критики, оценивающие «Троила и Крессида» согласно принципам, выведенным Аристотелем на основании лучших греческих драм, оказываются вследствие этого в затруднительном положении и даже впадают в забавнейшие ошибки. В качестве трагедии эта вещь для них недостаточно серьезна и патетична, потому что все в ней протекает совсем естественно, почти как у нас: и герои поступают в ней так же глупо, а то и пошло, как у нас, и основной герой — ничтожество, и героиня — обыкновеннейшая баба, каких мы достаточно видим среди ближайших наших знакомых... И даже носители самых прославленных имен, знаменитости героической древности, например великий Пелид Ахиллес, отважный сын Фетиды, — какими жалкими выступают они здесь! С другой стороны, пьесу нельзя было признать и комедией, так как в ней обильным потоком льется кровь и в достаточной степени возвышенно звучат в ней длиннейшие изречения мудрости, как, например, рассуждения Улисса о необходимости *auctoritas*,¹ и по сей день заслуживающие величайшего внимания.

Нет, пьеса, в которой произносятся такие речи, никак не может быть комедией, — говорили критики, и еще менее могли они допустить, чтобы какой-то жалкий проходимец, который, подобно учителю гимнастики Масману, очень мало смыслил в латыни и вовсе не знал греческого, дерзнул вывести в комедии прославленных классических героев!

¹ Власть (*лат.*).

Нет, «Троил и Крессида» — не комедия и не трагедия в обычном смысле этих слов; эту пьесу нельзя отнести к какому-либо определенному роду поэзии и еще менее позволительно измерять ее существующими масштабами: это своеобразнейшее создание Шекспира. Мы можем только в общих чертах признать ее высокие достоинства; для более обстоятельной оценки нам понадобилась бы новая, пока еще не написанная эстетика.

Если я заново здесь эту драму под рубрику «Трагедии», то этим я хочу вполне отчетливо показать, как серьезно смотрю я на такого рода названия. Мой старый учитель поэтики в Дюссельдорфском лицее однажды весьма рассудительно заметил: «Произведения, которые дышат не веселостью Талии, а тоской Мельпомены, относятся к области трагедии». Быть может, у меня в сознании жило это исчерпывающее определение, когда я надумал отнести «Троила и Крессида» к числу трагедий. И в самом деле, она полна такой торжествующей горечи и такой кощунственной иронии по отношению к миру, каких никогда не встретишь среди забав комической музыки. Повсюду в этой вещи чувствуется присутствие именно трагической богини, но только ей хочется немножечко пошутить и повеселиться... Перед нами как бы Мельпомена, с наглой улыбкой на бледных губах и с тоской в сердце танцующая канкан на балу гризеток.

КАССАНДРА
(«Троил и Крессида»)

Здесь мы даем портрет вѣщей дочери Приама. Она носит в сердце ужас знания грядущего; она возвещает гибель Илиону, и в ту минуту, когда Гектор вооружается, чтобы сразиться со страшным Пелидом, она молит и рыдает... Душа ее уже видит, как любимый брат истекает кровью, льющейся из зияющих смертельных ран. Она молит и рыдает. Напрасно! Никто не слушает ее советов, и, не в силах спастись, так же как и весь ослепленный народ, она низвергается в бездну мрачной судьбы.

Шекспир посвящает прекрасной провидице лишь несколько слов, к тому же не очень значительных; она у него

всего-навсего обыкновенная вестница бедствий, с криками скорби мечущаяся по обреченному на гибель городу.

«Безумья полон взор, растерзан весь убор», как это и представлено на картине.

Более прочувствованно почтил ее наш великий Шиллер в одном из лучших своих стихотворений. С раздирающей скорбью жалуется она у него пифийскому богу на несчастье, которое тот ниспослал своей жрице... Мне пришлось однажды декламировать это стихотворение во время публичного экзамена в школе, и я застрял на словах:

И спасу ль их, открывая
Близкий ужас их очам?
Лишь незнание — жизнь прямая;
Знание — смерть прямая нам.¹

Е Л Е Н А

(«Троил и Крессида»)

Вот она — прекрасная Елена, историю которой я не могу вам рассказать от начала до конца, ибо мне действительно пришлось бы начать с яйца Леды.

Ее нареченным отцом был Тиндар, но ее подлинным тайным родителем был бог, оболостивший в образе птицы ее благословенную мать, как это не раз случалось в древности. Ее рано отдали замуж в Спарту; легко понять, что при необычайной ее красоте она там скоро поддалась соблазну и наставила рога своему мужу Менелая.

Милостивые государины, пусть та из вас, которая чувствует себя безупречно чистой, бросит первый камень в несчастную сестру. Я не хочу этим сказать, что не бывает и не может быть вполне верных жен. Ведь была же первая женщина, прославленная Ева, образцом супружеской верности. Без единой мысли об измене проходила она жизненный путь бок о бок со своим супругом, прославленным Адамом, который был в те времена единственным мужчиной в мире и послал передник из фиговых листьев. С одним только змием беседовала она охотно, да и то лишь затем, чтобы изучить прекрасный французский язык, потому что вообще она стремилась к образо-

¹ Перевод В. Жуковского.

ванию. О вы, дочери Евы, какой прекрасный пример завещала вам ваша прародительница!

Бессмертная богиня всяческих наслаждений, госпожа Венера обеспечила принцу Парису благосклонность прекрасной Елены; он нарушил священный обычай гостеприимства и бежал со своей очаровательной добычей в Трою, в надежную твердыню... как при подобных обстоятельствах поступили бы и все мы — мы все, я в особенности разумею тут нас, немцев, поскольку мы учение всех других народов и сызмальства занимаемся Гомеровыми песнями. Прекрасная Елена — самая ранняя наша любовь, и уже в отрочестве, когда мы, бывало, сидели на школьной скамье и слушали учителя, толковавшего нам чудесные греческие стихи о том, как троянские старцы приходят в восторг при виде Елены... уже тогда самые сладостные чувства шевелились в нашей юной, неопытной груди... Раскрасневшись, заплетающимся языком отвечали мы на вопросы учителя по грамматике... Позже, когда, подрастая, мы становимся совсем учеными и чуть не чародеями, когда мы в состоянии вызвать самого дьявола, мы требуем от услужающего нам духа, чтобы он доставил нам прекрасную Елену Спартанскую. Я уже говорил однажды, что Иоганн Фауст — истинный представитель немецкого народа, народа, который удовлетворяет свою страсть в науке, но не в жизни. Хотя этот прославленный доктор, этот нормальный немец в конце концов жадно тянется к чувственным наслаждениям, но объект для удовлетворения их он ищет вовсе не на цветущих лугах действительности, а в ученой трухе книжного мира; французский или итальянский чернокнижник потребовал бы от Мефистофеля красивейшую женщину современности, а немецкий Фауст жаждет обладать Еленой Спартанской — женщиной, которая умерла несколько тысяч лет тому назад и улыбается ему разве только из древних греческих пергаментов. Как характерна эта страсть для глубочайшей сущности немецкого народа!

Шекспир изобразил в настоящем произведении, в «Троиле и Крессиде», прекрасную Елену столь же скупыми чертами, как и Кассандру. Мы видим, как она шествует рядом с Парисом и ведет задорно-веселые разговоры со старым сводником Пандаром. Она трунит над ним и в конце концов требует, чтобы своим старческим блею-

щим голосом он спел любовную песню. Но мучительные тени будущего, предчувствия ужасного исхода закрадываются иногда и в ее легкомысленное сердце, высовывают черные змеинные головки посреди самых беспечных шуток, и она выдает свое душевное состояние словами:

«Только пусть песня будет о любви. Ах, эта любовь погубит всех нас! О Купидон, Купидон, Купидон...»¹

ВИРГИЛИЯ

(«Кориолан»)

Она жена Кориолана, застенчивая голубка, — даже поворковать не решается она в присутствии своего чрезмерно гордого супруга. Когда он победителем возвращается с поля битвы и все встречают его ликованием, она смиренно опускает голову, и герой, улыбаясь, очень метко называет ее: «Мое милое молчание». В этом молчании — весь ее характер; она молчалива, как алеющая роза, как целомудренная жемчужина, как страстная вечерняя звезда, как восхищенное человеческое сердце... Это молчание полное, драгоценное, пылкое, выражающее больше, чем любое красноречие, чем любое риторическое пустословие. Это застенчиво-кроткая женщина, и в своей нежной прелести она дана как чистейшая противоположность своей свекрови, римской волчицы Волумнии, когда-то вскормившей своим железным молоком волка Кая-Марция. Да, Волумния — подлинная матрона, и что, кроме дикой отваги, неистового упорства и презрения к народу, мог всосать в себя из ее патрицианских сосцов тот, кого она родила!

Как благодаря этим с младенчества впитанным добродетелям и порокам герой стяжает лавровый венок славы, как он лишается за то лучшей награды, дубового венка гражданственности, и как он, наконец, позорно гибнет, опустившись до отвратительного преступления, до измены отечеству, — вот что показывает нам Шекспир в своей трагической драме, которая называется «Кориолан».

После «Троила и Крессиды», вещи, материал для которой наш поэт взял из героической эпохи древней Гре-

¹ Перевод Л. Некора.

ции, я обращаюсь к «Кориолану», потому что здесь мы видим, как он обрабатывал темы из римской жизни. Ведь в этой драме он изображает борьбу патрициев и плебеев в древнем Риме.

Я не стану безоговорочно утверждать, что это изображение во всех деталях совпадает с анналами римской истории; но сущность этой борьбы наш поэт понял и представил во всей ее глубине. Нам тем легче правильно судить об этом, что в наши дни мы наблюдаем ряд явлений, подобных прискорбной вражде, которая царила когда-то между привилегированными патрициями и униженными плебеями. Иной раз может показаться, будто Шекспир — современный поэт, будто он живет в теперешнем Лондоне и хочет представить нам нынешних тори и радикалов под римскими масками. Большое сходство, существующее вообще между древними римлянами и нынешними англичанами и между государственными деятелями обоих народов, могло бы еще больше укрепить нас в этом предположении. В самом деле, некоторая черствость, чуждая всякой поэзии, алчность, кровожадность, неутомимость, твердость характера свойственны нынешним англичанам так же, как и древним римлянам, только последние были больше сухопутными крысами, чем водяными; по части же нелюбезности, в которой и те и другие достигли высочайших вершин, они равны друг другу. Между высшими классами обоих народов наблюдается самое поразительное сходство. Англичанин знатного рода, подобно древнему римлянину знатного рода, — патриот: любовь к отечеству вынуждает его поддерживать самую тесную связь с плебеями, вопреки коренному различию политических прав, и эта солидарность приводит к тому, что английские аристократы и демократы образуют, подобно древнеримским, некое целое — единый народ. В других странах, где дворянство менее зависит от земли и более от личности государя или где оно полностью предано интересам своего сословия, — дело обстоит иначе. Затем мы находим у английской аристократии, как некогда у римской, стремление к *auctoritas* как к чему-то высшему, достойнейшему и косвенно наиболее выгоднейшему, я говорю — косвенно наиболее выгоднейшему, потому что, как некогда в Риме, так и теперь в Англии, пребывание на высших государственных должностях приносит доход лишь косвенно, то есть только

благодаря злоупотреблению влиянием или поборам, освященным обычаем. Эти должности в английских аристократических семьях рассматриваются как цель при воспитании молодежи, совсем как некогда у римлян; и как у тех, так и у других военное искусство и красноречие считаются лучшими средствами достижения будущей *auctoritas*. Как у римлян, так и у англичан традиция государственной и административной власти является наследственной привилегией благородных семейств; и, быть может, благодаря этому необходимость в английских тори будет существовать столь же долго и они столь же долго удержатся у власти, как и сенаторские фамилии древнего Рима.

Однако ничто так не напоминает нынешнее положение в Англии, как борьба за голоса, изображенная в «Кориолане». С какой скрытой яростью, с какой язвительной иронией выпрашивает римский тори избирательные голоса у тех самых добрых граждан, которых он так глубоко презирает в душе, но согласие которых так необходимо ему, чтобы стать консулом! Только обычно английские лорды, прлучившие свои раны не в сражениях, а на охоте за лисицами и обученные матерями более тонкому искусству притворства, не так явно выставляют напоказ свою злобу и презрение во время нынешних парламентских выборов, как это делал непреклонный Кориолан.

Шекспир, как всегда, и в этой драме проявил самое высокое беспристрастие. Аристократ у него прав, когда презирает плебеев, от голоса которых зависит, ибо он чувствует, что был мужественнее в бою, а это считалось у римлян высшей добродетелью. Однако бедный хозяин голосов, народ, так же прав, восставая против аристократа, несмотря на эту его добродетель; потому что последний вполне ясно заявил, что, став консулом, отменит раздачу хлеба. А «хлеб — это первое право народа».

П О Р Ц И Я

(«Юлий Цезарь»)

Основной причиной популярности Цезаря были щедрость и великодушие, которые он проявлял к народу. Народ угадывал в нем провозвестника тех лучших времен, которых дождался при потомках Цезаря, императо-

рах, ибо они признали за народом его первейшее право: они дали ему насущный хлеб. Мы охотно прощаем императорам самый кровавый произвол в отношении нескольких сотен патрицианских фамилий и издевательства над их привилегиями; с благодарностью видим мы в них разрушителей власти знатных фамилий, так скудно вознаграждавших народ за самую тяжелую службу; мы прославляем их, как земных спасителей, которые, возвышая низших и унижая высших, установили гражданское равенство. Пускай адвокат минувшего — патриций Тацит — с таким поэтическим ядом описывает личные пороки и безумства цезарей, — мы все же знаем о них нечто лучшее: они кормили народ.

Цезарь, и не кто иной, ведет римскую аристократию к гибели и подготавливает победу демократии. Между тем, некоторые старые патриции хранят еще в сердцах дух республиканизма; они все еще не могут снести господство одной личности; они не могут жить там, где единичная личность подымает голову выше, чем они, будь даже это великолепная голова Юлия Цезаря; они точат кинжалы и убивают его.

Демократия и императорская власть не враждебны друг другу, как ложно утверждают в наши дни. Лучшей демократией всегда будет та, где во главе государства стоит единственный, как воплощение народной воли, подобно тому, как бог стоит во главе управления миром; под властью его, этого воплощения народной воли, как под властью божьего величия, цветет самое надежное человеческое равноправие, самая истинная демократия. Аристократизм и республиканизм равным образом не враждебны друг другу и не противоположны, и мы видим это яснее всего в рассматриваемой драме, где дух республиканизма с его наиболее резкими и характерными чертами сказывается именно в самых надменных аристократах. Эти характерные черты выступают у Кассия с гораздо большей силой, чем у Брута. Мы ведь уже давно отметили, что дух республиканизма проявляется в фанатической ревности, не терпящей ничего над собой; в зависти карлика, который отвергает все, что возвышается над ним, и который не хотел бы видеть даже добродетель, воплотившуюся в одном-единственном человеке, из боязни, что такого рода представитель добродетели может быть

признан личностью высшего порядка. Вот почему республиканцы в наше время — это дейсты, одержимые недугом скромности. Они хотят видеть в людях лишь жалкие глиняные фигурки, которым следует воздерживаться от горделивого стремления к возвышению и от честолюбивой страсти к пышности, поскольку все они вышли из рук создателя, вылепленные по одному образцу. Английские республиканцы преклонялись когда-то перед подобным же принципом — пуританизмом, и это остается в силе и по отношению к древнеримским республиканцам, а именно: они были стойками. Если представить себе все это, пельзя не удивиться той пронизательности, с какой Шекспир изобразил Кассия, особенно в его разговоре с Брутом, когда он слышит, как народ ликующими кликами приветствует Цезаря, которого хотел бы провозгласить императором:

Какого мнения ты и остальные
Об этой жизни — знать я не могу.
Но для меня жить в страхе пред созданьем
Мне равным — это то же, что не жить.
Мы родились свободными, как Цезарь,
И вскормлены мы так же, как и он,
И так же выносить способны стужу.
Когда однажды в берегах своих
Ярился Тибр, в холодный бурный день, —
Мне Цезарь крикнул: «Ты дерзнешь ли, Кассий,
Со мною в гневный броситься поток
И переплыть его?» Я в тот же миг,
Как был, не раздеваясь, прыгнул в воду
И предложил ему поплыть за мной.
Он так и сделал. Бушевали волны.
Наотмашь мы их били, разгоняли
И против их напора грудью шли.
Но, не доплыв до берега, вдруг Цезарь
Вскричал: «На помощь, Кассий, я тону!»
И, как Эней, великий предок наш,
Из стен горящей Трои на плечах
Анхиза вынес, я из тибрских волн
Спас Цезаря. И этот человек
Стал богом ныне, между тем как Кассий,
Ничтожное созданье, спину гнет,
Едва ему кивнет небрежно Цезарь!
В Испании болел он лихорадкой;
В часы припадков, помню, видел я,
Как он дрожал: да, этот бог дрожал!
От губ его бежала кровь трусливо;
Тот взор, который мир ввергает в трепет,
Затмился; и я слышал, как он стонет, —

Тем голосом, которому внимают
Весь Рим, записывая каждый звук.
«Увы! — кричал он. — Дай мне пить, Титиний!» —
Как девочка недужная. О боги,
Как мог столь слабый духом человек
Опередить величественный мир,
Взять пальму первенства!

Цезарь сам очень хорошо знает своего подчиненного и в одном разговоре с Антонисем роняет глубокомысленные слова:

Вокруг себя людей хочу я видеть
Упитанных, холеных, с крепким сном.
А этот Кассий кажется голодным;
Он слишком много думает. Такие
Опасны люди...
...Будь он полней! Но он не страшен мне.
А все ж, будь страх и Цезарь совместимы,
Не знаю, кто мне был бы неприятней,
Чем этот тощий Кассий. Он начитан;
Всегда он наблюдает и насквозь
Дела людские видит; игр не любит,
Как ты, Антоний; музыке он чужд.
И редко улыбается при этом,
Как будто над собой труня, в себе
Способность улыбаться презирая.
Таких людей бежит покой, коль скоро
Есть в мире кто-нибудь повыше их,
И потому они весьма опасны,
Я говорю — опасны вообще.¹

Кассий — республиканец, и как мы часто видим у людей этого сорта, ему ближе благородная мужская дружба, чем нежная жепская любовь. Брут, напротив, жертвует собой ради республики не потому, что он республиканец по натуре, а потому, что он герой добродетели и видит в этом самопожертвовании высшее веление долга. Он восприимчив ко всякого рода нежным чувствам и всей своей мягкой душой предан супруге Порции.

Порция, дочь Катона, — настоящая римлянка, и тем не менее она полна обаяния и даже в высочайших взлетах своего героизма проявляет самый женственный ум и самую умную женственность. Глазами, полными любви и заботы, она настороженно следит за каждой тенью, пробегающей по челу ее мужа и выдающей его тревожные мысли.

¹ Перевод И. Мацельштама.

Она хочет знать, что его терзает, она хочет разделить с ним бремя тяготеющей над его душой тайны... И когда, наконец, узнает ее, все же остается верна женской природе, — она почти не в силах противостоять страшным опасениям, не может их скрыть и признается сама:

Я при мужском уме слаба по-женски:
Как трудно тайну женщине хранить!¹

К Л Е О П А Т Р А
(«Антоний и Клеопатра»)

Да, это она, знаменитая египетская царица, погубившая Антония.

Он знал наверняка, что погибнет из-за этой женщины. Он пытается вырваться из ее волшебных чут:

Иль сброшу я египетские узы,
Иль захлестнет меня безумье!¹

Он бежит... Но лишь затем, чтобы поскорее возвратиться к тому, что покинул, к своей старой нильской змее, как он ее называет... Скоро он снова погрузился вместе с ней в тину александрийского великолепия и там, рассказывает Октавий,

Он вместе с Клеопатрой на помосте
Посеребренном, в креслах золотых,
Воссели пред народом; у их ног —
Цезарион, которому отец мой
Был будто бы отцом, и все исчадья
Их грязной похоти. Ее Египет
Признал он независимым и тут же
Ей подчинил часть Сирии, весь Кипр,
Всю Лидию.

.....
Да, на арене для игры военной
Он сыновей своих провозгласил
Царей царями: Александру дал
Всю Мидию, Армению и Парфию,
А Птолею — Сирию, Киликию
И Финикию. В этот день одета
Она была Изидой, как не раз,
По слухам, на приемах.²

¹ Перевод И. Мандельштама.

² Перевод О. Румера.

Египетская волшебница держит в плену не только его сердце, но и разум; даже его талант стратега слабеет в этом дурмане. Вместо того чтобы оставаться на суше, где он привык побеждать, он дает сражение в неверном море, где его храбрость меньше может проявить себя, и как раз в самый решительный момент борьбы эта капризная женщина обращается в бегство и со всеми своими судами покидает то место, куда она сама решила во что бы то ни стало следовать за ним, — а Антоний, «как селезень влюбленный», распускает паруса, точно крылья, и устремляется за ней, не заботясь ни о чести, ни об удаче. Однако злополучный герой терпит позорнейшее поражение не только из-за женских капризов Клеопатры. Несколько позже она идет на самое черное предательство по отношению к нему: столковавшись тайно с Октавием, она передает свой флот противнику. Она обманывает его самым подлым образом, чтобы после крушения его счастья спасти свое достояние и, может быть, даже приобрести более солидные выгоды. Коварством и ложью она доводит его до отчаяния и до смерти. И все-таки он до последней минуты любит ее всем сердцем; мало того — его любовь вспыхивает еще пламеннее после каждого ее предательства. Он разражается проклятиями при каждом проявлении ее коварства, он знает все ее пороки, он показывает, что отдает себе во всем отчет, осыпая ее грубейшими ругательствами, бросая ей в лицо самые горькие истины:

Поблекшей я тебя узнал. — Зачем
Несмятой в Риме оставлял подушку
И пренебрег зачать законный род
От дивной женщины? Чтоб со слугою
Меня ты надувала?

.....
Беспутством отличалась ты всегда;
Но — ах! — когда порок нас охватил,
Нам боги затуманивают взор,
Ум втаптывают в нашу грязь, рождают
Любовь к ошибкам и, смеясь, глядят,
Как гибнем мы.

.....
На блюде Цезаря остывшим яством
Тебя нашел я, — нет, куском, упавшим
С Помпеева стола; уж я молчу
О скрытых от людской молвы часах
Блудливой похоти.¹

¹ Перевод О. Румера.

Но, подобно Ахиллову копыю, которое обладало даром исцелять нанесенные им раны, — уста любящего могут исцелить поцелуями даже самые смертельные уколы, которыми его едкое слово ранило душу любимой женщины... И после каждой мерзости, совершенной старой нильской змеей по отношению к римскому волку, и после каждого бранного слова, которым он поносил ее за это, — они осыпают друг друга еще большими нежностями; умирая, он — после стольких поцелуев — запечатлел на ее губах еще один последний поцелуй...

Но и она, египетская змея, как она любит своего римского волка! Все ее предательства — только поверхностные проявления злой змеиной природы, она совершает их скорее непроизвольно, по прирожденной или благоприобретенной дурной привычке... Но в глубине ее души живет преданнейшая любовь к Антонию; она сама не знает, до чего сильна эта любовь; ей кажется иной раз, что она в силах преодолеть эту любовь или хотя бы поиграть ею, но она заблуждается и с полной ясностью осознает эту ошибку, только теряя любимого навсегда, — и ее скорбь прорывается в возвышенных словах:

Мне снился император Марк Антоний;
Еще бы сон такой, чтоб увидеть
Ему подобного!

.....
Был небом лик его; луна и солнце
Горели в нем, на маленький кружок
Земли бросая свет.

.....
Он по морям шагал, своей рукою
Мир покрывая; в голосе его
Друзьям звучало пенье сфер; когда же
Хотел он потрясти весь шар земной, —
Грозой рычал он. Щедрость у него
Зимы не знала: вечным урожаем
Сверкала осень в ней; средь наслаждений
Он, как дельфин в своей родной стихии,
Показывал нам спину; щеголяли
Цари его ливреей; как монеты,
Рсыял он царства, острова.¹

Клеопатра — женщина. Она одновременно и любит и изменяет. Ошибочно думать, будто женщины, изменяя, перестают нас любить. Они только следуют своей природе,

¹ Перевод О. Румера.

и если им даже не хочется осушить запретную чашу, их все-таки тянет хлебнуть хоть глоточек, лизнуть края, чтобы хоть попробовать, каков этот яд на вкус. После Шекспира в настоящей трагедии никому не удавалось так изобразить этот феномен, как нашему старому аббату Прево в романе «Манон Леско». Интуиция величайшего поэта здесь целиком совпадает с трезвым наблюдением самого холодного прозаика.

Да, Клеопатра — женщина в самом очаровательном и в самом проклятом значении слова! Она напоминает мне изречение Лессинга: «Создавая женщину, бог взял слишком мягкую глину». Чрезмерная нежность материала очень редко соответствует запросам жизни. Это создание слишком хорошо и слишком дурно для нашего мира. Самые милые достоинства становятся здесь источником самых скверных пороков. С восхитительной правдивостью показывает Шекспир при первом же появлении Клеопатры, какой прихотливый, капризный, изменчивый дух вечно кипит в прекрасной царице, вырываясь наружу каскадами неожиданнейших вопросов и прихотей, — и он-то, быть может, и является основной причиной всех ее поступков. Нет ничего характернее пятой сцены первого акта, когда она требует, чтобы прислужница дала ей выпить мандрагоры, потому что этот снотворный напиток поможет ей заполнить время разлуки с Антопием. Затем бес подталкивает ее позвать кастрата Мардиана. Он почтительно спрашивает, что угодно повелительнице. «Мне не хочется, чтобы ты пел, — отвечает она, — потому что мне сейчас не мило все, отличающее евнуха, по скажи: ты любить умеешь?»

М а р д и а н

Да, госпожа.

К л е о п а т р а

На самом деле?

М а р д и а н

На деле — нет; лишь то могу я делать,
Что в самом деле делается честно;
Но, зная страсть, себе я представляю
Венеру вместе с Марсом.

К л е о п а т р а

Хармиана,
Где он сейчас, как думаешь? Стоит ли,
Сидит ли, или мчится на коне?
Счастливым конь, гордись своею ношей;
Ты знаешь ли, кто на спине твоей?
Второй Атлант вселенной, длань и шлем
Людского рода... Он, я слышу, шепчет:
«Где нильская моя змея?» Меня
Он так зовет.¹

Если высказать мою мысль до конца, не опасаясь кри-
вых осуждающих улыбок, придется честно признать:
беспорядочные мысли и чувства Клеопатры, являющиеся
следствием беспорядочного, праздного и беспокойного
образа жизни, напоминают мне определенную категорию
расточительных жен, чрезмерно дорогой семейный обиход
которых покрывается чьей-то щедростью со стороны и ко-
торые терзают и радуют своих законных супругов очень
часто и любовью и верностью, нередко одной только лю-
бовью и всегда сумасшедшими капризами. И разве она, в
сущности, отличалась чем-нибудь от них, эта Клеопатра,
которая, конечно, никак не могла оплатить доходами египет-
ской короны свою неслыханную роскошь, которая принимала
в подарок от своего римского содержателя Антония со-
кровища, насильно отобранные у целых провинций, и была
в подлинном значении этого слова царицей-содержанкой!..

В легко возбудимом, изменчивом, томительно-знойном
характере Клеопатры, беспорядочно сочетавшем одни
крайности, вспыхивает молнией чувственно-дикая желч-
ная ирония, вызывающая скорее страх, чем смех. Плутарх
дает нам понятие об этой иронии, проявляющейся более
в делах, чем в речах, и я еще в школе от всей души хохотал
над одураченным Антонием: вместе со своей царст-
венной возлюбленной отправился он на рыбную ловлю,
но леска его извлекала из воды только соленую рыбу.
Лукавая египтянка тайно снарядила множество водола-
зов, которые ловко насаживали соленую рыбу на крючок
влюбленного римлянина. Правда, рассказывая этот анек-
дот, наш учитель строил очень серьезную мину и строго
осуждал царицу за бессовестное легкомыслие, с которым
она, ради пустой шутки, рисковала жизнью своих под-

¹ Перевод О. Румера.

данных, бедных водолазов. Вообще, наш учитель не был расположен к Клеопатре и весьма упорно толковал нам, что из-за этой женщины Антоний испортил свою политическую карьеру, запутался в домашних неприятностях и в конце концов пал под грузом бедствий.

Да, мой старый учитель был прав: крайне опасно вступать в близкие отношения с особой, подобной Клеопатре. Герой может из-за этого погибнуть, — но именно только герой. Милой посредственности здесь, как и везде, не угрожает никакая опасность.

Как характер, так и обстоятельства жизни Клеопатры полны иронии. Эта капризная, жадная до всякой радости, ветреная, лихорадочно кокетливая женщина, эта античная парижанка, эта богиня жизни резвится и правит Египтом, молчаливой, коснеющей в неподвижности страшной мертвых... Вы ведь знаете его, этот Египет, этот таинственный Мицраим, эту узкую, напоминающую гроб долину Нила... Среди высоких тростников жалобно плачет крокодил, или покинутое дитя Откровения... Высеченные в скалах храмы с гигантскими колоннами, и на них морды священных животных, раскрашенные с уродливой пестротой... У ворот жрец Изида, в колпаке, испещренном иероглифами, покачивает головой... В роскошных виллах отбывают свою сиесту мумии, и позолоченные маски защищают их от роящихся среди тления мух. Точно немые мысли, высятся стройные обелиски и неуклюжие пирамиды... А из-за них глядят лунные горы Эфиопии, обступившие истоки Нила... Повсюду смерть, камень и тайна... И в этой стране царила прекрасная Клеопатра.

Сколько иронии у господ бога!

Л А В И Н И Я («Тит Андроник»)

В «Юлии Цезаре» мы видим последние судороги республиканского духа, который тщетно борется против грядущей монархии; республика пережила себя, и Бруту и Кассию остается только убить того, кто первый протянул руку к царской короне, но им отнюдь не удается убить царскую власть, которая коренится глубоко в потребностях эпохи. В «Антонии и Клеопатре» мы видим,

как вместо одного павшего цезаря трое других цезарей простирают к всемирному владычеству дерзкие руки. В принципе вопрос разрешен, и разгоревшаяся между этими триумвирами борьба касается только личных интересов: кому быть императором, владыкой всех народов и стран? Трагедия, носящая заглавие «Тит Андроник», показывает, что и это неограниченное единодержавие в Римском государстве не могло не подчиниться закону, которому подвластны все явления на земле, — именно закону разложения, и не было более отвратительного зрелища, чем цезари позднейшей эпохи, сочетавшие самую легкомысленную слабость с безумием и преступностью Неронов и Калигул. У них, у этих Неронов и Калигул, кружилась голова, когда они достигали вершины всемогущества; вообразив, что они выше всего человечества, они теряли человеческий облик; почитая себя за богов, они становились безбожниками; они были так чудовищно преступны, что мы от удивления почти лишаемся способности мерить их разумной мерой; напротив, цезари позднейшей эпохи вызывают в нас скорее сожаление, досаду, отвращение; в них отсутствует языческое самообоготворение, опьянение исключительностью собственного величия, своей ужасающей безответственностью. Они сломлены христианством, черный духовник взволновал своими речами их совесть, и они уже чувствуют себя жалкими червями, чувствуют, что зависят от милости какого-то высшего божества и что за земные прегрешения им когда-нибудь придется жариться в аду.

Хотя в «Тите Андронике» еще господствуют внешние черты язычества, однако в этом произведении все же сказывается характер позднейшей христианской эпохи, а во всех бытовых и общественных делах проявляется уже чисто византийская моральная извращенность. Эта пьеса принадлежит, несомненно, к самым ранним творениям Шекспира, хотя некоторые критики и ставят под сомнение его авторство; в ней царит та беспощадность, то резкое пристрастие к безобразному, та титаническая борьба с небесными силами, какие мы обычно находим в первых произведениях величайших поэтов. Герой, в противоположность окружающей его деморализованной среде, является подлинным римлянином, последышем отошедшей в прошлое жестокой эпохи. Существовали ли еще и тогда подобные

люди? Возможно; ибо природа охотно сохраняет хоть по одному экземпляру от всех вымирающих или трансформирующихся видов живых созданий — иногда в виде окаменелостей, которые попадают нам на горных вершинах. Тит Андролик — такой окаменелый римлянин, а его ископаемые добродетели — подлинная диковинка во времена позднейших цезарей.

Более страшной сцены, как та, в которой предают позору и увечат его дочь Лавинию, не найти больше ни у кого из писателей. История Филомелы в «Метаморфозах» Овидия далеко уступает ей; ведь злополучной римлянке отрубают даже руки, чтобы она не могла выдать виновника чудовищной подлости. И отец своим застывшим мужеством и дочь своим высоким чувством женского достоинства напоминают о прошлых, более нравственных временах; Лавинию страшит не смерть, а бесчестие, и трогательно-целомудренны слова, которыми она умоляет свою противницу, царицу Тамору, пощадить ее, когда сыновья последней хотят обесчестить ее тело:

Молю я смерти и еще другого,
Что женственность моя назвать мешает:
Спаси меня от их желаний, — смерти
Они страшней, — и в яму брось меня,
Где не найдут мой труп людские взоры,
И будешь ты убийцей милосердной.¹

Лавиния, в девственной своей чистоте, является совершенной противоположностью царицы Таморы; здесь, как и в большинстве своих драм, Шекспир выводит рядом два совершенно не сходных по душевному строю женских образа и путем контраста особенно наглядно показывает нам их характеры. Мы видели это уже в «Антонии и Клеопатре», где наша желтокожая необузданная, тщеславная и страстная египтянка выступает особенно рельефно рядом с белой, холодной, нравственной, архипресной и домовитой Октавией.

Однако и Тамора — тоже превосходная фигура, и, мне думается, несправедливо по отношению к ней, что искусный гравер не начертал ее изображения в развернутой перед нами галерее шекспировских женщин. Она

¹ Перевод О. Чюминой.

красивая, величественная женщина, обаятельно властный образ, со знаком падшего божества на челе, с всепожирающей похотью в глазах, великолепно развратная, алчущая алой крови. Наш поэт, как всегда, проявляет широкую снисходительность уже в первой сцене, где появляется Тамора; он заранее оправдывает все мерзости, которые она совершит впоследствии по отношению к Титу Андронику. Ведь этот непреклонный римлянин, не трогаясь ее жалостными материнскими мольбами, приказывает казнить у нее на глазах любимого сына; и вот — чуть только ей померещились в искательной ласковости юного императора проблески надежды на грядущую месть — с ее уст срываются мрачно-ликующие слова:

Пусть ведают, что значит заставлять
На площади царицу на коленях
Напрасно их о милости молить.¹

Подобно тому как ее жестокость оправдывается чрезмерностью перенесенных страданий, так и низменная чувственность, побуждающая ее отдаться даже отвратительному мавру, облагорожена до известной степени романтической поэзией, которая тут проявляется. Да, сцена, в которой царица Тамора покидает свиту и совсем одна уходит в лес, чтобы встретиться с возлюбленным мавром, принадлежит к наиболее жутким и пленительно-волшебным полотнам романтической поэзии:

Мой Аарон, что ж так печален ты,
Меж тем как все так радостно ликует?
На каждом из кустов щебечут птицы,
В сиянье солнца греется змея,
Дрожат листья от дуновенья ветра,
И пятнами от них ложится тень.
В тени отрадной сядем, Аарон.
Покуда псов болтливо дразнит эхо,
На звук рогов визгливо отзываясь,
Как будто бы мы две охоты слышим, —
Присядем здесь, внимая лаю псов.
За схватку такой же вслед, какую
Скиталец принц с Дидоной насладились,
Когда, грозой застигнуты счастливой,
Укрылись они в глухой пещере,
Забудемся в объятиях друг друга

¹ Перевод О. Чюминой.

Сном золотым, пока рога, и псы,
И птицы сладкозвучные нам будут
Той песенкой, какую напевает
Кормилица, чтоб усыпить дитя. ¹

Но в ту минуту, когда жар сладострастия вспыхивает в глазах прекрасной царицы и играет, переливаясь, подобно манящим огням, подобно языкам пламени, на черной фигуре мавра, тот думает о делах гораздо более важных, об осуществлении гнуснейших своих интриг, и его ответ звучит вопиющим контрастом пылким словам Таморы.

К О Н С Т А Н Ц А¹

(«Король Джон»)

Это случилось 29 августа 1827 года по рождестве Христовом: в тот день я незаметно уснул во время первого представления новой трагедии г-на Э. Раупаха в Берлинском театре.

Для сведения образованной публики, не посещающей театров и знающей только литературу в подлинном значении этого слова, я должен заметить, что упомянутый г-н Раупах — человек очень полезный, поставщик трагедий и комедий, из месяца в месяц снабжающий берлинскую сцену новыми шедеврами. Берлинская сцена — прекрасное учреждение, особенно полезное для философов-гегельянцев, которым хочется отдохнуть вечером от тяжких дневных трудов мышления. Ум отдыхает гораздо легче здесь, чем у Высоцкого. Вы идете в театр, небрежно разваливаетесь на бархатной скамейке, лорнируете глазки соседок или ножки комедиантки, только что вышедшей на сцену, и, если эти прохвосты актеры не кричат слишком громко, спокойно засыпаете, как это на самом деле и случилось со мною 29 августа 1827 года по рождестве Христовом.

Когда я проснулся, вокруг меня стоял мрак, и при свете тусклой лампы я увидел, что нахожусь совершенно

¹ Перевод О. Чюминой.

один среди пустого зрительного зала. Я решил провести здесь остаток ночи, попытался снова спокойно уснуть, что мне, впрочем, далось совсем не так легко, как несколько часов тому назад, когда я обонял снотворный аромат раупаховских виршей; кроме всего остального, мне чрезвычайно мешали мыши, которые скреблись и попискивали где-то поблизости. Невдалеке от оркестра подняла возню целая мышиная колония, и так как я способен понимать не только раупаховские вирши, но и язык всех прочих животных, то мне пришлось поневоле подслушать разговоры этих мышей. Они беседовали о предметах, которые больше всего на свете должны интересовать всякое мыслящее существо: о первопричине всех явлений, о сущности вещи в себе, о судьбе и о свободе воли, о великой раупаховской трагедии, которая только что со всеми ее ужасами прошла от начала и до конца перед их очами.

— Вам, молодые люди, — неторопливо говорила солидная старая мышь, — вам довелось увидеть всего только одну пьесу или только несколько таких пьес; я же стара, много их прошло мимо меня, — и все я переглядела со вниманием. И вот в результате нахожу, что по сути своей они все одинаковы, все почти — вариации на одну и ту же тему; в них часто повторяются те же экспозиции, интриги и катастрофы. Люди и страсти всегда одни и те же, меняются только костюмы и обороты речи. И мотивы поступков тоже всегда одни и те же — любовь или ненависть, честолюбие или ревность, что бы ни напялил на себя герой — римскую ли тогу или древнегерманский шлем, тюрбан или фетровую шляпу, какими бы манерами он ни обладал — античными или романтическими, как бы он ни выражался — престо или цветисто, плохими ли ямбами или еще более плохими трохеями. Вся история человечества, которую людям так хочется разбить на пьесы, акты и явления, всегда остается все той же историей; она замаскированное повторение одних и тех же характеров и событий, органический круговорот, вечно начинающийся снова, и тот, кто это понял, уже не возмущается злом и не слишком радуется добру; он посмеивается над глупостью героев, жертвующих собой ради совершенства человеческого рода; он забавляется с мудрым спокойствием...

Какой-то хихикающий голосок, принадлежавший, по-видимому, маленькому востроносому мышонку, с чрезвычайной поспешностью возразил:

— И я тоже произвел ряд наблюдений, и при этом с различных точек зрения; я прыгал, не зная ни отдыха, ни срока, я покинул партер и присматривался к происходящему за кулисами, — и там-то именно довелось мне сделать удивительные открытия. Герой, которым вы только что восхищались, — оказывается, вовсе не герой, потому что я видел, как какой-то юный бурш обозвал его пьяным негодяем и щедро наградил пинками, которые он стерпел безропотно. Добродетельная принцесса, пожертвовавшая собой, казалось, во имя добродетели, — вовсе не принцесса и не добродетельна; я видел, как она извлекла из фарфорового горшочка красную краску, намазала ею щеки, и краска эта сошла затем за краску стыда; в конце концов она упала, зевая, в объятия гвардейского лейтенанта, заверявшего ее честью, что она найдет у него в комнате превосходный селедочный салат, а также стакан пунша. То, что вам казалось громом и молнией, — не что иное, как гроыхание нескольких листов железа и вспышка нескольких лотов толченой канифоли. А вот тот толстый честный бюргер, казавшийся воплощением чистейшего бескорыстия и великодушия, ссорился, проявляя при этом крайнее сребролюбие, с тоненьким человечком, которого титуловал «господином главноуправляющим», и требовал от него нескольких талеров прибавки. Да, я все это видел собственными глазами, слышал собственными ушами; все великое и благородное, что разыгрывалось тут перед нами, — все это ложь и обман; корыстолюбие и себялюбие — тайные пружины всех поступков, и ни одно одаренное разумом существо не допустит, чтобы его вводили в заблуждение одной только видимостью.

Но тут раздался вдруг чей-то плаксивый вздыхающий голос, который показался мне почти знакомым, хоть я не мог разобрать, мужекого или женского пола была заговорившая мышь. Она скорбела о фривольности нашей эпохи, сетовала на безверие и склонность к скептицизму и усиленно уверяла в своей любви вообще.

— Я люблю вас, — вздыхала она, — и говорю вам правду. Эта правда открылась мне по благодати в благо-

словенный час. Я тоже шныряла повсюду, пытаюсь разгадать первопричину пестрых событий, проносившихся мимо меня на этой сцене, и заодно подобрать хотя бы крошку хлеба ради утоления своего телесного голода, ибо я люблю вас. И тут я внезапно открыла довольно просторную дыру, или, скорее, что-то вроде коробки, и в ней сидел, согнувшись в три погибели, тощий серенький человечек со свитком бумаг в руке и ровным приглушенным голосом читал про себя те самые речи, что так страстно и громко декламировались наверху, на сцене. Мистическая дрожь пробежала по моей шкурке; сколь я ни ничтожна, все же мне дарована была благодать узреть святая святых, я находилась в блаженной близости к таинственному существу, от которого происходит все сущее, к чистому духу, чья воля управляет миром вещей, чье слово творит его, чье слово одушевляет его, чье слово его уничтожает, ибо я увидела, что герои на сцене, которым я еще недавно так дивилась, эти герои вполне твердо произносят свои речи лишь тогда, когда они со слепой верой повторяют подсказанные им слова; если же они горделиво отдалаются от него и его голос не доносится до них, то начинают робко заикаться и спотыкаются на каждом слове; и я увидела, что все кругом — только его создание, зависимое от него, только он, единственный, обладает свободой действия в своей пресвятой коробке. По обе стороны его коробки пламенели таинственные лампы, звучали скрипки, им вторили флейты, свет и музыка лплись вокруг него, он плывал среди гармонических лучей и лучистых гармоний...

Однако голос, произносивший эту речь, превратился в конце концов в такой гнусавый и плаксивый шепоток, что я уже ничего почти не мог разобрать; до меня доносились только отрывочные слова: «Избави меня от котов и мышеловок... Дажь мне насущную крошку хлеба... Я люблю вас... Во веки веков, аминь».

Я попытался передать в пересказе этого видения мои взгляды на различные философские точки зрения, с которых принято обычно рассматривать всемирную историю, и одновременно косвенным намеком показать, по каким соображениям я не нагружил эти легкие страницы подлинной философией английской истории.

Вообще, мне совсем не хочется догматически комментировать драматические произведения, в которых Шек-

спир прославлял великие события английской истории, — я хотел бы только украсить скромными словесными арабесками женские образы, расцветающие в его созданиях. Поскольку женщины в этих английских исторических драмах играют вовсе не главные роли и поскольку поэт выводит их вовсе не для того, чтобы рисовать женские образы и характеры, как он делает это в других пьесах, а скорее потому, что изображаемая история требовала их участия, то и я буду говорить о них как можно короче.

Констанца первой вступает в этот хоровод — и притом с самым скорбным видом. Как *mater dolorosa*¹ держит она на руках свое дитя...

И целый ряд ее поступков гнусных
Карается в ребенке этом бедном.²

Мне пришлось видеть однажды эту печальную королеву на берлинской сцене — ее превосходно играла тогда г-жа Штих. Не столь блестящей была добрая Мария-Луиза, изображавшая во время нашествия королеву Констанцу на сцене французского придворного театра. И бесконечно жалкой оказалась в этой роли некая мадам Каролина, которая несколько лет тому назад подвизалась в провинции, в особенности в Вандее; она не была лишена ни таланта, ни страсти, но у нее был слишком толстый живот, а это всегда мешает актрисам, когда они берутся за роли героических вдовствующих цариц...

ЛЕДИ ПЕРСИ

(«*Генрих IV*»)

Я представлял себе ее лицо и вообще всю ее фигуру не такими полными, как это изображено здесь. Но, пожалуй, ее приятно округлые формы составляют еще более интересный контраст острым чертам и стройной талии, которые рисуются, когда слышишь ее слова и в которых открывается ее духовный облик. Она веселая, сердечная, здоровая телом и душой. Принц Генрих не прочь отравить нам прелесть ее образа и пародирует ее и ее Перси:

¹ Скорбящая богоматерь (*лат.*).

² Перевод А. Дружинина.

«И все-таки мне далеко до шутливости Перси, Горячей Шпоры Севера. Укокошив этак шесть-семь дюжин шотландцев перед завтраком и вымыв руки, он говорит жене: «К черту эту мирную жизнь! Скучно без дела!» — «О мой милый Гарри,—спрашивает она,—сколько человек ты убил сегодня?» — «Напоить моего Чалого!» — говорит он и через час отвечает жене: «Человек четырнадцать, сущие пустяки».¹

Столь же коротка, сколь и очаровательна сцена, где мы видим подлинную домашнюю обстановку Перси и его жены и где она обуздывает этого разбушевавшегося героя самыми смелыми словами любви:

Ну, полно, полно, милый попугай!
Мне толком отвечай на мой вопрос.
Клянусь, тебе переломлю мизинец,
Когда всей правды не откроешь мне!

Х о т с п е р

Прочь, баловница, прочь!
Любовь? Она сейчас совсем нехстати.
Не до тебя мне, Кет; теперь не время
Ни играм в куклы, ни турнирам губ.
Голов пробитых, сломанных носов
Давай побольше! Вот что люблю нам! —
Скорее мне коня! — Что скажешь, Кет?
Чего еще ты хочешь от меня?

Л е д и П е р с и

Так ты меня не любишь? В самом деле?
Что ж, не люби! Раз ты меня не любишь,
Я разлюблю тебя. Не любишь больше?
Нет, в шутку ты сказал или всерьез?

Х о т с п е р

Ну, хочешь посмотреть, как я помчусь?
Вскочив в седло, готов тебе дать клятву
В любви безумной. Но послушай, Кет,
Не приставай с расспросами ко мне —
Куда собрался я и почему.
Спешу, куда мне долг велит; короче:
С тобой расстанусь нынче, друг мой Кет.
Я знаю, ты умна, но не умней
Супруги Перси; духом ты тверда,
Но все ж ты женщина; молчать умеешь,
Как ни одна из вас, и я уверен,
Не скажешь ты того, чего не знаешь.
Настолько, Кет, тебе я доверяю.¹

¹ Перевод под ред. А. Смирнова.

ПРИНЦЕССА ЕКАТЕРИНА

(«Генрих V»)

Действительно ли Шекспир написал сцену, в которой принцесса Екатерина берет уроки английского языка, и ему ли вообще принадлежат все французские обороты речи, над которыми потешается Джон Буль? Сомневаюсь. Наш поэт мог добиться тех же комических эффектов с помощью английского жаргона, тем более что английский язык обладает свойством выражать оттенки, характерные для французского строя речи, простым введением романских слов и оборотов, без нарушения грамматических правил. Точно таким же образом английский драматический писатель мог бы передать оттенки, характерные для строя мыслей германцев, вводя только древнесаксонские выражения и обороты. Английский язык слагается ведь из двух разнородных элементов, романского и германского, которые только сбиты воедино и не сливаются в органическом единстве; они легко распадаются, и тогда трудно с точностью определить, на какой стороне оказывается законный английский язык. Стоит только сравнить язык доктора Джонсона или Аддисона с языком Байрона и Коббета. Поистине, Шекспиру было незачем заставлять принцессу Екатерину говорить по-французски.

Это приводит меня к замечанию, которое я уже высказал в другом месте. Одним из недостатков исторических драм Шекспира является как раз то обстоятельство, что он не противопоставляет с помощью контрастирующих речевых оборотов нормано-французский дух высшего дворянства англосаксонскому народному духу. Вальтер Скотт делал это в своих романах и добивался таким путем ярчайших эффектов.

Художник, нарисовавший для этой галереи портрет французской принцессы, придал ей, должно быть в силу английского коварства, не красивые, а скорее забавные черты. У нее здесь совсем птичья физиономия, глаза же такие, точно она их у кого-то взяла взаймы. На голове у нее как будто перья попугая, — пет ли тут намек на ее готовность все переимать и всему подражать? У нее маленькие белые любопытные руки. Суетная страсть к нарядам и кокетство — вот вся ее сущность, и она так мило умеет играть всером. Могу поручиться, что ножки ее кокетничают с землей, по которой им приходится ходить.

Ж А Н Н А Д'А Р К
(«Генрих VI», часть первая)

Слава тебе, великий немец Шиллер, за то, что ты восстановил честь благородной статуи, очистив ее от грязных острот Вольтера и от черных пятен, которыми клеветнически замарал ее даже Шекспир.

Да, британская ли национальная ненависть или средневековое суеверие отуманило его разум, но только наш поэт изобразил героическую девушку ведьмой, действующей в союзе с темными силами ада. Демоны подчиняются ее заклинаниям, и в этой предпосылке находит себе оправдание ее жестокая казнь. Глубокое негодование охватывает меня каждый раз, когда мне случается проходить по тесному руанскому рынку, где была сожжена девственница и где позорное деяние увековечено позорным памятником. Истерзать и убить! Стало быть, и тогда уж вы поступали так с побежденными врагами! Наряду с утесом Св. Елены, руанский рынок является возмутительнейшим свидетельством английского великодушия.

Да, Шекспир тоже согрешил по отношению к девственнице: если не совсем враждебно, то все же недоброжелательно, нелюбовно отнесся он к освободившей свое отечество благородной девушке! Пусть бы она совершила это даже с помощью ада, — все равно она заслужила почет и восхищение!

Или правы критики, утверждающие, что великий поэт не был автором пьесы, в которой появляется девственница, так же, как не был он автором второй и третьей частей «Генриха VI»? Они считают, что эта трилогия принадлежит к тем старым драмам, которые Шекспир только переработал. Я бы охотно поддержал — ради Орлеанской девы — эту гипотезу. Однако приводимые аргументы неубедительны. Эти спорные драмы носят во многих местах слишком явный отпечаток шекспировского духа.

М А Р Г А Р И Т А
(«Генрих VI», часть первая)

Перед нами прекрасная дочь графа Ренье. Она еще девушка. Появляется Сеффолк и делает ее пленницей, но, не успев опомниться, сам попадает к ней в плен. Он

напоминает того рекрута, что кричит начальнику со своего поста: «Я захватил пленника!» — «Так веди его ко мне», — отвечает начальник. «Никак не могу, — возражает бедный рекрут, — пленник меня не пускает».

Сеффолк говорит:

О диво красоты,
Не оскорбляйся. Было мне судьбою
Назначено тобою овладеть.
Так лебеди хранят птенцов пушистых,
Держа в плену под крыльями своими.
Но если плен считаешь ты обидой —
Прими свободу, как Сеффолка друг.

(Она поворачивается, чтобы уйти.)

Постой! Ее не в силах отпустить я,
Рука дает свободу, но не сердце.
Как солнце, в зеркале реки играя,
Дробится в ней сияньем отраженным, —
Так и во мне — роскошная краса,
Пленить хочу, а говорить не смею.
Спрошу чернил, перо и — напишу.
Стыдись, Ла-Пуль, не унижай себя!
Ужель ты нем пред пленницей твоею?
Вид женщины ужель тебя страшит?
Да, таково величье красоты,
Что поражен и мой язык и чувство.

М а р г а р и т а

Граф Сеффолк, если так зовут тебя,
Скажи, какой с меня возьмешь ты выкуп?
Я пленница твоя, как вижу я.

С е ф ф о л к *(про себя)*

Как можешь знать, покуда о любви
Не говорил, — что будешь ты отвергнут?

М а р г а р и т а

Что ж ты молчишь? Какой внести мне выкуп?

С е ф ф о л к *(про себя)*

Она прекрасна, значит победить
Должно ее, и женщина она,
А потому быть может побежденной.¹

В конце концов он находит наилучший способ сохранить пленницу для себя — он сватает ее королю, по видимости становясь ее подданным и в то же время втайне — ее любовником.

¹ Перевод О. Чюминой.

Основаны ли эти отношения между Маргаритой и Сеф-фолком на исторических данных? Не знаю. Однако прозорливое око Шекспира часто видит то, о чем молчит хроника, но что тем не менее соответствует действительности. Ему известны даже те мимолетные грезы прошлого, которые Клио забыла записать. Быть может, на арене событий сохраняются их многообразные пестрые отпечатки, которые не исчезают, подобно обыкновенным теням, вместе с явлениями действительности, но, точно призраки, остаются на земле, незримые для заурядных будничных людей, беспечно проходящих мимо в заботах о своих делах, и лишь порой проступают во всей четкости красок и очертаний перед зоркими глазами тех любимцев счастья, которых мы называем поэтами.

КОРОЛЕВА МАРГАРИТА

(«Генрих VI», части вторая и третья)

На этом портрете перед нами та же Маргарита — ныне королева, супруга Генриха Шестого. Бутоны раскрылись, теперь это — распутившаяся полным цветом роза; но в ней таится жуткий и отвратительный червяк.

Она стала женщиной безжалостной, способной на злодеяние. Ни с чем не сравнима по своей жестокости — как в мире действительности, так и в мире фантазии — сцена, в которой она передает плачущему Йорку страшный, пропитанный кровью его сына платок и, издеваясь, предлагает ему осушить этим платком слезы. Ужасны ее слова:

Йорк, погляди! Платок я омочила
В его крови, которую из сердца
Исторг мечом победоносный Клиффорд.
Коль хочешь сына милого оплакать,
Возьми платок, чтоб слезы утереть.
Ах, бедный Йорк! Тебе я сострадала б,
Не будь ты ненавистен мне смертельно.
Скорби, чтоб мне развеселиться, Йорк.
Как! Пламень сердца грудь твою всю выжег?
О Ретленде слезинки не прольешь?
Зачем ты сдержан? Должен ты беситься:
Чтоб ты бесился, над тобой смеюсь.
Злись, тошай, буйствуй, — стану петь, плясать.¹

¹ Перевод Е. Бируковой.

Если бы художник, нарисовавший прекрасную Маргариту для этой галереи, заставил ее на портрете больше раскрыть губы, мы бы увидели, что зубы у нее острые, как у хищного зверя.

В следующей драме, в «Ричарде III», она представляется нам уже отвратительной и физически, потому что время обломало ее острые зубы, кусаться она уже не может, а может только проклинать; призрачной старухой бродит она по королевским покоям и бормочет беззубым ехидным ртом зловещие речи и проклятья.

Показав ее любовь к Сеффолку — неистовому Сеффолку, — Шекспир ухитрился вызвать у нас теплое чувство даже к этому чудовищу в образе женщины. Как ни преступна эта любовь, мы все-таки не можем отказать ей ни в подлинности, ни в глубине. Как восхитительно-прекрасна последняя беседа этих любящих друг друга людей; сколько нежности в словах Маргариты:

Не говори со мною! Уходи.
Нет, подожди! Так двое осужденных
Целуются и десять тысяч раз
Прощаются. Решиться на разлуку
Мне во сто крат трудней, чем умереть.
Но все ж прости, прости и жизнь с тобой.¹

Сеффолк отвечает:

Не будь ты здесь — что мне жалеть отчизну?
Для Сеффолка в сообществе твоём
Казалась бы пустыня населенной.
Лишь там, где ты, — с тобою целый мир,
Где нет тебя — отчаянье...¹

Когда Маргарита позже, неся в руках окровавленную голову возлюбленного, будет в горестных стенаниях изливать самое неистовое отчаяние, она напомнит нам страшную Кримпльду из «Песни о Нибелунгах». Какие страдания! Они словно закованы в панцирь, от которого бессильно отскакивают слова утешения.

Я уже говорил во введении, что воздержусь от исторических и философских рассуждений по поводу шекспировских драм на сюжеты английской истории. Тема этих драм не будет исчерпана до тех пор, пока не закончится борьба современных промышленных интересов с остат-

¹ Перевод О. Чюминой.

ками средневекового феодализма во всех его разновидностях. Здесь не так легко вынести окончательный приговор, как по поводу римских драм, и всякое смелое и прямое высказывание может натолкнуться на враждебный прием. Не могу воздержаться здесь только от одного замечания.

Мне непонятно, как могли некоторые из немецких комментаторов, говоря о французских войнах, изображенных в шекспировских драмах, решительно стать на сторону англичан. Поистине, во время этих войн ни право, ни поэзия не были на стороне англичан, которые в одних случаях, под предлогом борьбы за наследство, затевавшейся всегда по самым ничтожным поводам, скрывали грубейшую страсть к грабежу, в других же — дрались с кем попало, служа самым пошлым торгашеским интересам... точь-в-точь так же, как и в наше время, с той только разницей, что в девятнадцатом столетии борьба идет главным образом из-за кофе и сахара, а в четырнадцатом и пятнадцатом столетиях она затевалась из-за овечьей шерсти.

Мишле в своей гениальной «Истории Франции» совершенно справедливо замечает:

«Тайна сражений при Креси, при Пуатье и так далее находится в конторах купцов Лондона, Бордо, Брюгге... Шерсть и мясо упрочили старую Англию, английскую расу. Прежде чем стать огромной хлопчатобумажной фабрикой, обслуживающей весь мир, и железодельцательной мануфактурой, Англия была фабрикой мяса. Издавна народ этот занимался главным образом скотоводством и питался мясными блюдами. Отсюда этот свежий цвет лица, эта сила, эта коротконосая, лишенная затылка красота. Да будет мне позволено привести по этому случаю мои личные впечатления...

Я побывал в Лондоне и в большей части Англии и Шотландии; я больше дивился, чем понимал. Лишь на обратном пути из Йорка в Манчестер, проезжая поперек всего острова, получил я правильное представление об Англии. Было утро, стоял сырой туман; мне показалось, будто страна не то что окружена, а затоплена океаном. Бледное солнце слегка окрашивало половину ландшафта. Новые кирпично-красные дома выделялись бы слишком резко на сочно-зеленых лугах, если бы эти кричащие краски не были смягчены волнующимся морским туманом.

Тучные пастбища, покрытые овцами, и над ними огнедышащие трубы фабричных печей. Скотоводство, земледелие, индустрия — все это теснилось на крохотном пространстве, одно над другим, одно питая другое: трава питалась туманом, овца — травой, человек — кровью.

Человек, вечно страдающий от голода в этом изнурительном климате, может поддерживать свое существование только трудом. Природа принуждает его к этому. Но он научился мстить ей: он заставляет работать ее самое; он поработает ее с помощью железа и огня. Вся Англия задыхается в этой борьбе. Человек там словно охвачен гневом, словно вне себя. Взгляните на это красное лицо, на эти сверкающие безумием глаза... Его можно принять за пьяного. Но голова его и рука тверды и уверенны. Он опьянен только кровью и силой. К себе он относится как к паровой машине, которую он сверх всякой меры набивает топливом, чтобы добиться от нее наибольшей продуктивности и скорости.

В средние века англичанин был приблизительно таким же, как и сейчас: сверх меры упитанным, чрезвычайно активным и, за отсутствием индустриальной деятельности, воинственным.

Хотя Англия и занималась земледелием и скотоводством, но еще ничего не изготовляла. Англичане вывозили сырье — обрабатывали же его другие. Шерсть была по одну сторону канала, рабочий по другую. Пока государи спорили и враждовали, английские торговцы скотом и фламандские суконные фабриканты продолжали жить в добром согласии, в самом нерушимом союзе. Французы, желавшие разрушить их союз, поплатились Столетней войной за эту затею. Правда, английские короли стремились к завоеванию Франции, но народ требовал только свободы торговли, свободных границ для ввоза, свободного рынка для английской шерсти. Собравшись вокруг большого мешка с шерстью, общины держали совет по поводу требований короля и охотно предоставляли ему в достаточном количестве и деньги и войско.

Такое смешение торгашества и рыцарства придает всей этой истории странный оттенок. Эдуард, дающий за круглым столом гордую клятву завоевать Францию, глуповатые надменные рыцари, повязывающие, согласно обету, один глаз красным платком, — все они не такие

уж дураки, чтобы отправляться в поход за собственный счет. Благочестивая наивность крестовых походов уже не соответствует эпохе. Рыцари эти по существу просто-напросто продажные наемники, платные торговые агенты, вооруженные коммивояжеры лондонских и гентских купцов. Сам Эдуард сильно обуржуазился, ему пришлось отложить в сторону всякую гордость, пришлось заискивать перед гильдиями суконщиков и ткачей, чтобы списать их одобрение, пришлось пожимать руку своему куму, пивовару Артевельде, пришлось взбираться на конторку скотопромышленника, чтобы выступать перед народом.

В английских трагедиях четырнадцатого столетия есть очень комические роли. В самых благородных рыцарях всегда коренится нечто от Фальстафа. Во Франции, в Италии, в Испании, в прекрасных странах юга англичане проявляют столько же прозорливости, сколько и мужества. Это — Геркулесы, пожиратели быков. Они приходят в страну, чтобы сожрать ее в буквальном смысле этого слова. Но страна готовит им возмездие и побеждает их фруктами и винами. Их государи и армии перепиваются, переедаются и умирают от несварения желудка и дизентерии».

Теперь с этими наемными героями обжорства сравните французов, самый воздержанный народ, опьяняющийся не столько своими винами, сколько врожденным энтузиазмом. Энтузиазм этот был всегда причиной их неудач, и мы видим, как уже в середине четырнадцатого столетия они терпели поражение в борьбе с англичанами именно из-за излишнего своего рыцарства. Так случилось при Креси, где разбитые французы кажутся нам выше англичан, которые добились победы не по-рыцарски, с помощью пехоты... До тех пор война была большим турниром равных по родовитости всадников; но при Креси эта романтическая кавалерия, эта поэзия, была позорно расстреляна современной инфантерией, этой прозой, построенной в стилистически непогрешимом боевом порядке, — мало того, здесь появились даже пушки... Седой богемский король, слепой и дряхлый, участвовавший в этом сражении в качестве вассала Франции, хорошо понял, что наступили новые времена, что рыцарству пришел конец и что в будущем пехотинец победит конника, и он сказал своим рыцарям: «Покорнейше вас прошу, проводите меня подальше, в самую гущу сражающихся, чтобы мне хоть

раз еще нанести славный удар мечом». Они повиновались, связали своих коней с его конем, помчались вместе с ним в самую дикую свалку, а наутро всех их нашли мертвыми на мертвых конях, которые так и остались связанными. Французы погибали при Креси и Пуатье, подобно богемскому королю и его рыцарям: они принимали смерть на конях. Англии досталась победа, Франции — слава. Так даже поражениями своими французы умели оставить в тени противника. Начиная с тех дней при Креси и Пуатье и вплоть до Ватерлоо, триумфы англичан всегда были позором для человечества. Кэлио все-таки женщина; несмотря на свою беспристрастную холодность, она неравнодушна к рыцарству и к героизму, и я уверен, что лишь с сокрушенным сердцем она заносит на свои скрижали победы англичан.

Л Е Д И Г Р Е Й

(«*Генрих VI*»)

Она была бедная вдова; дрожа, предстала она перед королем Эдуардом и умоляла его возвратить детям крохотное имение, захваченное врагами после смерти ее супруга. Сластолюбивый король, которому не удалось сломить ее целомудрие, был до того очарован ее прекрасными слезами, что возложил на ее голову корону. Сколько горестей принесло это обоим, рассказывает всемирная история.

Действительно ли Шекспир, изображая характер этого короля, точно следовал истории? Я вынужден снова повторить свое замечание, что он умел заполнять пробелы истории. Он так правдиво рисует характеры своих королей, что порой можно подумать, как говорит один английский писатель, будто он всю жизнь состоял канцлером при короле, которого выводит в той или другой драме. Верность его изображений подтверждается, по-моему, еще и поразительным сходством между его старыми королями и теми из числа королей настоящего времени, о которых мы можем прекрасно судить как современники.

К нашему поэту полностью относится то, что Фридрих Шлегель сказал об историках: он — пророк, обративший свой взгляд к прошлому. Если бы мне было разрешено отразить в зеркале одного из знаменитейших наших

коронованных современников, каждый мог бы убедиться в том, что Шекспир уже двести лет тому назад составил сыскную грамоту на него и описал его приметы. Действительно, при виде этого великого, превосходного и, конечно, прославленного монарха в нас закрадывается известное чувство страха, вроде того, какое мы испытываем, повстречав среди бела дня живой образ, являвшийся нам раньше только в сновидениях. Когда восемь лет тому назад мы видели, как он проезжал верхом по улицам столицы «с обнаженною головою, смиренно кланяясь по сторонам», нам невольно припоминались слова, которыми Йорк изображает въезд Боллингброка в Лондон. Его двоюродный брат, впоследствии Ричард II, очень хорошо знал его, всегда видел его насквозь и однажды совершенно правильно сказал:

И сами мы, и Грин, и Бегот с Буши
Заметили, как он учтив был с чернью,
Как будто проникая им в сердца
С униженной любезностью, как ровня,
Как он поклоны расточал рабам,
Мастеровым — улыбкой мастерскую
Угодничал покорностью судьбе, —
Как будто с ним любовь их изгонялась.
Снял шляпу перед устричной торговкой,
Двум возчикам, ему желавшим счастья,
Ответил реверансом со словами:
«Благодарю, друзья и земляки»...¹

Да, сходство пугающее. Точь-в-точь, как старый Боллингброк, возникший у нас на глазах Боллингброк нынешний, вступивший на престол после падения своего царственного двоюродного брата и постепенно на нем укрепившийся, лукавый герой, пресмыкающийся великан, титан притворства, ужасный, даже возмутительный своим спокойствием, прикрывающий когти бархатной перчаткой, поглаживающий её общественное мнение, уже издали высматривающий добычу, но никогда не набрасывающийся на нее, пока она не окажется совсем рядом. Пускай он всегда побеждает своих злопыхателей и врагов и пускай поддерживает мир в государстве вплоть до смертного часа, когда он скажет сыну слова, давно уже написанные для него Шекспиром:

¹ Перевод А. Курошевой.

Поди сюда, сядь, Гарри, у кровати
И выслушай последний мой совет,
Что дать могу. Известно богу, сын мой,
Каким окольным и кривым путем
Венца достиг я. Как сидел тревожно
Он у меня на голове, — я знаю.
К тебе же он спокойней перейдет,
Упроченным и признанным; а все,
Что приобретенье его пятнало,
Уйдет со мною в гроб. На мне казался
Он честью, добытой рукой упорной;
Мне многие могли бросать упрек,
Что я его с их помощью достиг,
И это, рая мнимый мир, рождало
Кровопродитья каждый день. Ты видел,
С какой опасностью я отвечал
На все удары грозные, и было
Мое правленье пьесой, содержанье
Которой — распри. Смерть моя теперь
Изменит все: то, что я захватил,
Облагороженным получишь ты;
Наследственный венец носить ты станешь.
Хоть ты стоишь прочней меня, однако
Не так уж тверд, пока свежи обиды.
Мои друзья — их сделай и своими —
Зубов и жал недавно лишены.
Их действиями злыми вознесенный,
Я мог страшиться, что меня их мощь
Низвергнет вновь. Чтоб этого избежать,
Я устранил их и намеревался
В святую землю многих увести,
Чтоб им покой и праздность не давали
В мои права вникать. И ты, мой Гарри,
Тревожные умы занять старайся
Раздором внешним: труд за рубежом
О днях былых в них память истребит.
Еще сказал бы, но дышать мне трудно,
И силы речи я совсем лишен.
Как я венца достиг — прости мне бог!
Пусть только в мире жить с тобой он мог.¹

Л Е Д И А Н Н А
(«Король Ричард III»)

Благосклонность женщин, как счастье вообще, — добровольный дар, его получаешь неведомо как, неведомо за что. Однако существуют люди железной воли, способные насильно взять его у судьбы, и они достигают цели

¹ Перевод В. Морица.

либо лестью, либо внушая женщинам страх, либо возбуждая в них сострадание, либо давая им случай жертвовать собой... Последнее, именно самопожертвование — излюбленная женская роль, она так красит их в глазах людей и даже в одиночестве дарит им столько скорбных наслаждений, орошенных обильными слезами.

Все это разом осаждает леди Анну. Точно патока, скользят льстивые слова с ужасных уст... Ричард мстит ей, тот самый, страшный как выходец из ада, Ричард, что убил ее любимого мужа и отечески нежного друга, которого она как раз в эту минуту хоронит. Повелительным голосом приказывает он могильщикам опустить гроб на землю и тут же предлагает скорбящей красавице свою любовь... Вне себя от ужаса, овечка видит уже оскаленные зубы волка, но из пасти его вдруг раздаются сладчайшие, соблазнительнейшие речи... Волчья лесть до того потрясает несчастную овечью душу, что все чувства в ней внезапно перестраиваются... И король Ричард говорит о своей печали, о своем страдании, и Анна не может отказать ему в сострадании, тем более что этот неистовый человек по природе своей не очень склонен к жалобам... И этому злополучному убийце ведомы угрызения совести. Он говорит о раскаянии и о том, что хорошая женщина могла бы наставить его на путь истины, если бы захотела пожертвовать собой ради него... И Анна решается стать королевой Англии.

КОРОЛЕВА ЕКАТЕРИНА

(«*Генрих VIII*»)

Я питаю непреодолимое предубеждение против этой государыни, высочайшие добродетели которой все же вынужден признать. Как супруга она была образцом семейственности и верности. Как королева она проявляла высшее достоинство и величие. Как христианка она была само благочестие. Однако она до того восхитила доктора Сэмюэла Джонсона, что он осыпал ее самыми непомерными похвалами, она — его любимица и избранница среди всех шекспировских женщин, он говорит о ней нежно и умиленно... И это невыносимо. Шекспир напряг всю силу своего гения, чтобы прославить эту добрую женщину;

по его усилия сводятся на нет, когда видишь, как доктор Джонсон, эта огромная кружка портера, приходит в сладостное восхищение при виде ее и пенится через край от славословий. Будь она моей женой, я мог бы развестись с нею из-за таких славословий. Быть может, вовсе не прелести Анны Болейн были причиной того, что бедный король Генрих порвал с нею, а энтузиазм, с которым какой-нибудь доктор Джонсон того времени изливался по поводу верной, благородной и благочестивой Екатерины. Уж не слишком ли постарался до небес вознести королеву Томас Мор, при всех своих совершенствах несколько педантичный, скучный и неудобоваримый, как и доктор Джонсон? Правда, энтузиазм обошелся славному канцлеру несколько дорого, — король за это вознес в небеса его самого.

Я не знаю, чему больше удивляться: тому ли, что Екатерина целых пятнадцать лет выносила своего супруга, или тому, что Генрих в течение столь долгого времени выносил свою супругу? Дело не только в том, что король был очень капризен, вспыльчив, а вкусы его неизменно противоречили вкусам жены, — это случается во многих супружествах, которые прекрасно держатся, несмотря ни на что, пока смерть не положит конец всяким сварам, — но король был к тому же музыкант и теолог, и совершенное ничтожество и в том и другом отношении. Я недавно прослушал — как забавный курьез — один из сочиненных им хоралов, который оказался столь же плохим, как и его трактат *de septem sacramentis*.¹ Он, несомненно, очень докучал бедной женщине и своими музыкальными композициями и своей теологической пачкотней. Лучшей чертой Генриха было его понимание пластических искусств, и из страсти к прекрасному возникали, пожалуй, его пагубнейшие симпатии и антипатии. Екатерина Арагонская была еще хороша в двадцать четыре года, когда восемнадцатилетний Генрих женился на ней, несмотря на то, что она была вдовой его брата. Однако красота ее, вероятно, не возрастала с годами, тем более что она из благочестия постоянно изнуряла свою плоть бичеванием, постами, ночными бдениями и сокрушением духа. Ее супруг довольно часто жаловался на эти аскетические упражнения, да и каждому из нас

¹ О семи таинствах (*лат.*). (См. комментарий.)

показалось бы совершенно невыносимым подобное поведение жены.

Но существует еще одно обстоятельство, подкрепляющее меня в моем предубеждении против этой королевы: она была дочь Изабеллы Кастильской и мать Марии Кровавой. Какого мнения мне держаться о дереве, которое выросло из такого злого семени и породило такой злой плод?

Если в истории и не сохранилось никаких следов ее жестокости, то неистовая гордость ее расы все же прорывается каждый раз, когда королева выступает как носительница своего сана и хочет показать себя таковой. Вопреки прочно усвоенному христианскому смирению, она всегда впадала в почти языческий гнев, если кто-нибудь нарушал традиционный этикет или отказывал ей в королевских почестях. До самой смерти сохранила она это неугасимое высокомерие, и у Шекспира она говорит в последнюю минуту:

... Тело
Мое набальзамируйте потом
И выставьте его перед народом.
Хоть нет на мне венца, но я прошу
Меня похоронить как королеву,
Как государей дочь...¹

А Н Н А Б О Л Е Й Н

(«Генрих VIII»)

Обычно принято считать, что угрызения совести, терзавшие короля Генриха по поводу его брака с Екатериной, вызваны прелестями прекрасной Анны. Даже Шекспир придерживается того же мнения, и, когда новая королева появляется во главе коронационного шествия, он влагает в уста одного молодого дворянина следующие слова:

Благослови тебя, святое небо!
Я не видал прекраснее лица...
Клянусь душой, принцесса — сущий ангел.
Когда король ее в объятьях держит,
То Индии богатство в них лежит!
Нет — более, богаче, драгоценней!
Его винить не смею, право, я!¹

¹ Перевод П. Вейнберга.

О красоте Анны Болейн Шекспир дает нам понятие также в следующей сцене, передающей энтузиазм, который она возбуждает во время коронации своей внешностью.

Как сильно любил Шекспир свою повелительницу, великую Елизавету, лучше всего сказывается, быть может, в той обстоятельности, с какой он описывает коронацию ее матери. Все эти детали подтверждают права дочери на престол, и поэту удалось наглядно доказать всем до единого зрителям законность оспариваемых прав своей королевы. Королева эта была в самом деле достойна такой ревностной любви! Она полагала, что не умалит своего королевского достоинства, разрешив поэту с ужасающим беспристрастием показать на сцене всех ее предков и даже ее собственного отца! И не только как королева, но и как женщина она никогда не покушалась на права поэзии; подобно тому, как она предоставила нашему поэту полную свободу слова в политических делах, она не возбраняла ему самых вольных речей о взаимоотношениях полов, ее не задевали самые несдержанные выходы здоровой чувственности, и она, королева-девушка, *the maiden queen*, даже потребовала, чтобы сэр Джон Фальстаф хоть раз появился на сцене в роли любовника. Ее благосклонной улыбке обязаны мы «Веселыми виндзорскими кумушками».

Трудно было Шекспиру лучше завершить свои английские исторические драмы, как показав в конце «Генриха VIII» только что родившуюся Елизавету, — ее проносят по сцене, точно счастливое будущее, еще не вышедшее из пеленок.

Но действительно ли Шекспир с полной исторической точностью представил характер Генриха VIII, отца своей королевы? Да, хотя здесь он возвещает правду далеко не так громко, как в других своих драмах, все же он ее высказывает, и приглушенный тон придает еще большую убедительность каждому из обвинений. Этот Генрих VIII был самым худшим из королей, ибо другие злые государи неистовствовали против врагов, а он терзал друзей, и его любовь была гораздо опаснее ненависти. Супружеские приключения этого короля — Синей Бороды — ужасны. Ко всем жестокостям он примешивал еще какую-то тупоумную и страшную галантность. Приказав предать казнь Анну Болейн, он успокоил ее сообщением, что призвал

для нее самого искусного во всей Англии палача. Королева вочтительнейше поблагодарила его за столь нежное внимание, со свойственным ей веселым легкомыслием сжала белыми своими руками шею и воскликнула: «Мне очень легко отрубить голову, у меня такая маленькая, тоненькая шейка!»

И топор, которым ей отрубили голову, тоже не был очень большим. Его мне показывали в оружейной палате Тауэра в Лондоне, и когда я взял его в руку, мной овладели очень странные мысли.

Если бы я был английской королевой, я бы приказал утопить этот топор на дне океана.

Л Е Д И М А К Б Е Т

(«Макбет»)

От собственно исторических драм я перехожу к трагедиям, фабула которых или полностью вымышлена, или почерпнута из старых преданий и новелл. «Макбет» является мостом к произведениям этого рода, в которых гений великого Шекспира наиболее свободно и смело расправляет свои крылья. Сюжет заимствован из старой легенды, он не связан с историей, и тем не менее содержание этой пьесы до известной степени претендует на историческую достоверность, так как в ней выведен родоначальник королевского дома Англии. Трагедия «Макбет» была поставлена на сцене в царствование Иакова I, который, как известно, является предполагаемым потомком шотландского Банко. В связи с этим обстоятельством поэт вплел в свою драму также несколько пророчеств во славу правящей династии.

«Макбет» — любимая пьеса критиков, ибо она даст им повод пространно развивать свои взгляды на античную трагедию рока, сопоставляя ее с толкованием фатума у современных трагиков. Я позволю себе только беглое замечание на эту тему.

Идея рока у Шекспира в такой же степени отличается от идеи рока у древних, в какой прорицательницы старинной северной легенды, встретившие Макбета обещанием короны, отличаются от появляющихся в трагедии Шекспира сестер-колдуний. Те чудесные женщины древне-

северной легенды — несомненно, валькирии, ужасные богини воздуха, которые, носясь и рея над полями сражений, решают, быть ли победе или поражению, и в которых следует видеть подлинных вершительниц человеческих судеб, поскольку на воинственном севере эти судьбы зависели прежде всего от исхода рукопашного боя. Шекспир обратил их в зловещих ведьм, отнял у них страшную грацию, свойственную волшебному миру севера, сделал их двуполоыми выродками в женском образе, мастерицами вызывать чудовищные видения и насылать гибель, то ли из коварного злорадства, то ли по велению ада: они служительницы зла, и тот, кто поддастся наваждению их речей, погубит и тело и душу. Таким образом, Шекспир перевел на язык христианства древнеязыческих богинь судьбы с их чистыми, благодатными чарами, и поэтому гибель его героя не является заранее обусловленной необходимостью, чем-то непреклонно неотвратимым, подобно древнему фатуму, — гибель эта — лишь следствие адских соблазнов, опутывающих тончайшими сетями человеческие сердца. Макбет подпадает под власть сатаны, родоначальника зла.

Любопытно сравнить шекспировских ведьм с ведьмами других английских поэтов. Шекспир явно не мог отрешиться до конца от древнеязыческих воззрений, и поэтому его сестры-колдуньи много величественнее и почтеннее, чем ведьмы Миддлтона; в последних гораздо больше злого бабьего распутства, они строят только мелкие козни, неносят вред только телу, не обладают особой властью над духом, и самое большое, на что они способны, — это навести на наши сердца коросту ревности, недоброжелательства, похоти и тому подобных душевных недугов.

Репутация леди Макбет, почитавшейся в продолжение двух столетий весьма злобной особой, в Германии за последние двенадцать лет очень изменилась в ее пользу. Дело в том, что благочестивый Франц Горн заявил в брокгаузовской «Энциклопедической газете», будто о бедной леди до сих пор судили несправедливо, будто она очень любила своего мужа и вообще обладала кротким нравом. Вслед за тем это мнение попытался подкрепить всеми своими познаниями, ученостью и философской глубиной г-н Людвиг Тик, а спустя еще немного времени мы увидели в корлевском придворном театре г-жу Штих, которая так нежно ворковала горлинкой в роли леди Макбет, что в Бер-

лине не осталось ни единого сердца, которое не было бы растрогано этими чувствительными звуками, и немало прекрасных глаз наполнилось слезами при виде доброй леди Макбет. Случилось это, как уже упомянуто, лет двенадцать тому назад, в умиленное время Реставрации, когда мы носили в себе такие запасы любви. После этого произошло страшное банкротство, и если мы уже не дарим иным коронованным особам ту пламенную любовь, которую они заслуживают, то в этом повинны люди, обобравшие в период Реставрации наши сердца до последней нитки.

Не знаю, существуют ли в Германии до сих пор защитники добродетели упомянутой леди. Но со времени Июльской революции взгляды на многие вещи все же изменились, и, быть может, даже в Берлине люди разобрались в том, что добрая леди Макбет — весьма свирепая бестия.

О Ф Е Л И Я

(«Гамлет»)

Вот она — бедная Офелия, которую любил датчанин Гамлет. Это была белокурая красивая девушка, и особое очарование было в ее речах, оно трогало мое сердце еще тогда, когда я собрался уехать в Виттенберг и зашел проститься с ее отцом. Старик был столь любезен, что снабдил меня в дорогу добрыми советами, которыми сам он пользовался так редко, и потом приказал Офелии подать нам на прощанье вина. Когда милое дитя так скромно и грациозно подошло ко мне с подносом в руках и взглянуло на меня большими лучистыми глазами, я по рассеянности взял пустой кубок вместо кубка, наполненного вином. Она улыбнулась моей ошибке. В ее улыбке уже тогда было чудесное сияние, и опьяняющее очарование скользило по ее губам — оно шло, вероятно, от крохотных поцелуйных эльфов, затаившихся в уголках ее рта.

Когда я возвратился из Виттенберга и улыбка ее снова засияла мне навстречу, я позабыл все ухищрения схоластики, и мои раздумья ограничивались одними и теми же вопросами: почему она так улыбнулась в тот раз? Почему у нее такой голос, эти таинственно-томные интонации флейты? Откуда взялся у ее глаз этот благодатный свет?

Отблеск ли то небес или само небо светится лишь отраженным светом этих глаз? Связана ли эта улыбка с немою музыкой движущихся сфер или она только земной отзвук сверхчувственных гармоций? Однажды, когда мы гуляли в саду Эльсинорского замка и беседовали, обмениваясь нежными шутками, а сердца наши расцветали страстными желаниями... Никогда не забуду, какой убогой и жалкой показалась мне песнь соловья, в сравнении с овечьим дыханием небес голосом Офелии, и какими бедными и робкими были цветы с пестрыми, не улыбающимися лицами, когда я случайно сравнил их с пленительными губами Офелии! Стройная, скользила она рядом со мной, точно воплощенная грация!

Ах, таково уж проклятие, тяготеющее над слабыми людьми, — всякий раз, когда их постигает великая несправедливость, они вымещают досаду раньше всего на самом лучшем и милом из того, чем владеют. И бедный Гамлет разрушил прежде всего свой разум, это чудесное сокровище: притворившись помешанным, он кинулся в страшную пропасть подлинного безумия и истерзал свою несчастную возлюбленную язвительными колкостями... Бедное создание! Недоставало только, чтобы возлюбленный принял ее отца за крысу и заколол его насмерть!.. Тогда и она лишилась рассудка. Но ее безумие было не таким черным и беспокояно-мрачным, как гамлетовское, — точно в утешение ей, оно порождало призраки, с дивными песнями реявшие вокруг ее большой головки... Ее нежный голос тает в песне, и цветы и снова цветы переплетаются с ее мыслями: она поет, и плетет венки, и украшает ими голову, и улыбается своей сияющей улыбкой, бедное дитя!..

Есть ива над потоком, что склоняет
Седые листья к зеркалу волны;
Туда она пришла, сплетя в гирлянды
Крапиву, лютик, ирис, орхидей, —
У вольных пастухов грубей их клычка,
Для скромных дев они — персты умерших;
Она старалась по ветвям развесить
Свои венки; коварный сук сломался,
И травы и она сама упали
В рыдающий поток. Ее одежды,
Раскинувшись, несли ее, как нимфу;
Она, меж тем, обрывки песен пела,
Как если бы не чуяла беды

Или была созданием, рожденным
В стихии вод; так длиться не могло,
И одеянья, тяжело улившись,
Несчастную от звуков увлекли
В трясину смерти.¹

Но зачем же я рассказываю вам эту печальную историю! Все вы знаете ее с первых дней юности, и вы не раз рыдали над старой трагедией о Гамлете-датчанине, любившем бедную Офелию, любившем так, что сорок тысяч братьев со всей полнотою любви не могли ее любить столь горячо, впадшем в безумие потому, что ему явилась тень отца, и еще потому, что мир сорвался со своих петель, а он чувствовал себя слишком слабым, чтобы снова поставить его на место, и потому, что он все только размышлял в немецком Виттенберге и разучился действовать, и потому, что ему пришлось выбирать между безумием или стремительным действием, и потому, что он, как человек вообще, носил в себе задатки безумия.

Мы знаем этого Гамлета так же, как знаем собственное лицо, которое столь часто видим в зеркале и которое нам все же знакомо меньше, чем можно думать; ведь если бы нам на улице попался некто, в точности схожий с нами, мы лишь инстинктивно и с тайным испугом уставились бы на это неприятно знакомое лицо, не подозревая, что видим собственные свои черты.

КОРДЕЛИЯ («Король Лир»)

«В этой пьесе читателя ждут капканы и самострелы», — говорит один английский писатель. Другой замечает, что эта трагедия — лабиринт, в котором комментатору угрожает опасность заблудиться и в конце концов быть задушенным обитающим там минотавром; критическим ножом он может пользоваться здесь только для самозащиты. И в самом деле, неблагоприятная задача критиковать Шекспира — его, в чьих словах всегда нам звучит едкий критический смех над нашими собственными помыслами и делами: итак, почти немислимо судить его в этой трагедии, где его гений вознесся до самых головокружительных высот.

¹ Перевод М. Лозинского.

Я дерзаю подойти лишь к входу в это чудесное здание — только к экспозиции, сразу же возбуждающей наше изумление. Вообще, экспозиции шекспировских трагедий достойны удивления. Уже эти первые вступительные сцены вырывают нас из узкого круга наших будничных чувств и обычных мыслей и переносят в центр тех колоссальных событий, которыми поэт задумал потрясти и очистить наши души. Так, трагедия «Макбет» открывается встречей ведьм, и их вещное слово поработает не только сердце шотландского полководца, предстающего перед нами в уюении победой, но и наше собственное сердце, сердце зрителя, которое остается в неволе, пока не свершится и не завершится все. Если в «Макбете» нас с самого начала захватывает опустошающий, подавляющий все чувства ужас перед кровавым миром волшебства, то в «Гамлете» уже с первых же сцен мы содрогаемся холодной дрожью перед бледным царством призраков, мы не в силах отрешиться от таинственных впечатлений ночи, от кошмара непередаваемо тягостных страхов, — до тех пор, пока все не свершится, пока пропитанный трупным разложением воздух Дании не очистится снова и до конца.

В первых сценах «Лира» мы точно так же непосредственно вовлекаемся в чужие судьбы, возвещаемые, развертывающиеся и завершающиеся у нас на глазах. Поэт раскрывает перед нами зрелище, более потрясающее, чем все ужасы мира волшебств или царства призраков: здесь он показывает нам человеческую страсть, которая сносит все плотины разума и с неистовством прорывается наружу в грозном величии царственного безумия, соперничая с бушующей в безудержном возмущении природой. Но, думается мне, здесь предел этой необычайной мощи, этого своеволия, с помощью которых Шекспир обычно овладевал своим сюжетом; здесь власть его гения гораздо сильнее, чем в упомянутых трагедиях — «Макбете» и «Гамлете», где ему удалось с художественной невозмутимостью дать рядом с самыми мрачными тенями душевной ночи радужнейшие блески остроумия, рядом с самыми свирепыми деяниями — бесконечно радостную идиллию. Да, в трагедии «Макбет» нас с улыбкой встречает кроткая, умиротворенная природа: тихие ласточкины гнезда лепятся у карнизов замка, в котором совершается самое кровавое злодеяние; во всей пьесе чувствуется

ласковое шотландское лето, не слишком прохладное, не слишком знойное, повсюду — живописные деревья и зеленая листва, а под конец, маршируя, появляется целый лес — Бирнамский лес приходит в Дунсинан. И в «Гамлете» прелесть природы тоже противопоставляется тягостным событиям; пускай в груди героя длится ночь, утренняя заря загорается такая же румяная, Полоний — забавный шут, и актеры спокойно разыгрывают комедию, и под зеленой сенью деревьев сидит бедная Офелия, плетя венки из пестрых, пышно распускающихся цветов. Но в «Лире» нет таких контрастов между природой и действием, и вырвавшиеся на волю стихий ревут и бушуют, соперничая с обезумевшим королем. Уж не влияют ли эти чрезвычайные события в моральной сфере и на так называемую мертвую природу? Не существует ли между ней и человеческой душой какого-либо внешне приметного сродства? Не познал ли его наш поэт и не хотел ли он его показать?

С первых же сцен этой трагедии мы попадаем, как уже говорилось, в центр событий, и, как ни прозрачно небо, зоркий глаз уже издали видит надвигающуюся грозу. Вот в сознании Лира появилось облачко, которое впоследствии, сгустившись, породит беспросветнейшую духовную ночь. Кто все раздает так, как он, тот уже сумасшедший. Мы уже в экспозиции узнаем и о душевном состоянии героя и о характерах дочерей: нас сразу же трогает молчаливая нежность Корделии, этой современной Антигоны, превосходящей искренностью свою античную сестру. Да, она чиста духом, как поймет это король, лишь внав в безумие. Совсем чиста? Мне кажется, что она чуть-чуть своенравна, и это пятнышко — родимое пятнышко, унаследованное от отца. Но подлинная любовь очень стыдлива и испавидит пустословие, ей дано только плакать и истекать кровью. Печальная горечь, с которой Корделия намекает на лицемерие сестер, порождена глубочайшей нежностью и по характеру своему полностью совпадает с той иронией, к которой иногда прибегал учитель всяческой любви, герой евангелия. Ее душа изливается в справедливейшем негодовании и вместе с тем обнаруживает все свое благородство в словах:

Когда б я одного отца любила,
То замуж бы не вышла никогда. ¹

¹ Перевод А. Дружинина.

Д Ж У Л Ь Е Т Т А
(«Ромео и Джульетта»)

В самом деле, в каждой шекспировской пьесе — свой климат, свое определенное время года и свои местные особенности. Как персонажи каждой из этих драм, так и земля и небо, показанные в них, имеют свое особое лицо. Здесь, в «Ромео и Джульетте», мы перевалили через Альпы и очутились внезапно в прекрасном саду, именном Италийей...

Ты знаешь край? — Лимоны там цветут,
К листве, горя, там померанцы льнут...¹

Солнечную Верону Шекспир избрал ареной великих подвигов любви, прославлению которых он посвятил «Ромео и Джульетту». Да, не только упомянутая чета — сама любовь является героем драмы. Перед нами здесь любовь в ее юношески дерзких проявлениях, восстающая против всех враждебных обстоятельств, всепобеждающая... Ибо в великой борьбе она не боится искать поддержки у самого страшного, но и самого надежного союзника — у смерти. Любовь в союзе со смертью непреодолима. Любовь! Это самая возвышенная и победоносная из всех страстей. Но ее всепокоряющая сила заключается в безграничном великодушии, в почти сверхчувственном бескорыстии, в самоотверженном презрении к жизни. Для любви не существует вчера, любовь не думает о завтра... Она жадно тянется к нынешнему дню, но этот день нужен ей весь, неограниченный, неомраченный. Она ничего не хочет беречь для будущего, она пренебрегает подогретыми остатками прошлого... «Впереди — ночь, позади — ночь». Она блуждающий огонек между одной и другой тьмой... Как она возникает?.. От непостижимо крохотных искорок!.. Как кончается?.. Она гаснет без следа так же непостижимо. Чем неистовее она пылает, тем скорее гаснет... Но это не мешает ей безоглядно отдаваться пламенным влечениям так, как будто это пламя будет гореть вечно.

Ах, если великая страсть овладевает нами во второй раз в жизни, — у нас, к сожалению, нет уже прежней веры в ее бессмертие, и мучительнейшее из воспоминаний говорит нам о том, что в конце концов она сама себя пожи-

¹ Перевод С. Шервинского,

рает... Отсюда несходство между меланхолией, порожденной первой любовью, и меланхолией, порожденной второй любовью... В первый раз нам думается, что нашу страсть в силах оборвать только трагическая смерть, и в самом деле, если нет других возможностей преодолеть угрожающие нам препятствия, мы с легкостью решаемся сойти в могилу вместе с возлюбленной... Напротив, когда приходит вторая любовь, в наше сознание закрадывается мысль о том, что самые наши неистовые и прекрасные чувства сменяются со временем успокоенным равнодушием и мы когда-нибудь бросим безразличный взгляд на те самые глаза, губы или бедра, которые сегодня заставляют нас дрожать от восторга... Ах, эта мысль более печальна, чем любое предчувствие смерти! Какое безотрадное чувство — в минуту самого жаркого уносния думать о грядущей трезвости и холодности и знать по опыту, что высокие поэтические и героические страсти имеют такой плачевно-прозаический конец!

Высокие поэтические и героические страсти! У них манеры театральных принцесс, они густо наруганы, пышно разодеты, обвешаны сверкающими драгоценностями, они с горделивым видом выступают по сцене и декламируют размеренные ямбы. Но когда упадет занавес, бедная принцесса облачится снова в будничное платье, сотрет с лица румяна и, сдав пышный наряд костюмеру, повиснет, пожимаясь от холода, на руке первого встречного референдаря городского суда, залепчет на скверном берлинском диалекте, заберется бок о бок с ним в мансарду, зевая, положит голову на подушку и сохранит, не слыша сладких уверений: «Вы играли божественно, клянусь честью...»

Я не дерзаю ни в малейшей степени порицать Шекспира и хотел бы лишь выразить удивление по поводу того, что он заставил Ромео пережить страсть к Розалинде, прежде чем привел его к Джульетте. Хотя он безраздельно отдается второй любви, в душе у него все же гнездится известная доля скепсиса; скепсис этот выражается в пронических фразах и нередко заставляет нас вспоминать Гамлета. А может быть, вторая любовь у мужчины сильнее именно потому, что она неразрывно связана с ясным самосознанием. Женщина не знает второй любви, ее натура слишком нежна, чтобы дважды пережить страш-

нейший душевный катаклизм. Взгляните на Джульетту. Неужели у нее хватило бы сил во второй раз вынести весь этот переизбыток блаженства и ужаса, во второй раз преодолеть нерешительность и выпить до дна страшный кубок? Думается мне, что она сыта уже и первой любовью, эта несчастная счастливица, эта чистая жертва великой страсти.

Джульетта любит впервые, и любит со всей безраздельностью здорового тела и здоровой души. Ей четырнадцать лет, что в Италии равняется семнадцати годам по северному исчислению. Она — нераспустившаяся роза, на наших глазах расцветающая под поцелуями Ромео во всем великолепии юности. Она не из книг — светских или духовных — узнала, что такое любовь; ей рассказало об этом солнце, месяц повторил его рассказ, и, точно эхо, отозвалось ее сердце в ночные часы, когда она была уверена, что ее никто не подслушает. Но Ромео стоял под балконом, слышал ее речи и поймал ее на слове. Любовь ее соткана из правды и здоровья. Здоровьем и правдой веет от этой девушки, трогательно звучат ее слова:

Мое лицо под маской ночи скрыто,
Но все оно пылает от стыда
За то, что ты подслушал пылче ночью.
Хотела б я приличья соблюсти,
От слов своих хотела б отказаться,
Хотела бы... Но нет, прочь лицемерье!
Меня ты любишь? Знаю, скажешь: «Да».
Тебе я верю. Но, хоть и поклявшись,
Ты можешь обмануть: ведь сам Юпитер
Над клятвами любовников смеется.
О милый мой Ромео, если любишь —
Скажи мне честно. Если ж ты находишь,
Что слишком быстро победил меня, —
Нахмурюсь я, скажу капризно: «Нет»,
Чтоб ты молил. Иначе — ни за что!
Да, мой Монтекки, да, я безрассудна,
И ветреной меня ты вправе считать.
Но верь мне, друг, — и буду я верней
Всех, кто себя вести хитро умеет.
И я могла б казаться равнодушной,
Когда б ты не застал меня врасплох
И не подслушал бы моих признаний.
Прости ж меня, прошу, и не считай
За легкомысленный порыв мой страстный,
Который ночи мрак тебе открыл.¹

¹ Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

ДЕЗДЕМОНА

(«Отелло»)

Выше я вскользь указал, что в характере Ромео есть нечто гамлетовское. В самом деле, северная серьезность бросает скользящие тени на эту пламенную душу. Когда сравниваешь Джульетту и Дездемону, в первой тоже чувствуется северное начало: несмотря на всю силу своей страсти, она все же не теряет самосознания и благодаря этому ясному самосознанию сохраняет власть над своими поступками. Джульетта любит, думает, действует. Дездемона любит, чувствует, повинуетя, но не голосу собственной воли, а более могучим велениям. Ее превосходство выражается в том, что зло не может иметь той власти над ее благородной натурой, какую имеет добро. В отцовском палаццо она, конечно, навсегда осталась бы застенчивой девушкой, погруженной в домашние дела; но слуха ее коснулся голос мавра, и, даже с опущенными долу глазами, она все же угадала его лицо в словах, в рассказах, или, как она выражается, «в его душе»... И это страдающее, благородное, прекрасное, светлое лицо его души увлекло ее сердце неотразимо пленительными чарами. Да, он прав, ее отец, его премудрость господин сенатор Брабанцио: могущественнейшие чары нужны были для того, чтобы это робкое, нежное дитя почувствовало влечение к мавру и не испугалось безобразной черной маски, которую толпа принимала за подлинное лицо Отелло...

Любовь Джульетты — деятельная, любовь Дездемоны — страдательная: она как подсолнечник, который и сам не знает о том, что лицо его всегда обращено к великому дневному светилу. Она истая дочь юга, нежная, впечатлительная, терпеливая, как те стройные женщины санскритской поэзии, огромные глаза которых излучают такое трогательное, такое нежное, такое задумчивое сияние. Она напоминает мне Сакунталу Калидасы, этого Шекспира Индии.

Английский гравер, которому мы обязаны прекрасным портретом Дездемоны, придал, пожалуй, слишком много страсти выражению ее больших глаз. Но я уже, кажется, указывал, как много увлекательной прелести в контрасте между лицом и характером. Во всяком случае, это лицо чрезвычайно красиво и должно очень нравиться автору

этих страниц, так как напоминает ему великолепную красавицу, которая, слава богу, никогда особенно не разбиралась в чертах его лица и до сего дня видела только лицо его души...

Отец ее любил меня, звал часто,
Расспрашивал меня про жизнь мою,
За годом год, про битвы, про осады,
Про все, что я изведал.
Я вел рассказ от детских лет моих
Вплоть до начала нашей с ним беседы:
Я говорил о бедственных событиях,
О страшных случаях в морях и в поле,
О штурмах брешей под нависшей смертью,
О том, как я был дерзко в плен захвачен
И продан в рабство, выкуплен оттуда,
И что я видел в странствиях моих.
Здесь о больших пещерах, о пустынях,
О диких скалах, кручах, вросших в небо,
Речь заводил я, — так всегда бывало;
О канибалах, что едят друг друга,
Антропофагах, людях с головою,
Растущей ниже плеч. И Дездемона
Усердно слушала. Но сплошь и рядом
Мешали ей домашние дела.
Она старалась их скорее справиться,
И возвращалась к нам, и жадным ухом
Глотала мой рассказ. Заметив это,
Я у нее, в удобный час, однажды
Исторг из сердца искреннюю просьбу
Подробно изложить мои скитанья,
Известные ей только по отрывкам,
Кой-как услышанным. Я согласился
И часто похищал ее слезу,
Какую-нибудь помянув невзгоду
Из юных лет моих. Окончив повесть,
Я пагражден был целым миром вздохов;
Все это дивно, несказанно дивно, —
Клялась она, — и грустно, слишком грустно;
Жалела, что услышала; сказала,
Что все ж завидно быть таким; что если б
Какой-нибудь мой друг в нее влюбился,
То, заучив рассказ мой, он бы мог
Пленить ее. Я понял — и сказал:
Я стал ей дорог тем, что жил в тревогах,
А мне она — сочувствием своим.¹

Утверждают, что эта трагедия была одним из последних трудов Шекспира, как «Тит Андроник» считается

¹ Перевод М. Лозинского.

его первым произведением. И в том и в другом увлекательно разработана тема страсти красивой женщины к безобразному негру. Зрелый человек вернулся к проблеме, которая занимала его когда-то в юности. Удалось ли ему теперь разрешить ее окончательно? Можно ли назвать его решение равно прекрасным и истинным? Глубокая печаль порой охватывает меня, когда я даю волю мыслям о том, что, может быть, не совсем неправ честный Яго в своих ядовитых толкованиях любви Дездемоны к мавру. Но особенно неприятно задевает меня замечание Отелло, что у его супруги влажные руки.

Столь же необычайный и замечательный пример любви к негру, какой мы видим в «Тите Андронике» и «Отелло», можно найти в «Тысяче и одной ночи», где некая прекрасная принцесса, бывшая в то же время волшебницей, скопала своего супруга чарами и, превратив в подобие статуи, ежедневно стегает его розгами за то, что он убил ее возлюбленного, безобразного негра. Принцесса испускает душераздирающие вопли у одра, на котором возлежит черный покойник, причем ей путем волшебства удается поддерживать в нем мнимую жизнь; она покрывает его поцелуями, в которых изливается все ее отчаяние, и мечтает о том, как бы с помощью еще более могучего волшебства, волшебства любви, вызвать его из дремотного полунсбытия к полной и подлинной жизни. Еще когда я был мальчиком, меня поразил в арабских сказках этот образ страстной и непостижимой любви.

Д Ж Е С С И К А

(«Венецианский купец»)

Когда я смотрел эту пьесу на сцене театра Дрюри-Лейн, в ложе за моей спиной стояла красивая бледная британка; в конце четвертого акта она горько расплакалась и несколько раз воскликнула: «The poor man is wronged!» («Как несправедливо поступили с этим человеком!»). У нее было лицо благороднейшего греческого стиля, глаза огромные и черные. Я навсегда запомнил эти огромные черные глаза, проливавшие слезы о Шейлоке.

И вот, вспоминая эти слезы, я считаю пужным отнести «Венецианского купца» в разряд трагедий, хотя эта пьеса обрамлена самыми веселыми масками, изображениями сатиров и амуров и хотя сам поэт, собственно говоря, хотел создать комедию. Возможно, что Шекспир имел намерение вывести на потеху толпе затравленного оборотня, отвратительное сказочное существо, жаждущее крови, расплачивающееся за свою страсть утратой дочери и дукатов и вдобавок кс всему осмеянное. Но гений поэта, мировой дух, управляющий его поступками, всегда оказывается в нем мудрее личной воли, и так случилось, что в Шейлоке он вынес, несмотря на его кричащую карикатурность, оправдательный приговор несчастной секте, которую провидение в силу каких-то таинственных соображений заставило нести бремя ненависти низшей и знатной черни и которая далеко не всегда склонна платить за ненависть любовью.

Но что я говорю? Гений Шекспира вознесся выше этой мелочной вражды между двумя религиозными группами, и в его драме не выведены, собственно говоря, ни евреи, ни христиане: мы видим в ней угнетателей и угнетенных и слышим крик безумного страдальческого ликования, когда последним удастся с лихвой отплатить своим наглым мучителям за перенесенные унижения. В этой пьесе нет ни малейшего намека на различие религий, и в Шейлоке Шекспир выводит перед нами только человека, от которого природа требует ненависти к врагу, — подобно тому, как Антонио и его друзья изображены у него отнюдь не последователями божественного учения, которое повелевает нам возлюбить врагов. Когда Шейлок говорит человеку, желающему занять у него деньги:

Синьор Антонио, неоднократно
Меня вы на Риальто попрекали
И золотом моим и барышом, —
Я пожимал плечами терпеливо:
Терпеть — удел народа моего;
Безбожником, собакой обзывали,
Плевали на еврейский мой кафтан,
И все за то, что пользу мне приносит
Мое добро. Пусть так. Теперь же вдруг
Я стал вам нужен. Вы ко мне явились,
Вы говорите: «Денег, Шейлок!» Вы,
Плевавший мне на бороду, пинавший
Меня ногой, как гонят прочь с порога

Чужого пса... Вам денег подавай!
Что ж мне ответить? Не сказать ли вам:
«Где денег взять собаке? Как же может
Взаимы три тысячи дукатов дать
Паршивый пес?» Иль, может быть, я должен,
Едва дыша, согнувшись раболепно,
Пролепетать:
«Мой добрый господин, меня в ту среду
Пинком почтили вы, на днях — плевком
И обзывали псом. За эти ласки
Я вас ссужу деньгами?»¹

И когда Антонио отвечает:

Смотри, не угостил бы я тебя
Опять плевком, побоями и бранью!¹ —

то в чем здесь проявляется христианская любовь? Поистине, Шекспир создал бы сатиру на христианство, если бы вывел в качестве представителей его тех, кто противостоит Шейлоку как враг и все же едва ли достоин развязать ремень его башмака. Банкрот Антонио — слабый, вялый характер, которому не дано сильно любить, а значит, и сильно ненавидеть, человек с тусклой душой червяка, мясо которого годится в самом деле лишь как приманка для рыбы. Он, впрочем, вовсе не собирается возвращать обманутому еврею взятые у него в долг три тысячи дукатов. Бассанио тоже не отдает ему денег — это чистокровный *fortune-hunter*,² по выражению одного английского критика; он занимает деньги, чтобы попышнее принарядиться и заполучить богатую невесту с крупным приданым, ибо, говорит он своему другу:

Вы знаете, Антонио, как сильно
Я состоянье подорвал свое,
Роскошествуя больше, чем позволить
Могли мне средства скромные мои.
Не в том беда, что широко, как раньше,
Уже нельзя мне жить. Моя забота —
Как выйти с честью из больших долгов,
В которые роскошный образ жизни
Меня вовлек.¹

Что же касается Лоренцо, то он является соучастником подлейшего грабежа и, согласно прусским законам, был бы приговорен к пятнадцати годам тюремного заклю-

¹ Перевод И. Мандельштама.

² Охотник за фортуной (*англ.*).

чения, к позорному столбу и клейму, хотя он проявлял пылкую склонность не только к краденым дукатам и драгоценностям, но и к красоте природы, к ландшафтам с лунным освещением и к музыке. Если же обратиться к другим благородным венецианцам, в сопровождении коих появляется на сцене Антонио, то и они, видимо, не слишком презирают деньги, и для впавшего в несчастье друга у них не находится ничего, кроме слов, этой из воздуха литой разменной монеты. Наш добрый пиетист Франц Горн делает по этому поводу следующее весьма пресное, но вполне правильное замечание: «Здесь свое- временно задать вопрос: как могло случиться, что несчастье, постигшее Антонио, приняло такие размеры? Вся Венеция знала и уважала его, добрые приятели были точно осведомлены о подписанном им обязательстве, а также о том, что еврей не отступит ни от одного пункта. Тем не менее они теряют день за днем, пока, наконец, не проходит три месяца и вместе с ними исчезает всякая надежда на спасение. А ведь этим добрым друзьям, которые, по-видимому, целыми толпами ходили за королевски щедрым купцом, казалось бы довольно легко было сколотить сумму в три тысячи дукатов и спасти человеческую жизнь — да еще какую! Но ведь такого рода дела всегда немножко накладны, и потому эти милые и добрые друзья, — именно потому, что все они — только так называемые друзья, или, если угодно, наполовину или на три четверти друзья, — не предпринимают ничего, ровно ничего, решительно ничего. Они весьма сочувствуют этому превосходному купцу, который когда-то задавал им такие прекрасные пиры, но стараются при этом избежать проистекающих отсюда беспокойств: они от всего сердца последними словами ругают Шейлока, что также не угрожает им ни малейшими осложнениями, и, вероятно, не сомневаются в том, что добросовестно выполнили дружеский долг. Какую бы ненависть ни питали мы к Шейлоку, мы не можем осудить его, если он немножко презирает этих людей — что он, по-видимому, и делает. Ведь и Грациано, которого оправдывает отсутствие, он в конце концов, видимо, смешивает с ними и зачисляет в ту же категорию, давая ему резкий отпор за прежнюю его бездеятельность и теперешнюю болтовню:

Хулой печати с векселя не спишешь,
Ты только надрываешь криком грудь.
Отдай свой ум в починку, милый мальчик,
Не то он треснет. Права я ищу». ¹

Или, может быть, представителем христианства следует признать Ланчелота Гоббо? Несколько страшно, что Шекспир нигде не высказывается о христианстве с такой определенностью, как в одном из разговоров, которые этот плут ведет со своей повелительницей. На слова Джессики: «Я спасусь через моего мужа: ведь он сделал меня христианкой», — Ланчелот Гоббо отвечает:

«И за это весьма достоин порицанья. Нас, христиан, было и без того довольно — ровно столько, сколько могло жить бок о бок в добром согласии. А если понаделать еще христиан, то, пожалуй, повысится цена на свинину. Коли мы все начнем есть свинину, то скоро нельзя будет ни за какие деньги достать ломтя жареного сала». ¹

Поистине, если исключить Порцию, Шейлок окажется самой почтенной фигурой в пьесе. Он любит деньги, он не скрывает своей любви к ним, он кричит о ней посреди площади. Но существует нечто все-таки более дорогое для него, чем деньги, — это удовлетворение уязвленного сердца, это — справедливое возмездие за невыразимые унижения: и хотя ему предлагают возратить вдесятеро большую сумму, он отказывается от нее и не пожалует о потере трех тысяч, десятикратных трех тысяч дукатов, если он такой ценой приобретет фунт мяса своего врага. «На что тебе годится его мясо?» — спрашивает Саланио. И он отвечает: «Рыбу удить на него! Пусть никто не насытится им, оно насытит месть мою. Он меня опозорил, помешал нажать мне полмиллиона, смеялся над моими убытками, глумился над моими барышами, поносил мой народ, препятствовал моим делам, охлаждал моих друзей, горячил моих врагов, — а все почему? Потому что я еврей. Да разве у еврея нет глаз? Разве у еврея нет рук, внутренних органов, частей тела, чувств, привязанностей, страстей? Разве не та же самая пища питает его, не то же оружие ранит его, не те же болезни поражают его, не те же средства лечат его, не так же знобит зима, не так же греет лето, что и христианина? Когда нас

¹ Перевод И. Мандельштама.

колот, разве из нас не течет кровь? Когда нас щекочут, разве мы не смеемся? Когда нас отравляют, разве мы не умираем? А когда нас оскорбляют, разве мы не должны мстить? Если мы во всем похожи на вас, то мы хотим походить и в этом. Если еврей оскорбит христианина, что внушает тому его христианское смирение? Мстить! А если христианин оскорбит еврея, каково должно быть его терпение по христианскому примеру? Тоже мстить! Гнусность, которой вы меня учите, я покажу вам на деле. И уж поверьте, я превзойду своих учителей!»¹

Нет, Шейлок любит деньги, но есть на свете и другое, к чему он привязан гораздо сильнее, в том числе — дочь, его дочь, «Джессика, дитя мое». Хотя он в сильнейшей вспышке гнева проклинает дочь и хотел бы видеть ее у своих ног мертвой, с драгоценными серьгами в ушах, с дукатами в гробу, — все равно он любит ее больше всех на свете дукатов и драгоценностей. Изгнанному из общественной жизни, из христианской среды, за тесную ограду домашнего благополучия, бедному еврею остались ведь только семейные привязанности, и они проявляются у него с трогательнейшей сердечностью. Бирюзу, кольцо, которое когда-то подарила жена, его Леа, он не отдал бы «за целый лес безьян». Когда в сцене суда Бассанио обращается к Антонио со следующими словами:

Антонио, я только что повенчан,
Жена мне дорога, как жизнь моя,
Но жизнь мою, жену, весь мир ценю я
Не выше, чем твою, о друг мой, жизнь.
Я все бы отдал, все принес бы в жертву,
Чтоб этот дьявол отпустил тебя¹ —

когда Грациано тут же добавляет:

А я, как ни люблю свою жену,
Хотел бы, чтоб она была на небе
И умолила бога повлиять
На этого свирепого еврея¹ —

в Шейлоке в эту минуту пробуждается страх за судьбу дочери, которая связала свою жизнь с одним из людей, способных пожертвовать женой ради друзей, и не вслух, а «в сторону» говорит он сам себе:

¹ Перевод И. Мандельштама.

Вот каковы мужа у христианок!
Скорей бы я в роду Вараввы зятя
Искал себе, чем взял христианина.¹

Это место, эти слова, сказанные шепотом, про себя, являются обоснованием того обвинительного приговора, который нам приходится вынести Джессике. Он полон любви к ней, этот отец, которого она покинула, которого она ограбила, которого она предала... Позорное предательство! Она даже действует заодно с врагами Шейлока, и когда последние рассказывают о нем в Бельмонте всякие мерзости, глаза Джессики не опускаются, губы Джессики не бледнеют, — нет, Джессика говорит об отце хуже всех. Страшное преступление! Она лишена чувства и полна лишь жажды приключений. Она так тосковала в строго замкнутом «честном» доме угрюмого еврея, что дом этот в конце концов стал казаться ей адом. Веселые звуки барабана и длиннейшей флейты слишком сильно притягивали легкомысленное сердце. Еврейку ли хотел изобразить Шекспир? Конечно, нет: он изображает одну из дочерей Евы, одну из тех красивых птичек, которые, едва оперившись, улетают из отцовского гнезда к своему избраннику. Так Дездемона ушла с мавром, так Имогена ушла с Постумием. Таков женский обычай. В Джессике особенно сильно чувствуется робкая застенчивость, которую она преодолевает с трудом, когда ей приходится переодеться мальчиком. Возможно, что в этой черте сказалось своеобразное целомудрие, свойственное ее племени и придающее такое чудесное очарование его дочерям. Целомудрие евреев является, быть может, следствием борьбы, которую они издавна вели с тем восточным поклонением страстям и сладострастию, что расцвело когда-то таким пышным цветом у их соседей — египтян, финикийян, ассирийцев и вавилонян — и сохранилось, непрестанно видоизменяясь, до настоящего дня. Евреи — целомудренный, воздержанный, я готов почти сказать, абстрактный народ, и по чистоте нравов они ближе всего народам германской расы. Скромность еврейских и германских женщин не имеет, быть может, абсолютной ценности, но в проявлениях своих она производит самое милое, грациозное и

¹ Перевод И. Мандельштама.

трогательное впечатление. До слез умиляет, например, то, что после поражения кимбров и тевтонов женщины умоляют Мариа не отдавать их солдатам, а отправить в качестве рабынь к жрицам Весты.

В самом деле, поразительно, какое глубокое сродство существует между евреями и германцами, этими народами — носителями нравственности. Это сходство возникло не по ходу их истории, не потому хотя бы, что великая семейная хроника евреев, библия, служила всему германскому миру воспитательной книгой, а также и не потому, что евреи и германцы были с древнейших времен непримиримыми врагами римлян и, следовательно, естественными союзниками; сродство это коренится глубже, и оба народа в основе своей так походят друг на друга, что древнюю Палестину мы могли бы воспринимать как Германию Востока, между тем как нынешнюю Германию следовало бы считать родиной священного писания, землей, породившей пророков, твердыней чистой духовности.

Но не только Германия носит на себе черты Палестины, — Европа вместе с ней стремится подняться до высоты, на которой стоят евреи. Я говорю: «стремится подняться», ибо евреи были с самого начала носителями того нового принципа, который только сейчас определенно входит в жизнь европейских народов.

Греки и римляне были восторженно преданны родной земле, отчизне. Более поздние переселенцы, проникнувшие с севера в греко-римский мир, были преданны личности своего вождя, и в средние века на смену древнему патриотизму пришла верность вассалов, приверженность князьям. Евреи же искони были преданны только закону и абстрактной мысли, подобно нашим космополитически настроенным республиканцам новейшего времени, которые почитают в качестве высшего начала не родину и не особу государя, а закон. Да, космополитизм вырос, в сущности, целиком на почве Иудеи, и Христос, который был подлинным евреем, вопреки негодованию упомянутого выше гамбургского бакалейного торговца, положил, в сущности говоря, начало пропаганде идеи мирового гражданства. Что же касается республиканизма евреев, то, помнится, мне приходилось читать у Иосифа, что в Иерусалиме существовали республиканцы, противопоставлявшие себя монархически настроенным сторонникам Ирода; они

отличались исключительной храбростью, ни к кому не обращались со словом «господин» и яростно ненавидели римский абсолютизм; свобода и равенство были их религией. Какие мечтатели!

Что же, однако, является основной причиной той ненависти, которую мы до сего дня отмечали в Европе между приверженцами Моисеева закона и Христова учения, страшную картину которой развернул перед нами поэт в «Венецианском купце», воплотив здесь общее в характерных частностях? Проявляется ли в этом исконная братоубийственная ненависть, вспыхнувшая между Каином и Авелем тотчас же после сотворения мира на почве различия обрядов? Или религия вообще — лишь предлог, и люди ненавидят друг друга только для того, чтобы ненавидеть, подобно тому, как они любят друг друга для того, чтобы любить? Кто повинен в этой ненависти? Не могу не привести, отвечая на этот вопрос, отрывок из одного частного письма, которое оправдывает, между прочим, и противников Шейлока:

«Я не осуждаю ненависть, которой простой народ преследует евреев; я осуждаю лишь несчастные заблуждения, породившие эту ненависть. Народ всегда по существу прав, в основе его ненависти и любви всегда лежит вполне правильный инстинкт, он только не умеет правильно формулировать свои восприятия, и гнев его обрушивается обычно не на сущность зла, а на человека, на невинного козла отпущения, который расплачивается за временные или местные неурядицы. Народ терпит нужду, у него слишком мало средств, чтобы пользоваться радостями жизни, и хотя жрецы государственной религии уверяют его, что «человек живет на земле, чтобы терпеть и, несмотря на голод и жажду, повиноваться властям», однако в народе не угасает тайное стремление к средствам наслаждения, и он ненавидит тех, чьи сундуки и кладовые набиты этими средствами; он ненавидит богатых и радуется, когда религия разрешает ему дать волю этой ненависти. Простой народ всегда ненавидел в евреях лишь обладателей денег, — лишь груды накопленного металла навлекали на евреев молнию его гнева. Дух каждой эпохи давал для этой ненависти свой лозунг. В эпоху средневековья этот лозунг был окрашен в мрачные тона католической церкви, евреев убивали и дома их разоряли «за то, что

они распяли Христа», точь-в-точь по той же логике, по какой во время восстания на Сан-Доминго чернокожие христиане носились с изображением распятого спасителя и в фанатическом иступлении кричали: «Les blancs l'ont tué, tuons tous les blancs». ¹

Друг мой, вы смеетесь над бедными неграм; уверяю вас, вест-индские плантаторы тогда не смеялись, — их истребляли во искушение Христа, как несколькими веками раньше — европейских евреев. Но чернокожие христиане на Сан-Доминго были тоже по существу правы! Белые жили праздно, отдаваясь всей полноте наслаждений, между тем как негр вынужден был работать на них в поте черного лица своего, получая в награду лишь очень немного рисовой муки и очень много ударов плетью: чернокожие — это простой народ.

Мы живем не в средние века, и простой народ тоже становится более просвещенным. Он уже не убивает евреев на месте и не прикрашивает свою ненависть религией; наше время уже не знает такой наивной и пламенной веры, традиционная вражда переведена на современный язык, и чернь в пивных, как в парламентах, ораторствует против евреев, прибегая к финансовым, промышленным, научным и даже философским аргументам. Только отпетые лицемеры придают еще и в наши дни своей ненависти религиозную окраску и преследуют евреев во имя Христа; широкие массы чистосердечно сознаются, что здесь в основе лежат материальные интересы и что они стремятся всеми возможными средствами помешать евреям в проявлении их промышленных талантов. Например, здесь, во Франкфурте, право на вступление в брак получают ежегодно лишь двадцать четыре последователя Моисеевой веры — это делается затем, чтобы еврейское население не возрастало и чтобы не создавалась слишком сильная конкуренция купцам-христианам. Здесь открыто проявляется подлинная причина юдофобства с его подлинной физиономией, и физиономия эта вовсе не отличается угрюмым, фанатически-монашеским выражением, — у нее заплывшие, хитрые черты лавочника, который боится, что крылатый деловой гений Израиля обгонит его в торговых делишках.

¹ Белые убили его, перебьем всех белых! (франц.).

Но повинны ли евреи в том, что этот деловой гений получил у них столь угрожающее развитие? Вся вина в том безумии, во имя которого в средние века отрицалось значение индустрии, торговля рассматривалась как нечто неблагородное, а денежные операции — как нечто позорное, и поэтому значительная часть этих отраслей индустрии, а именно денежные операции, были предоставлены евреям; таким образом, не будучи допущены ко всем остальным ремеслам, они поневоле стали самыми смелливыми кушцами и банкирами. Их заставляли быть богатыми, а потом ненавидели за богатство; и хотя христианский мир в настоящее время отбросил свои предубеждения против индустрии и христиане в торговле и в ремесле стали такими же великими мошенниками и так же разбогатели, как и евреи, над последними по-прежнему тяготет традиционная народная ненависть. Народ все еще ненавидит их и рассматривает как представителей денежного богатства. Видите ли, в истории прав каждый: прав молот, права и наковальня».

П О Р Ц И Я

(«Венецианский купец»)

«Вероятно, все критики, судившие Шейлока с эстетической точки зрения, были до такой степени ослеплены и увлечены его изумительным характером, что не воздали должного Порции, хотя характер Шейлока разработан по-своему ничуть не художественнее, не совершеннее, чем по-своему разработан характер Порции. Обе эти блестящие фигуры достойны одинаковой чести: чести стоять бок о бок в великом обаянии чарующей поэзии и поразительных по изяществу форм. Рядом с ужасным, неумолимым евреем, резко выделяясь ярким своим сиянием на фоне гигантских теней, которые отбрасывает его образ, она точно роскошное, дышащее красотой полотно Тициана, повешенное рядом с великолепным Рембрандтом.

Порции отпущена соответствующая доля приятных свойств, которыми Шекспир щедро наделил многие из своих женских характеров, но наряду с благородством, ласковостью, нежностью, вообще отличающимися ее пол, она обладает еще особыми, только ей одной присущими

дарами: большою силою ума, вдохновенной душой, мужеством, и решительностью, и всеобъемлющей веселостью. Таковы ее прирожденные свойства; но у нее есть еще и другие превосходные внешние качества, обусловленные ее положением и отношениями. Так, она является наследницей княжеского имени и несчетного богатства; она всегда была окружена роем готовых к ее услугам развлечений; с детства она дышит пряным воздухом, насквозь пропитанным ароматами лести и всяческого благополучия. Отсюда — ее грациозная властность, благородное и величавое изящество во всем, что она делает и говорит, великолепный размах, свойственный тем, кто от рождения привык к блеску. Походка у нее — точно она шествует через мраморные дворцы с раззолоченными плафонами, где под ногами — паркет кедрового дерева и мозаика из яшмы и порфира, или гуляет по садам, где статуи, цветы и фонтаны и таинственно шепчущая музыка. Она полна всепроникающей мудрости, неподдельной нежности и живого остроумия. Но поскольку она никогда не знала ни лишений, ни скорби, ни страха, ни неудач, то в мудрости ее нет ни единой черточки мрачности; все ее внутренние движения сплавлены воедино с верой, надеждой и радостью, остроумие ее лишено малейшего привкуса злости или язвительности».

Вышеприведенные слова я заимствую из сочинения г-жи Джеймсон, носящего заглавие: «Нравственные, поэтические и исторические женские характеры». В этой книге речь идет только о шекспировских женщинах, и приведенное место свидетельствует об уме автора, вероятно шотландки по происхождению. То, что она говорит о Порции, противопоставляя ее Шейлоку, не только прекрасно, но и правильно. Если, согласно общепринятому толкованию, мы станем рассматривать последнего как воплощение закоренелой, суровой, враждебной искусству Иудеи, то Порция, напротив, встанет перед нами как воплощение того повторного цветения греческого духа, которое, пачавшись в Италии в шестнадцатом столетии, разлило по всему миру свое прекрасное благоухание и которое мы доныне любим и чтим под именем Ренессанса. И вместе с тем Порция является гармонично-ясным воплощением светлой радости в противоположность мрачному злосчастью, которое воплощает Шейлок. Какими цветущими

щими, какими радужными, какими гармонично-ясными кажутся нам ее мысли и речи, сколько радостной теплоты в ее словах, как прекрасны все ее образы, заимствованные главным образом из мифологии! И как, напротив, тусклы, жестки и безобразны мысли и речи Шейлока, который, в противоположность ей, употребляет только ветхозаветные сравнения. Его остроумие судорожно-сдко, он подыскивает самые отвратительные предметы для своих метафор, и даже слова его выливаются в искалеченные, уродливые звуки, резкие, свистящие, скрежещущие. Каков человек, таково и его жилье. Если мы видим, как слуга Иеговы, не терпящий в своем «честном доме» изображения бога или человека, созданного по образу и подобию божьему, затыкает даже уши этого дома, окна, чтобы в его «честный дом» не пробилась звуки языческого маскарада... то, с другой стороны, мы видим расточительнейшую и изысканнейшую villeggiatura¹ — жизнь в прекрасном бельмонтском палаццо, где всюду только свет и музыка, где среди картин, мраморных статуй и высоких лавровых деревьев беззаботно гуляют нарядные женщины, размышляя о тайнах любви, и в центре всего этого великолепия, подобно богине, блистает сиеньора Порция.

Осенены лучистыми кудрями
Ее виски, как золотым руном...²

Благодаря такому контрасту оба главных действующих лица драмы настолько индивидуализированы, что кажется, будто это не созданные поэтической фантазией образы, а подлинные, женщиной рожденные люди.

Да, они представляются нам даже жизненное обыкновенных созданий природы, так как над ними не властны ни смерть, ни время и в их жилах бьется бессмертная кровь, вечная поэзия.

Когда приезжаешь в Венецию и бродишь по Дворцу дождей, знаешь наверное, что ни в зале сенаторов, ни на лестнице гигантов не встретишь тебе Марино Фальери; правда, в Арсенале вспомнится тебе старый Дандоло, однако ни на одной из раззолоченных галер ты не станешь искать этого слепого героя; на одном углу улицы Санта

¹ Жизнь на свежем воздухе (итал.).

² Перевод И. Маудельштама.

ты увидишь змею, высеченную на камне, на другом — крылатого льва, сжимающего в когтях змеиную голову, — тут в памяти твоей, быть может, всплывет гордый Карманьола, но всего лишь на одно мгновение! Зато гораздо чаще, чем обо всех этих исторических персонажах, вспоминаешь в Венеции о шекспировском Шейлоке, который все еще жив, а те давно истлели в могилах; когда поднимаешься на Риальто, твой взор ищет его повсюду, и, мнится, он где-то там, за одной из пилластр; на нем еврейский кафтан, лицо выражает недоверчивую расчетливость, и даже как будто слышишь иногда его пронзительный голос: «Три тысячи червонцев — хорошо!»

По крайней мере, я, неизменный мечтательный бродяга, все оглядывался на Риальто, не повстречается ли мне где-нибудь этот Шейлок. Мне хотелось ему рассказать кое о чем, что доставило бы ему удовольствие, например о том, что его родственник, г-н фон Шейлок парижский, стал самым могущественным бароном христианского мира и получил от его католического величества тот самый орден Изабеллы, который был некогда учрежден в память славного изгнания мавров и евреев из Испании. Но он нигде не повстречался мне на Риальто, и поэтому я решил искать старого приятеля в синагоге. Евреи как раз справляли здесь свой праздник очищения и стояли, укутанные в белые покрывала, зловеще покачивая головами, и было в них что-то напоминавшее сборище привидений. Бедные евреи, они стояли тут с самого раннего утра, отбывая пост и молитву, не спи и не шли со вчерашнего вечера, а перед тем им еще пришлось просить прощения у всех своих знакомых за причиненные в течение истекшего года обиды, дабы бог и им отпустил прегрешения — превосходный обычай, странным образом усвоенный людьми, которым ведь учение Христа всегда оставалось совершенно чуждым!

Стараясь разыскать старого Шейлока и внимательно вглядываясь в эти бледные, страдальческие еврейские лица, я сделал открытие, которого, к сожалению, не могу утаить. Надо сказать, что в тот же день мне пришлось посетить дом умалишенных Сан-Карло, и вот теперь, когда я попал в синагогу, меня поразило, что во взгляде свреев мерцает тот же неприятный полунеподвижный-полубеспокойный, полулукавый-полуидиотический блеск, который я незадолго перед тем уловил в глазах сума-

спешших Сан-Карло. Этот непередаваемо загадочный взгляд свидетельствовал вовсе не о потере разума, а скорее о безраздельном господстве одной навязчивой идеи. Уж не сделалась ли провозглашенная Моисеем вера в бога громов, пребывающего вне мира, навязчивой идеей целого народа, который, несмотря на то, что его в течение двух тысячелетий засовывали в смирительную рубашку и окатывали холодной водой, все-таки стоит на своем, подобно сумасшедшему адвокату в Сан-Карло, которого никак нельзя было разубедить в том, что солнце — английский сыр, что лучи его вовсе не лучи, а красные черви и что один такой червяк проник к нему в мозг и разъедает его?

Я ни в коем случае не собираюсь оспаривать ценность этой навязчивой идеи, я хочу только сказать, что носители ее слишком слабы для того, чтобы ею овладеть, она их подавляет, они больны ею. Сколько мучений перенесли они уже во имя этой идеи! Какие еще горшние мучения ожидают их впереди! Я содрогаюсь от ужаса при этой мысли, и бесконечное сострадание пронизывает мое сердце. В течение всего средневековья и поныне никогда господствующее мировоззрение не становилось в прямое противоречие с этой идеей, которую Моисей взвалил на плечи евреев, привязал к ним священными ремешками, врезал им в плоть; ведь они ничем существенным не отличались ни от христиан, ни от магометан, они отличались не прямо противоположным синтезом, а только толкованием и символом. Однако если когда-нибудь победит сатана, греховный пантеизм, от которого да сохранят нас все святые Ветхого и Нового завета, а также корана, то над головами бедных евреев соберется гроза преследований, далеко превосходящая все их прежние испытания...

Несмотря на то, что я украдкой заглядывал во все углы венецианской синагоги, мне нигде не удалось уловить присутствие Шейлока. И тем не менее мне все мерещилось, что он таится где-то тут, под одним из этих белых покрывал, и молится пламеннее остальных единоверцев, с бурной неукротимостью, более того — с неистовством, вознося мольбы свои к престолу Иеговы, жестокого бога-вседержителя! Я его не нашел. Но под вечер, в тот час, когда, согласно верованиям евреев, запираются небесные врата и уже ни одна молитва не удостоивается пропуска, мне послышался голос, так исходивший слезами... как

не в силах плакать даже глаза... То были рыдания, которые могут тронуть даже камень... То были скорбные вопли, могущие вырваться только из груди, сохранившей в глубине своей все страдания, которые сносил целый отданный на муку народ в течение восемнадцати веков... Так может хрипеть только душа, в смертельном утомлении поникшая перед небесными вратами... И этот голос мне был как будто хорошо знаком, и чудилось, я слышал его когда-то, когда он с такой же горестной безнадежностью взывал: «Джессика, дитя мое!»

КОМЕДИИ

МИРАНДА

Фердинанд

О чем же плачешь ты?

Миранда

О слабости моей. Она не смеет
В дар предложить то, что хочу отдать я,
Взять то, что мне нужнее самой жизни...
Но нет! Чем больше я скрываю чувства,
Тем прорываются они сильнее.
Прочь, лицемерье робкое! На помощь,
Святая искренность, приходи ко мне!..
Твоей женой я стану, если ты
Меня захочешь взять. А не захочешь,
Умру твоей рабой. Ты как подругу
Меня отвергнуть можешь, но не в силах
Мне помешать тебе служить всегда!

Фердинанд

Нет, будешь ты владычицей моею,
А я твоим рабом.

Миранда

Итак, отныне

Ты мой супруг?

Ф е р д и н а н д

О да! Ликует сердце,
Как пленник, вдруг отпущенный на волю.
Дай руку мне!

(«Буря», акт III, сцена 1.)¹

Т И Т А Н И Я

Входит Т и т а н и я со своей свитой.

Т и т а н и я

Составьте круг теперь и спойте песню!
Потом на треть минуты — все отсюда:
Кто — убивать червей в мускатных розах,
Кто — добывать мышей летучих крылья
Для эльфов на плащи, кто — сов гонять,
Что ухают всю ночь, дивясь на нас.
Теперь вы убаюкайте меня,
Потом ступайте: я хочу уснуть.

(«Сон в летнюю ночь», акт II, сцена 2.)²

П Е Р Д И Т А

П е р д и т а

Возьмите же цветы! Но я играю,
Как в пасторали в духов день! Наряд
Меняет нрав мой.

Ф л о р и з е л ь

Что бы ты, мой ангел,
Ни делала, — все лучше с каждым мигом.
Ты говоришь, — и я бы вечно слушал,
Поешь, — и я б хотел, чтоб продавала
И покупала, подавала бедным,

¹ Перевод М. Донского.

² Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

Молилась бы, распоряжалась в доме —
Все пеньем! Танцевать начнешь, — хотел бы,
Чтоб стала ты морской волной и в плавном
Движенье вечно-вечно колебалась;
Твой каждый шаг и каждый твой поступок
Является венцом твоих свершений,
Все царственно в тебе.

(«Зимняя сказка», акт IV, сцена 1.)¹

О Л И В И Я

В и о л а

Добрая госпожа, позвольте мне взглянуть на ваше лицо.

О л и в и я

Разве ваш господин поручил вам вести переговоры с моим лицом? Вот вы и отступили от вашей темы. Но мы сткинем завесу и покажем вам картину. (*Откидывает покрывало.*) Смотрите, сударь: вот такой я была сейчас. Разве не хорошо сделано?

В и о л а

Превосходно сделано, если только все это сделал бог.

О л и в и я

Краска, сударь, прочная; выдержит и ветер и ненастье.

В и о л а

Краса без лжи, где алый цвет и белый
Сама природа нежно навела,
Вы были бы всех женщин бессердечней,
Похоронив в могиле эту прелесть
И не оставив миру отпечатка.

(«Двенадцатая ночь», акт I, сцена 5.)²

¹ Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

² Перевод М. Лозинского.

И М О Г Е Н А

И м о г е н а

К вам под защиту прибегаю, боги!
От искусителей ночных и духов
Меня спасите.

(Засыпает.)

Я к и м о вылезает из сундука.

Я к и м о

Сверчки трещат: дух, от трудов усталый,
Сном подкрепляется. Так наш Тарквиний,
По тростнику подкравшись, разбудил
Невинность оскорбленьем. О Венера,
Как ложе украшаешь ты! Лилея,
Белей ты простынь! Если бы коснуться!
Хоть поцелуй! Бесценные рубины
Сомкнулись сладостно. Ее дыханьем
Благоухает комната; свеча
К ней клонится и хочет заглянуть
Под веки ей, чтоб увидеть светила
За окнами, завешенными белым
С небесно-голубым.

*(«Цимбелин», акт II, сцена 2.)*¹

Д Ж У Л И Я

Д ж у л и я

Из женщин многие ль исполнить могут
Такой приказ? Ах, бедный мой Протей!
Лисицу ты поставил в пастухи
Своих ягнят. О глупая! Зачем
Жалеешь ты того, кто так жестоко
Тобой пренебрегает? Отчего,
Любя ее, меня он презирает,
А я, его любя, должна жалеть?
Кольцо ему дала я в день разлуки,
Чтоб о моей любви он вспоминал,—
И вот теперь меня он посылает

¹ Перевод А. Курошевой.

Просить того, чего бы не хотелось
Мне получить, и предложить ей то,
Что я отвергнутым желала б видеть.
Я верность восхвалять его должна,
Которую хотела б опозорить.
Верна я, как невеста, господину,
Но не могу слугой ему быть верным,
Иль я должна сама себя предать.
И буду я ходатаем его,
Но равнодушным: в том свидетель небо,
Как сильно я желаю неудачи.

(«Два веронца», акт IV, сцена 4.)¹

СИЛЬВИЯ

Сильвия

Вот кошелек: возьми его себе
За преданность покинутой синьоре.
Прощай!

Уходит.

Джулия

Благодарить она вас будет, если
Сойдетесь с ней. О, как она добра,
Как благородна! Господин мой встретит
Холодность в ней, когда так горячо
Сочувствует она моей синьоре.
Ах, как любовь сама себя морочит!
Посмотрим на портрет ее. О, если б
Мое лицо в таком уборе было,
Оно не хуже было б, чем ее.
А все-таки польстил ей живописец,
Иль слишком я к себе пристрастна.
Ее коса каштанового цвета,
Моя же светло-русая. О, если
Лишь это к ней любовь его влечет,
Я заведу парик такого цвета.
Глаза у ней такие ж, как мои;
Но низок лоб — мой лоб гораздо выше.
Но что же в ней его очаровало,

¹ Перевод В. Миллера.

Чего бы он во мне любить не мог,
Когда любовь бывала б не слепою?
Возьми же, тень, с собою эту тень
Соперницы твоей. О, как он будет
Боготворить, лелеять, целовать
Тебя, бездушный образ! Но, когда бы
Был смысл малейший в этом поклоненьи,
Была бы я — не ты — его предметом.

(«Два веронца», акт IV, сцена 4.)¹

Г Е Р О

М о н а х

Кто тот, с кем вас в сношеньях обвиняли?

Г е р о

Кто обвинял, тот знает; я не знаю.
И если с кем-нибудь была я ближе,
Чем допускает девичья стыдливость,
Пускай господь мне не простит грехов!
Отец мой, докажи, что я с женщиной
Вела беседу в неурочный час,
Что этой ночью тайно с ним встречалась, —
Гони меня, кляни, пытай до смерти!

(«Много шуму из ничего», акт IV, сцена 1)²

Б Е А Т Р И Ч Е

Г е р о

Но женщины с таким надменным сердцем
Природа до сих пор не создавала;
Глаза ее насмешкою блестя,
На все с презреньем глядя; ум свой ценит
Она так высоко, что все другое
Ни в грош не ставит. Где уж там любить!
Она любви не может и представить —
Так влюблена в себя.

.....

¹ Перевод В. Миллера.

² Перевод Г. Щепкиной-Куперник.

У р с у л а

Разборчивость такая непохвальна.

Г е р о

И быть такую странной, своенравной,
Как Беатриче, — вовсе не похвально.
Но кто посмеет это ей сказать?
Осмелюсь я — да ведь она меня
Насмешкой уничтожит, вгонит в гроб!
Пусть лучше, как притушенный огонь,
Наш Бенедикт зачахнет от любви:
Такая легче смерть, чем от насмешки.
Ужасно от щекотки умереть.

*(«Много шуму из ничего»,
акт III, сцена 1.)*¹

Е Л Е Н А

Е л е н а

И, преклонив колена,
Я признаюсь пред богом и пред вами,
Что больше вас и первым после бога
Бертрама я люблю.
Хотя мой род и небогат — он честен.
Так и моя любовь. И оскорбить
Того, кто мной любим, она не может.
Назойливо преследовать его
Я не пыталась. Ждать любви ответной
Не стану я, пока не заслужу;
А чем мне заслужить ее — не знаю.
Люблю его напрасно, без надежды:
Неиссякающий поток любви
Лью в решето, его не наполняя.
Я, как индеец, поклоняюсь солнцу,
Которое, взирая с высоты,
Меня не замечает. Госпожа,
Не гневайтесь на то, что я посмела
То полюбить, что любите и вы.

*(«Конец — делу венец», акт I, сцена 3.)*²

¹ Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

² Перевод М. Донского.

СЕЛИЯ

Розалинда

С этой минуты я развеселюсь, сестрица! И буду придумывать всякие развлечения. Да вот... Что ты думаешь, например, о том, чтобы влюбиться?

Селия

Ну что ж, пожалуй, только в виде развлечения. Но не люби живого слишком серьезно, да и в развлечении не заходи слишком далеко — так, чтобы ты могла с честью выйти из испытания, поплатившись только стыдливым румянцем.

Розалинда

Какое же придумать развлечение?

Селия

Сядем да попробуем насмешками отогнать добрую кумушку Фортуну от ее колеса, чтобы она впредь равномерно раздавала свои дары.

Розалинда

Хорошо, если бы это нам удалось. А то ее благодеяния очень неправильно распределяются: особенно ошибается эта слепая старушонка, когда дело идет о женщинах.

Селия

Это верно; потому что тех, кого она делает красивыми, она редко наделяет добродетелью, а добродетельных обыкновенно создает очень некрасивыми.

*(«Как вам это понравится», акт I, сцена 2.)*¹

РОЗАЛИНДА

Селия

Ты слышала эти стихи?

Розалинда

О да, слышала всё, и даже больше, чем следует, —

¹ Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

потому что у некоторых стихов было больше стоп, чем стих может выдержать.

С е л и я

Это неважно — стопы могут поддержать стихи.

Р о з а л и н д а

Да, но эти стопы хромали и без стихов не стояли на ногах, а потому и стихи захромали.

С е л и я

Неужели тебя не изумляет, что твое имя вывешено и вырезано на всех деревьях здесь?..

Р о з а л и н д а

Я уже успела наизумляться, пока ты не пришла, потому что — посмотри, что я нашла на пальмовом дереве. Такими рифмами меня не заклинали со времен Пифагора, с тех пор как я была ирландской крысой, что я, впрочем, плохо помню.

*(«Как вам это понравится», акт III, сцена 2.)*¹

М А Р И Я

С э р Э н д р ю

...Или вы думаете, красавица, что вам попались в руки дураки?

М а р и я

Вы мне, сударь, в руки не попадались.

С э р Э н д р ю

А вот попадусь; вот вам моя рука.

М а р и я

Всякий думает, что хочет. Вам бы надо снести вашу руку в погреб и смочить ее.

С э р Э н д р ю

Зачем, мое сердце? Что значит ваша метафора?

¹ Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

М а р и я

Она у вас, сударь, черствая.

(«Двенадцатая ночь», акт I, сцена 3.)¹

В И О Л А

В и о л а

...У моего отца была
Дочь, и она любила человека,
Как, будь я женщиной, и я, быть может,
Любил бы вас.

Г е р ц о г

Скажи мне эту повесть.

В и о л а

В ней белые страницы. Страсть ее
Таилась молча и, как червь в цветке,
Снедала жар ее ланит; в зеленой
И желтой меланхолии она
Застыла, как надгробная Покорность,
И улыбалась. Это ль не любовь?
Мы больше говорим, клянемся больше;
Но это — показная сторона:
Обеты щедры, а любовь бедна.

Г е р ц о г

И что ж, любовь твою сестру убила?

В и о л а

Один лишь я — все дочери отца,
Все сыновья его...

(«Двенадцатая ночь», акт II, сцена 4.)¹

И З А Б Е Л Л А

А н д ж е л о

Допустим, средство есть его спасти, —
Все это лишь одно предположение,

¹ Перевод М. Лозинского.

Не больше, — и что вы, его сестра,
Страсть возбудили у одной особы,
Чей сан или влияние на судей
Могли б избавить брата от оков
Всесильного закона, и притом
Лишь способом единственным, одним —
Отдать особе той свою невинность,
Иль брата своего послать на смерть, —
Как поступили б вы?

И з а б е л л а

Для брата столько же, как для себя:
Когда б мне смертный приговор грозил,
Рубцы бичей надевши, как рубины,
Пред смертью б я разделась, как пред сном
Долгожеланным, но не предала б
Позору тело.

(«Мера за меру», акт II, сцена 4.) ¹

П Р И Н Ц Е С С А Ф Р А Н Ц У З С К А Я

Б а ш к а

Добрый день честной компании! Скажите, пожалуйста,
где здесь дама, которая всем голова?

П р и н ц е с с а

Ты сам бы мог это заметить, приятель: значит, у других
голов нет.

Б а ш к а

Где самая бóльшая, самая высокая?

П р и н ц е с с а

Самая толстая и самая длинная?

Б а ш к а

Да, правда, что толста, — не смею возражать.
Прошла бы ваша талья, будь, как мой ум, тонка,

¹ Перевод М. Зенкевича.

В любую из браслеток с девической руки.
Так это вы глава? Вы толще всех из них.

*(«Бесплодные усилия любви»,
акт IV, сцена 1.)*¹

А Б Б А Т И С А

А б б а т и с а

Вот почему твой муж сошел с ума.
Вредней, чем псов взбесившихся укусы,
Ревнивых жен немолкнувший упрек!
Ты сон его своей смущала бранью, —
Вот почему стал слаб он головой;
Ему упреком пищу приправляла, —
Ее не мог усвоить он, волнуясь:
Вот почему жар лихорадки в нем!
Огонь в крови и есть огонь безумья.
Ты говоришь, его лишила ты
Утех и отдыха; то порождало
В нем меланхолию, она ж сестра
Отчаянья угрюмого и злого;
И вслед за ней идет болезней рать...
Что может быть вредней ее для жизни?
Нет развлечений, и обед и сон,
Что жизнь хранит, упреками смущен.
Взбесился б скот! Так мужа ты сама
Свела своей ревнивостью с ума.

*(«Комедия ошибок», акт V, сцена 1.)*²

М И С С И С П Э Д Ж

М и с с и с К у и к л и

Этого бы еще не хватало, действительно! Надеюсь, что они не так наивны. Хорошая была бы шутка! Но вот что: миссис Пэдждж заклинает вас вашей любовью прислать ей вашего маленького пажа, ее супруг прямо разочарован

¹ Перевод М. Кузмина.

² Перевод Л. Некора.

этим маленьким пажиком. А мистер Пэдж — достойнейший человек: ни одна женщина в Виндзоре не живет так, как его жена — делает что хочет, говорит что хочет, все сама закупает, за все сама платит, ложится, когда хочет, встает, когда хочет, словом, все делает, как она хочет. И, по правде сказать, она это заслужила: коли есть в Виндзоре добрая женщина, так это она. Придется вам послать ей вашего пажа, ничего не поделаешь.

*(«Веселые виндзорские кумушки», акт II, сцена 2.)*¹

МИССИС ФОРД

Фальстаф

Теперь не до острот, Пистоль. Я в объеме около двух ярдов, это верно, но сейчас для меня дело не в размерах, а в мерах, которые мне надо принять. Короче говоря, я намерен поухаживать за женой Форда, она со мной любезничает, строит мне глазки. Смысл всего этого для меня ясен. Самое суровое, что можно вычитать из ее обращения, если его перевести на английский язык, будет означать: «Я принадлежу сэру Джону Фальстафу!»

*(«Веселые виндзорские кумушки», акт I, сцена 3.)*¹

АННА ПЭДЖ

Анна

Не угодно ли вам будет войти, сэр?

Слендер

Нет, благодарю вас от всего сердца; право, мне и здесь отлично.

Анна

Но обед ждет вас, сэр.

¹ Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

С л е н д е р

Благодарю вас, право, я не голоден. (*Симплю.*) Ступай. Хоть ты и мой слуга, иди и прислуживай дядюшке Шэллоу.

Уходит С и м п л ь.

Иногда и мировому судье можно услужить слугой. У меня всего трое слуг и мальчишка, пока матушка не померла, но что из этого? Все-таки я живу, как подобает бедному дворянину.

А н н а

Мне нельзя вернуться одной, сэр: без вас не хотят садиться за стол.

(*«Веселые виндзорские кумушки», акт I, сцена 1.»*)¹

К А Т А Р И Н А

П е т р у ч ч о

Начнет беситься — стану говорить,
Что слаще соловья выводит трели;
Нахмурится — скажу, что смотрит ясно,
Как роза, окропленная росой;
А замолчит, надувшись, — похвалю
За разговорчивость и удивлюсь,
Что можно быть такой красноречивой;
Погонит — в благодарностях рассыплюсь,
Как будто просит погостить с недельку;
Откажет мне — потребую назначить
День оглашения и день венчанья.
Она идет. Петруччо, начинай!

Входит К а т а р и н а.

День добрый, Кет! Так вас зовут, слышал я?

К а т а р и н а

Слышали так? Расслышали вы плохо,
Меня все называют Катариной.

¹ Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

Петруччо

Солгали вы; зовут вас просто Кет;
То милой Кет, а то строптивой Кет.

(«Угрощение строптивой»,
акт II, сцена 1.)¹

Во вступительных страницах к этой картинной галерее я рассказал о том, какими путями распространялась популярность Шекспира в Англии и Германии и что было сделано в этих странах, чтобы содействовать пониманию его произведений. К сожалению, я был лишен возможности сообщить столь же утешительные сведения относительно романских стран: в Испании имя нашего поэта донныне остается совершенно неизвестным; Италия игнорирует его, пожалуй, умышленно, чтобы оберечь славу своих великих поэтов от трансальпийского соперничества, а Франция, родина общепринятого вкуса и хорошего тона, долгое время полагала, что оказывает достаточную честь великому бритту, называя его гениальным варваром и в меру возможности мягко подтрунивая над его невежеством. Между тем, политическая революция, которую пришлось пережить этой стране, повлекла за собой и революцию литературную, которая, пожалуй, превзошла первую по силе террора, и в результате ее Шекспир был поднят на щит. Правда, французы редко бывают честными до конца как в своих попытках политических переворотов, так и в своих литературных революциях; в обоих случаях они восхваляют и прославляют какого-нибудь героя не за присущие ему подлинные достоинства, а из-за выгоды, которую могут извлечь в данный момент для своего дела из такого рода восхвалений, и, таким образом, случается, что они сегодня превозносят то, что завтра ниспровергнут, и наоборот. За последние десять лет Шекспир стал для партии, совершающей литературную революцию во Франции, предметом самого слепого поклонения. Но большой вопрос, нашел ли он у этих деятелей движения вполне добросовестное признание или хотя бы подлинное понимание. Французы слишком уж дети своих матерей, они всосали вместе с материнским молоком слишком большую

¹ Перевод П. Мелковой.

долю светской лжи для того, чтобы очень увлечься поэтом, каждое слово которого дышит правдой природы, — или хотя бы понять его. Однако с некоторого времени среди французских писателей господствует неудержимое стремление к такого рода естественности: они как бы в отчаянии срывают с себя одежды условности и предстают в самой ужасающей наготе... Но какой-нибудь модный лоскуточек, который так или иначе остается несорванным, свидетельствует об унаследованной неестественности и вызывает проницательную улыбку немецкого зрителя. Эти писатели всегда напоминают мне гравюры к известным романам восемнадцатого столетия, повествующим о непристойных любовных похождениях, на которых, несмотря на райскую естественность одежды кавалеров и дам, первые сохраняют парики с косичками, вторые — высокие, точно башни, прически и башмачки на высоких каблуках.

Не путем прямой критики, но косвенно, при посредстве драматургических произведений, написанных более или менее под Шекспира, французы до известной степени приближаются к пониманию великого писателя. Особой похвалы в качестве такого посредника заслуживает Виктор Гюго. Это вовсе не значит, что я считаю его только подражателем великого англичанина, в обычном значении этого слова. Виктор Гюго — гений первой величины, и его размах и творческая сила достойны всяческого удивления; он владеет образом, он владеет словом, он величайший из французских поэтов, но его Пегас болезненно пугается бурных потоков современности и нехотя плетется к водопою, где в прохладных струях отражается дневное светило... Он предпочитает те заглушенные родники, что выбиваются из-под развалин минувшего, где когда-то утолял свою бессмертную жажду крылатый конь Шекспира. Может быть, потому, что эти древние, полузанесенные и заболоченные родники уже не дают чистой воды, — как бы там ни было, драматические произведения Виктора Гюго содержат в себе больше мутного ила, чем живительной силы староанглийской Гиппокрены; в них нет радостной прозрачности и гармонического здоровья... И я должен сознаться, мною иной раз овладевает страшная мысль, что этот Виктор Гюго — призрак какого-то английского писателя цветущей елизаветинской эпохи, что он — умерший поэт, угрюмо вставший из гроба, чтобы написать

песколько посмертных произведений в другой стране и в другие времена, где ему не угрожает конкуренция великого Вильяма. В самом деле, Виктор Гюго напоминает мне таких людей, как Марло, Декер, Гейвуд и других, в языке и в манере которых было столько сходства с их великим современником, но которым недоставало всего-навсего его пронизательности и чувства красоты, его страшной и улыбочивой грации, его дара постигать откровения природы. И увы! К недостаткам какого-нибудь Марло, Декера или Гейвуда у Виктора Гюго присоединяется наихудший порок: ему недостает жизни. Те страдали преизбытком кипучей страстности, буйным полнокровием, их поэтическое творчество было дыханием, ликованием и стоном, излитым на бумаге; а в Викторе Гюго, — я должен признать это при всем уважении, которое я к нему питаю, — есть что-то мертвенное, жуткое, призрачное, что-то замогильно-вампирическое... Он не пробуждает в наших сердцах воодушевления, а высасывает его... Он не приводит наши чувства к гармонии, внося в них свет поэтическим озарением, но запугивает их отвратительным искажением образа... Он болен смертью и уродством.

Одна очень близкая мне молодая дама недавно высказалась чрезвычайно метко по поводу этой болезненной склонности музы Гюго к безобразному. Она сказала: «Муза Виктора Гюго напоминает мне сказку о странной принцессе, которая решила выйти замуж только за самого безобразного человека и с этой целью велела объявить по всей стране, чтобы в определенный день к замку ее собрались в качестве кандидатов в супруги все холостые мужчины, отмеченные каким-нибудь исключительным уродством... Вот и собрались калеки и рожи, один другого лучше, точь-в-точь персонажи какого-нибудь произведения Гюго... Но избранником принцессы оказался Квазимодо».

После Виктора Гюго я должен упомянуть Александра Дюма; он также косвенным путем содействовал пониманию Шекспира во Франции. Если первый вакханалией уродства приучил французов искать в драме не только нарядной драпировки страстей, то Дюма добился того, что естественное выражение страсти стало чрезвычайно нравиться его соотечественникам. Но для него лично страсть была самым главным, и в его произведениях она узур-

пировала место поэзии. Правда, благодаря этому он производил особенно сильное впечатление на сцене. В этой сфере, в изображении страстей, он приучил публику к самым смелым дерзаниям Шекспира; и тот, кому однажды понравились «Генрих III» и «Ричард Дарлингтон», не жаловался уже на безвкусицу «Отелло» или «Ричарда III». Упрёк в плагиате, которым его как-то пытались заклеить, был и глупым и несправедливым. Правда, Дюма в сценах страсти кое-что позаимствовал у Шекспира, но наш Шиллер делал это еще гораздо смелее и никогда не вызывал порицаний. Да и сам Шекспир, сколько позаимствовал он у своих предшественников! И с этим поэтом тоже бывало, что какой-нибудь брюзгливый памфлетист бросал ему обвинения, будто он украд лучшие места своих драм у предшествующих писателей. Как это ни нелепо, но Шекспира по этому случаю назвали вороной в павлиньих перьях. Эйвонский Лебедь молчал, и, может быть, в его божественном уме проносились мысли: «Я не ворона и не павлин», и он беззаботно плыл, покачиваясь, по голубым волнам поэзии и улыбался время от времени звездам, этим золотым мыслям неба.

Здесь следует также упомянуть о графе Альфреде де Виньи. Писатель этот, знающий английский язык, самым основательным образом занимался произведениями Шекспира; некоторые из них он перевел с большим мастерством, и это изучение благоприятнейшим образом отразилось на его оригинальных трудах. При той тонкости слуха и остроте зрения в восприятии искусства, которые приходится признавать у графа де Виньи, ему удалось глубже, чем большинству его соотечественников, вникнуть и вслушаться в сущность Шекспира. Однако дарование этого человека, как и строй его мыслей и чувств, влекут его к изысканному и миниатюрному, и его произведения особенно ценны своей тонкой отделкой. Я склонен поэтому думать, что он иногда останавливался, ошеломленный, перед чудовищными красотами, которые Шекспир словно высекал из исполинских гранитных глыб поэзии... Он, наверное, созерцал их с боязливым удивлением, подобно ювелиру, который не может оторвать взгляд от колоссальных дверей баптистерия во Флоренции: хотя они и отлиты целиком из металла, но так изящны и легки, как будто вычеканены или искусно выделаны рукой ювелира.

Если французам нелегко понимать трагедии Шекспира, то понимание его комедий им почти совершенно не дано. Поэзия страсти им доступна; они также в состоянии до известной степени понять правдивость характеристик; ведь их сердца умеют загораться, страстные чувства — их специальность, аналитический склад ума помогает им разлагать каждый данный характер на тончайшие составные части и учитывать те фазисы, через которые он будет проходить каждый раз, когда ему придется столкнуться с определенными жизненными реальностями. Но в волшебном саду шекспировских комедий им мало помогут все приобретенные опытным путем знания. Их разум останавливается у самого входа, и сердце ничего не подсказывает им, и нет у них той таинственной волшебной палочки, одного прикосновения которой достаточно, чтобы замок раскрылся сам собой. И они с удивлением заглядывают сквозь золотую решетку и видят, как под высокими деревьями разгуливают рыцари и благородные дамы, пастухи и пастушки, глупцы и мудрецы; вот влюбленный и его возлюбленная расположились в прохладной тени и нашептывают друг другу нежные речи; вот пронесется вдруг какое-то сказочное животное, что-то вроде оленя с серебряными рогами; или метнется из кустарника стыдливый единорог и положит голову на колени прекрасной девы... И видят они, как в ручьях плещутся зеленоволосые наяды под сверкающими покрывалами, и внезапно восходит луна... И тогда до них доносится соловьиный рокот... И они покачивают своими умными головами над всем этим непонятным вздором. Да, французы в состоянии еще с грехом пополам понять солнце, но никак не луну, и еще меньше — блаженные рыдания и меланхолически-восторженные трели соловьев...

Да, ни основанное на опыте знание человеческих страстей, ни позитивное восприятие жизни не помогают французам, когда они пытаются разгадать явления и звуки, которые сверкают и звучат им из волшебного сада шекспировских комедий... Порой им кажется, будто впереди промелькнуло человеческое лицо, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что это — пейзаж, и то, что они принимали за бровь, то был куст орешника, нос оказался скалой, а рот — крохотным родником, как это бывает на всем известных картинах-головоломках...

И, наоборот, то, что представлялось бедным французам нелепо растущим деревом или диковинным камнем, при внимательном рассмотрении принимает очертания подлинного человеческого лица с каким-то необыкновенным выражением. Если же им вдруг удастся, напрягая изо всех сил слух, подслушать диалог влюбленных, расположившихся в тени, под деревьями, они приходят в еще большее замешательство... Им слышатся знакомые слова, но слова эти приобрели совсем другой смысл, и тогда они утверждают, что эти люди понятия не имеют о пламенных порывах, о великой страсти, что это — лед остроумия, который они подносят друг другу для освежения, а вовсе не огненный напиток любви. И не замечают они, что эти люди — вовсе не люди, а переряженные птицы, беседующие на условном языке, которому можно выучиться только во сне или в самом раннем детстве... Но всего хуже приходится французам там, у решетчатых ворот шекспировской комедии, когда порой веселый западный ветер промчится над цветочной грядой волшебного сада и повеет им прямо в нос неслышанными благоуханиями... «Что это такое?»

Справедливость требует, чтобы я упомянул здесь о французском писателе, который не без ловкости подражал шекспировским комедиям и уже одним выбором образов проявил редкую восприимчивость к истинному поэтическому искусству. Это — г-н Альфред де Мюссе. Лет пять тому назад он написал несколько маленьких драм, которые с точки зрения построения и манеры являются совершенным сколком с комедий Шекспира. Особенно удачно, с французской легкостью, перенял он отличающую их прихотливость фантазии (но не юмор). В этих прелестных пустячках нет недостатка и в поэзии, правда очень хрупкой, но все же высокопробной. Остается только пожалеть, что столь юный в те годы писатель, кроме Шекспира, во французском переводе читал также и переводы из Байрона и в результате, нарядившись в костюм страдающего сплином лорда, поддался соблазну разыгрывать разочарованность и пресыщенность жизнью, которые были в такой моде среди парижской молодежи. В ту пору мальчуганы с румянцем во всю щеку, пышущие здоровьем желторотые птенцы утверждали, будто вся их жизнерадостность иссякла, лицемерно притворялись охладевшими ко всему стариками и принимали разочарованный и скучающий вид.

С тех пор, правда, наш бедный мосье Мюссе отказался от своих заблуждений и больше не притворяется в своих произведениях неким blasé,¹ но, увы, его произведения вместо поддельной опустошенности несут в себе гораздо более безнадежные следы действительного упадка телесных и душевных сил... Увы, писатель этот напоминает мне искусственные руины, которые в восемнадцатом столетии принято было воздвигать в дворцовых садах; эти забавы ребяческой прихоти с течением времени вызывают в нас скорбную жалость, ибо они уже по-настоящему приходят в ветхость и обрастают мхом, превращаясь в подлинные развалины.

Французам, как уже было упомянуто, мало доступен дух комедий Шекспира, и среди критиков я не нашел никого, за исключением одного, кто бы хоть в малейшей степени проникся этим изумительным духом. Кто же это такой? Кто это исключение? Гуцков говорит, что слон — доктринер среди животных. И такой разумный и очень неуклюжий слон с наибольшей проницательностью воспринял сущность шекспировской комедии. Да, почти невероятно, — но таковым оказался г-н Гизо, лучше всех написавший об этих грациозных и резвых воздушных созданиях современной музыки, — и на удивление и в поучение читателю я переведу здесь одно место из сочинения, вышедшего в 1822 году у Ладвока в Париже и озаглавленного: «De Shakespeare et de la poésie dramatique, par F. Guizot».²

«Комедии Шекспира не похожи ни на комедии Мольера, ни на комедии Аристофана, ни на римские комедии. У греков и в новейшее время у французоз комедия возникла в результате хоть и свободного, но пристального наблюдения действительной жизни, и ее задачей было показать последнюю на сцене. Различия между комическим и трагическим видами поэзии намечаются уже в период зарождения искусства, и по мере развития его это разграничение между обоими видами становилось все более определенным. Оно обусловлено самой сущностью явлений. Назначение и природа человека, его страсти и занятия, характер и события — все в нас и вокруг нас

¹ Человеком, пресыщенным жизнью (*франц.*).

² «О Шекспире и драматической поэзии, сочинение Ф. Гизо» (*франц.*).

имеет в равной мере и серьезную и забавную сторону и может быть рассматриваемо или изображено как с той, так и с другой точки зрения. Из подобной двусторонности человека и мира естественно вытекают для драматической поэзии два различных пути; но какой бы из этих путей ни избрало искусство ареной своей деятельности, оно все же никогда не отказывалось от наблюдения и изображения действительности. Пускай Аристофан с безграничной свободой воображения бичует пороки и глупость афинян; пускай Мольер клеймит грехи легковерья, скупости, ревности, педантизма, дворянского высокомерия, мещанского тщеславия и даже самой добродетели; что из того, что оба писателя трактуют совершенно различные предметы, что один показал на сцене жизнь и народ в целом, а другой, напротив, отдельные события частной жизни, изнанку семьи и смешные черты индивидуума, — это различие комического материала является всего лишь следствием различия времени, места и цивилизации... Но как у Аристофана, так и у Мольера основой для изображаемого ими служит всегда реальность, действительный мир. Нравы и идеи их века, пороки и глупость их сограждан, вообще природа и жизнь людей — вот от чего загорается их политическое настроение, вот что поддерживает его. Оттого комедия возникает из мира, среди которого живет поэт, и спаяна с внешними явлениями действительности гораздо теснее, чем трагедия...

Не то у Шекспира. Материал, которым пользуется драматическое искусство, то есть природа и человеческие судьбы, в его время в Англии еще не был так ограничен и классифицирован руками искусства. Когда поэт хотел обработать этот материал для сцены, он брал его во всей его цельности, со всеми примесями, со всеми контрастами, заключенными в нем, и вкус публики отнюдь не оскорбляла подобная манера. Комическое, одна из сторон человеческой действительности, имело право появляться всюду, где правда требовала или не отвергала его присутствия; и характеру тогдашней английской цивилизации вполне отвечало то, что достоинство трагедийной правды нисколько не умалялось, когда к ней таким способом добавляли комическое. Что же можно было предложить в качестве комедии в собственном смысле при таком состоянии театра и таком расположении публики? Как

могла она приобрести значение особой разновидности поэзии и законным образом называться комедией? Этому ей удалось добиться, лишь отрешившись от тех реальностей, которые находились там, где границы принадлежавшей ей области не были ни признаны, ни намечены. Эта комедия уже не стала ограничиваться изображением определенных нравов и законченных характеров; она уже не стремилась изображать людей и предметы, хотя и в смешном, но все-таки правдивом виде; она стала произведением фантастического и романтического духа, стала приютом для всех забавных невероятностей, которые фантазия, от праздности или из каприза, нанизывает на тоненькую ниточку, чтобы создавать из них всевозможные пестрые комбинации, развлекающие и занимающие нас, но не выдерживающие критики разума. Грациозные картины, несожданности, веселые интриги, возбужденное любопытство, обманутые ожидания, подмены, хитроумные комбинации, требующие переодеваний, — вот что послужило материалом тех непритязательных, наскоро набросанных комедий. Внутреннее строение испанских пьес, которые начинали входить в моду в Англии, служило этим комедиям образцом для самых различных сюжетов и форм, которые было очень легко приспособить к хроникам и балладам, к французским и итальянским новеллам, бывшим наряду с рыцарскими романами любимым чтением публики. Нетрудно понять, почему эти богатые россыпи, эта легкая разновидность поэзии с ранних пор привлекли внимание Шекспира! Не приходится удивляться тому, что его молодое блестящее воображение радостно плескалось среди этого материала, ибо оно могло здесь, освободившись от жестокого ига рассудочности и не считаясь с правдоподобием, создавать всевозможные серьезные и сильные эффекты. Поэт, чья рука и чей дух были одинаково неутомимы, в чьих рукописях почти не найти следов исправлений, — этот поэт должен был, конечно, особенно радостно отдаться необузданной и смелой драматургической игре, в которой ему было легче всего развернуть свои многообразные дарования. Он мог намешать в свои комедии всякой всячины и в самом деле лил в них все, за исключением только того, что совершенно несовместимо с подобной системой, — а именно, за исключением логической последовательности, которая заставляет каждую часть

пьесы подчиняться задачам целого и раскрывает в каждой детали глубину, величие и единство всего произведения. Вряд ли можно найти в трагедиях Шекспира такую концепцию, такую ситуацию, такое проявление страсти, такую степень порока или добродетели, которых не оказалось бы и в одной из его комедий; но то, что там простирается до недосягаемых глубин, что потрясает страшными воздействиями, что сурово включается в единую цепь причин и следствий, то здесь едва намечено, брошено на мгновение, чтобы вызвать мимолетный эффект и столь же быстро затеряться в новых сочетаниях.

В самом деле, слон прав: сущность шекспировской комедии заключается в той пестрой мотыльковой легкости, с какой она переносится с цветка на цветок, лишь изредка касаясь почвы реальности. Высказаться сколь-нибудь определенно о комедиях Шекспира можно, только противопоставив их реалистическим комедиям древних и французов.

Прошлую ночь я долго раздумывал о том, нельзя ли все-таки подыскать конкретное определение того лирического концов и пределов вида поэзии, каким являются комедии Шекспира. После долгих блужданий мысли я, наконец, заснул, и вот что мне приснилось: на дворе — звездная ночь, и я плыву в маленьком челне по широкому широкому озеру, и мимо меня, звеня и сверкая, проплывают, то вблизи, то подалее, барки, наполненные музыкантами, масками и факелами. Там мелькали одежды всех времен и народов: древнегреческие туники, плащи средневековых рыцарей, восточные тюрбаны, пастушеские шляпы с развевающимися лентами, маски зверей, ручных и диких... Вот кивает мне головой какая-то знакомая фигура... Вот долетают до меня давно любимые напевы... Но все это стремительно проносится мимо, и стоит мне вслушаться в звуки радостной мелодии, доносящейся с одного из скользящих мимо судов, как они удаляются, и вместо веселых скрипок на подплывающей лодке вздыхают меланхолические валторны... Иногда ночной ветер доносил до моего слуха сразу и те и другие звуки, и тогда, сливаясь, они давали сладостную гармонию... Воды звучали небывалой симфонией и горели в магических отблесках факелов, веселые барки с фантастическими масками плыли, расцветившись флагами, среди света и

музыки... Грациозная женская фигура, стоявшая за рулем на одном из суденышек, крикнула мне, проплывая мимо: «Правда, друг мой, тебе очень хочется получить определенное шекспировской комедии?» Не знаю, сказал ли я ей «да», но прекрасная женщина в то же мгновение погрузила руку в воду и плеснула мне в лицо градом звенящих искр, кругом раздался всеобщий хохот, и я проснулся.

Кто была эта грациозная женщина, которой вздумалось подразнить меня во сне? На ее идеально прекрасной головке сидела пестрая рогатая шапочка с бубенцами, белое атласное платье с развевающимися лентами облегало ее тонкое, даже чересчур тонкое тело, на груди у нее был цветок чертополоха. Быть может, это была богиня каприза, та странная муза, что присутствовала при появлении на свет Розалинды, Беатриче, Титании, Виолы и всех очаровательных детей шекспировской комедии, как бы их ни звали, и целовала их в лоб. Конечно, поцелуями этими она вселяла в их головы свои изменчивые настроения, причуды и прихоти, а это отражалось и в их сердцах... Страсть в комедиях Шекспира и у мужчин и у женщин совершенно свободна от той ужасной серьезности, от той фаталистической необходимости, с какой она проявляется в трагедиях.

Конечно, у амура и здесь на глазах повязка, а за спиной колчан со стрелами. Но стрелы здесь не столь смертоносно отточены, сколь пестро оперены, и малютка-бог порой лукаво выглядывает из-под повязки. И огонь там скорее светит, чем жжет, но все же это огонь, и в комедиях Шекспира, как и в его трагедиях, любовь исполнена правды. Да, правда отличает шекспировскую любовь, в каком бы образе она ни являлась, будь то в образе Миранды, или Джульетты, или даже Клеопатры.

Хотя я назвал подряд эти имена не обдуманно, а скорее случайно, но должен отметить, что именно они олицетворяют три основных вида любви. Миранда — это воплощение любви, свободной от исторических влияний, возросшей, как цветок высшей духовности, на девственной почве, которой касались своими стопами только бесплотные духи. Сердце ее было соткано из мелодий Арисля, а сладострастие представлялось ей всегда не иначе, как в отталкивающем обличье Калибана. И потому любовь, которую возбуждает в ней Фердинанд, отнюдь не наивна,

а полна непосредственности и первозданной, почти пугающей чистоты. Любовь Джульетты носит, как ее эпоха и окружающая ее среда, более романтический характер средневековья, уже расцветающего навстречу Возрождению: она сверкает красками, как двор Скалигера, но при этом она крепка, как те ломбардские знатные роды, которые омолодились от притока германской крови и умели так же сильно любить, как и ненавидеть. Джульетта олицетворяет любовь молодого, еще грубоватого, но неиспорченного, здорового века. Она вся пронизана страстностью и несокрушимой верой той эпохи, и даже сырой холод могильного склепа не может поколебать ее веру и погасить ее пыл. А наша Клеопатра, — о! она воплощает любовь уже ущербной цивилизации, эпохи, красота которой увяла, а кудри хоть и завиты со всяческим искусством и умащены всяческими благовониями, но переплетены седыми нитями эпохи, которая торопится осушить иссякающую чашу. В этой любви нет ни веры, ни верности, но тем больше в ней страсти и огня. Досадливо сознавая, что этот огонь невозможно погасить, необузданная женщина еще подливает в него масла и очертя голову бросается в полыхающее пламя. Она труслива и все же стремится к собственному уничтожению. Любовь — всегда безумие, более или менее прекрасное; но у этой египетской царицы она доходит до страшного исступления. Эта любовь — неистовая комета, в бешеном беге она чертит по небу своим огненным хвостом беспорядочные круги, вспугивает и ранит звезды на своем пути и в конце концов бесславно гибнет, точно ракета, рассыпавшись тысячью искр.

Да, ты была подобна грозной комете, прекрасная Клеопатра, и ты горела не только на собственную погибель, ты была знамением бедствий для твоих современников... Вместе с Антонием приходит к печальному концу и героическая эпоха древнего Рима.

Но с чем сравнить мне вас, Джульетта и Миранда? Я снова подымаю глаза к небу и ищу там подобия для вас. Быть может, оно скрыто за звездами, куда нет доступа моему взгляду. Если бы жаркое солнце обладало кропотливостью луны, я мог бы сравнить тебя с ним, Джульетта! Если бы крошечная луна наделена была жаром солнца, я сравнил бы тебя с ней, Миранда!

**ПИСЬМА
О ГЕРМАНИИ**

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

.....

Критикуя свою франкфуртскую соотечественницу Беттину Арним, вы, милостивый государь, отозвались недавно об авторе «Коринны» с восхищением, которое, безусловно, было искренним; ибо вы хотели показать, насколько она превосходит современных писательниц, а именно *mères d'église*¹ и *mères des compagnons*.² Я не разделяю вашего мнения, но не стану его оспаривать и готов всегда уважать его, если только оно не будет способствовать распространению во Франции неверных воззрений на Германию, ее дела и ее людей. Только с этой целью я выступил еще двенадцать лет тому назад против книги г-жи де Сталь «De l'Allemagne»³ с моей книгой, носившей то же название. С этой книгой я связываю ряд нижеследующих писем, и первое из них будет посвящено вам.

.....

Да, женщина — опасное существо. Об этом и я мог бы кое-что порассказать. Но и другие убеждаются в этом на горьком опыте; не далее, как вчера, я услышал об этом же самом от одного приятеля страшную историю. Он разговаривал в церкви Saint-Mère с молодым немецким художником, который таинственно сказал ему: «В одной немецкой статье вы оскорбили графиню де ***». Она узна-

¹ Матерей церкви (*франц.*). (См. комментарии.)

² Матерей сотоварищей (*франц.*). (См. комментарии.)

³ «О Германии» (*франц.*).

ла об этом, и вы обречены на смерть, если это еще раз повторится. Elle a quatre hommes, qui ne demandent pas mieux que d'obéir à ses ordres». ¹ Не страшно ли это? Не звучит ли это как слова из романа ужасов Анны Редклиф? Не похожа ли эта женщина на своего рода «Tour de Nesle»? ² Стоит ей подать знак, и четверо наемных убийц набросятся на тебя и прикончат тебя, если не физически, то уж, во всяком случае, морально. Но как добилась эта дама столь мрачного могущества? Разве она так прекрасна, так богата, так знатна, так добродетельна, так талантлива, чтобы оказывать столь неограниченное влияние на своих сеидов и чтобы они так слепо ей повиновались? Нет, этими дарами природы и счастья она не слишком-то владеет. Я не хочу сказать, что она безобразна, — женщина не бывает безобразной. Но я с полным основанием берусь утверждать, что, если бы прекрасная Елена была похожа на эту даму; то не было бы вовсе Троянской войны, не сгорел бы град Приама и Гомеру не пришлось бы воспевать гнев Пелеева сына Ахиллеса. Она и не столь знатна, и яйцо, из которого она вылупилась, не оплодотворил бог и не высидела царская дочь. И, что касается происхождения, то ее тоже не сравнишь с Еленой: она родом из бюргерского купеческого дома во Франкфурте. И сокровища ее не так велики, как те сокровища, которые привезла с собой спартанская царица, когда Парис, столь прекрасно игравший на цитре (фортепьяно еще не было тогда изобретено), увез ее из Спарты; напротив, поставщики этой дамы жалуются, что она не уплатила им за свою последнюю вставную челюсть. Только в отношении добродетели ее можно поставить рядом со знаменитой мадам Менелай.

Да, женщины опасны; но я все же должен заметить, что красивые далеко не так опасны, как безобразные. Ибо первые привыкли, чтобы за ними ухаживали, последние же сами ухаживают за каждым мужчиной и таким образом завоевывают многочисленных сторонников. Особенно часто это бывает в литературе. Я должен сразу же оговориться, что в наше время все выдающиеся французские писательницы весьма хороши собой. Так Жорж

¹ В ее распоряжении четыре человека, которые полны желания подчиняться ее приказам (*франц.*).

² «Нельскую башню» (*франц.*). (См. комментарии.)

Санд, автор «Essai sur le développement du dogme catholique»,¹ Дельфина Жирарден, мадам Мерлен, Луиза Коле — все эти дамы могут посрамить плоские острооты об отсутствии грации у синих чулков и, когда мы читаем вечером в постели их сочинения, мы готовы с охотой засвидетельствовать им лично наше почтение. Как красива Жорж Санд, и как мало она опасна даже для тех злых кошек, которые гладили ее одной лапой и царапали другой, даже для тех собак, которые яростно облаивали ее. С величием и кротостью взирает она на них с высоты, словно месяц. И княгиню Бельджойзо, эту красавицу, жаждущую истины, можно оскорбить безнаказанно. Каждый волен забросать грязью Мадонну Рафаэля, она не станет защищаться. Мадам Мерлен, которая всегда хорошо отзывается не только о врагах, но даже о друзьях, тоже можно оскорблять, ничем не рискуя. Привыкшая лишь к поклонению, она так чужда грубой речи, что только удивленно взглянет на тебя. Если ты оскорбишь прекрасную музу Дельфину, она схватит лиру и гнев ее изольется потоком блестящих александрийских стихов. Попробуй сказать что-нибудь неприятное о мадам Коле — она схватит кухонный нож, чтобы вонзить его в тебя. Однако ведь и это неопасно. Но не вздумай оскорбить графиню де ***. Ты обречен на смерть. Четыре таинственные маски набросятся на тебя — четыре *souteneurs littéraires*.² Это истинная «Tour de Nesle» — тебя заколют, задушат, утопят, и на другое утро труп твой найдут в газетной статейке.

Возвращаюсь к г-же де Сталь, которая не была красива и причинила много зла великому императору Наполеону. Она не ограничивалась тем, что писала против него книги, — она пыталась бороться с ним и нелитературными средствами; некоторое время она была душой тех дипломатических интриг, которые предшествовали созданию коалиции против Наполеона; и она смогла натравить на своего врага несколько наемных убийц, которые, правда, не были слугами, как головорезы вышеупомянутой дамы, а были королями. Наполеон пал, и г-жа де Сталь победоносно вступила в Париж со своей книгой «De l'Allemagne» и несколькими сотнями тысяч немцев, которых она

¹ «Очерка развития католической догмы» (франц.).

² Литературных сутенера (франц.).

прихватила в качестве живой иллюстрации к своей книге. С тех пор французы и стали христианами, и романтиками, и бургграфами. В конце концов до всего этого мне не было бы никакого дела, и всякий народ вправе быть таким скучным и серым, как ему вздумается, тем более что до сих пор это был самый остроумный и самый героический из всех народов, которые когда-либо трудились и боролись на этой земле. Однако все эти превращения мне не совсем безразличны, ибо когда французы отреклись от сатаны и всего его великолепия, они отказались и от рейнских провинций, а по сему случаю я и стал пруссаком. Да, сколь ужасно ни звучит это слово, это именно так: я пруссак по праву завоевания. И только с большим трудом, когда это уж стало мне совсем неважно, мне удалось снять с себя заклятие, и с тех пор я проживаю в качестве Prussien libéré¹ в Париже, где сразу же после приезда я начал войну — и это было одним из важнейших моих занятий — против всеми признанной книги г-жи де Сталь.

Я написал об этом ряд статей и выпустил их вскоре отдельной книгой под названием «De l'Allemagne». Мне и в голову не приходило самим выбором заглавия вступать в литературное соперничество с книгой этой знаменитой особы. Я один из самых больших почитателей ее духовных дарований, она наделена гением, но, к сожалению, у этого гения есть пол, и притом пол женский. И я как мужчина обязан был воспрепятствовать этому блестящему словесному канкану, который был тем более опасен, что г-жа де Сталь в своих рассказах о Германии сообщала о вещах, вовсе неизвестных во Франции, и пленяла умы прелестью новизны. Не вникая в отдельные ошибки и фальсификации, я для начала всего только показал, чем была на самом деле та романтическая школа, которую так восхваляла и прославляла г-жа де Сталь. Я показал, что она состояла из кучи червей, которыми очень умело пользуется святой рыбарь в Риме, чтобы на эту наживку улавливать души. С тех пор у многих французов тоже открылись на этот счет глаза, и даже христианнейшие души уразумели, насколько я был прав, показав им в немецком зеркале те козни, которые проникли и во Фран-

¹ Освобожденного пруссака (франц.).

цию и теперь смелее, чем когда-либо, поднимают свои выбритые головы.

Затем я хотел сообщить верные сведения о немецкой философии, и, я думаю, мне удалось это сделать. Без обиняков я выболтал тайну школы, известную только ученикам старшего класса, и здесь, во Франции, немало удивлялись этим откровениям. Вспоминаю, как Пьер Леру, встретившись со мной, чистосердечно признался мне, что он всегда считал немецкую философию неким мистическим туманом, а немецких философов — чем-то вроде набожных провидцев, проповедующих лишь страх божий. Правда, я не смог дать французам подробное изложение наших различных систем, да, к тому же, я слишком любил французов, для того чтобы заставлять их испытывать такую скуку, но я выдал им тайну конечного вывода, лежащего в основе всех этих систем и представляющего собой полную противоположность всему тому, что мы именовали до сих пор страхом божьим. Философия вела в Германии ту же борьбу против христианства, которую она вела некогда и в греческом мире против древней мифологии, и теперь она вновь одержала победу. В теории современная религия также разбита на голову, в идее она убита, но она еще продолжает жить механической жизнью, как муха, у которой отрезали голову и которая, как бы не замечая этого, все еще продолжает бойко кружиться и летать. Я не знаю, сколько еще новых столетий вынашивает в своем брюхе (выражаясь словами Кузена) большая муха — католицизм, но об этом не стоит и говорить. Говорить следует уж скорее о нашем бедном протестантизме, ведь он, чтобы хоть как-нибудь влачить свое существование, согласился на всевозможные уступки и все равно должен умереть: ему ничуть не помогло ни то, что он очистил своего бога от всяческого антропоморфизма, ни то, что он много раз отворял ему жилы и выкачал из него всю чувственную кровь, ни то, что он отфильтровал его так, что оставил один только чистый дух, состоящий из одной любви, справедливости, мудрости и добродетели. Все это ничуть не помогло, и некий немецкий Порфирий, по прозвищу Фейербах (по-французски это будет *fleur de flamme*),¹ немало насмехается над этими атрибутами

¹ Огненная река. (См. комментарии.)

«бога — чистого духа», ибо любовь его не заслуживает особой похвалы, так как у него ведь нет человеческой желчи; и справедливость его недорого стоит, так как у него нет желудка, который нужно кормить *per fas et nefas*;¹ и в мудрости его тоже нет особой заслуги, так как насморк никогда не мешает его размышлениям; и ему вообще было бы трудно не быть добродетельным, так как он бесплотен. Да, не только протестантские рационалисты, но даже деисты разбиты в Германии, потому что философия направила свои катапульты именно против самого понятия «бог», как я это и показал в моей книге.

Кто только не сердился на меня за то, что я сорвал завесу с немецкого неба и показал всем и каждому, что оттуда исчезли все божества старой веры, а сидит там лишь одна старая дева со свинцовыми руками и печальным сердцем — Необходимость. Ах, я только раньше других рассказал о том, что все равно предстояло узнать всем; и то, что звучало тогда так странно, проповедуется теперь со всех крыш по ту сторону Рейна. И каким фанатичным тоном произносятся порой эти антирелигиозные проповеди! У нас есть теперь монахи от атеизма, которые живьем зажарили бы г-на Вольтера за то, что он закоренелый деист. Признаюсь, музыка эта мне не нравится, но она и не пугает меня, ибо я стоял за спиной маэстро, когда он сочинял ее. Правда он записывал ее непонятными и вычурными значками, чтобы не всякий мог ее разобрать; иногда я видел, как боязливо он озирался от страха, что кто-нибудь его поймет. Меня он очень любил, так как был уверен, что я никогда его не выдам; в те времена я ведь даже считал его раболепным. Когда я как-то возмущился положением «все действительное — разумно», он странно усмехнулся и заметил: «Это можно было бы выразить и так: все разумное должно быть действительным». Он поспешно оглянулся, но сразу же успокоился, ибо его слышал только Генрих Бер. Только позже я понял все эти словесные фигуры. И тоже только потом я понял, почему он утверждал в философии истории: христианство прогрессивно уже потому, что оно проповедует бога, который умер, в то время как языческие боги вообще не знали смерти.

¹ Правдой и неправдой (*лат.*).

Каким же прогрессом является, следовательно, признание того, что бога вообще никогда не было!

С ниспровержением старых религиозных доктрин утратила свои корни и старая мораль. Однако немцы еще долго будут придерживаться ее. С ними происходит то же, что с теми дамами, которые блюли добродетель до сорока лет, а потом сочли, что предаваться прекрасному пороку уже не стоит, хотя их нравственные принципы и пошатнулись. Уничтожение веры в небеса имеет не только моральное, но и политическое значение: массы не хотят более с христианским терпением нести тяготы земной доли, они жаждут блаженства на земле. Коммунизм — естественное следствие этого изменившегося мировоззрения, и он распространяется по всей Германии. Столь же естественно и то, что вождями пролетариев в борьбе против всего существующего стали самые передовые мыслители, философы великой школы. Они переходят от доктрины к действию, конечной цели всякого мышления, и формулируют свою программу. Что же она гласит? Я давно предчувствовал ее и выразил такими словами: «Мы не хотим быть ни санкюлотами, ни умеренными в своих потребностях мещанами, ни дешевыми президентами, мы устанавливаем демократию равно чудесных, равно святых, равно блаженных богов. Вы требуете простых одежд, воздержания в нравах, неприправленных наслаждений; мы, напротив, требуем нектара и амброзии, пурпурных одежд, драгоценных благоуханий, пегги и роскоши, смеющейся пляски нимф, музыки и веселых комедий». Слова эти написаны в моей книге «De l'Allemagne», где я предсказал со всей определенностью, что политическая революция немцев произойдет из той самой философии, которую так часто поносили, называя чистой схоластикой. Мне легко было пророчествовать! Я-то ведь видел, как сеялись драконовы зубы, из которых вырастают теперь закованные в боевые доспехи мужи, наполняющие весь мир бряцанием своего оружия, но, к сожалению, готовые передуть и друг друга!

С тех пор как вышла в свет эта не раз упомянутая мною книга, я ничего не напечатал для публики о Германии. И если теперь я нарушаю мое долгое молчание, то делаю это не столько по влечению своего сердца, сколько уступая настоятельным просьбам моих друзей. Они часто — и гораздо больше, чем я, — возмущались блистательным

невежеством, царящим в этой стране относительно истории мысли в Германии, невежеством, которым с большим успехом пользуются наши враги. Говоря «наши враги», я подразумеваю здесь не тех жалких субъектов, которые кочуют со своим товаром от одной газетной редакции к другой, и предлагают по дешевке грубую, абсурдную клевету, и таскают за собой в качестве подпевал так называемых патриотов: эти люди не могут серьезно повредить нам: они слишком глупы и добьются только того, что французы в конце концов усомнятся, правда ли, что мы, немцы, изобрели порох. Нет, наши поистине опасные враги — это те прислужники европейской аристократии, которые повсюду крадутся за нами, принимая разное обличье, иногда даже в женских юбках, и в темноте убивают из-за угла наше доброе имя. Поборники свободы, счастливо избежавшие на родине тюрьмы, тайной казни и тех мелких приказов об аресте, которые делают путешествия столь небезопасными и несудобными, должны лишиться покоя и здесь, во Франции; и те, кто избежал телесного наказания, должны ежедневно и ежечасно видеть, как поносят и распинают их имена.
.

КОММЕНТАРИИ

ЛЮДВИГ БЕРНЕ

Книга о Людвиге Берне, вышедшая в свет в конце июля 1840 года, является одним из важнейших сочинений Гейне. В письме к своему издателю Кампе от 18 апреля того же года Гейне заверял, что в книге своей он ограничился полемикой и, из опасения быть непонятым, отказался от изложения «собственной доктрины». Тем не менее, положительная доктрина самого Гейне в книге присутствует, и она-то придает особую силу спорам Гейне с Людвигом Берне и его сторонниками. Свои положительные убеждения Гейне здесь высказывает косвенно, на языке условных художественных образов.

В 30-х годах под влиянием сен-симонистов и других теоретиков тогдашнего французского социализма у Гейне складывается особая концепция всемирной истории: последняя проходит в борьбе между «эллинами» — один условный образ, и «назарейнами» — другой условный образ. Нигде у Гейне доктрина «эллинизма» и «назарейства» не представлена с такой полнотой, как в сочинении о Людвиге Берне, причем здесь она захватывает все области исторической жизни, касается ли это социальных отношений, политической борьбы, или же вопросов общественной и личной нравственности, вопросов культуры, эстетики, художественной практики. Сам Гейне в этом сочинении — воинствующий «эллин», а своего противника Берне он рассматривает как законченного «назарейнина».

Людвиг Берне (1786—1837) — писатель с большими заслугами перед литературой и перед освободительным движением в Германии. Мастер той особой полухудожественской-полупублицистической прозы, которую рядом с ним тогда в Германии создавали и Гейне, и Карл Гуцков, и Лудольф Випбарг, во Франции — Поль-Луи Курье, а у нас в России — Герцен, он со вся-

ческой энергией, темпераментом и талантом способствовал воспитанию немцев в духе политического самосознания. Он открывал немцам глаза на страшный упадок, в котором находилась их родина, он указывал, к чему ведет самовластье немецких князей; по всякому поводу он беспокоил немцев напоминаниями об отсталости их страны, о глубоком провинциализме, в который она впала, об их вопиющем политическом беспорядке. Тонкий наблюдатель, человек острой мысли и острого слова, отличавшийся бодрым юмором, находчивостью и изобретательностью в своих писаниях, Людвиг Берне умел сводить всякий вопрос немецкой жизни к главному — к политическому раскрепощению Германии. Писал ли Берне театральные рецензии, или же отзывы о новых книгах, или же путевые заметки, он возвращался умело — через неожиданные сопоставления — к главной теме времени. Он был политическим писателем всегда и всюду, касался ли гастролей знаменитой актрисы, рассказывал ли читателю о том, что увидел по дороге из окна дилижанса. Гейне отлично воспроизводит манеру Берне, передавая в своей книге разговоры с ним и его монологи. Писательская манера Берне была родственна манере самого Гейне, и в книге «Людвиг Берне» порою пропадает разница между автором и героем: речь героя сливается с авторской речью. Но разница эта, и разница глубокая, существовала. Берне весь был полон злободневностью, он был писателем короткого прицела, его импровизации никогда не вели слишком далеко, не захватывали по пути слишком многого. Разворот мысли и фразы у Гейне всегда гораздо шире, импровизация у него вольнее, прихотливее, артистичнее, мысль богаче оттенками и перспективами. Сам Гейне настойчиво подчеркивает эти отличия, когда выступает с защитой синтаксического периода, свойственного его собственной речи, и когда он порицает короткую фразу и отрывистый ритм Людвиг Берне. Различия в стилистике Гейне и Берне в конце концов восходили к различиям в миропонимании этих писателей.

Уроженец Франкфурта-на-Майне, сын тамошнего еврейского банкира, Берне надолго оставался связанным со своим городом. Связи эти прервались только на время годов учения: Берне учился медицине сначала в Берлине, у знаменитого врача Маркуса Герца, а затем в Галле и в Гейдельберге. Медицина не оказалась и не могла оказаться профессией Людвиг Берне. В Берлине он находился под впечатлением салона Генриетты Герц, жены его учителя, салона, где собирались литераторы, политики, художники. Тогда же Берне влюбился в самую Генриетту, жемчужину, замечательную по уму и красоте. Ему было шестнадцать, ей — тридцать восемь, но разница

лет его не смутила. Генриетта Герц приложила усилия, чтобы, не отвечая на любовные чувства Берне, тем не менее успокоить его и перевести эти чувства на другие пути. От медицины Берне перешел к более близким ему «камеральным наукам», как тогда назывались науки экономические и родственные им. С 1811 года он снова во Франкфурте, и здесь он занимает должность регистратора полицейской канцелярии. Когда читаешь позднейшие писания Берне, безжалостного обличителя полицейских порядков в Германии, такое начало его карьеры представляется парадоксом и иронией судьбы. Впрочем, когда полиция в Германии снова вернулась к своим традиционным началам и навыкам, когда наступило время Реставрации, Берне лишился своей службы. С 1815 года он — вольный человек, предоставленный самому себе. Реставрация пробуждает в Берне политического писателя. В 1818 году он основывает во Франкфурте оппозиционный журнал «Весы» («Die Waage»). В недавнем прошлом яростный противник Наполеона и наполеоновских завоеваний в Германии, он понимает теперь, что победа над Наполеоном еще не решает патриотической задачи — она состоит теперь в планомерной борьбе с собственными немецкими правительствами. Свою новую деятельность оппозиционного публициста Берне именует «приватным патриотизмом». Как журналист он обличает немецкое убожество, сохранившееся, несмотря на все великие перемены в истории Европы, не встревоженное ни французской революцией, ни Наполеоном. О своем журнале Берне писал: «Весы! Но, боже, что же мне было взвешивать? Даже на рынках, и то не делалось никаких дел. Что же касается народа, поместившегося в хорамах повыше, то он торговал воздухом, ветром и другими невесомыми материями». Именно в «Весях» развернулась деятельность Берне как театрального критика. Его разборы пьес тогдашнего репертуара, его язвительные характеристики тогдашних модных драматургов Иффланда, Коцебу, Раупаха заключали в себе политическую тенденцию. Он был одним из создателей политической литературной и театральной критики в Германии. Громя этих авторов, он заодно громил и филистерский уклад немецкой жизни, чьим порождением они были, чьей защитой и оправданием они являлись по общему смыслу своего творчества.

Путевые очерки вскоре стали особым жанром Берне. Вторично побывав во Франции (1822—1824), он написал «Картины Парижа». Цель его состояла в том, чтобы приобщить немцев к активной политической жизни, пример которой подавали Франция и ее столица.

Вершина литературной деятельности Берне, вершина его славы и влияния приходится на 30-е годы. После Июльской революции он

переселяется в Париж, и с этой поры начинается публикация его «Писем из Парижа» (1830—1833), производивших в Германии сильнейшее впечатление и ставших для целого немецкого поколения школой гражданской мысли и гражданского чувства.

До известного срока Берне и Гейне представлялись немецкой публике верными союзниками и единомышленниками. Казалось, они учили одному и тому же, казалось, они даже пишут в сходной манере, в одном и том же жанре, и даже темы у них совпадают: одновременно с «Письмами из Парижа» Берне стали появляться в печати сочинения Гейне, посвященные быту, культуре, искусству, политической жизни Франции, в которых и Гейне стремился поднять немцев до французского уровня политического и общественного развития. Оба писателя подвергались гонениям со стороны немецких правительств; когда Союзный сейм наложил в 1835 году запрет на продукцию так называемой «Молодой Германии», то главарями этой группы писателей полиция и цензура считали их двоих — Берне и Гейне.

Тем ошеломительнее подействовала на немецкую публику книга Гейне о Берне, написанная им после смерти Берне и расцененная многими зложелательными критиками как нападение, совершенное с расчетом, что противник мертв и не в состоянии ответить. Между тем, для Гейне насущно необходимо было размежеваться с Берне; интересы дальнейшего развития демократической немецкой мысли требовали, чтобы различие между Гейне и Берне было резко подчеркнуто. Немецкие демократы и либералы ответили на новую книгу Гейне воплями возмущения. Их политическая наивность не допускала, что внутри оппозиции могут быть разные течения, что единомыслие в одном не исключает крупных расхождений в другом, что взаимная солидарность перед лицом общего противника вовсе не означает тождества программ у всех сил оппозиции. К тому же программа Гейне была не по плечу немецким мелкобуржуазным политикам, и тем труднее оказывалось его положение. Спор с Берне являлся в их глазах ренегатством, перебежкой в стан недругов. Этих упреков в измене Гейне ожидал, они его беспокоили и волновали, но он считал своим долгом сказать о Берне свое критическое слово.

Следует со всей отчетливостью заявить, что Гейне дал справедливую оценку Берне, несколько не умалив действительных заслуг и достоинств этого благородного писателя. Пусть свои положительные суждения Гейне и высказывает порою нехотя, тем не менее их содержание остается в силе. Ему приходилось преодолевать свое раздражение против Берне, который написал в Париже немало

обидных страниц против него; слишком памятливы были для Гейне мелкие интриги самого Берне и его приверженцев.

Портрет Берне, нарисованный Гейне, исторически достоверен. Гейне изобразил Берне, каким он был, — страстным патриотом и демократом. Он воздал должное ему как писателю: речи Берне, воссозданные Гейне в его книге, полны воодушевления и блестящего остроумия. Однако Гейне ограничил Берне, указав, где начинается и где кончается его роль, и именно этого не могли простить Гейне бернеанцы, требовавшие иконы учителя вместо его исторического портрета.

Условно-образные категории «эллинства» и «назарейства» помогают Гейне определить историческое место Берне. Категории эти у Гейне очень широки: он распространяет их на многовековую историю европейских народов. Казалось бы, зачем привлекать их к делу, если пишется портретное, мемуарное сочинение о недавно скончавшемся немецком публицисте? Но в этом и состоит замысел Гейне: он хочет показать, как равнодушен, если не враждебен был Берне большим задачам истории, как слеп был к ним этот немецкий писатель, всецело увлеченный ближайшим и текущим. Берне знал и понимал только одно: нужна перемена политического режима в Германии. Вопросы социальные и культурные для него оставались в тени, и если он брался их решать, то делал это грубо и поверхностно. Берне мало беспокоило, что же будет дальше, после того как немцы покончат с самодержавием в немецких землях и крепостнические порядки будут устранены. Он ненавидел буржуа, он по опыту Франции знал, какую роль в современных отношениях выполняют «индустриалы», как он их называл, но никаких средств против их экономической и социальной власти Берне назвать не мог, да он и не задумывался над этим. Если же у него и были какие-то намеки на решение социальных проблем современности, то все они сводились к ретроградной программе мелкобуржуазных уравнителей. Чисто политическая эмансипация, как правило, казалась Берне более чем достаточной, — со всей энергией передовых немецких писателей, писавших еще за полвека до того, с энергией Шубарта или юного Шиллера он выступал «против тиранов», мало замечая, что новое общественное развитие принесло с собой еще и другие задачи, которых не исчерпывает одно только свержение «тиранов» — немецких князей и князьков. Гейне весьма решительно заявляет, что Берне до известной черты и на самом деле был его союзником. И он, Гейне, никогда не упускал из виду злобу дня, и он, Гейне, считал, что необходима самая решительная борьба с немецкими самодержцами, с привилегиями дворянства, с сословным

строим, но для него это было лишь началом, тогда как для Берне в этом заключались и начало и конец.

«Назарейнами» Гейне называл спиритуалистов, верующих в возможность духовной жизни, обособленной от материальных отношений, независимой от них. Но Гейне интересовали и философия и религия не сами по себе взятые. Он искал реальных корней «назарейства», его проявлений в современной общественной жизни. Если пытаться с возможной точностью определить, в чем именно усматривал Гейне современное «назарейство», то всего вернее было бы сказать: «назарейство» — это формальная демократия буржуазного общества, дарующая мнимые права, не подтвержденные какими-либо материальными гарантиями. На словах — равенство и свобода, на деле — богатство одних, нищета других, эксплуатация, порабощение экономическое и политическое. Формальная демократия, таким образом, есть некоторый спиритуализм социально-политического свойства: вам все дано словами, вы все права обретае «в духе», в своем внутреннем сознании, и все права отнимаются у вас практически, едва вы только попадаете под власть материальных отношений материального мира. Формальная демократия является как бы политическим христианством, «назарейством», она страдает той же двойственностью, что и христианство, и располагает к тому же лицемерию. Как христианство допускает, чтобы во имя мистических, потусторонних благ общественный человек влачил в материальном мире низменное существование, так и демократия буржуазного общества оправдывает любое зло общественной практики, будь оно только обставлено безупречными юридическими формами. Гейне вовсе не винит Людвига Берне в политическом ханжестве. Он скорее винит его в наивной вере во всемогущество политических и юридических форм.

В книге своей Гейне более всего внимания уделяет Июльской революции и периоду, следовавшему за ней. Он подготовляет рассказ об Июльской революции поэтической символикой «эллинизма»: приближается царство всеобщего довольства, приближается мировой переворот, «великий Пан умер», человечество меняет своих богов. Гейне получает первые вести об июльских событиях на морских купаньях, на острове Гельголанд. Море сладко и обольстительно пахнет пирожками — тем довольством, теми радостями, тем избытком благ, которые ожидают человечество. Гейне отнюдь не предполагал, что Июльская революция или какая-либо другая из ближайших революций незамедлительно установит царство «эллинизма». Он имел в виду конечные цели освободительного движения

и всякую революцию рассматривал как новый шаг на пути к ним. Берне в «Письмах из Парижа» неумоимо обличал Нюльскую монархию. Он требовал последовательно проведенной политической демократии, он требовал буржуазной республики, и это было все. О других, более далеких целях он не подозревал. Для Гейне буржуазная демократия была только средством перехода к более высокому строю — к «эллинству», к правам человека, представленным во плоти. «Эллинизм» Гейне — борьба за действительное, материальное освобождение человечества, за переустройство материальной базы общества, за разумную и справедливую организацию его материальной жизни. Всему этому учили писатели из школы Сен-Симона; лучшие и сильнейшие стороны их учения были глубоко восприняты Гейне. «Христианству» формальной свободы Гейне противопоставил «язычество» свободы действительной, «плотской», отражающей земные интересы человека, его труд, его радости. В «языческий», «эллинский» идеал Гейне помимо учения сен-симонистов вошел материалистические традиции немецкой мысли и поэзии, связанные с культом античности, с новым «эллинством» Винкельмана и Гете.

«Эллинизм» Гейне подразумевало, что более высокий, более человечный общественный порядок возможен только на основе всех достижений современного материального развития. Иное у Берне с его довольно заметным уклоном к уравнительству. Он не ценил материального прогресса современного общества. Защита Ротшильда, которую Гейне берет на себя в шутку, имеет и свой серьезный смысл. Гейне хочет объяснить «неоякобинцу», уравнителю Берне, какое положительное значение имеет буржуазный прогресс, разрушивший старые, патриархальные формы, накопивший материальные богатства, без которых обществу нельзя двигаться вперед. Странники формальной демократии, подобные Берне, примерно так представляли себе претворение слов ее в дело: нужно превратить формальное равенство в действительное, učinив справедливую, поровну между всеми, дележку благ, какими обладает современное общество. Такое всеобщее уравнивание отбросило бы общество назад, чрезвычайно понизило бы его материальный и культурный уровень. Это было бы братство в нищете, аскетическое братство — особая разновидность «назарейства», наиболее последовательное его осуществление. К уравнительству Гейне относился с крайней ненавистью. Особую подозрительность вызывали у него связи Берне с немецкими ремесленниками, мастерами и подмастерьями — будущими мастерами. В среде мелких собственников или же претендентов на это положение уравнительные идеи

были до чрезвычайности популярны. Вообще уравнительство было влиятельным в Германии, в которой мелкая буржуазия, составляя значительный элемент общества, в большой мере определяла физиономию и характер национальной жизни. Уравнительство позволяло самым ретроградным силам прикрывать свой страх перед материальным и общественным прогрессом лозунгами социальной справедливости и чуть ли не социализма. Эти идейные темы книги о Берне вскоре были развиты Гейне в сатирической поэме «Атта Троль» (1841—1843).

Под конец жизни Берне стал усерднейшим приверженцем христианского социализма, переводчиком и пропагандистом «Слов верующего», сочинения, написанного главарем христианских социалистов во Франции, аббатом Ламенне. Христианский социализм, разместясь, заложил в «назарействе» Берне, и Гейне резко критически отзываясь об этом последнем идейном увлечении своего противника.

Поднятые в книге о Берне вопросы культуры и искусства опять-таки освещены с точки зрения борьбы «эллинизма» с «назарейством». Берне резко отличался от тогдашних писателей Германии своей враждой к философии, он считал философию социальным несчастьем немцев. В этом сказывалась узость его позиций: мысль его двигалась однолинейно, он далеко не загадывал и не хотел загадывать, большие мысли классической философии представлялись ему помехой в практическом деле. Не ладил Берне и с большим искусством, прежде всего по той же причине: ему чужда была философская природа большого искусства. От Гегеля и от Гете он требовал прямой политической полезности и решительно хулил обоих: по его словам, Гегель — холоп нерифмованный, а Гете — рифмованный, и оба — препятствие в борьбе за свободную Германию. Между тем, Берне, конечно, был человеком с очень хорошим восприятием искусства. У него можно пайти отличные замечания о музыке Моцарта, о драмах Виктора Гюго, о прозе Мериме. Наконец, и сам он был отчасти художником. Но инстинкт и восприятие у Берне весьма расходились с его теоретическими оценками роли и значения искусства. И философская высота искусства, и богатство его отношения к жизни, и чувственные его краски, и его духовная свобода, «роскошь» его — все это казалось ему чем-то мало нужным или даже ненужным вовсе, чем-то вредным; с его аскетическим социальным идеалом искусство не уживалось.

Что Берне так решительно настаивал на политическом призвании искусства, навсегда останется его заслугой в истории немецкой эстетики. Но он отрывал политику от других сторон жизни,

и там, где искусство отзывалось на жизнь в целом, там оно не находило у Берне теоретического признания. Собственно говоря, он требовал, чтобы искусство, взявшись за политическое служение, зачастую отказалось от самого себя и превратилось в сухую и прямолинейную агитацию. Этого он хотел от Гете, этого же он хотел и от Гейне. Сам же художественный элемент искусства Берне рассматривал как забаву и игру, которые могут быть милы, покамест люди не призваны к серьезному делу. Отсюда у Берне и антитезы «таланта» и «характера», вызывающие такое возмущение Гейне. Соответственно этим антитезам, «характер» и «талант» исключают друг друга: либо забава искусства, либо участие в настоящем деле, где не до артистических талантов, где нужен «характер» как таковой. Гейне смело, без пропусков процитировал все страницы из Берне, написанные против него. Берне рисовал Гейне как бесхарактерного поэта, занятого поэтической мишурой, эстетически присредливого, уклоняющегося во имя эстетики от гражданского долга. По Берне, собственно, всякая эстетика, в каком бы виде она ни являлась, была уже нарушением высоких обязанностей современного литератора. В этом настоящий смысл его нападок на Гейне, для Гейне поэтому не страшных. Писатели «Молодой Германии», а позднее многие из политических поэтов 40-х годов следовали призывам Берне и мало что оставили от художества, выполняя свою идейную миссию. Их идеалы были бедны, односторонни, вдоволь прозаичны, и в эстетике эти литераторы мало нуждались — в эстетике, дружной с общественным идеалом у Генриха Гейне.

Книга о Берне — книга точных фактов: Гейне вспоминает здесь о встречах, которые действительно происходили, о лицах и событиях, известных современникам. Она же — философская поэма борьбы «эллинства» с «назарейством». Факты зачастую малы и случайны, действительность взята у Гейне в ее сыром, непосредственном виде. Но мысль у него парит над этими эмпирическими фактами, возвышаясь до крайних обобщений, лишь косвенно связанных с тем, что прямо содержится в фактах. Такова поэтика Гейне: документальность материала обычно сочетается у него с идеями самого отвлеченного и высокого порядка; на одной стороне у Гейне повседневные записи, на другой — как бы вырвавшаяся из этих записей, из мелких анекдотов, наблюдений свободная, ничем не ограниченная мысль автора. Гейне рассказывает о всем известном лигере Людвиге Берне, который писал «против комедиантов», рассказывает, каков этот доктор Берне у себя дома, во Франкфурте-на-Майне, у мадам Воль на Вольграбене. Значение всех фигур и подробностей растет под руками у Гейне: «комедианты» — это уже

не те бедные актеры, игру которых когда-то разбирал Берне в «Весах», это актеры совсем иной сцены — главные действующие лица эпохи Реставрации, правители и министры немецких государств. Сам Людвиг Берне становится фигурой из всемирно-исторической драмы, «назарейянином» этой драмы, а вся полемика Гейне с Берне — частным примером всемирно-исторической коллизии с «назарейянами» на одной стороне и с «эллинами» на другой. Между высокими значениями эмпирических фактов и самими фактами остается незаполненное пространство, что Гейне и подчеркивает. Он шутливо, иронически в отношении к собственной своей манере подгоняет факты под далеко отстоящие от них значения, он стилизует факты, придавая каждой случайной мелочи обобщенный смысл, чуждый ей. Так, под его пером все в Людвиге Берне говорит о «назарейянине», который скрывается в этом человеке: и цвет лица, и выражение глаз, и физическая конституция. Идут годы, и, рассказывает Гейне, его герой, Людвиг Берне, все худеет и худеет. Когда Гейне снова встречается с Берне в Париже после Июльской революции, то перед ним — исхудалый человек, пребывающий в своем шлафроке, как черепаха в костяном футляре, по-черепашьи он высовывает свою маленькую изможденную головку, рука у него слабая и исхудалая — он протягивает ее из широкого рукава. Гейне дает стилизованный портрет «назарейянина», спиритуалиста, аскета, телесно убогого, который запрятался в футляр своего халата — так, чтобы окружающий физический мир не мог добраться до него. О мадам Воль, подруге и покровительнице Берне, рассказано опять-таки в тонах стилизации: подчеркнута ее старообразность, некрасивость, скрипучий голос, тощее тело, желтовато-белое лицо с оспинами, похожее на залежавшуюся мапу. Такой и должна быть женщина «назарейянина», — тут его дурной вкус, дурной выбор, чуждость красоте. Гейне весьма нескромно трактует отношения между Берне и мадам Воль, состоявшей в законном браке с купцом Соломоном Штраусом. Но и здесь он не хотел ничего потерять, что годилось бы для его стилизующего рассказа. Любовь Людвиг Берне к мадам Воль — это любовь «назарейянина», несмелая, неоткровенная, пользующаяся всякими прикрытиями, готовая допустить двойственность отношений. Мадам Воль вступает в союз, духовный и идейный, с писателем Людвигом Берне, а в мире материальном она предпочитает суружество с преуспевающим коммерсантом. Начиная с «Путевых картин», Гейне держался манеры стилизованного рассказа о живых своих современниках, и как там героями его сатиры были гамбургский «неповешенный маклер», или гамбургский банкир Гумпель, или же поэт граф Платен, так и в этой книге в до-

кументальном виде выводятся сам Людвиг Берне, Жанетта Воль и муж Жанетты Воль.

Помимо того, в новой книге особые удары пришлось на долю многих деятелей немецкой эмиграции в Париже; из них одни прямо не указаны, выведены под инициалами или под звездочкой, а фамилии других раскрыты. Гейне первый стал разрушать легенду, будто вся политическая эмиграция поголовно состоит из героичных людей, всецело преданных делу революции. Он описал здесь и тех, кто хотел пристроиться к революции, всякого рода мелких честолюбцев, прожектеров и попросту празднующихся, которые не прочь были присвоить себе ореол героев свободы. Своим критическим разбором эмиграции Гейне оказался в известной степени предшественником Маркса и Энгельса, ¹ изобразивших европейскую эмиграцию уже на другом этапе революционного движения: у Гейне представлена эмиграция после революции 1830 года, у Маркса и Энгельса — после революции 1848 года.

От острой своей манеры, не признающей границ между искусством и действительностью, между публичностью и тем, что современники считали своей частной жизнью, неприкосновенной для чужого взгляда, Гейне нисколько не желал отказываться, хотя критики негодовали и герои книг Гейне — его жертвы — бурно восставали против него. Так, Соломон Штраус, обиженный за себя и за Жанетту Воль, пустившийся во всякие мстительные рассказы о Гейне, вынужден был драться с ним на дуэли. Поединок состоялся в парижском предместье 7 сентября 1841 года; Штраус слегка ранил Гейне, сам же Гейне умышленно выстрелил в воздух. Позднее, в 1845 году, Гейне через печать выразил сожаление по поводу своих нападок на Жанетту Воль и ее семейную жизнь. Но осложнения со Штраусом были всего лишь деталью, книга Гейне о Берне превратилась во всенемецкий скандал. В прессе Гейне поносили. Карл Гудков, один из писателей «Молодой Германии», выпустивший в 1840 году книгу «Жизнь Берне», чрезвычайно панегирическую в отношении Берне, в предисловии к ней разразился целым потоком ругательств в адрес Гейне и его только что опубликованного памфлета. И личная сатира, содержавшаяся в сочинении Гейне, и его критика позиций Берне, и его собственная идейная позиция — все это вызывало в публике и в критике раздражение и злобу. Юлиус Кампе, издатель Гейне, был напуган плохим приемом, который был оказан книге Гейне. А ведь тот же Кампе еще недавно сам рас-

¹ См. Архив Маркса и Энгельса, кн. V, 1930, памфлет «Великие люди эмиграции» (1852).

палял страсти и, вопреки желанию автора, напечатал эту книгу под названием: «Генрих Гейне о Людвиге Берне», которое публика и критика считали и не могли не считать высокомерным, вызывающим и грешащим против правил литературного вкуса.

В том же 1840 году Жанетта Воль, полная намерений рассчитаться с Гейне, издала книгу «Суждения Людвиге Берне о Гейне. Неопубликованные отрывки из парижских писем». Подруга Берне оказала дурную услугу его памяти: она подобрала все неприязненные замечания о Гейне, сделанные когда-либо Берне в письмах к ней, и многие из этих замечаний, мелких и придирчивых, были довольно ревнивого свойства, чем только подтверждалось все сказанное Гейне о завистливых чувствах Берне. Характеристика Гейне во весь рост не давалась Берне: он стоял на более низких идейных позициях, в то время как Генриху Гейне идейная высота, занятая им, позволяла оценить Людвиге Берне с достаточной верностью и полнотой. Берне очень хорошо сознавал, какой литературной и общественной силой является Гейне. Существуют свидетельства, что и в парижские годы жизни, в годы почти открытой вражды, Берне искал примирения с Гейне и даже мечтал о литературном сотрудничестве с ним, о журнале, где бы они печатали свою переписку, свои вопросы и ответы друг другу (см. Friedrich Hirth. Heinrich Heine. Bausteine zu einer Biographie, 1950, стр. 30—33). Берне считал, что Гейне должен быть исправлен; обиденный, опрошенный, обуженный Гейне и казался бы ему улучшенным Гейне, достойным политического союза с ним, с Берне.

Много позднее историки литературы пришли к более справедливому пониманию спора Гейне с Берне, еще не доступному современникам этого спора. Довольно верно трактует его уже первый ученый биограф и комментатор Гейне, автор двухтомного исследования о нем Адольф Штротдман (A. Strodtmann. Heines Leben und Werke, 1867—1869). Сочувственное в отношении Гейне специальное исследование по поводу этого спора написал уже в XX веке голландец Раас (L. Raas. Börne und Heine als politische Schriftsteller, 1927).

Но Гейне довелось еще при жизни получить могучую моральную поддержку со стороны высокоавторитетного для него и чрезвычайно чтимого им молодого друга — Карла Маркса. В 1846 году Маркс познакомился с книжкой, изданной Жанеттой Воль, и в апреле того же года он написал Гейне из Брюсселя в Париж: «Несколько дней тому назад мне случайно попался небольшой пасквиль против Вас — письма, оставшиеся после Берне. Я бы никогда не поверил, что Берне так безвкусен, мелочен и пошл, если бы не эти черным по белому написанные строки. А добавление Гуцкова и про-

чих — что за жалкая мазня! В одном из немецких журналов я дам подробный разбор Вашей книги о Берне. Вряд ли в какой-либо литературный период книга встречала более тупоумный прием, чем тот, какой оказали Вашей книге христианско-германские ослы, а между тем ни в каком периоде немецкой литературы не ощущалось недостатка в тупоумии». ¹ Речь шла не только о падении Берне как писателя. Маркс не мог оставаться равнодушным и к идеям, которые проводились Берне и его сторонниками. С середины 40-х годов Маркс и Энгельс ведут ожесточенную борьбу с немецкими мелкобуржуазными радикалами, с так называемыми «истинными социалистами»: Криге, Грюном, Беком и др. В их среде было заметно влияние Берне. В «Циркуляре против Криге» Маркс упоминает и Берне, как единомышленника аббата Ламенне и других «увлекающихся католицизмом политических фантазеров». ²

В другом месте Маркс проводит различие между произведениями Берне и вульгарными писаниями какого-нибудь Карла Гейнца, человека, «которому остроумие и литературное образование Берне столь же чужды, как его муза, как его стиль». ³ Но все же для Маркса главную роль играет то обстоятельство, что идейное наследие Берне стало подспорьем Гейнца и его единомышленников. И собственные идеи Берне, и христианский социализм, которому он служил под конец своей жизни, — все это задерживало развитие немецкой освободительной мысли; к сороковым годам положительная роль Берне была исчерпана, книга Гейне отодвигала этого писателя в историю, трактовала его как полезного деятеля в прошлом, не имеющего права направлять и вести за собою умы в настоящем.

Энгельс, в юности энтузиастически относившийся к Берне, в 1842 году высказывался по поводу книги Гейне, направленной против Берне, самым резким образом. ⁴ Зрелый же Энгельс примкнул к мнению Маркса. В статье 1847 года по поводу Карла Грюна и его трактовки Гете в духе «истинного социализма» Энгельс защищает Гете от Грюна с его нелестными для Гете похвалами в филистерском духе и от Берне с его упреками. Напомним, что защита Гете — одна из главных тем спора Гейне и Берне.

Среди отзывов немецких писателей о книге Гейне самый всесильный принадлежит Томасу Манну. В «Заметке о Гейне» («Notiz über Heine», 1908) он назвал эту книгу своим самым любимым произведением

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXV, стр. 11.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 4, стр. 6.

³ Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, кн. V, 1930, стр. 336.

⁴ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 1, стр. 481.

Гейне, содержание ее — всемирно-историческим, а язык, которым она написана, — языком одного из гениальнейших образцов немецкой прозы.

КНИГА ПЕРВАЯ

Стр. 7. *Я был с моим покойным отцом на Франкфуртской ярмарке...* — В 1815 году отец привез Гейне во Франкфурт-на-Майне и отдал его там на службу к банкиру Риндккофу, вскоре оставленную Гейне.

...*Ремер, где покупали немецких императоров...* — Ремер — ратуша во Франкфурте, построенная в 1405 году (разрушена во время второй мировой войны); с 1562 года в Ремере происходили торжества по случаю коронации германских императоров. Императоров Священной Римской Империи германской нации избирали немецкие князья, имеющие на это особую привилегию; при выборах действовала система подкупов.

△ и □ — знаки масонских лож.

...*доктор Берне, что пишет против комедиантов.* — Хронологическая ошибка у Гейне: в 1815 году Берне еще не занимался театральной критикой; свои статьи о театре он стал впервые помещать в журнале «Весы» (1818—1821).

Стр. 8. *Диффенбах* Поганн-Фридрих (1794—1847) — талантливый хирург, берлинский профессор; в 1820 году учился одновременно с Гейне в Боннском университете.

Стр. 8—9. ...*третировал Гейгелей, Вейднеров, Уршпрунгов...* — Карл Гейгель — с 1804 года театральный директор во Франкфурте; Юлиус Вейднер — режиссер и актер франкфуртского театра; Уршпрух (у Гейне ошибка в написании его фамилии) — франкфуртский актер.

Стр. 9. «*Весы*» и «*Крылья времени*» — названия журналов, связанных с именем Берне. Первый из них был основан самим Берне и издавался им в непериодической форме с 1818 по 1821 год. Во втором Берне был только редактором в течение 1819 года.

Рахель — жена известного берлинского либерального литератора Карла-Августа Фарнхагена фон Энзе. Гейне был другом обоих супругов, в берлинский период своей жизни он часто посещал литературный салон Рахели Фарнхаген.

...*письма, которые Берне писал когда-то любимой женщине...* — Имеются в виду письма Берне к Генриетте Герц (см. введение к комментариям). Письма эти, относящиеся к периоду 1802—1807 годов, были изданы много позднее, в 1861 году, в Лейпциге.

Стр. 11. ...*мадам Воль живет на Вольгербене*. — Жакетта Воль-Штраус (1783—1861), вдохновительница и подруга Берне, принадлежала к плеяде женщин, игравших своеобразную роль в умственной жизни Германии первых десятилетий XIX века (Генриетта Герц, Рахель Фарнхаген и др.). Это были женщины, сами не выступавшие в литературе, но оказывавшие влияние на нее косвенно как собеседницы, советчицы, помощницы известных писателей, как пропагандистки их творчества. См. также введение к комментариям.

Котта и *Кампе* — известные издатели; Юлиус Кампе был постоянным издателем Гейне.

Стр. 11—12. *Слова эти... побудили его съездить в Гамбург*... — Книгоиздательство Кампе находилось в Гамбурге. С 1829 года Берне по примеру Гейне стал тоже издаваться у Кампе. С 1829 по 1834 год Кампе выпускал первое собрание сочинений Берне в 8 томах.

Стр. 12. *Вандомская колонна*. — На месте кошной статуи Людовика XIV, разрушенной во время Великой французской революции, Наполеон велел воздвигнуть в честь кампании 1805 года свой собственный памятник, а площадь вокруг него назвал Вандомской. После возвращения Бурбонов Вандомскую колонну убрали, и только при короле Луи-Филиппе в 1833 году она снова была водружена на прежнее место.

...*кусоч холста с надписью «Восемнадцатое брюмера»*... — 18 брюмера по революционному календарю, то есть 9 ноября 1799 года Наполеон Бонапарт свергнул Директорию и объявил себя первым консулом, став таким образом военным диктатором Франции.

«*История революции*» — восьмитомный труд Адольфа Тьера «История французской революции», выходящий в 1823—1827 годы. Сочинение Тьера было богато фактическими подробностями и анекдотами.

Кобенцль Иоганн (1754—1809) — австрийский дипломат; в 1797 году в *Удине* (Италия) вел переговоры с Бонапартом и 17 октября того же года в Кампоформии подписал с ним мир.

Стр. 13. ...*изображают Наполеона взлетающим на Симплон*... — Гейне подразумевает известную картину знаменитого французского художника Жака-Луи Давида (1748—1825), связавшего свое искусство сначала с французской революцией, а потом с наполеоновской империей. У Давида изображен не Симплон, а Большой Сен-Бернар — снежный перевал, через который в мае 1800 года Наполеон со своими войсками вошел в Италию; Симплонская дорога была по распоряжению Наполеона проложена позднее.

Стр. 15. *Труд Вольфганга Менцеля* — книга критика и публициста Менцеля «Немецкая литература» (1828). Статью Гейне об этом сочинении см. в т. 5 настоящ. издания (стр. 138—150). Менцель, до поры до времени казавшийся человеком оппозиции, с середины 30-х годов показал свое подлинное лицо: он стал выступать как отъявленный ретроград, как озлобленный националист, как сочинитель доносов на либеральных писателей. Гейне и с самого начала далеко не полностью доверял Менцелю, а затем, когда тот проявил себя окончательно, обрушил на него сокрушительные удары. Берне в 20-х годах относился к Менцелю гораздо наивнее и только в 1837 году рассчитался с ним в блестящей статье «Менцель-французоед», ставшей одним из лучших памятников обличительной немецкой публицистики.

Стр. 16. *Ламенне* Фелисите-Робер (1782—1854) — аббат, возглавлявший во Франции пропаганду так называемого христианского социализма, автор книги «Слова верующего», переведенной Берне на немецкий язык. Реальный смысл проповеди Ламенне состоял в том, чтобы укрепить католическую церковь, подчинив ее идейному влиянию социалистическое движение, в 30-х годах захватывавшее народные массы. Не только Берне, но и такие французские писатели, как Жорж Санд и Виктор Гюго, испытали на себе воздействие идей христианского социализма. Гейне относился к Ламенне и его последователям неизменно отрицательно.

...публично высказаться об одном из преемников Гете... — Здесь Гейне подразумевает самого себя.

Стр. 19. «*Мы сидели на реках вавилонских...*» — начальный стих 134-го псалма.

Зонтаг Генриетта (1806—1854) — немецкая певица, пользовавшаяся мировой славой; в Германии ее гастроли всюду превращались в событие. В 1827 году Берне напечатал веселый фельетон «Генриетта Зонтаг во Франкфурте», где юмористически изобразил энтузиазм и шум, произведенный ее выступлениями на сцене франкфуртского театра.

Насуходоносор — царь древнего Вавилона, завоеватель Сирии и Палестины; в 586 году до н. э. разрушил Иерусалим и увел иудеев в вавилонский плен.

Стр. 19—20. *Тит* — римский император Тит Флавий Веспасиан, сын и наследник императора Веспасиана, еще в царствование которого он взял и разрушил Иерусалим (70 г.). Тит царствовал с 79 по 81 год. *Delicium generis humani* — прозвание, данное императору Титу в Риме.

Стр. 20. *Аман* — персидский вельможа, гонитель евреев.

О делах Амана и о его казни рассказано в библейской книге «Эсфирь».

Антиох — имя нескольких царей из династии Селевкидов. Антиох IV, который здесь имеется в виду, известен своей жестокой борьбой с иудейскими народными восстаниями. Восстание под руководством Иуды Маккавея закончилось для Антиоха IV поражением (164 до н. э.).

...читал брошюру... написанную профессором философии... — Речь идет о брошюре иенского профессора философии Якоба-Фридриха Фриза, вышедшей в 1816 году под названием «Об опасностях, грозящих со стороны евреев благосостоянию и национальному характеру немцев».

...magis amica. — Заимствовано из пословицы: Amicus Plato sed magis amica veritas (Платон мне друг, но больший друг — истина).

Флаксенфинген — миниатюрное княжество, место действия в романе Жан-Поля Рихтера «Гесперус» (1795), символ немецкого мелкодержавия и политического провинциализма. Гейне преданно заставляет Берне ссылаться на Жан-Поля Рихтера: это характерная для Берне подробность — Берне был поклонником Жан-Поля и знатоком его сочинений.

Стр. 21. *Союзный сейм* (Bundestag) — центральное представительное учреждение немецких государств с местопребыванием во Франкфурте. Союзный сейм существовал с 1815 по 1848 год. Значение его сводилось к выработке полицейских мероприятий в общегерманском масштабе и к распространению на всю Германию политики Меттерниха.

Стр. 22. *Митридат* (132—63 до н. э.) — царь понтийский, грозный враг Рима; был разгромлен Суллой и Помпеем и кончил жизнь самоубийством.

Аква тофана (Aqua Tofana) — медленно действующий яд; назван по имени итальянки Тофана (Тоффа, Тоффания), которой приписывалось изобретение этого яда (ок. 1700).

Золотая булла — грамота Карла IV от 1356 года, устанавливавшая порядок избрания германского императора семью курфюрстами и касавшаяся также других вопросов общегерманской конституции. Буллой (лат. bulla) именовалась коробочка для печати на шнурке, прилагаемой к документам (обычно к папским посланиям), а также сама печать и документ, снабжаемый ею.

Стр. 23. *Восемнадцатое октября* — еврейский праздник, установленный в память о победе еврейского национального восстания против Антиоха IV. Под *лейпцигским Восемнадцатым октября*

Берне подразумевает так называемую Битву народов (16—19 октября 1813 года), в которой союзные войска одержали под Лейпцигом победу над Наполеоном.

Летиция Бонапарт — мать Наполеона.

Фридрих-Вильгельм, Александр и Франц — король прусский Фридрих-Вильгельм III, русский император Александр I, австрийский император Франц II.

Стр. 24. *Мейер-Амшель* (Майер-Ансельм) *Ротшильд* (1743—1812) — франкфуртский финансист, основатель банкирского дома, пользовавшегося значительным влиянием в финансовой и политической жизни европейских государств. Сыновья Ротшильда создали свои банкирские дома в Вене, Париже, Лондоне и Неаполе. С парижским Ротшильдом, бароном Джеймсом (1792—1868), Гейне был в дружеских отношениях.

Стр. 25. *Гириш-Гиацинт* — герой «Лукских вод» Гейне, мелкий гамбургский маклер, восторженный поклонник Ротшильда (см. т. 4 пастоящ. издания).

Стр. 28. ...*в доме повешенного не надо говорить о веревке.* — Гейне перешел в христианство в 1825-м, Людвиг Берне — в 1818 году.

Стр. 30. *«Я хотел бы, чтобы он был потолще»* — цитата из «Юлия Цезаря» Шекспира (I, 2).

...*Гамлет назван тучным.* — Тучным называет Гамлета королева в последнем акте трагедии Шекспира. Эти слова смущали комментаторов, которые не могли допустить, что принц Гамлет был в самом деле тучным, и они предлагали различные поправки к этому месту, считая, что в текст проникла ошибка. Шекспировед Франц Горн, сочинениями которого Гейне пользовался и над которыми он посмеивался, объяснял это место тем, что существуют особые разновидности меланхолии, располагающие людей к тучности.

Стр. 31. *«Политические анналы»* — журнал, издававшийся в Мюнхене бароном Котта; в 1828 году Гейне совместно с Липпнером редактировал этот журнал.

КНИГА ВТОРАЯ

Стр. 33. ...*мне даже не хотелось бы висеть in effigie...* — Казнить *in effigie* — казнить заочно, подвергнув казни не самого человека, а его изображение.

Стр. 36. *Пророк Запада* — Гегель. В своих сочинениях по философии истории, по истории философии и по философии религии Гегель ставил себе одной из задач определить, какое место зани-

мают Ветхий завет и иудаизм в эволюции человеческого сознания. По Гегелю, Ветхий завет — религия абстрактного духа. В «Философии истории» (IV, 1, отд. 3, гл. 3), например, говорится о древнеиудейской религии: «Природа, которая у восточных народов является первоначалом и основой, теперь (у иудеев) низводится на степень простого сотворенного мира, и отныне первенство принадлежит духу». Во французском переводе книги «Людвиг Берне», вышедшем при жизни Гейне (1855), имя Гегеля названо прямо.

Стр. 40. *Головник* Василий Михайлович (1776—1831) — русский мореплаватель; описал свой плен у японцев. Книга Головнина «Путешествие в Японию», вышедшая в 1816 году, переводилась на многие языки (немецкий перевод вышел в 1817 г.).

Стр. 41. *Он... объявит о книжке со «Всеобщей газете»...* — Аугсбургская «Всеобщая газета» имела широкую европейскую известность; в этой газете сотрудничал и Гейне.

Плутарх (ок. 46 — ок. 120) — греческий писатель, историк и моралист. Рассказ о смерти великого Пана Гейне заимствовал из книги Плутарха «De defectu oraculorum» («О святилищах, в которых умолкли пророчества»).

Стр. 42. *Лонгин* — философ, которому приписывался трактат «О возвышенном» (I в.). Подлинный автор этого трактата неизвестен.

Стр. 43. *Пусткухен* Иоганн (1793—1834) — пастор, бездарный писатель; приобрел известность своей полемикой против Гете, которую он вел с христианско-моральной точки зрения. Формой полемики были продолжения романа Гете о Вильгельме Мейстере, сочиненные самим Пусткухеном.

Генгстенберг Эрнст-Вильгельм (1802—1869) — берлинский профессор, теолог; нападал на Гете с христианской точки зрения.

...иудей Пусткухен, иудей Вольфганг Менцель, иудей Генгстенберг... — Гейне стилистической остроты ради называет всех троих иудеями, подчеркивая тем самым, что иудейство («назарейство») есть некоторый склад души, не зависящий от национальной принадлежности, — все трое были чистокровными немцами. Особенно обидным здесь являлся эпитет «иудей» для Менцеля, известного своим немецким национализмом и антисемитизмом.

Стр. 44. *Павел Варнефрид* — Павел Диакон, сын Варнефрида; написал в конце VIII века «Историю лангобардов». Это сочинение Гейне внимательно штудировал и неоднократно пользовался им как источником.

Стр. 46. *Герулы* — германский народ, впервые упоминающийся около середины III века. Гейне воспроизводит далее эпизод из кн. 1 «Истории лапгобардов» Павла Диакона, повествующий о гибели короля герулов Родульфа.

Стр. 47. *Я цитирую «Колокол» Шиллера.* — Гейне цитирует не «Песню о колоколе», но другое стихотворение Шиллера — «Слова веры» («Worte des Glaubens»). Гейне проявлял мало симпатии к поэзии Шиллера и считал ее правоучительной и риторической.

Стр. 48. *Лафайет* Мари-Жозеф (1757—1834) — французский генерал и политический деятель; добровольцем участвовал в войне Америки за независимость, сначала поддерживал французскую революцию, но, устрешенный дальнейшим ее развитием, в 1792 году эмигрировал из Франции. После июльской революции 1830 года способствовал возведению на престол Луи-Филиппа, герцога Орлеанского, что сразу же ограничило размах революции и лишило ее дальнейших перспектив.

Стр. 49. *...увидеть пса Медора!* — Историю пуделя Медора, которую далее кратко пересказывает Гейне, рассказал и Берне в своих «Письмах из Парижа» (письмо от 24 февраля 1831 г.).

Стр. 52. *...Даву, ограбленный банк...* — Один из маршалов Наполеона Луи Даву (1770—1823) после отступления наполеоновской армии из России осадил Гамбург и потребовал от города контрибуцию в 48 миллионов марок. Так как Гамбург не был в состоянии ее выплатить, то Даву наложил арест на все деньги, хранившиеся в гамбургском банке.

Блюхер Гебхардт-Леберехт (1742—1819) — генерал-фельдмаршал прусской армии, убежденный противник Наполеона, участник кампании 1806 года; в 1813 году — командующий силезской армией. Сыграл важную роль в битвах под Лейпцигом и Ватерлоо. За заслуги в освободительной войне Блюхера чествовали в Германии как национального героя. Роль и значение Блюхера в общей борьбе народов Европы против Наполеона сильно преувеличивались в Германии.

Стр. 53. *Пульчинелла* — персонаж итальянской комедии масок.

Пэдди — кличка ирландцев в Англии.

Вартбург — город в Тюрингии, в котором укрылся Лютер после своего окончательного разрыва с католической церковью в 1521 году. В Вартбурге Лютер работал над переводом Библии на немецкий язык.

Мейстер Гемлинг (Meister Hemling, собственно — Meister Hämmerling) — народное обозначение палача.

Томас Мюнцер (1490—1525) — замечательный немецкий революционер, вождь крестьянства во время Великой крестьянской войны 1525 года. Вначале шел вместе с Лютером, но когда тот изменил делу революции, Мюнцер вступил в жестокую идейную и политическую борьбу с ним. Мюнцер ставил своей задачей искоренение феодализма в Германии и мечтал о бесклассовом обществе. После поражения при Франкенхаузене Мюнцер был взят в плен, подвергнут пыткам и казнен.

КНИГА ТРЕТЬЯ

Стр. 59. *Роттек* Карл (1775—1840) — немецкий либеральный публицист, историк, автор популяризаторских сочинений. Был известен своей политической трусостью. Берне в «Письмах из Парижа» (письмо от 12 февраля 1833 г.) издевался над ним: Роттек, как герой либеральной оппозиции, был выбран в бургомистры города Фрейбурга, но когда власть отказалась его признать, Роттек сам опротестовал выборы.

Раумер Фридрих (1781—1873) — консервативный историк и публицист, автор «Писем из Парижа и Франции» (1832) и книги «Англия» (1836).

Стр. 61. *Сара Остин* (1794—1867) — английская писательница; содействовала ознакомлению англичан с немецкой литературой.

Стр. 63. *Jardin des plantes* — парижский ботанический сад, являющийся одновременно зверинцем.

*Г-н **. — Имеется, очевидно, в виду некий Штерн (Stern), франкфуртский биржевой спекулянт, на фамилию которого Гейне остроумно намекает с помощью «звездочки» (der Stern — звезда). Штерн (Назенштерн) является также объектом сатиры Гейне в других произведениях («Бахерахский равнин», «Лютеция»).

Стр. 64. *Неандер* Иоганн (1789—1850) — теолог, автор «Всеобщей истории христианской религии и церкви».

Мейер Гирш — берлинский учитель, автор популярных книг по элементарной математике.

Стр. 65. ...на Акрополе в Афинах струится баварское пиво... — В 1833 году Оттон, сын короля баварского Людвига, был возведен на греческий престол. Берне в «Письмах из Парижа» часто касается греческих дел. Выпады против короля Оттона содержатся в письме от 9 февраля 1833 года.

Стр. 66. *Книготорговец Ф.* — книготорговец Франк из Штутгарта, участник неудачного восстания, которое свелось к тому, что 3 апреля 1833 года небольшая группа молодежи напала на по-

лицейскую охрану Союзного сейма во Франкфурте. Франк был настроен против Гейне и имел влияние на Берне.

Стр. 67. *Капитан Э.* — капитан Зейбольд. В рукописи имя его названо полностью, потом зачеркнуто.

«*Рейнско-баварская трибуна*» — орган либералов; редактором его был д-р Вирт. В 1832 году газета была запрещена Союзным сеймом.

Стр. 71. *События в Рейнской Баварии.* — Гейне имеет в виду события, последовавшие за празднеством в Гамбахе, то есть аресты и ссылки участников его, судебные приговоры вождам либералов: д-ру Вирту, публицисту Зибенпфейферу и др. Гамбахское празднество состоялось 27 мая 1832 года в Гамбахском замке и было политической манифестацией либералов и демократов, носившей отчасти интернациональный характер, так как к немцам здесь примкнули и представители поляков и французов. Союзный сейм ответил на Гамбахское празднество постановлением от 26 июля 1832 года, окончательно отменившим свободу собраний и печати.

Стр. 71—72. *Випонтинский* — латинизированная форма прилагательного *цвейбрюкенский*. *Zweibrücken* (нем.) и *Vipontinum* (лат.) — Двумостье.

Стр. 72. *Доктор Пистор* — один из участников Гамбахского празднества; позднее политический эмигрант, с которым Гейне встречался в Париже.

Стр. 73. *Шильда* — в немецком фольклоре захоластье, где процветают глупость, невежество, смешные чудачества и всяческое мудрствование. Широкою известностью имела народная книга конца XVI века о Шильде и ее обитателях. Шильда — аналогия Пошехонью в русских сказках.

Венедей Якоб (1805—1871) — немецкий публицист, мелкобуржуазный радикал, охотник до социалистической и коммунистической фразеологии, по сути же своей филистер и националист. После Гамбахского празднества эмигрировал в Париж, где стал издавать немецкую газету «Изгнанник» («*Der Geächtete*»). В газете Венедей принимали участие Берне и Гейне. До поры до времени Венедей пользовался доверием и покровительством Гейне, который спасал его от преследований (Пруссия требовала высылки Венедей из Парижа). Впоследствии Гейне порвал с Венедеем. Политики типа Якоба Венедей выведены в сатирической поэме Гейне «Атта Тролль». Прямо против Венедей обращено одно из самых поздних стихотворений Гейне «Кобес I» (см. т. 3 наст. изд., издания, стр. 211—215). В ответ Кобес (Якоб) Венедей через печать угрожал смертельно больному Гейне побоями. Венедей — один из тех непривлекатель-

ных фигур эмиграции, о которых Гейне подробно говорит в своей книге, описывая ближайшее окружение Берне, его немецких сподвижников в Парже.

Стихи Моллакат — стихи, сочиненные семью поэтами домагометанской эры. Стихи эти вышиты на кусках материи, развешанных по степам магометанского святилища Каабы.

Стр. 74. *Зибенпфейфер* Филипп-Якоб (1789—1845). — См. примечание к стр. 71.

Стр. 75. ...*патриот, что стащил у меня в Гамбахе часы!* — Как сообщил Карл Гуцков в своей книге «Жизнь Берне» (1840), часы у Берне украл его собственный цирюльник.

Стр. 77. «*Терраса фейянов*» — клуб, основанный в 1791 году Барнавом, Ламетом, Лафайетом и другими *фейянами*, участниками одной из умеренных буржуазно-дворянских группировок в период французской революции. Фейяны не желали идти дальше конституции по английскому образцу. Свой клуб они устроили в монастыре ордена фейянов (отсюда это название).

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Стр. 78. ...*празднеством, которое некогда происходило в Вартбурге...* — 18 октября 1817 года в Вартбурге, городе, где Лютер переводил библию, произошла манифестация немецких студентов и профессоров. Манифестанты съехались, чтобы отметить трехсотлетие Реформации и четвертую годовщину Лейпцигской битвы. Инициаторами праздника были члены студенческих патриотических организаций, «буршеншафтлеры», у которых оппозиция правительству сочеталась с реакционными националистическими идеями. На Вартбургском празднестве были сожжены официальные сочинения и символы полицейского режима, но в огонь был брошен также и «Кодекс Наполеона», сыгравший весьма положительную роль в тех немецких землях, где в свое время он был введен.

Стр. 79. ...*тот, кто внес в Вартбурге предложение жечь книги...* — Имется в виду ярый националист Ганс-Фердинанд Масман (1797—1874). Начиная с «Путевых картин», Масман служил постоянной мишенью для сатиры Гейне. ...*делало гимнастику и издавало варианты старонемецких текстов...* — Масман был энтузиастом физического воспитания и средневековой немецкой поэзии.

Латинская грамматика Бредера — вышедший первым изданием еще в 1787 году учебник Бредера, которым пользовалась немецкая школа и во времена Гейне.

Тацит (55—120) — римский историк. В своем сочинении «Германия» (гл. 23) Тацит действительно говорит о любимом напитке германцев, но не называет его *cerevisia*. Это название встречается у других латинских авторов (Вульпиан, Плиний).

Ян Фридрих-Людвиг (1778—1852) — «отец Ян», немецкий националист. Как и его единомышленник Масман, Ян постоянно подвергался насмешкам Гейне.

Стр. 82. *Hôtel-Dieu* — большая больница в Париже.

Стр. 83. *Радамант* — в греческой мифологии сын Зевса и Европы, ставший судьей в преисподней.

Стр. 84. *Меня уверяли, что иные шпионы...* — Речь идет о неких Бойрмане и Пфейльшифтере. Исследователи Гейне и его эпохи установили имена этих немецких правительственных агентов и опубликовали их любопытнейшие донесения с характеристиками и Гейне и Берне.

Стр. 85. *Молодой купец из Франкфурта* — Соломон Штраус (см. введение к комментариям).

Ктезий — греческий писатель V века до н. э., автор сочинения об Индии, отрывки которого сохранились.

Стр. 86. *Недавно я читал книгу...* — Гейне почти точно цитирует книгу Германа Маргграфа «Новейшая эпоха в литературе и в культуре Германии. Характеристики» (Лейпциг, 1839, стр. 242). Автор этой книги сопоставляет Берне с Гейне к полной невыгоде последнего; Людвигу Берне он приписывает «характер» и вовсе отказывает в таковом Генриху Гейне. Антитеза «таланта» и «характера» у тогдашних немецких критиков была общим местом.

Стр. 88. *...как Берне или как Баруха...* — После перехода в лютеранство писатель стал носить фамилию Берне; настоящая его фамилия была Барух.

«Жнецы» Робера, «Юдифь» Верне, «Фауст» Шеффера — картины, разобранные Гейне в 1831 году в серии статей «Французские художники» (см. т. 5 настоящ. издания).

Кодекс миннезингеров, сделанный для Манессе — свод произведений немецкой средневековой лирики, сделанный в XIV веке для цюрихского патриция Рюдигера Манессе. Этот свод отличался необыкновенной полнотой — он включал произведения 140 миннезингеров — и богатством художественных украшений. С 1657 года он хранился в парижской Национальной библиотеке, в 1888 году был снова приобретен для Германии и поступил в библиотеку города Гейдельберга (Гейдельбергу кодекс принадлежал и до того, как попал в Париж). Кодекс Манессе немецкие филологи обыкновенно

пмеуют «Большой гейдельбергской рукописью песен» («Die große Heidelberger Liederhandschrift»).

Вальтер фон дер Фогельвейде (ок. 1160—ок. 1227) — величайший немецкий средневековый лирик, близко стоявший к традициям народной песни, сделавший лирику непосредственным выражением личности и личного чувства.

Стр. 91. *Вильям Хэзлит* (1778—1830) — английский романтик, писавший на политические темы; автор враждебных по отношению к реакции и к Реставрации книг «Политические опыты» и «Дух времени», чрезвычайно тонкий литературный критик, знаток и ценитель Шекспира, историк литературы елизаветинской эпохи.

Курье Поль-Луи (1772—1825) — блестящий политический писатель, автор памфлетов, направленных против режима Реставрации, разоблачающих королевскую власть, католическую церковь, нравы и поведение дворянства, международную политику властей, их антидемократические мероприятия внутри страны. Французская полиция аттестовала его как «одного из самых рьяных либералов королевства и отъявленного врага Бурбонов». Выступления Курье в печати поднимали настоящую бурю, за ними внимательно следили во всей Европе. Высокую оценку писательских талантов Курье дал Гете, сравнивший его как полемиста и мастера диалектики с Байроном, с Бомарше и с Дидро. В 1838 году посмертно вышло новое собрание сочинений П.-Л. Курье («*Ramphlets politiques et littéraires*»), что, вероятно, и сделало его имя вновь актуальным для Гейне.

Стр. 92. ...как молодое вино в давлениях Турени... — П.-Л. Курье был уроженцем Турени, где он и поселился окончательно с 1818 года на своей ферме Ла-Шевоньер. В литературе он нередко именовал себя «виноградарем» («Записная книжка Поля-Луи, виноградаря» и т. д.).

Стр. 96. *Кузен в Люнебурге* — Рудольф Христиани, житель Люнебурга, женатый на кузине Гейне, его близкий друг. В завещании 1851 года Гейне назначил Христиани редактором-издателем своих сочинений.

Стр. 97. *Келле* Христиан-Фридрих (1781—1849) — вюртембергский дипломат, журналист, поэт, автор политических статей. Один из основателей журнала «*Deutsche Vierteljahresschrift*», который имеет в виду Гейне.

Г. Пф. — Густав Пфизер (1807—1890), один из наименее даровитых поэтов так называемой швабской школы. Статья его о Гейне «*Meines Schriften und Tendenz*» («Сочинения Гейне и их тенденция»), напечатанная в вышеуказанном журнале (1838, № 1), выдержана в резко враждебном тоне и клеймит Гейне за его плотские, сенсуали-

стические настроения, за чувственность его художественного стиля, за его отказ от морали. Пффицер в этой статье обнаружил себя как законченный ретроград и филистер.

Стр. 98. *Профессор Д...* — профессор Дуисберг, приятель Гейне.

«*Нравственно-религиозно-патриотический нищенский плащ*» — выражение, принадлежащее Гете. Так Гете отозвался об антипатичных ему устремлениях швабских романтиков, проповедовавших религию и религиозное искусство, смирение и простоту, нищету духовную и нищету материальную, немецкую отсталость и отказ от завоеваний современной цивилизации во имя этой отсталости. Этот отзыв содержался в письме Гете к Цельтеру от 1 октября 1831 года, опубликованном уже по смерти Гете в 1833 году. Повод для этого отзыва дал не кто иной, как Густав Пффицер. Стихотворения этого поэта находились тогда в руках у Гете, но тот не стал их дочитывать: в холерную эпидемию, писал он Цельтеру, нужно остерегаться всего гнетущего и расслабляющего.

Стр. 99. «*Paroles d'un croyant*» (1833) — сочинение аббата Ламенне; в 1834 году оно вышло в Париже в немецком переводе Берне. Гейне ошибочно датирует этот перевод последним годом жизни переводчика.

«*Réformateur*» и «*Balance*» — парижские газеты. Сочинения Берне, написанные на французском языке, были собраны и изданы в 1847 году. Среди них — резко отрицательная статья по поводу сочинений Гейне, относившихся к вопросам философии, религии и литературы в Германии, во французском переводе вышедших под названием «*De l'Allemagne*». Эта статья была впервые опубликована Берне в «*Réformateur*» от 30 мая 1835 года и не могла не быть памятной Гейне.

Стр. 101. *... в борьбе Пруссии с католической партией...* — Гейне имеет в виду кельнский церковный спор. В 1836 году архиепископ кельнский Дросте цу Фишеринг объявил, что впредь он будет разрешать браки между католиками и протестантами только при условии воспитания детей от этих браков в духе католической религии.

Некий бывший якобинец — король Луи-Филипп, любивший выставить на вид свои заслуги перед французской революцией и свои будто бы демократические убеждения.

Коронованные иезуиты Германии — по-видимому, король баварский Людвиг I и король прусский Фридрих-Вильгельм III.

Стр. 103. «*Sancta simplicitas!*» — слова, сказанные Яном Гусом перед смертью набожной старушке, подбросившей хворосту, чтобы костер, на котором жгли еретика Гуса, горел ярче,

Замечательно следующее место в «Письмах из Парижа»... — Гейне цитирует далее из этого сочинения Берне письмо от 26 ноября 1832 года.

Ярке Карл-Эрнст (1807—1852) — берлинский профессор, юрист, составивший себе имя отнюдь не в научной области: Ярке выполнял тайные полицейские функции, возглавлял реакционные издания, сам выступал как публицист реакции и был прозван прусским де Метстром. С этим французским писателем, вышедшим из рядов контрреволюционной эмиграции, Ярке соперничал в гонениях на либеральные идеи, на свободомыслие нового века. Ярке служил и Пруссии и Австрии. По поручению Меттерниха он занимался слежкой за писателями из группы «Молодая Германия». В 1832 году, после смерти главного своего пособника Генца, Меттерних вызвал Ярке в Вену и предложил ему место и роль Генца.

Стр. 104. ...*искореняет революцию в Бадене, Рейнской Баварии, Гессене, Саксонии...* — Июльская революция 1830 года затронула многие немецкие земли. В Баварии, в Баденском герцогстве прошли шумные манифестации, серьезные волнения охватили Гессен, где курфюрст вынужден был отречься от власти, а также Саксонию, где несколько поколебалась королевская власть и где король вынужден был взять себе соправителя.

Английский билль о реформе — билль о реформе избирательной системы в сторону некоторой ее демократизации. Борьба за билль, протекавшая в очень бурных формах и вызвавшая в Лондоне и других городах Англии революционные выступления масс, началась с осени 1830 года и завершилась только в июне 1832 года утверждением билля королем.

...*затем — польскую, бельгийскую... революции...* — Июльская революция во Франции расшатала порядок, установленный в Европе политикой Священного союза: в августе 1830 года произошла революция в Бельгии, отделившейся от Голландии и объявившей себя самостоятельным государством, в конце ноября 1830 года восстала Польша.

Дон Мигель — португальский принц, с 1828 по 1834 год король Португалии, захвативший власть незаконно, вопреки воле своего брата дона Педро, бразильского императора, сохранившего за собой право распоряжаться и португальским престолом. Правление дона Мигеля ознаменовалось террором против либералов, с которыми «мигелистская реакция», как ее называют историки, стремилась покончить раз навсегда. Дон Мигель восстановил абсолютную монархию и предоставил неограниченные права католическому духовенству, услугами которого он широко пользовался

в полицейских и демагогических целях. Возникшей в Португалии гражданской войной воспользовался дон Педро, потерявший в 1831 году свой бразильский престол и вернувшийся в Европу. В 1834 году после многих военных поражений дон Мигель был вынужден отказаться от власти и покинуть Португалию.

Стр. 107. *Розенкранц* Карл (1805—1879) — один из учеников Гегеля, биограф его, автор работ по вопросам эстетики и истории литературы.

КНИГА ПЯТАЯ

Стр. 111. *Гейберг* Петер-Андреас (1758—1841) — датский поэт, в 1799 году за вольнодумство высланный из Дании. К концу жизни ослеп, жил в Париже на положении изгнанника, умер там же.

Георг Форстер (1754—1794) — замечательный немецкий писатель, ученый, публицист и революционер, активный приверженец нового порядка вещей, установленного революционной Францией. Форстер был депутатом немецко-рейнского конвента от города Майнца. Посланный в Париж в 1793 году, Форстер провел там присоединение немецко-рейнской республики к Франции. Во Франции Форстер полностью примкнул к политике якобинцев, обнаружив глубокое понимание ее мотивов и смысла. Он вел очень деятельную жизнь во Франции, много писал и выполнял политические поручения. Скончался в Париже 12 января 1794 года — за шесть месяцев до падения якобинцев. Гейне рассматривает Форстера как эмигранта. Действительно, после отъезда Форстера город Майнц был взят немецкими контрреволюционными войсками, и возвращение на родину оказалось для него невозможным.

Стр. 112. *Это место из моей книги «De l'Allemagne»...* — Приведенные Гейне страницы из его труда «К истории религии и философии в Германии» (т. 6 настоящ. издания, стр. 124—126) были в первом немецком издании вычеркнуты цензором и восстановлены только в издании 1852 года. Включенные в книгу о Берне, они появились таким образом по-немецки впервые.

Шарантон и *Бисетр* — дома для душевнобольных в предместьях Парижа.

Стр. 114. *Académie de musique*, точнее — *Académie royale de musique* (Королевская музыкальная академия) — тогдашнее официальное наименование Большой Оперы в Париже.

Фанни Эльслер (1810—1884) — венская танцовщица, имевшая европейскую славу.

Агуадо Александр, маркиз де ла Марисмас дель Гвадалквивир

(1784—1842) — парижский банкир, родом из Испании, крупнейший богач и делец, пользовавшийся политическим влиянием. В прошлом наполеоновский солдат, Агуадо был одним из тех высоко взлетевших авантюристов, которыми был полон Париж Июльской монархии. Особая символика заключена в том, что, когда он просажает по Парижу *в одном из этих наглых золотых экипажей*, его кони *сверху донизу обрызгивают грязью* Гейне.

...царь Леонид... на картине Давида... — Спарта́нский царь Леонид в 480 году до н. э. с небольшим отрядом, в который входило триста воинов, защищал Фермопильский проход против персидских полчищ. Леонид и его воины героически погибли, устранив своим мужеством персов и подав высокий пример патриотизма всей Греции.

Картина «Леонид при Фермопилах», находящаяся в Лувре, была написана Давидом (см. о нем примечание к стр. 13) в 1814 году. Давид, приверженец классицизма, и на этот раз выбрал античный сюжет. Художник дал следующие объяснения к своей картине: «Я хочу написать полководцев и воинов, готовящихся к сражению и хорошо знающих, как истинные лакедемоняне, что они его не избегнут. Одни совершенно спокойны, другие заплетают цветы, чтобы участвовать в пиршестве, которое они устроят у Плутона... В подражание художникам древности, которые всюду выбирали для изображения момент до или после главного кризиса сюжета, я напишу Леонида и его воинов спокойными, до битвы ожидающими бессмертия» («Речи и письма живописца Луи Давида», М.—Л., 1933, стр. 198).

Стр. 118. *Камюэнс* Луис (1524—1580) — величайший португальский поэт, автор национального эпоса «Лузиады», сюжет которого — открытие морского пути в Индию португальцем Васко де Гама.

Филипп Сидней (1554—1586) — английский писатель, один из лучших поэтов елизаветинской эпохи, автор сонетов и пасторального романа «Аркадия», богатого вставными лирическими стихотворениями.

...к одной категории с Данте, Мильтоном, Сервантесом, Камюэнсом, Филиппом Сиднеем, Фридрихом Шиллером и Вольфгангом Гете, которые были только поэты... — Гейне умышленно подбирает имена поэтов, отличавшихся необычайным масштабом творчества. Он называет создателей эпических поэм: Мильтона, Камюэнса, Сиднея, творцов монументальных произведений, отмечивших целую эпоху: Данте, Сервантеса, Гете, наконец, таких незаурядно продуктивных и многообразных в проявлении своих дарований писателей, как тот же Гете или Шиллер. На эти имена

Гейне указывает, чтобы опровергнуть антитезу «талапта» и «характера»: нельзя, будучи «только поэтами», выполнить такой огромный, вдохновенный и самоотверженный труд, для подобного труда нужен «характер».

Стр. 124. *«Клянусь, я не республиканец...»* — цитата из «Французских дел» Гейне (см. т. 5 настоящ. издания, стр. 384).

«Если бы мятеж 5 июня...» — неточная цитата из «Французских дел» Гейне (см. т. 5 настоящ. издания, стр. 362—363).

Мольтке — граф Магнус фон Мольтке (1783—1864), выпустивший в 30-х годах несколько политических сочинений с либеральной тенденцией.

«...как раз тогда мне...» — цитата из «Французских дел» Гейне (см. т. 5 настоящ. издания, стр. 366).

Стр. 127. *21 января 1793 года* — день казни короля Людовика XVI.

Стр. 128. *...ничего, кроме Румфордовой похлебки...* — Американец Бенджамен Румфорд (1753—1814), генерал баварской службы, много занимавшийся реорганизацией армии, придумал особую питательную похлебку, приготовляемую из дешевых продуктов.

«Поэту место рядом с королем» — неточная цитата из «Орлеанской девы» Шиллера (I, 2).

Франческа да Римини и *Уголино* — трагические герои, судьба которых описана в «Божественной Комедии» Данте («Ад», песни 5 и 33).

Стр. 129. *Джулио Романо* (1492—1546) — итальянский художник и архитектор, даровитейший из учеников Рафаэля; писал картины на религиозные и, с особым успехом, на антично-мифологические темы.

Стр. 130. *Старик Вольф* — Фридрих-Август Вольф (1777—1824), знаменитый филолог, исследователь классической древности, профессор Берлинского университета со времени его основания. Гейне в одном официальном документе называл Вольфа своим учителем.

СТАТЬИ 1836—1844 ГОДОВ

«ГУГЕНОТЫ» МЕЙЕРБЕРА

Статья была напечатана в аугсбургской «Всеобщей газете» 8 марта 1836 года, № 68. В этот период Гейне относился к музыке Джакомо Мейербера (1791—1864) с полным признанием. Музыкальная драматургия Мейербера оценивалась им как одно из наиболее значительных выражений исторического опыта новейшего времени.

В системе взглядов Гейне на музыку Мейерберу уделялось очень важное место. Более подробно свое понимание музыки Мейербера, и в частности его «Гугенотов», Гейне развил в письмах «О французской сцене» (см. письмо девятое). В 40-х годах произошел перелом. Гейне кончил отрицанием личности Мейербера — его методов господства над театральной публикой, и самого музыкального творчества этого композитора. Любопытно, что впервые в печать проскользнули неблагоприятные отзывы Гейне о Мейербере в связи с молодым тогда Рихардом Вагнером, — Гейне отождествлял направление обоих этих композиторов и к музыке их, как это следовало из одного сообщения в лейпцигской «Музыкальной газете» за 1844 год, относился безо всякого доверия. В известной степени мнение Гейне о сродстве музыки Мейербера и Вагнера подтвердилось, когда посмертно опубликована была до того никому не ведомая статья молодого Вагнера, полная восторженных отзывов о Мейербере, находящихся в самом резком контрасте с теми оценками этого композитора, которые Вагнер обычно давал ему позднее (см. об этом в исследовании: Friedrich Hirsh, Heinrich Heine. Bausteine zu einer Biographie, 1950, стр. 75—76).

Стр. 134. *Ренессанс*. — Этот термин был тогда совсем нов и еще только завоевывал для себя права гражданства.

Стр. 135. *Дюпоншель* Эдмон — архитектор и живописец; в 1838—1843 и 1847—1849 годах состоял директором Большой оперы в Париже.

ВВЕДЕНИЕ К «ДОН-КИХОТУ»

Статья о Сервантесе и его романе «Дон-Кихот» была напечатана Гейне как введение к немецкому переводу «Дон-Кихота», изданному в Штутгарте в 1837 году. Статье Гейне предшествовала переведенная с французского статья Луи Виардо, посвященная биографии Сервантеса. О том, что такая статья будет дана, Гейне узнал довольно поздно, и это заставило его переделать начало собственной работы. За эту работу Гейне получил от штуттартского издателя 1000 франков и всегда стремился подчеркнуть, что написана она только из денежных соображений. Однако же статья о Сервантесе — одно из лучших критических сочинений Гейне. Анализ замысла и поэтики «Дон-Кихота» у Гейне тонок и глубок, о Сервантесе и его романе он сказал новое слово в немецкой критике.

Сервантес издавна был близок немецкой литературе. Как об этом говорит и Гейне, «Дон-Кихот» оказал известное воздействие

на романы Гете о Вильгельме Мейстере. Более же всего внимания Сервантесу уделили немецкие романтики. В их сочинениях, посвященных вопросам эстетики и литературы, Сервантес всегда занимает важное место. Август Шлегель, Фридрих Шлегель, Шеллинг и Тик чтили в Сервантесе одного из величайших гениев литературы нового времени и стремились истолковать его творчество в духе проповедуемого ими романтизма. Хотя Гейне и находился в известной зависимости от романтической критики, все же он дал «Дон-Кихоту» толкование совсем иного рода. Подобно романтикам, Гейне указывает на универсальность содержания романа Сервантеса, на дух импровизации, господствующий в нем, на богатство повествовательных орнаментов, на известную его декоративность. При всем том для Гейне суть романа Сервантеса заключается не в этом. Он подчеркивает общественный смысл этого произведения, его реализм. Для Гейне в центре романа — фигуры Дон-Кихота и Санчо Пансы, почти забытые романтической критикой, свой восторг обратившей всецело на общий поэтический фон этого произведения, на его живописные подробности. Согласно Гейне, Дон-Кихот — энтузиаст лучшего общественного будущего, человек, осмелившийся пренебречь условиями сегодняшнего дня, а Санчо Панса — весь в трезвом восприятии этого дня, в вечных напоминаниях о его тесных границах. В толковании Гейне роман Сервантеса передает историческое движение человечества, трагизм и юмор этого движения, славит его, хотя и не скрывает, каким ударам подвергаются носители новой мысли, через какие глумления и через какие опасности разочарований они должны пройти.

Гейне вовсе не приписывает сознательным намерениям самого Сервантеса тот смысл, который приобрел и не мог не приобрести его «Дон-Кихот». Как считает Гейне, Сервантес руководился желанием написать пародию на рыцарские романы. Сервантес хотел осмеять человека, застрявшего в прошлом, но получился роман о человеке, предвосхитившем будущее. «Перо гения всегда больше самого гения», — говорит Гейне. В этой статье, как и в других его критических высказываниях, господствует взгляд, что объективное содержание художественного произведения не совпадает полностью с субъективным замыслом, из которого исходил автор. На диалектику субъективного и объективного в искусстве обратили внимание еще романтики. В частности, Шеллинг весьма настойчиво указывал на то, что содержание произведения шире, чем это входит в первоначальные предположения художника, создателя его. Романтики хотели подчеркнуть бессознательную природу художественного творчества, жреческое, пророческое начало, присущее, как они

считали, поэзии и поэту. Гейне иного мнения. Художественное произведение, считает он, отражает мир, отражает историческую жизнь, и поэтому в самом процессе творчества художник оказывается увлеченным на пути, которые он не всегда предвидел. Художественное произведение имеет в истории собственную судьбу, обособленную от его автора, и Гейне предоставляет себе право достаточно свободно, по потребностям своего времени, распоряжаться тем, что может ему раскрыть роман Сервантеса. Он примеривает героев его к современным событиям. По поводу иллюзий, возбужденных Июльской революцией и ею же разрушенных, он вспоминает Дон-Кихота и Санчо Пансу. И тот и другой, а вместе с ними и Гейне, будто бы добрались до французской границы. Дон-Кихот отнесся с благоговением к трехцветному знамени обновленного французского государства, а Санчо Панса про себя отметил жандармов, показавшихся невдалеке. То, что жандармы сохранились и после столь много обещавших событий июля 1830 года, — характерный знак для опытного Санчо Пансы.

По поводу Сервантеса и его романа Гейне делится с читателем размышлениями о судьбе романа вообще. Он защищает бесфабульную прозу, которая, по его мнению, время от времени должна чередоваться в истории литературы с правильно построенными фабульными романами. Этот вопрос близко касался его самого, собственных его произведений в прозе, писавшихся в манере «Путевых картин». Знаменательно и то, что Гейне восстает против ограниченных в социальном отношении жанров романа — в равной степени против светских романов, как и против романов, изображающих только жизнь низших классов. Роман, по Гейне, должен быть социально всеобъемлющ, он должен передавать социальный мир сполна, во всех его связях, и «Дон-Кихот» Сервантеса в этом отношении — образец. Высший вид романа для Гейне — роман эпохального содержания. Очевидно, свою бесфабульную прозу Гейне оправдывал тем, что свобода от фабулы и от налагаемых ею ограничений позволяет ему в своих книгах передавать все содержание эпохи во всем его жизненном богатстве. В своей статье, касаясь Испании времен Сервантеса, Гейне с известной преднамеренностью, как это он делал тогда и в других своих сочинениях, похвально отзывался о католицизме и о монархии. Из этого не следует заключать, как делали немецкие радикалы, современники Гейне, будто бы он и на самом деле со всей серьезностью объявлял себя сторонником престола и церкви. Гейне искал полемических позиций против буржуазных радикалов. В литературе шел спор о монархии и республике, о католицизме и протестантизме. Радикалы превозносили

Лютера и ждали от республиканского режима спасения от всех социальных зол. Гейне, который в начале 30-х годов поддерживал протестантизм как явление исторического прогресса, одновременно любил писать, и весьма вызывающе, об относительных преимуществах католической церкви и католической культуры. К концу 30-х годов он особенно охотно колол протестантам глаза этими преимуществами. То же самое и в вопросе о монархии: Гейне брал ее иной раз под защиту, чтобы разуверить буржуазных республиканцев в том, что они овладели тайной абсолютного общественного прогресса. Гейне нужно было подчеркивать всю относительность перевеса реформированного христианства над католицизмом и республики над монархией, чтобы перенести спор с этой почвы на другую, более плодотворную. Его тенденция заключалась в том, чтобы вовсе устранить религиозные споры, компрометируя в одинаковой степени и католицизм и протестантизм. Вопросы будущего Гейне стремился ставить и решать помимо той или другой из существующих церквей. И так как для него, ученика сен-симонистов, во главе угла стоял вопрос социальный, то он с иронией относился к иллюзиям буржуазных демократов, преувеличивавших значение той или иной политической системы, самой по себе взятой, и убежденных, что буржуазный республиканский строй полностью отменяет все общественные противоречия, которые существовали в прошлом и могут возникнуть в настоящем и будущем.

Стр. 138. *Вот уже восемь лет, как я написал эти строки для четвертой части «Путевых картин»...* — См. т. 5 настоящ. издания, стр. 357—359.

Стр. 140. *Битва при Лепанто* — морская битва, в которой дон Хуан Австрийский одержал победу над турками (7 октября 1571 года).

...первый параграф сочиненной им хартии гласит... — Гейне имеет в виду поэму Сервантеса «Путешествие на Парнас». Добавление к «Парнасу», написанное прозой, заканчивается особым шуточным документом — «Указ Аполлона, содержащий в себе льготы, правила и наставления для испанских поэтов». В «Указе» второй (а не первый, как говорит Гейне) параграф гласит: «Если кто-либо из поэтов скажет, что он беден, то все должны верить ему на слово, не требуя от него никаких особых клятв и уверений». ¹ «Указ Аполлона» Гейне именует *хартией*, очевидно ради ассоциаций с «Конституционной хартией» от 1814 года, которую вынужден был пре-

¹ Мигель де Сервантес Сааведра. Избранные произведения. М., Гослитиздат, 1948, стр. 124.

поднести Франции король Людовик XVIII, восстановивший власть Бурбонов во Франции после падения Наполеона.

Стр. 141. ...в драмах еще отчетливее, чем в «Дон-Кихоте»... — Гейне, по всей вероятности, имеет в виду национально-героическую трагедию «Разрушение Нумансии», где изображается упорная борьба жителей Нумансии против римлян, осадивших этот город.

...как вел себя Сервантес в Алжире... — В алжирском плену Сервантес находился с осени 1575 до конца 1580 года. Израненный в битве при Лепанто, он на галере отправился домой в Испанию и по дороге был захвачен в плен алжирскими пиратами. В Алжире Сервантес вел себя чрезвычайно мужественно. Он заботился не только о себе, но и о своих товарищах по плену, хотел поднять восстание пленных и четыре раза пытался устроить коллективный побег.

Стр. 142. История его плена находится в вопиющем противоречии с мелодичной ложью... лоценого эпикурейца... — Под лоценым эпикурейцем Гейне имеет в виду римского поэта Горация (65—8 до н. э.). Гораций действительно был последователем философии Эпикура. После убийства Цезаря (44 до н. э.) развязалась гражданская война. Гораций сражался в войсках, которые вербовал Брут для защиты республиканского строя и борьбы с преемниками Цезаря. В битве при Филиппах (42 до н. э.) войско Брута было разбито и обращено в бегство. В дальнейшем Гораций отказался от политической борьбы и через Мецената пользовался покровительством императора Октавиана Августа. Много лет спустя Гораций в оде «К Помпею Вару» вспомнил о своем немужественном поведении при Филиппах. В вольном переложении Пушкина (см. стихотворение «Кто из богов мне возвратил...») соответствующие строки этой оды звучат так:

Ты помнишь час ужасной битвы,
Когда я, трепетный квирит,
Бежал, нечестно брося щит,
Творя обеты и молитвы?

Нет, истинный поэт — в то же время истинный герой... — Здесь ощущается первая подготовка Гейне к будущему спору с Берне о том, кто такой поэт — «характер» или же только «талант» (см. «Людвиг Берне», книга пятая). В Сервантесе, одном из величайших поэтов, Гейне подчеркивает его героический характер.

Стр. 143. Святой Иероним (340—420) — один из отцов церкви, переводчик Библии на латинский язык («Вульгата»). Считался мастером латинского стиля, «христианским Цицероном».

Стр. 144. *Как и во владениях Карла V... солнце не заходило никогда.* — Император Карл V, из дома Габсбургов, с 1519 по 1556 год был главой Священной Римской Империи германской нации. Владения его были огромны: кроме австрийских земель, в них по праву наследования входили еще Испания с Нидерландами и с ее заокеанскими колониями, Неаполь и Сицилия, Бургундия. «Владения, в которых солнце никогда не заходит» — формула, употреблявшаяся при дворе испанских королей. Так о своем королевстве говорит и король Филипп II в трагедии Шиллера «Дон Карлос» (I, 6).

Войны с морисками. — Мориски — мавры, по приказу испанских королей насильственно обращенные в христианство. Эта мера вызвала сопротивление, жестоко подавленное. Мориски тайно придерживались магометанской религии, что опять-таки навлекало на них постоянные кары. В 1609 году мориски были изгнаны из Испании, невзирая на то, что изгнание это наносило значительный ущерб стране: мориски играли важную роль во многих отраслях хозяйства, захиревших после их изгнания.

...при трех Филиппах... — то есть с 1556 по 1665 год, когда в Испании царствовали Филипп II, Филипп III и Филипп IV.

Стр. 145. *Мурильо* Бартоломео-Эстебан (1618—1682) — наряду с Веласкесом, величайший мастер испанской классической живописи. По преимуществу писал мадонн и святых, но этим далеко не исчерпывались его возможности как художника. Мурильо был ярким реалистом. Славой пользовались его жанровые картины: изображения уличных мальчишек за едой, за игрой в кости и т. д. Плотский реализм порою свойственен и его картинам на религиозные сюжеты. Жанровая живопись Мурильо была представлена выразительными образцами в мюнхенской Пинакотеке и поэтому была хорошо известна в Германии.

Кеведа Франсиско-Гомес (1580—1645) — известный испанский писатель и политический деятель, широко образованный гуманист, автор политико-философских сочинений, памфлетов и сатир. Одно из известнейших произведений Кеведа — сатирико-бытовой плутовской роман, написанный в 1626 году, «История жизни пройдохи по имени дон Паблос, пример бродяг и зеркало мошенников» (см. русский перевод К. Н. Державина, М. — Л., 1950).

Мендоса — Диего Урадо де Мендоса (1503—1575) — испанский писатель, которого ошибочно считали автором популярного плутовского романа «Жизнь Ласарильо с Тормеса» (см. русский

перевод К. Н. Державина, изд. «Academia»). Подлинный автор этого романа неизвестен.

Ричардсон Сэмюел (1689—1761) — знаменитый английский писатель, автор романов «Памела», «Кларисса Гарлоу», «Грандисон». По бытовому материалу это романы о буржуазной семье; основной интерес автора — психологический, с сильным уклоном в морализирование и в сентиментализм.

Стр. 146. *Наши де ла Мотт-Фуке* — не что иное, как последние тех поэтов, которые произвели на свет «Амадиса Галльского» и тому подобные чудеса... — Гейне имеет в виду попытку немецкого романтика Фридриха де ла Мотт-Фуке (1777—1843) возродить интерес к средневековью, к рыцарству и к рыцарским авантюрам. Таковы романы Фуке «История благородного рыцаря Гальми и прекрасной бретонской герцогини» (1813), «Волшебное кольцо» (1813), «Поездки Тиодольфа, исландца» (1815) и др.

Стр. 147. *Людвиг Тик... выкопал из могилы давно умерших предков...* — Имеются в виду такие литературные опыты этого романтического поэта, как обновление старинных «народных книг», драматизация этих книг и народных сказок, переработка и переиздание сочинений миннезингеров, переиздание сочинений забытых немецких драматургов XVI и XVII вв. и т. д.

Среди литературных работ Л. Тика следует отметить перевод «Дон-Кихота» Сервантеса (1799—1801).

Стр. 148. *Сервантес, Шекспир и Гете составляют триумvirат поэтов...* — Эти имена обычно ставили во главе литературы нового времени и романтические критики. К ним они присоединяли еще имя Данте. В романтической комедии Тика «Принц Цербино» в саду поэзии появляются Шекспир, Данте, Сервантес и Гете — «святая четверка, великие мастера нового искусства».

Сентиментальное подражание Петрарке. — К «сентиментальному петраркизму» и к самому Петрарке Гейне относился отрицательно. В письме к Мозесу Мозеру от 8 ноября 1836 года по поводу Петрарки он заявляет, что «ненавидит христианскую ложь в поэзии столь же, как ненавидит ее в жизни».

Стр. 149. *Апулей* Луций (II в.) — римский писатель-сатирик и философ. В его романе «Метаморфозы» («Золотой осел») изображен упадок античного мира.

Стр. 150. *Флетчер* — слуга Байрона, более двадцати лет находившийся при нем. Байрон умер на руках Флетчера. Гейне, как и многие его современники, хорошо знал Флетчера по мемуарной литературе о Байроне.

Рыцарь фон Валдзее и Каспар Ларифари — действующие лица

волшебной оперы «Дунайская русалка», текст которой написан Генслером, а музыка — Кауэром; три части этого популярнейшего в свое время произведения появились одна за другой в 1799, 1800 и 1804 годах. Альбрехт фон Вальдзее — лирический любовник, *Ларифари* — его слуга, шутовской персонаж.

Опера Генслера и Кауэра, переделанная в «Лесту, днепровскую русалку», долго пользовалась успехом и на русской сцене, была хорошо известна Пушкину и некоторыми своими сторонами вошла в драму Пушкина «Русалка».

И господин издатель Санчо... остается неизменно жирным... — Эта стрела, вероятно, пущена по адресу Кампе, издателя сочинений Гейне и других авторов из группы «Молодая Германия». Хотя Кампе и жаловался постоянно на то, какому риску он себя подвергает, печатая этих писателей, находившихся под официальным запретом, тем не менее их произведения, и произведения Гейне в особенности, приносили ему немалые доходы.

Стр. 151. *Маркольф* — персонаж народной книги «Соломон и Маркольф», основа которой — диалоги между премудрым Соломоном и Маркольфом — грубым шутком. Первосточник этой книги — один из памятников средневековой латинской литературы, переведенный в XIV веке на немецкий язык.

Стр. 152. *Тони Жоанно* (1803—1852) — известный французский художник, мастер романтической иллюстрации. Гейне был с ним знаком с 1836 года. Жоанно нарисовал портрет Гейне, помещенный в «Альманахе муз» (см. введение к комментариям к статье «Швабское зеркало»).

Стр. 153. *Даниэль Ходовецкий* (1726—1801) — крупнейший мастер немецкой графики, иллюстратор сочинений Клопштока, Лессинга, Гете, Шиллера, автор гравюр на отдельных листах и множества рисунков. Как художник отличался тонкой и порою иронической наблюдательностью, его произведения — памятник быта, нравов и вкусов Германии XVIII столетия, немецкого бюргерства той эпохи в особенности.

...к бертуховскому переводу. — Фридрих-Юстин Бертух (1747—1822), немецкий литератор, проживавший в Веймаре, основатель известных периодических изданий, автор книг для детей и юношества, опубликовал в 1775—1777 году свой перевод «Дон-Кихота».

Стр. 154. *Декан Александр-Габриель* (1803—1860) — французский живописец и плодовитый иллюстратор-график.

Адольф Шредтер (1805—1875) — немецкий художник; писал картины на сюжеты из «Дон-Кихота».

ШВАБСКОЕ ЗЕРКАЛО

Написанная в начале 1838 года, эта статья в 1839 году с сильными искажениями, возмущившими Гейне, появилась в журнале «Ежегодник литературы» («Jahrbuch der Literatur»). Гейне выступил в печати с заявлением о том, что он отказывается от авторства, ибо текст изуродован до крайности; при этом он высказал подозрение, что дело не обошлось без воздействия на издателей Гофмана и Кампе со стороны лиц, задетых в этой статье. Рукопись статьи не обнаружена; поэтому статью приходится печатать в том виде, в каком ее впервые опубликовал «Ежегодник литературы».

Статья направлена против поэтов так называемой швабской школы. Школа эта могла выдвинуть, собственно, лишь одно большое имя — Людвиг Уланда, но и Уланд к 30-м годам уже давно вышли из числа действующих поэтов. С 20-х годов он появлялся в печати по преимуществу как автор ученых трудов по истории средневековой поэзии и по фольклору. Остальные «швабы» — Густав Шваб, Юстипус Кернер, Густав Пфифер, Карл Майер (см. о них подробнее ниже) — силой поэтического творчества не отличались и держались в литературе главным образом благодаря своей сплоченности, как люди программы и однажды твердо выбранного направления. Из всех группировок и школ, известных из истории немецкого романтизма, «швабы» оказались самыми живучими. Они всё еще существовали, между тем как более значительные явления романтизма давно уже распались и были прочно забыты. «Швабов» как бы спасала их посредственность: они находили сочувствие у немецкого филистера, ибо благословляли то, что хотел благословить филистер, и жили одними с ним страхами и опасениями. Швабская школа, связанная с южногерманскими землями, почти не затронутыми современным промышленным развитием, ориентировалась на немецкий провинциализм, на город, еще не отделившийся от деревни, и на деревню, едва подвинувшуюся навстречу городу. Любители старых укладов, традиционного быта, «швабы» с боязнью и недоверием взирали на индустриализацию Германии, на рост городов, на рост новых социальных сил в городах. Авторы многочисленных стихотворений, посвященных природе, они считали себя поэтами космоса, принимая за космос немецкое захолустье, где не проложены еще железные дороги. Столкновение между Гейне и «швабами» было неизбежным, как неизбежным в свое время оказалось столкновение между Байроном и поэтами озерной школы, отчасти предвосхитившими «швабов», но в английских условиях. Новый социальный и культурный мир, которого боялись швабские поэты, получил свое выражение именно у Гейне. И широту горизонтов,

и союз с общественным прогрессом, и гражданскую активность, и искусство нового типа — все это нес с собою Гейне.

Направление, к которому принадлежал Гейне, по существу своему отрицало швабскую школу и являлось угрозой для нее. Конфликт был налицо, независимо от того, велась ли с обеих сторон открытая полемика. Гейне еще в балладе «Тангейзер» мимоходом задел «швабов». Но «швабы» первые предприняли крупное нападение. Густав Пфизер выступил в 1838 году с обличительной, как он считал, статьей против Гейне (см. примечание к стр. 97 сочинения «Людвиг Берне»), и, таким образом, война была объявлена. Отношения обострились еще до этого из-за инцидента с «Альманахом муз на 1837 год», в котором по предложению Шамиссо была помещен портрет Гейне работы Тони Жоанно (в традицию альманаха входило украшать каждый новый том портретом какого-либо поэта, всеми признаваемого и любимого). «Швабы» взбунтовались и ушли из альманаха. Густав Шваб, сделав торжественную декларацию по этому поводу, сложил с себя обязанности редактора, которые он до того делил с Шамиссо. Особенно вооружало Гейне против «швабов» явное совпадение во взглядах иных из них с публицистом и критиком Вольфгангом Менцелем (1798—1873), который проявил себя в литературе как озлобленный филистер и беспечный националист. Статья Пфизера печаталась в издании, возглавлявшемся Менцелем, и по духу своему мало отличалась от литературных доносов, сочинением которых Менцель тогда занимался. Борьба со «швабами» влилась в полемику Гейне против Менцеля, против «темных людей», лжепатриотов, приверженцев немецкой отсталости, и заодно против немецких правительств, стоявших на страже этой отсталости.

Стр. 157. *Не правда ли, к этой школе... Давид со смертоносной пращой?* — Шиллер, Шеллинг, Гегель и Давид Штраус (см. о нем ниже) происходили из Вюртемберга

Моисальват — гора, на которой находится замок Граалия в романе средневекового немецкого поэта Вольфрама фон Эшенбаха «Парцифаль».

Давид Штраус (1808—1874) — известный философ-гегельянец, автор книги «Жизнь Иисуса» (1835), сыгравшей свою роль в борьбе с религией и ортодоксальным христианством. Именно как автора этой книги Гейне уподобляет Давида Штрауса библейскому Давиду, вышедшему с пращой на поединок с великаном Голиафом. После выхода «Жизни Иисуса» Штраус порвал со своими швабскими друзьями.

Кеплер Иоганн (1571—1630) — один из основателей астроно-

мической науки нового времени. Кеплер был родом из Вюртемберга.

Гогенштауфены — немецкая династия, в XI веке — швабские герцоги, в XII—XIII веках — германские короли и императоры.

Стр. 158. *Густав Шваб* (1792—1850) — поэт швабской школы, автор баллад и романсов; перелагал на современный немецкий язык старинные народные книги, а также сказания классической древности.

Юстинус Кернер (1786—1862) — поэт швабской школы; врач по профессии. Был настроен мистически, изучал животный магнетизм, странные психические явления и в 1829 году опубликовал книгу *«Ясновидящая из Префборста»*. В этой книге он передавал свои наблюдения над нервнობольной жепщиной, жившей у него в доме, заодно проповедуя возможность связей людей с миром духов. Своими сочинениями он сам напрашивался на насмешки; сатиры на Кернера писал не только Гейне, но и Иммерман (в романе «Мюнхгаузен») и др.

...*видятся призраки и отравленные колбасы...* — Кернер несколько раз выступал в печати со специальными исследованиями о колбасном яде.

Карл Майер, именуемый по-латыни Carolus Magnus... — Употребленный здесь каламбур в отношении фамилии поэта швабской школы Карла Майера (1776—1870) Гейне впоследствии остроумно использовал в III главе поэмы «Германия» (см. т. 2 настоящ. издания, стр. 272 и соответствующее примечание).

Стр. 159. *Г-н ***.* — Имеется в виду Эдуард Мерике (1804—1875), талантливый поэт, один из лучших немецких лириков XIX века. Хотя Мерике и поддерживал дружеские связи со «швабами», но он довольно далеко отстоял от их националистической идеологии, от их религиозно-мистических настроений, а также от присущей их поэзии «простоватости». Гейне, мало знакомый с сочинениями Мерике, пощадил его и опустил его имя, так как издатель Кампе заверил Гейне, что в лице Мерике он имеет скорее единомышленника, чем противника.

Винклер Теодор (1775—1856), писавший под псевдонимом *Теодор Гельм*, — глава дрезденских поэтов, эпигонов романтизма, издатель дрезденской «Вечерней газеты».

Стр. 160. *Николай Ленау*, собственно — Нимбш фон Штреленау (1802—1850), замечательный лирический поэт, многими сторонами своей поэзии близкий к настроениям мартовской революции 1848 года в Германии, немецкий «байропист», выразитель активных мятежных чувств. Уроженец Венгрии, он разрабатывал в своей

поэзия темы и мотивы, связанные с этой страной. Дружеские отношения между Лепау и «швабами» случайны и мало характерны для него как поэта.

...*Вольфганг Менцель, увидевшего свет среди кашубов...* — Менцель происходил из города Вальденбурга в Силезии, где кашубы не жили.

Тяжелые бомбы Людвига Берне и Давида Штрауса. — Подразумеваются памфлет Берне «Менцель-французоед» (1837) и одно из сочинений Давида Штрауса, опубликованное им в 1837 году в защиту своей книги «Жизнь Иисуса». Менцель напал на Штрауса, который в ответ на это разоблачил ограниченность, мелкость и тугодумность своего критика, его обскурантизм и полную некомпетентность в вопросах, поднятых в книге Штрауса.

...*автографом, находящимся в руках Теодора Мундта...* — Теодор Мундт (1808—1861) — писатель из группы «Молодая Германия», теоретик литературы, критик, журналист. Речь идет о письме Менцеля к Мундту от 25 сентября 1835 года, которое Мундт опубликовал в печати.

Стр. 162. «...*прабабок, некогда вынесших на спине своих мужей из Вейнсберга!*» — Подразумевается легенда об осаде города Вейнсберга в 1140 году войсками Конрада III Гогенштауфена: когда праг разрешил женщинам Вейнсберга покинуть город и взять с собой самое дорогое, то женщины на своих спинах унесли мужей.

Семилассо. — Имеется в виду князь Пюклер Мускау (1785—1871), немецкий писатель, автор книги «Семилассо в Африке» (1836).

Стр. 163. *Шубарт* Христиан-Фридрих-Даниэль (1739—1791) — немецкий поэт революционного направления, ненавистник феодального режима и княжеского деспотизма, поплатившийся за свою гражданскую смелость десятью годами тюрьмы. Гейне имеет в виду его стихотворение «Гробница князей», направленное против немецких самодержцев.

ТОМАС РЕЙНОЛЬДС

Статья была первоначально напечатана в аугсбургской «Всеобщей газете» от 28 и 29 ноября 1841 года, № 332 и № 333 (приложении).

В этой статье Гейне касается одного из важнейших эпизодов англо-ирландских политических отношений. Ирландия, находившаяся под властью Англии еще с XII века, постоянно сопротивлялась английскому владычеству, становившемуся для нее все более

невыносимым. В руки англичан перешли лучшие ирландские земли, ирландское крестьянство подвергалось беззастенчивой эксплуатации, ирландцы были лишены политических прав, что англичане оправдывали религиозными соображениями: ирландцы придерживались католической церкви, и это ставило их как бы вне закона в государстве, где господствующей церковью была англиканская. В собственной своей стране ирландцы были поставлены в положение бесправных граждан, так как суд, администрация, городское управление всецело были предоставлены в распоряжение пришлого элемента — англичан.

Французская революция взволновала Ирландию. Вожаки национально-освободительного движения вступили в соглашение с революционной Францией и стали обращаться к ней за помощью. Французам не удалось в сколько-нибудь значительных масштабах осуществить высадку своих войск в Ирландии: их экспедиции (в 1796, 1797 и 1798 гг.) потерпели неудачу. Но летом 1798 года ирландцы сами подняли восстание. Во главе этого восстания стоял выдающийся революционер Тиоболд-Вольф Тон (1763—1798), организатор тайного общества «Объединенные ирландцы», существовавшего в 1791—1798 годах и ставившего своей целью достижение независимости Ирландии. Восстание было жестоко разгромлено англичанами. В 1800—1801 годах англичане провели полную и окончательную унию Англии и Ирландии, отняв у Ирландии даже и фиктивную самостоятельность (собственный парламент, в который не могли быть избраны католики).

Гейне, внимательно следивший за судьбами Ирландии, рассказывает в этой статье по новым документам о некоторых эпизодах, относящихся к восстанию 1798 года.

Стр. 168. *Томас Рейнольдс* (1771—1836) — участник движения за освобождение Ирландии от английского владычества, впоследствии изменивший этому движению и перешедший на сторону англичан. Измена Рейнольдса послужила одной из причин поражения восстания 1798 года.

«*Уэверли*» — первый исторический роман Вальтера Скотта, вышедший в 1814 году и положивший начало циклу из двадцати девяти романов, посвященных истории Англии и Шотландии в XIII—XVIII веках. Сюжетом романа является неудачная попытка приверженцев династии Стюартов (якобитов) поднять восстание в 1745 году.

Стр. 169. *Революционная братия в Ирландии*. — Имеется в виду организация «Объединенные ирландцы» (см. введение к комментариям).

Стр. 170. *Зеленый Эрин* — старинное название Ирландии.

Вильгельм Оранский (Вильгельм III) — король Англии в 1689—1702 годах, пришедший к власти после государственного переворота, в результате которого был низложен Иаков II Стюарт, покровительствовавший католикам в ущерб англиканской церкви. В 1690 году, заручившись помощью французов, Иаков II высадился в Ирландии. Его поддержали ирландские католики, в то время как англичане, населявшие провинцию Ольстер (Северная Ирландия), выступили за Вильгельма III. Последний в 1700 году высадился в Ирландии и покорил ее. С тех пор приверженцев Вильгельма III Оранского в Ирландии стали называть *orangemen*. Вильгельм III умер от ушибов, полученных при падении с лошади.

Эдвард Фицджеральд (1763—1798) — ирландский патриот, революционер, один из руководителей «Объединенных ирландцев» и организаторов ирландского восстания 1798 года. Был выдан Рейнольдсом и застигнут англичанами в Дублине, но оказал упорное сопротивление и умер от ран. Его биографию написал известный английский поэт *Томас Мур* (1779—1852), по происхождению ирландец.

Каслри Роберт-Стюарт (1769—1822) — реакционный английский политический деятель, один из лидеров партии тори, родом из Ирландии; в 1798 году занимал пост секретаря вице-короля Ирландии и принял участие в жестоком подавлении ирландского восстания.

Стр. 171. *Томас Литтл* (Little). — «Little» по-английски означает «маленький». Томас Мур воспользовался этой кличкой как псевдонимом.

Стр. 172. *Тиоболд-Вольф Тон*. — См. о нем во введении к комментарию. В сентябре 1798 года Тон был захвачен английскими властями на борту французского военного корабля и приговорен к смертной казни через повешение. Перед казнью покончил с собой.

Стр. 175. *Иомены* — средние и зажиточные крестьяне в Англии и Ирландии.

Кулеврины — пушки старинного образца с длинным дулом.

ГАМБУРГСКИЙ ПОЖАР

Первоначально напечатано в аугсбургской «Всеобщей газете» от 26 мая 1842 года, № 146 (приложение).

Пожар в Гамбурге длился с 5 по 8 мая 1841 года. Посетив через полтора года после пожара Гамбург, Гейне посвятил описанию катастрофы и ее последствий целую главу (XXI) своей поэмы «Германия» (см. т. 2 настоящ. издания, стр. 310—312).

Стр. 179. ...у французов, переживших... тяжелое и страшное событие... — Гейне имеет в виду железнодорожную катастрофу на линии Париж — Версаль, которая произошла 8 мая 1842 года и была сопряжена с многочисленными человеческими жертвами.

ЛЮДВИГ МАРКУС

Первоначально напечатано в аугсбургской «Всеобщей газете» от 2 и 3 мая 1844 года, № 123 и № 124 (приложение).

Гейне очень ценил это свое сочинение как мастерской образец немецкой прозы. Посылая «Маркуса» для переиздания, Гейне в письме от 19 марта 1854 года рекомендовал Юлиусу Кампе сначала потребовать от жены подушку, а потом читать, преклонив колена, ибо не всякий день будет ему дано отправлять культ перед столь хорошо написанным произведением.

В книге Вальтера Вадепуля (Walter Wadepuhl. Heine-Studien, Weimar, 1956, стр. 135—151) можно найти интересные дополнения к тексту «Людвига Маркуса».

Стр. 182. *Мозес Мендельсон* (1729—1786) — берлинский просветитель, писатель по философским вопросам, друг Лессинга. Особо занимался просветительством в еврейской среде, желая приобщить ее к завоеваниям современной европейской культуры.

Стр. 183. ...*географию Северной Африки*. — Маркус и Дунсберг в 1842 году издали на французском языке переработанное ими сочинение немецкого ученого Манверта по географии древней Африки.

Стр. 184. *Брюс Джеймс* (1730—1794) — шотландский путешественник, исследователь Северной Африки и Сирии; искал истоки Нила, о чем написал особое сочинение.

Гассельквист Фредрик (1722—1752) — шведский путешественник; исследовал Малую Азию, Египет и Палестину. Его сочинения издал в 1757 году Карл Линней.

Ганс Эдуард (1798—1839) — ученый-юрист, ученик Гегеля, президент берлинского «Общества еврейской культуры и науки».

Стр. 185. *Цунц* Леопольд (1794—1886) — исследователь истории древних евреев.

Бендавид Лацарус (1762—1832) — литератор, деятель просвещения в среде берлинских евреев.

Стр. 187. *Припомним пессимистическое изречение поэта...* — Далее следует цитата из III действия второй части гетевского «Фауста» — слова Форкнады (Мефистофеля).

Стр. 188. *Филон* — еврейский философ; жил в Александрии

в I в.; стремился к примирению греческой философской мысли с религиозными учениями иудаизма.

Стр. 189. ...*швейцарская гвардия деизма, как их назвал поэт...*— Гейне имеет в виду свое собственное высказывание в сочинении «К истории религии и философии в Германии» (см. т. 6 настоящ. издания, стр. 65).

Стр. 192. *Мунк* Соломон (1805—1867) — востоковед, родом из Германии, работал в Париже. Был знатоком древнееврейского, халдейского и сирийского языков.

БАХЕРАХСКИЙ РАВВИН

Впервые напечатано в четвертом томе «Салона» (1840). История возникновения «Бахерахского раввина» подробно освещена в диссертации Лиона Фейхтвангера (Lion Feuchtwanger. Heinrich Heines Fragment «Der Rabbi von Bacherach», München, 1907). План этого произведения сложился, по всей вероятности, еще весной 1824 года, во время пребывания Гейне на каникулах в Берлине, когда он вновь сблизился с «Обществом еврейской культуры и науки».

Задумав «Бахерахского раввина» как «историческую картину нравов», Гейне в Геттингене деятельно собирал материалы по истории евреев в средние века (см. его письмо к Мозесу Мозеру от 25 июня 1824 г.). Список книг, прочитанных им с этой целью, весьма обширен. Некоторыми из них он действительно воспользовался, работая над повестью. Так, при описании Бахераха (Бахараха) свои личные впечатления от этого среднерейнского городка (в 1814—1820 гг. Гейне, тогда студент Боннского университета, часто совершал прогулки вниз по Рейну и охотно останавливался в Бахерахе, славившемся своими винами) он дополнил сведениями, почерпнутыми из книги Алоиса Шрейбера «Der Rhein, ein Handbuch für Reisende» («Справочник для путешествующих по Рейну», 2 изд., 1818). В этой книге Гейне нашел подробное описание замков близ Бахераха (Зарек, Зоннек, Шталек), описание церкви Верпера в Бахерахе и Обервезсле, скалы у Нидерхеймбаха, Бингенского водоворота, Мышиной башни и др. В приложении к ней даны «Народные легенды об окрестностях Рейна и Таунуса». Некоторые из легенд (например, о горе Кедрих и Долине шепота) он мог найти также в книге Н. Фохта «Rheinische Geschichten und Sagen» («Рейнские истории и сказания», 1817). При описании средневекового

Франкфурта он воспользовался книгой Кирхнера «Geschichte der Stadt Frankfurt am Main» («История города Франкфурта-на-Майне», 1807) и Иоганна-Якоба Шудта «Jüdische Merkwürdigkeiten» («Еврейские достопримечательности», 1718). Среди этих книг следует также упомянуть «Limburgische Chronik» («Лимбургскую хронику»), составленную Тилеманом фон Вольфхагеном в 1402 году и изданную Иоганном-Фридрихом-Фаустом фон Ашафенбургом в 1617 году. Эта книга послужила Гейне, в частности, источником при создании сцен, посвященных секте флагеллантов.

Повесть осталась неоконченной. Значительная часть рукописи, которую Гейне все же предполагал в 1825 году напечатать в приложении ко II тому «Путевых картин», сгорела в 1833 году во время пожара в доме матери Гейне. В 1840 году Гейне включил оставшееся у него начало «Бахерахского раввина» в четвертый том «Салопы».

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Стр. 198. *Фохт сеньера обитал в... замке...* — Бахерах был ленным владением фамилии Шталек и в XII веке перешел к курфюрсту Пфальца.

Зарек — небольшой замок на Рейне. Гейне смешивает этот замок с замком владетельного сеньера.

Флагелланты, или бичующиеся — секта, возникшая в первых десятилетиях XIII века и особенно усилившаяся в 1349 году, во время эпидемии «черной смерти».

Стр. 200. *Святой Вернер — как раз такой святой...* — Легенда эта, приуроченная к 1286 или к 1287 году, приведена в путеводителе Алоиса Шрейбера (см. введение к комментариям).

Стр. 201. *Агада* (буквально: рассказ, рассказанное) — обширная область талмудической литературы, которая содержит в себе поучения, афоризмы, предания, легенды и пр. Переводы всех цитируемых мест из Агады прислал Гейне по его просьбе Мозес Мозер (см. письмо Гейне к Мозеру от 25 июня 1824 года).

Стр. 202. *Мицри* — обозначение египтян в библии (книга «Исход», гл. II).

Стр. 203. *«Радуйся, моя царица!»* — Ср. стихотворение Гейне «Принцесса Шабаш» (т. 3 настоящ. издания, стр. 109—114).

Стр. 205. *Зонек* — замок на левом берегу Рейна, между Трехтлингсгаузеном и Нидерхеймбахом, который у Гейне ошибочно обозначен как *Нидеррейнбах*.

Шадаи (древнеевр.) — всемогущий.

Стр. 207. *...истории о диковинной Долине шепота...* —

Легенда об этой долине (Wispertal) изложена Гейне в его сочинении «Духи стихий» (см. т. 6 настоящ. издания, стр. 302—303).

Стр. 209. *Мышиная башня Гаттона* — башня на Рейне, на скале у Бингена; была разрушена в 1635 году шведами. Гаттон I — архиепископ Майнцский (с 891 по 913), церковный и государственный деятель, правитель государства при малолетнем короле Людвиге. С именем этого епископа связана средневековая легенда о скупом и жестоком князе церкви, приказавшем сжечь в житнице бедняков, пришедших во время голода просить у него хлеба. Иногда эта же легенда связывается с именем другого майнского епископа — Гаттона II (с 967 по 970). Легенда пользовалась большой популярностью и разрабатывалась в позднейшей литературе разных народов. В России она была изложена в стихах известным поэтом XVII века Симеоном Полоцким, включившим ее в свой сборник «Вертоград многоцветный» (1678) под заглавием «Казнь за сожжение нищих». Широко известна баллада В. А. Жуковского «Суд божий над епископом» (1831), являющаяся переложением одноименной баллады английского поэта Саути. На этот сюжет написано также стихотворение «Мышиная башня» немецкого поэта Августа Конюша (1799—1853).

ГЛАВА ВТОРАЯ

Стр. 210. *...привозит нам на праздник куцей прекрасные мирты.* — По традиции во время осеннего праздника куцей из ветвей мирта устраиваются шалаши для моления.

...общины, обязанной каждый год поставлять магистрату пять тысяч крысиных хвостов. — Речь идет о так называемом крысином налоге (Rattenpfennig), который принуждены были с 1498 года платить франкфуртские евреи за то, что один из них переодетым пробрался на турнир и был опознан.

Стр. 212—213. *Король Максимилиан, страстно любивший такие потехи... местопребывание на время ярмарки.* — Кирхнер в своей книге (см. введение к комментариям) сообщает, что Максимилиан I, король римский (с 1486) и германский император (с 1493), часто бывал во Франкфурте, дважды упоминает о турнире герцога Брауншвейгского и маркиграфа Бранденбургского (1489) и рассказывает, как Петер фон Марбург заслужил кличку Гольш (Lump). Гейне почти дословно берет из книги Кирхнера также описание дома Лимбурга, шарлатана, фехтовальщиков, гулящих девок и др.

Стр. 215. *...песню, что некогда пели бичующиеся...* — Строфы из гимна флягеллантов взяты поэтом из «Лимбургской хроники» (см. введение к комментариям).

Штерн; Назештерн. — См. примечание к стр. 63 («Людвиг Берне»).

Стр. 216. *Риндскопф* — фамилия франкфуртского банкира, у которого в 1816 году учился Гейне. Как установил Карпелес, эта и все приводимые Гейне фамилии в его время были представлены во франкфуртском гетто.

«Восемнадцать благословений» — еврейская молитва, которую читают ежедневно в утренних, дневных и вечерних богослужениях. Чтение этой молитвы нельзя прерывать.

Фонтанель — гнойная рана, которую в старой медицине вызывали с лечебной целью.

Стр. 217. *...повесили его за ноги посреди двух собак...* — Этот способ казни существовал в Германии еще в XVIII веке.

Стр. 218. *...как раз в пору, чтобы услышать, как читают историю о жертвоприношении Исаака.* — Гейне здесь допускает неточность: эта история (Книга бытия, гл. 1) читалась на второй день нового года, а не на пасху.

Козлик, козлик, что купил батюшка... — Эта заключительная песнь из Агады была включена романтиками Арнимом и Brentано в раздел детских песен составленного ими известного фольклорного сборника «Волшебный рог мальчика» (1806—1808). Гейне опускает последнюю строфу, в которой бог умерщвляет ангела смерти.

Стр. 219. *...кровь падет на Эдом...* — Потомки Эдома (эдомиты) — согласно Библии, заклятые враги евреев.

Он прекрасен, как башня, обращенная к Дамаску... — Сравнение это, так же как и следующее, заимствовано из «Песни песней».

Стр. 220. *...после большого пожара...* — Анахронизм: пожар, истребивший весь еврейский квартал во Франкфурте, произошел 14 января 1711 года.

Нюрнбергские изгнанники. — На рубеже XV и XVI веков во Франкфурт переселились евреи, изгнанные из Нюрнберга.

Стр. 224. *...на плащах желтые кольца...* — Особая форма одежды для отличия от христиан предписывалась евреям с 1215 года. Она вновь была введена во Франкфурте в 1452 году.

Стр. 225. *...ненавидят друг друга, как Мидиан и Моаб.* — Это библейское сравнение основано на предании о вековой вражде двух соседних племен — мидианитов и моавитов.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Стр. 229. *Великий раввин.* — Имеется в виду Исаак бен Иегуда Абарбалель (1437—1508), еврейский богослов, дипломат и министр при португальском и испанском дворах. После изгнания евреев

бежал из Испании в Италию. Известен своими комментариями к Ветхому завету. Абарбанель был врагом всякого свободомыслия и защитником мессианской догмы. Его третий сын Самуил принял христианство. О племяннике Абарбанеля никаких исторических свидетельств не имеется. Возможно, Гейне имел в виду Самуила.

Стр. 231. *Астарта* — сирийская и финикийская богиня плодородия, войны и смерти. Позднее ее стали смешивать с Афродитой. В этом смысле говорит о ней и дон Исаак.

О ФРАНЦУЗСКОЙ СЦЕНЕ

Через всю свою жизнь Генрих Гейне пронес любовь к театральному искусству. Его интересовали все виды этого искусства — от народного танца до изысканнейших оперных и драматических представлений. Он выступал как драматург и автор балетных либретто, а также как театральный критик.

Борьба за естественность и жизненность, другими словами — стремление к реалистическому показу сценических характеров лежит в основе театрально-критических работ Гейне, и в частности его писем «О французской сцене». Они были написаны в 1837 году и обращены к другу Гейне, *Августу Левальду* (1792—1871), немецкому писателю и театральному деятелю, издателю журнала «Всеобщее театральное обозрение» («Allgemeine Theater-Revue»), выходившего в Штутгарте и Тюбингене. В этом журнале письма и были напечатаны в том же 1837 году. В 1840 году Гейне включил их в четвертый том «Салона».

Письма Гейне, предназначенные для немецких читателей, не представляют собою рецензии на виденные спектакли, — это беглые, но глубокие и серьезные суждения о французской сцене 30-х годов. Гейне часто посещал парижские театры, знакомился с новинками драматургии и обо всем этом рассказал в своих письмах-очерках, переходя от темы к теме по прихоти фантазии.

В мае 1831 года, когда Гейне приехал в Париж, театральная жизнь французской столицы представляла собой как бы бурлящий котел. Цитадель классицизма «Comédie française» упорно отстаивала свои позиции и не сдавалась на штурм романтиков, особенно когда их вождь Виктор Гюго выступил против лагеря консервативов. Оплотом романтиков стал театр «Porte Saint-Martin», где

утвердился выдающийся актер Фредерик Леметр. Славу драматурга завоевал Александр Дюма, открывший своими романтическими драмами поход против традиций классицизма.

Июльская революция 1830 года привела к власти крупную финансовую буржуазию, и театр должен был угождать вкусам денежных тузов, приходивших развлекаться. Постановщиком такого рода пьес был Эжен Скриб, автор крайне плодovitый.

В письмах «О французской сцене» Гейне дал меткие характеристики современных ему драматургов, особенно Виктора Гюго. В ту пору, когда авторитет Гюго еще был далеко не бесспорен во Франции, Гейне, не колеблясь, назвал его величайшим французским поэтом. Он прозорливо заметил, что враги Гюго — это политические враги, которым не нравится решительный отход французского поэта от монархистов.

Гейне отдал явное предпочтение французскому романтизму перед классицизмом. Он утверждал, что время Корнеля и Расина прошло, потому что теперь в театральном партере сидят уже не аристократы, а буржуа, герои Поль де Кока и Эжена Скриба. «Comédie française» со своими старыми методами игры и обветшалыми традициями не привлекала Гейне, а попытки этого театра обновить себя при помощи умеренных доз романтизма казались ему бессмысленными.

В письмах Гейне «О французской сцене» содержатся блестящие характеристики многих современных ему деятелей французского и европейского искусства первой половины XIX века: Леметра, Бокажа, Берлиоза, Кина, Листа и других.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Стр. 237. *Дюпре Жильбер-Луи* (1806—1896) — знаменитый французский певец. С 1836 года занял место первого тенора в парижской Большой опере.

Нурри Адольф (1802—1839) — известный французский тенор. В 1837 году, потеряв голос, сошел со сцены.

Карл Штрекфус (1779—1844) — немецкий переводчик классических поэтов и весьма посредственный стихотворец.

Стр. 238. *Иммерман Карл* (1796—1840) — немецкий романист и драматург, друг Гейне. Одно время был директором театра в Дюссельдорфе. Драма Иммермана «*Мерлин*» написана в 1831-м, драма «*Петр Великий*» — в 1832 году.

Стр. 239. *Эрнст Раунах* (1784—1852) — плодovitый немецкий драматург, автор цикла драм о Гогенштауфенах и других пьес на

исторические сюжеты (среди них драма из русской истории «Князя Хованские»). Филистерский характер творчества Рауша вызывал постоянные насмешки со стороны Гейне.

Стр. 241. *Сан-Суци* — дворец Фридриха II в Потсдаме, близ Берлина.

Старый Фриц — Фридрих II.

Рамлер Карл (1725—1798) — немецкий поэт и переводчик, подражавший античным образцам.

Я даже признаю его заслуги перед немецкой поэзией. — Гейне издевается над Фридрихом II. Прусский король писал чудовищно плохие стихи, но «покровительствовал» поэтам: баснописцу Христиану-Фюрхтеготу *Геллерту* (1715—1769) он подарил лошадь, когда тот почти ослеп и не мог ездить верхом, а поэтессе Анну-Луизу *Карш* (1722—1791) «осчастливил» подарком в пять талеров, которые она вернула ему обратно.

Стр. 242. ...*по новому, наглеровскому почтовому регламенту...* — Речь идет о реформе почты, проведенной в Пруссии генерал-почтмейстером Наглером.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Стр. 244. ...*Йорик писал свое «Сентиментальное путешествие во Францию»...* — В «Сентиментальном путешествии» знаменитого английского писателя *Лоренса Стерна* (1713—1768) повествование ведется от лица некоего *Йорика*.

Стр. 245. ...*несмотря на свинцовые крыши и тайные приспособления...* — Речь идет о венецианской тюрьме «*Riombi*», название которой по-итальянски означает «Свивец».

Генгстенберг. — См. примечание к стр. 43 («Людвиг Берне»).

Стр. 247. ...*как Полибий, но отнюдь не как Цезарь.* — Древнегреческий историк Полибий для своих сочинений прибегал к материалам других историков, тогда как Юлий Цезарь, описывая войну в Галлии, использовал личный опыт полководца.

Стр. 248. *Арналь* Этьен (1794—1872) — французский комедийный актер, долгое время игравший в парижском театре «*Водевиль*».

Женни Верпре (1797—1865) — известная французская комедийная и драматическая актриса.

Дежазе Виргиния (1797—1875) — французская актриса. Особенно прославилась в водевилях и комедиях.

«*Grande chaumière*» — название увеселительного заведения в Париже.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Стр. 249. *Карл I* — английский король, казненный в 1649 году по приговору революционного верховного трибунала.

Уайтхолл — старинный королевский дворец в Лондоне, где перед казнью находился в заключении Карл I.

Стр. 255. ...*роскошное издание «Прав человека» с посвящением королю баварскому...* — Баварский король Людвиг I (1786—1868) был известен своей реакционностью, и Гейне неоднократно обличал его мракобесие (см., например, сатирическое стихотворение «Хвалебные песни королю Людвигу» в т. 2 настоящ. издания, стр. 142—145). Поэт иронически предлагает посвятить Людвигу I издание знаменитого документа французской революции XVIII века «Декларация прав человека и гражданина», политического манифеста, выработанного Национальным собранием в 1789 году.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Стр. 256. *Католико-романтическая школа времен Шлегелей* — так называемая иенская школа немецких романтиков (ранний романтизм), возглавлявшаяся братьями Шлегелями: Фридрихом (1772—1829) и Августом-Вильгельмом (1767—1845).

ПИСЬМО ПЯТОЕ

Стр. 259. *Франкони* — содержатель цирка в Париже, где ставились фесерии и батальные пантомимы.

Стр. 261. *Герцогиня Абрантская* — жена наполеоновского маршала Жюно, автор апологетических записок о Первой империи.

Стр. 262. *Deus ex machina* — бог в античной трагедии, появлявшийся при помощи механического приспособления и своим вмешательством приносящий неожиданную развязку действия.

Стр. 265. ...*сочинение знаменитого пуританина Принна, озаглавленное: «Histriomastix» (напечатано в 1633 году)...* — Это сочинение представляло собою памфлет, направленный против театра и актеров и требующий запрещения театральных зрелищ.

ПИСЬМО ШЕСТОЕ

Стр. 266. *Детмольд Иоганн-Генрих* (1807—1856) — ганноверский адвокат и литератор, приятель Гейне.

Стр. 267. ...*во дни господства Агамемнона...* — Герой древнегреческой мифологии Агамемнон был излюбленным персонажем классицистской трагедии.

Тальма Франсуа-Жозеф (1763—1826) — великий французский актер эпохи классицизма.

Поль де Кок (1794—1871) — популярный французский романист. «Его мир, — писал Белинский, — это мир гризеток, солдат, поселян, среднего городского класса; его сцена — это бульвар, публичный сад, трактир, кофейная средней руки, иногда кабак, комната швеи, бедная квартира честного ремесленника».¹

Эжен Скриб (1791—1861) — французский драматург, наводивший сцену своими комедиями и водевилями. Гейне считал его неглубоким литератором, пишущим на потребу невзыскательного мелкобуржуазного зрителя.

...тем иффландизмом, что... был побежден... благодаря влиянию Шиллера и Гете. — Гейне образует слово *иффландизм*, производя его от фамилии Августа-Вильгельма Иффланда (1759—1814), немецкого актера и драматурга, писавшего комедии из мещанской жизни. Иффландизму он противопоставляет классицизм Шиллера и Гете, выступавших против пьес Иффланда.

Стр. 269. *Карл X* (1757—1836) — французский король, вступивший на престол в 1824 году и свергнутый июльской революцией 1830 года.

Константин (ок. 280—337) — римский император, утвердивший (в 331 г.) христианство как официальную религию.

Стр. 270. *Сент-Бёв* Шарль-Огюстен (1804—1869) — французский критик и поэт. В молодости был одним из главных теоретиков французского романтизма. В 1827 году напечатал две работы об «Одах и балладах» Гюго, в которых высоко оценил его творчество. Критические работы Сент-Бёва основаны на узко биографическом методе.

Стр. 271. ...в искусстве не существует шестой заповеди... — Гейне имеет, очевидно, в виду седьмую из десяти заповедей, сформулированных в библии, — «Не укради».

Стр. 272. *Эдмунд Кин*. — Имется в виду мелодрама Александра Дюма «Кин, или Гений и беспутство», героем которой является прославленный английский трагический актер *Эдмунд Кин* (1787—1833), исполнитель ролей Гамлета, Макбета, Шейлока, Ричарда III, Отелло в драмах Шекспира.

Фредерик Леметр (1800—1876) — французский драматический актер, которого Гюго определял как «величайшего актера XIX века». Леметр отличался редкой разносторонностью: он играл в мелодраме,

¹ В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, М., 1953, т. III, стр. 490.

романтической драме, трагедии и буффонаде. В его репертуар входили роли Кина, Рюи Блаза, Вотрена, Сезара де Базан. В содружестве с Сент-Аманом и Антье написал пьесу «Робер Макер», где играл роль заглавного героя, мошенника и убийцы. Образ этот, в значительной степени благодаря игре Леметра, стал настолько популярен, что Маркс в своей работе «Классовая борьба во Франции» охарактеризовал короля Луи-Филиппа как Робера Макаера на троне.

Стр. 273. *Франц Горн* (1781—1837) — немецкий историк литературы и посредственный поэт, автор сочинений по эстетике и «Комментариев к драмам Шекспира» (1823—1831). Его комментарии носят благонамеренно мещанский характер, за что Гейне и критиковал их в сочинении «Девушки и женщины Шекспира».

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

Первые два абзаца письма (с описанием игры Эдмунда Кина) были исключены из книжного издания (четвертый том «Салона») и даются здесь в переводе, сделанном по первоначальному тексту (в журнале «Allgemeine Theater-Review»), воспроизведенному также во французском издании.

Стр. 273. *Шива* — древнеиндийское божество.

Девриент Людвиг (1784—1832) — знаменитый немецкий романтический актер, игра которого отмечена была темпераментностью и высоким вдохновением.

Стр. 275. *Бокаж* Пьер (1797—1863) — французский драматический актер, выступавший в ролях романтического репертуара.

Стр. 276. *Ариэль* и *Калибан* — персонажи из драмы Шекспира «Буря». Ариэль — светлый дух, воплощение благородства; Калибан — получеловек-полузверь, воплощение грубой и необузданной силы.

Стр. 278. ...*Основы, вашиные в трагические львиные шкуры...* — Основа — персонаж из комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», изображающий льва и одетый в львиную шкуру.

Стр. 279. ...*гуси спасли Капитолий...* — По древнеримской легенде, когда к Капитолию, римской цитадели, ночью подкрались враги, проснувшиеся гуси загоготали и разбудили стражу.

...*такой шум, словно с лестницы свалилась клопштоковская ода.* — Гейне намекает на тяжеловесность од Фридриха-Готлиба Клопштока (1724—1803), автора знаменитой религиозной поэмы «Мессиада», одного из родоначальников повой буржуазной литературы в Германии.

ПИСЬМО ВОСЬМОЕ

Стр. 280. *Мальфиль* Жан (1813—1868) — французский романист и драматург, автор мелодрам, с успехом шедших на сцене.

Ружмон Мишель (1781—1840) — ныне забытый, некогда пользовавшийся известностью французский драматург.

Бушарди Жозеф (1810—1870) — французский драматург, писавший главным образом мелодрамы.

Жорж Маргарита-Жозефина (1786—1867) — знаменитая французская трагическая актриса. Выступала в ролях классического и романтического репертуара. В 1808—1812 годах гастролировала в Петербурге.

Стр. 282. ...«*La Gaité*», театр... соответствующий своему веселому названию. — Название этого театра означает: «Веселость» (франц.).

Стр. 283. ...один из превосходнейших *Пьеро*, знаменитый *Дебюро*, строит... гримасы... — Выдающийся актер французских бульварных театров Гаспар Дебюро (1796—1846), игравший главным образом в пантомимах, считался одним из лучших исполнителей роли *Пьеро*, излюбленного героя французского народного театра.

...«*Théâtre de la porte Saint-Antoine*»... по своему томографическому положению не может быть отнесен к упомянутым бульварным театрам. — Название этого театра означает: «Театр у Сент-Антуанских ворот» (франц.).

Стр. 284. *Велизарий* (505—565) — знаменитый византийский полководец. По легенде, император Юстиниан велел ослепить Велизария, и прославленному полководцу пришлось просить покаяние.

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

Стр. 286. ...критика *monsieur Фетиса* или его сына, *monsieur Foetus*... — Фетис (Fétis) Франсуа-Жозеф (1784—1871) — бельгийский композитор, музыкальный теоретик и критик. Его сын Эдуард был также музыкальным критиком. У Гейне — игра слов (ср. Fétis и Foetus).

Стр. 289. *Лебедь из Пезаро* — Россини (Пезаро — город в Италии, где родился композитор).

Стр. 290. *Маркс* Адольф (1799—1866) — немецкий композитор и музыковед.

...во время несовершеннолетия некоего юного гения... — Гейне имеет в виду немецкого композитора Феликса Мендельсона-Бартольди (1809—1847).

Стр. 295. *Фалькон* Мария-Корнелия — французская певица первой половины XIX века, особенно прославившаяся в операх Мейербера.

ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ

Стр. 298. *Académie royale de musique*. — См. примечание к стр. 114 («Людвиг Берне»).

Стр. 302. *Бенвенуто Челлини* (1500—1571) — итальянский скульптор и ювелир, написавший автобиографию, получившую широкую известность. Среди его работ выделяется статуя *Персея*, древнегреческого мифического героя, победившего горгону Медузу.

...в нем большое сходство с *Калло*, *Гоцци* и *Гофманом*. — Гейне называет в одном ряду французского офортиста и рисовальщика Жака *Калло* (1592—1635), итальянского поэта и драматурга, автора «Сказок для театра» Карло *Гоцци* (1720—1806) и немецкого писателя-романтика, автора фантастических рассказов и повестей Эрнста-Теодора-Амадея *Гофмана* (1776—1822) как выдающихся мастеров гротескного жанра.

Стр. 303. *Балланы* Пьер-Симон (1776—1847) — французский публицист и философ-мистик. Гейне называет его мысли *вапористическими*, то есть туманными.

Ламение. — См. примечание к стр. 16 («Людвиг Берне»).

Стр. 304. ...в доме прекрасной, благородной мученицы-княгини... — Гейне имеет в виду княгиню Христину Бельджойозо (1808—1871), итальянскую писательницу, деятельницу национально-освободительного движения в Италии, жившую в эмиграции в Париже. Австрийцы, захватив Италию, конфисковали земли Бельджойозо. Гейне, находившийся с нею в дружеских отношениях, встречался в ее парижском салоне с видными французскими и итальянскими деятелями, поэтами и музыкантами.

«*Апокалипсис*» — последняя книга Нового завета, пророчествующая в мистической форме о конце мира и предстоящем Страшном суде в долине Иосафата. В «*Апокалипсисе*» действуют мистические звери; Иисус побеждает Сатану.

ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ШЕКСПИРА

Это произведение возникло по заказу: книгопродавец Деллуа обратился к Гейне с предложением написать текст к альбому портретов девушек и женщин Шекспира. Эти портреты были нарисованы английскими художниками Мидоу, Бостоком, Филдом, Дженкин-

сом, Корбудом, Гербертом и др. Парижский книгопродавец задумал международное издание; он уже выпустил этот альбом для Англии и для Франции, наступала очередь Германии. Нужен был текст, который сочинил бы лучший из современных немецких писателей. Как Гейне сообщал Юлиусу Кампе (письмо от 23 июля 1838 г.), одна из причин, заставивших его согласиться на предложение Деллуа, состояла в том, что иначе Деллуа пригласил бы Тика, старого романтика, известного знатока Шекспира, в эту пору весьма неприязненно относившегося и к Гейне и ко всей молодой литературе. Работу для Деллуа тогда же, летом 1838 года, Гейне выполнил. Любопытно, что Гейне, пытавшийся сперва диктовать это свое произведение, — он уже тогда жаловался, что зрение его ослабело, — вскоре бросил диктовку и принялся писать собственноручно. Диктовка, как он объяснял тому же Кампе, вредила «сжатости, краткости и красочной ясности стиля». К концу 1838 года книга вышла из печати, довольно щедро оплаченная Деллуа.

Написанное по случайному поводу, это произведение Гейне тем не менее ничего случайного в себе не содержит. Шекспира Гейне любил всегда и к его сочинениям постоянно обращался. Работая для Деллуа, он заново перечитал всего Шекспира по английскому изданию Стивенса и окружил себя немецкими переводами. Цитируя Шекспира по-немецки, он был разборчив и не всегда прибегал к ставшему тогда стандартным переводу Августа Шлегеля и Тика, но пользовался также переводами Фосса и Бенда. Многие отрывки были переведены заново самим Гейне. Что же касается прямой задачи, поставленной ему издателем, — дать сопроводительный текст к женским портретам в альбоме, то Гейне отнюдь не оказался в рабстве перед нею. Он только мимоходом говорит о «женщинах и девушках» в хрониках и в трагедиях, а о героинях комедий не говорит вовсе, попросту представляя их читателю подбором цитат из Шекспира. Вместо текста, который должен был сопровождать десятки женских портретов, Гейне написал своеобразную книгу о Шекспире и его эпохе. В основе литературной манеры Гейне лежала привычка любую частную, специальную тему рассматривать как нечто мало-обязательное. Гейне обычно во всех своих сочинениях поднимал весь мир истории и современности, как бы ни был мал повод для этого. Надо думать, он так легко принял не слишком высокий по своему замыслу заказ Деллуа, потому что заранее решил писать не о Розалинде, Оливии или Виоле, но о Шекспире, их творце, и обо всем, что связывалось для него с Шекспиром, ничуть не стесняя себя рамками издательской программы и несколько не подчиняясь своей прямой теме.

Шекспир, как говорит Гейне, универсален. По словам Гейне, место действия в драмах Шекспира — весь мир, время действия — вечность, а герой их — все человечество. Для Гейне Шекспир удивителен своим постижением истории, и не одной лишь английской, но всемирной. Он для Гейне — пророк прошлого и историк будущего. Поучителен порядок изложения в книге о Шекспире. Драмы Шекспира у Гейне располагаются по эпохам мировой истории. Сперва идут разборы драм с античными сюжетами — греческими, а потом римскими, за античным отделом следуют разборы драм на сюжеты средневековья и, наконец, — на сюжеты эпохи Возрождения. Шекспир, как его понимает Гейне, ведет нас через все века, начиная с истоков истории; он указывает нам направление, в каком движется и будет двигаться человечество. Поэтому Гейне так вольно переплетает свои характеристики шекспировских драм с самыми общими вопросами философии истории.

На метод работы Гейне проливает свет открытие, сделанное недавно одним исследователем, который располагал рукописью книги о Шекспире. В главе, названной Гейне «Констанца», пересказан разговор мышей, подслушанный ночью в театре. Каждая из мышей по-своему развертывает свою особую пессимистическую концепцию мировой истории. Это концепции, привлеченные Гейне к общей дискуссии, отнюдь не принятые им самим. Оказывается, этот кусок рукописи вначале был озаглавлен: «О Германии со времен Лютера. Отдел первый. Введение». Никакого отношения к Шекспиру, к его героям и героиням эта рукопись первоначально не имела и входила в состав совсем другого сочинения — «К истории новейшей художественной литературы в Германии» (1833). Переместив эти рассуждения в книгу о Шекспире, Гейне зачеркнул старое их заглавие и написал: «Констанца». (См. Walter Wadepuhl. Heine-Studien, Weimar, 1956, стр. 130.) Так у Гейне рукопись философско-исторического характера превращается в женский портрет, в очерк под названием «Констанца», и обратно. Он жертвует Констанцей, леди Перси или королевой Маргаритой ради самого Шекспира, но и Шекспир для него не есть последняя цель: он хочет говорить заодно и о Шекспире и о путях человечества, о том, что составляет для человечества заботу его сегодняшнего и завтрашнего дня.

В книге о Шекспире важное развитие получает коренная в 30-е годы для Гейне тема «эллинов» и «назареев» (см. в настоящем томе введение к комментариям к сочинению «Людвиг Берне»). В пуританах, враждебных Шекспиру, Гейне видит образы «навареев». Пуритане, аскеты во имя денежного накопления, —

предшественники современной буржуазии с ее утилитаризмом, с ее антигуманизмом, с ее враждебностью эстетике и поэзии. Страницы о Шейлоке хорошо поясняют, как Гейне понимал «назарейство». Он сопоставил Шейлока с христианским купечеством Венеции, превосходство которого над Шейлоком сомнительно: и Шейлок «назарейнин», и те другие — тоже. «Назарейство» не есть вопрос расовый или же национальный, это вопрос о социальном человеческом типе, о буржуазной личности и о буржуазной душе.

Гейне ведет в своей книге и полемичку с таким проявлением «назарейства», как уравнительство. Но подобно тому, как это он делал в статье «Введение к «Дон-Кихоту», он издесь ставит под положительный знак старую монархию. В книге о Шекспире монархия рассматривается как полезное противоядие против уравнительного духа. Гейне утверждает, что английская монархия благоприятствовала шекспировской поэзии. И в том, и в другом Гейне ошибается. Он забывает, что монархический режим построен не на принципе личности, ее качеств и заслуг, но на привилегиях рождения, на сословном начале, случайном в отношении к личности. Аристократия так же пренебрегает личностью, как и буржуазные уравнители. Шекспир и его поэзия своим процветанием обязаны вовсе не английским королям, но той богатой народной культуре, которая еще сохранялась в дни Шекспира и гибла от наступления как аристократии, так и буржуазии. Впрочем, как в статье о Сервантесе, и в книге о Шекспире короли служили Гейне лишь особой фигурой полемики. Он пользовался ими как условным оружием, чтобы несколько сократить безмерные претензии современных ему идеологов, заявлявших о безотносительном превосходстве буржуазного общества и буржуазной демократии над всеми историческими формами, известными в прошлом человечеству.

Книга Гейне издавалась с расчетом, что немецкая цензура, жестокая к нему, на этот раз будет успокоена, имея дело с шекспировскими темами, пейтральными и невинными. И действительно, саксонский цензор обошелся с книгой милостиво, не вымарав ни одной строки. Были расчеты и на то, что эта книга примирит с Гейне всех инакомыслящих. Один из критиков (в «Blätter für literarische Unterhaltung», 1838, 27 декабря, № 361) писал, что книга о Шекспире доказывает, насколько Гейне — приверженец так называемой чистой поэзии и насколько посторонни для него все иные ште-ресы. Вопреки всем ожиданиям и уверениям, книга о Шекспире все же оказалась современной книгой, полемической, обращенной к тем большим и общим вопросам, которые питаются злобой дня, — пусть эта злоба дня и не высказывалась в ней прямо.

Стр. 309. *Гаммония* (Hammonia) — латинское название Гамбурга.

Стр. 310. ...человек, которому мы обязаны светским евангелием... — выражение, заимствованное у Гете, который именует светским евангелием всякую подлинную поэзию (см. Г е т е. Поэзия и правда, кн. 13).

...он был современником Елизаветы и Иакова... — Годы царствования королевы Елизаветы — 1558—1603, короля Иакова I — 1603—1625.

Стр. 311. ...с кровью Карла Первого... — См. примечание к к стр. 249 («О французской сцене»).

...в «*Histrionastix*» пресловутого Принна... — См. примечание к стр. 265 («О французской сцене»).

...злые выпады, каркающие анафеме бедному театральному искусству. — Нападки на театр были традиционным явлением в пуританской публицистике. См. характерные документы в «Хрестоматии по истории западноевропейского театра» под ред. С. С. Мокульского, т. 1, М., 1953, стр. 548—549.

Стр. 312. «*Acta sanctorum*» — жития святых римско-католической церкви, издававшиеся иезуитами с 1643 по 1794 год.

Стр. 313. *Каждый лев приводит на память...* — Лев — эмблема на государственном гербе Великобритании.

...Шекспиру, в подробностях описавшему эту страшную историю. — См. трагедию Шекспира «Ричард III» (IV, 3).

Вестминстерское аббатство — старинная готическая церковь в Лондоне, где находятся усыпальницы английских королей, государственных деятелей, поэтов.

Стр. 314. *Рыцари Белой и Алой розы.* — Алая и белая розы — эмблемы на гербах двух королевских домов Англии. Ланкастеры, или Плантагенеты (Алая роза), и Йорки (Белая роза) оспаривали друг у друга королевский престол. «Война роз» (1459—1485) привела к истреблению старой феодальной знати и тем самым расчистила путь для английской буржуазии.

Дрюри-Лейн — старейший лондонский театр, основанный в 1663 году.

Кин. — См. примечание к стр. 272 («О французской сцене»).

«*A horse, a horse...*» — тирада короля Ричарда III в одноименной трагедии Шекспира (V, 4).

Стр. 315. ...как говорит Шекспир, «сущность и плоть прошедших времен». — См. «Гамлет» (III, 2).

Стр. 316. *Дитрих Граббе* (1801—1836) — немецкий драматург; наряду с Георгом Бюхнером — крупнейший талант среди немецких

драматургов 30-х годов. Стремился возродить традиции «бури и пагиска», связанные с именами молодых Гете и Шиллера, и в то же время перекликался с французскими романтиками, с Гюго и с Дюма-отцом, в ту пору чрезвычайно активными в области драматургии. Граббе изредка выступал и с теоретическими высказываниями по вопросам театра. *«Поэтически разукрашенными хрониками»*, лишенными объединяющей идеи, он называл исторические драмы Шекспира (в статье «О шекспиромании», 1827).

Стр. 317. *Принято говорить, будто он отражает природу в зеркале.* — Ср. поучения, которые Гамлет дает актерам. Цель театра, говорит он, «держаться, так сказать, зеркало перед природой» («Гамлет», III, 2).

...поэт как бы приносит в мир свой собственный мир... — Концепция, согласно которой поэт предвосхищает в своем сознании всякий опыт, заимствована Гейне у романтиков, в частности у Новалиса. Некоторую дань отдавал ей Гете. Эта идеалистическая концепция, очевидно, увлекала Гейне тем, что она возвеличивала значение поэта, подчеркивала исключительность его путей, оправдывала его независимость от каких-либо догм, навязанных ему извне. На деле же собственный пример Гейне, находившегося под множественным культурных воздействий, активнейшим образом изучавшего исторический опыт своего времени, служит прямым опровержением этой теории, утверждавшей, что весь мир покоится в душе поэта, прежде чем тот познает его и вступает в практические связи с ним, и что, следовательно, ни в этом познании, ни в этих связях поэт не нуждается.

Стр. 319. *Вильям Хэзлит.* — См. о нем примечание к стр. 91. («Людвиг Берне»). Здесь имеется в виду известная книга Хэзлита «Характеры в драматических произведениях Шекспира» («Characters of Shakespeare's plays», 1817).

...римляне у него носят шляпы, корабли пристают к берегам Богемии, и во времена Трои у него цитируется Аристотель. — Здесь Гейне говорит об исторических и географических неточностях у Шекспира. Шляпы упоминаются в «Кориолане» и в «Юлии Цезаре». В «Зимней сказке» (III, 3) указано место действия: «Богемия. Пустынная местность вблизи моря». В драме «Троил и Крессида» (II, 2) Гектор с насмешкой говорит о юнцах, для которых моральная философия Аристотеля более не авторитетна.

Вопрос об анахронизмах у Шекспира издавна занимал его исследователей. Романтики, в частности Август Шлегель в «Чтениях о драматической литературе», подыскивали оправдания для этих анахронизмов.

Стр. 320. *Готшед... потрясал локонами своего парика... а щеки его жены побледнели...* — Иоганн Готшед (1700—1766) — немецкий писатель, сторонник французской «регулярной» трагедии, старавшийся с помощью французского классицизма подавить на театральной сцене старинную немецкую национальную традицию пышных зрелищ и спектаклей с сильным, грубым комизмом. Жена Готшеда Луиза, урожденная Кульмус (1713—1762), также писательница, переводчица, автор комедий, была помощницей своего супруга и поддерживала его литературные идеи в своих собственных сочинениях.

Гейне не вполне справедлив к Готшеду. Некоторые первые шаги навстречу потребностям зарождавшегося немецкого просветительства были сделаны этим писателем, но ему мешали односторонность и педантизм.

«Драматургия» Лессинга — сочинение Лессинга «Гамбургская драматургия» (1767—1769), состоящее из разборов пьес и спектаклей, поставленных в Гамбурге, проводящее новые литературные и театральные идеи. Гейне преувеличивает значение Шекспира для Лессинга, который, размежевываясь с традициями классицизма, более всего был занят борьбой за мещанскую драму — за новый буржуазный реализм на сцене, весьма чуждый шекспировским традициям.

Виланд Кристоф-Мартин (1733—1813) — немецкий писатель, стихотворец, мастер повествовательной прозы, изящный, остроумный и влиятельный пропагандист идей просветительства. «Агатон» (1766—1767) — воспитательный роман Виланда, «Музарион, или Философия граций» (1768) — философская повесть в стихах. Виланд много сил и внимания уделял художественному переводу. В этой области главное дело Виланда — переводы драм и комедий Шекспира (1762—1766), выполненные прозой (стихами он пытался передать только одну из комедий).

Третий великий голос, прозвучавший в Германии в защиту Шекспира, принадлежал... Гердеру... И Гете тоже... воздал ему хвалу... — Немецкий писатель, теоретик литературы, поэт и переводчик Иоганн-Готфрид Гердер (1744—1803), а вслед за ним молодой Гете были горячими энтузиастами Шекспира и впервые подлинным образом открыли его для Германии. Гердер имя Шекспира сделал лозунгом и посвятил ему замечательную статью «Шекспир» (1773), Гете в своей ранней драме «Гед фон Берлихинген» дал пример шекспиризма на практике. Для друзей и сподвижников молодого Гете, вместе с ним создавших направление «бури и натиска», авторитет Шекспира стоял чрезвычайно высоко, и они по-своему следовали примеру его драматургии.

...*Август-Вильгельм фон Шлегель и... Людвиг Тик также приложились к его руке...* — Здесь имеются в виду работы Шлегеля, относящиеся к Шекспиру: разбор творчества Шекспира в «Чтениях по истории драматического искусства и литературы» (1811) и перевод шестнадцати драм Шекспира (1797—1801), сделанный стихами, с наивозможным приближением к подлиннику. Людвиг Тик довершил перевод драм Шекспира, начатый Шлегелем, и выступал в печати со статьями по разным вопросам творчества Шекспира. С годами Тик стал одним из лучших немецких знатоков Шекспира и английской драматургии шекспировской эпохи. Он также вывел Шекспира в большой повести «Жизнь поэта» (1826), послужив таким образом пропаганде великого английского драматурга как переводчик, как критик и как беллетрист.

Стр. 321. *Эшенбург* Иоганн-Иоахим (1743—1820) — историк литературы, переиздавший в 1775—1777 годах в своей переработке, с уточнениями и дополнениями, переводы драм Шекспира, сделанные Виландом.

Додслей Роберт (1703—1764) — английский писатель, издавший в двенадцати томах собрание старинных пьес английского театра (1744).

Стр. 322. ...*благодаря его «Драматургическим листам», которые появились четырнадцать лет тому назад в «Вечерней газете»...* — Эти газетные статьи Тик вскоре опубликовал в отдельном двухтомном издании («*Dramaturgische Blätter*, Breslau, 1825—1826). Продолжение статей Тика печаталось в дрезденской «Утренней газете» (1827).

Сэр Джон — Фальстаф.

Стр. 322—323. *Насколько он был нам мил прежде, настолько он протисен теперь...* — Имеются в виду поздние новеллы Тика с выпадами против Гейне и других писателей молодого поколения.

К нему применимы слова Шекспира... — Далее следует вольный перевод заключительных строк 94 сонета Шекспира.

Франц Горн. — См. примечание к стр. 273 («О французской сцене»).

Стр. 324. *Граббе все это... изобразил...* — Имеется в виду комедия Граббе «Шутка, сатира, ирония и еще более глубокое значение» (XII, 2), написанная в 1827 году.

Лихтенберг Георг-Христиан (1742—1799) — немецкий прозаик, юморист, сатирик, мастер остроумных характеристик и афоризмов. Опубликовал в 1776—1778 годах «Письма из Англии», где превосходно описана игра знаменитого английского трагического актера Давида *Гаррика* (1716—1779). Лихтенберг здесь дал образец для многих последующих характеристик актерского искусства.

Джонсон Сэмюел (1709—1784) — английский просветитель, классик и рационалист, критик, законодатель литературных вкусов. Издал драмы Шекспира в 1765-м и — совместно со Стивенсом — в 1773 году. Хотя и признавал драмы Шекспира, но судил о них мелко и прозаично, с позиций «здорового смысла», отнюдь не отказываясь ради Шекспира от своих обычных литературных позиций.

Царица Мэб — сказочное существо, крохотная фея, танцующая на носу у спящих и обольщающая их счастливыми сновидениями. См. драму Шекспира «Ромео и Джульетта» (I, 4).

Стр. 325. *Шредер* Фридрих-Людовиг (1744—1816) — знаменитый актер и театральный деятель, автор бесцеремонных переделок драм Шекспира для немецкой сцены, приспособлявший его трагедии к вкусу мещанской публики (благополучные развязки вместо трагических и т. д.). Однако же за Шредером осталась та заслуга, что он прочно ввел Шекспира в немецкий репертуар и практически доказал, что Шекспир может и должен жить на сцене.

Девриент. — См. примечание к стр. 273 («О французской сцене»).

Вольф Пиус-Александр (1784—1828) — актер, прошедший школу обдуманной, полуусловной игры в духе классицизма в Веймаре под руководством Гете. С 1816 года играл в Берлине вместе с Девриентом.

Романтика Девриента и классика Вольфа Гейне сопоставляет друг с другом, приписывая одному «метод естественности», а другому «метод искусства».

Цингарелли Никколо-Антонио (1752—1837) — итальянский композитор, автор многочисленных опер, из которых опера «Ромео и Джульетта» пользовалась наибольшим успехом.

Лебедь из Пезаро. — См. примечание к стр. 289 («О французской сцене»).

...воспел исходящую кровью нежность Дездемоны и черный пламень ее возлюбленного! — В 1816 году Россини написал оперу «Отелло».

ТРАГЕДИИ

Стр. 328. *Масман*. — См. примечание к стр. 79 («Людовиг Берне»).

Стр. 329. *Старый учитель поэтики в дюссельдорфском лицее* — аббат д'Онуа.

Стр. 330. *...почтил ее наш великий Шиллер в одном из лучших своих стихотворений*. — Имеется в виду баллада «Кассандра».

Стр. 331. *Я уже говорил однажды...* — См. «Романтическую школу» (т. 6 настоящ. издания, стр. 183—184).

Стр. 332. *«Только пусть песня будет о любви...»* — «Троил и Кресида» (III, 1).

«Мое милое молчание» — «Кориолан» (II, 1).

Стр. 334. *«Хлеб — это первейшее право народа»* — слова, сказанные Сен-Жюстом, одним из вождей якобинцев, другом Робеспьера.

Стр. 335. *Демократия и императорская власть не враждебны друг другу...* — Гейне исходит из верной мысли, что республиканская форма правления, сама по себе взятая, еще не обеспечивает интересов народа. Но он делает отсюда ложный вывод, будто возможна императорская власть на демократической основе. Мысль Гейне неверна, в частности, по отношению к античному Риму. Переход от республики к империи был в Риме сменой одного аристократического режима другим, тоже аристократическим, но более приспособленным к изменившимся историческим условиям. Если одна часть аристократии еще не отстала от старых, республиканских форм, то другая, более многочисленная, полностью поддерживала власть императора. Эта власть рассматривалась как ограждение от революции рабов, от восстаний в покоренных провинциях и от натиска враждебных племен на границах римского государства.

Стр. 336. *Какого мнения ты и остальные...* — «Юлий Цезарь» (I, 2).

Стр. 337. *Вокруг себя людей хочу я видеть...* — «Юлий Цезарь» (I, 2).

Стр. 338. *Я при мужском уме слаба по-женски...* — «Юлий Цезарь» (II, 4).

Иль сброшу я египетские цепи... — «Антоний и Клеопатра» (I, 2).

...к своей старой нильской змее... — «Антоний и Клеопатра» (I, 5).

Он вместе с Клеопатрой на помосте... — «Антоний и Клеопатра» (III, 6). В немецком тексте собственный перевод Гейне.

Стр. 339. *...«как селезень влюбленный»...* — «Антоний и Клеопатра» (III, 10).

Поблекшей я тебя узнал... — «Антоний и Клеопатра» (III, 13). В немецком тексте собственный перевод Гейне.

Стр. 340. *Мне снился император Марк Антоний...* — «Антоний и Клеопатра» (V, 2). В немецком тексте собственный перевод Гейне.

Стр. 341. *Аббат Прево* — Антуан-Франсуа Прево д'Экзиль (1697—1763) — французский писатель; его знаменитый роман *«Манон Леско»* появился в 1733 году.

«Создавая женщину, бог взял слишком мягкую глину» — слова Одоардо Галотти в драме Лессинга «Эмилия Галотти» (V, 7).

«Мне не хочется, чтобы ты пел...» — «Антоний и Клеопатра» (I, 5). В немецком тексте собственный перевод Гейне.

Стр. 342. *...я еще в школе... хохотал над одураченным Антони-ем...* — Пересказываемый Гейне анекдот взят из «Параллельных жизнеописаний» Плутарха (жизнеописание Антония, глава 29).

Стр. 345. *История Филомелы в «Метаморфозах» Овидия...* — В античном мифе, пересказанном Овидием, царь Терей совершает насилие над Филомелой и для того, чтобы его преступление осталось в тайне, вырывает у нее язык.

Молю я смерти, и еще другого... — «Тит Андроник» (II, 3). В немецком тексте собственный перевод Гейне.

Стр. 346. *Пусть ведают, что значит заставлять...* — «Тит Андроник» (I, 2).

Мой Аарон, что ж так печален ты... — «Тит Андроник» (II, 3). В немецком тексте собственный перевод Гейне.

Стр. 347. *Раунах.* — См. примечание к стр. 239 («О французской сцене»).

Высоцкий — берлинский ресторатор, в заведении которого разыгрывались пьесы легкого жанра.

Стр. 351. *И целый ряд ее поступков гнусных...* — «Король Джон» (II, 1).

Г-жа Штих — Августа Штих-Крелингер (1796—1865) — известная берлинская актриса.

Мария-Луиза — французская императрица, жена Наполеона. У Гейне параллель: после низложения Наполеона у сына Марии-Луизы, «короля римского» Наполеона II, была отнята корона, как у Артура, сына Констанцы. (Наполеоном II «короля римского» стали именовать впоследствии, как если бы он занимал французский престол после отца своего, Наполеона I.)

И бесконечно жалкой оказалась в этой роли некая мадам Каролина... у нее был слишком толстый живот... — Мадам Каролина, герцогиня Беррийская, принадлежавшая к династии Бурбонов, изгнанной из Франции после июльской революции 1830 года, тайно высадившись в 1832 году в Марселе, проникла в Вандею и пыталась вызвать там восстание — она добивалась королевской короны для своего сына, графа Шамбора. Арестованная, она вскоре была выпущена из тюрьмы: обнаружилась ее беременность (она состояла в тайном браке с одним итальянским маркизом), и, таким образом, ее политические претензии отпадали сами собой.

«И все-таки мне далеко до шутовщины Перси...» — «Генрих IV», ч. 1 (II, 4).

Стр. 352. *Ну, полно, полно, милый попугай...* — «Генрих IV», ч. 1 (II, 3).

Стр. 353. *Аддисон* Джозеф (1672—1719) — английский писатель, сотрудник известных сатирических журналов «Болтун» и «Зритель».

Коббет Вильям (1762—1835) — английский политический деятель, талантливый публицист радикально-демократического направления.

Стр. 354. *Слава тебе, великий немец Шиллер...* — Гейне говорит здесь о Шиллере как об авторе драмы «Орлеанская дева» (1801).

...от грязных остроумцев *Вольтера*... — Сказано по поводу поэмы Вольтера «Девственница» (1755), сатирической и скептической в отношении *Жанны д'Арк* и ее истории.

Стр. 355. *О диво красоты...* — «Генрих VI», ч. 1 (V, 3).

Стр. 356. *Йорк, взгляди! Платок я омочила...* — «Генрих VI», ч. III (I, 4).

Стр. 357. *Не говори со мною! Ужоди...* — «Генрих VI», ч. II (III, 2).

...она напомнит нам страшную *Кримгильду* из «Песни о Нибелунгах». — В «Песне о Нибелунгах», величайшей эпической поэме немецкого средневековья, *Кримгильда*, вдова *Зигфрида*, вторично выходит замуж за *Этцеля*, короля гуннов, приглашает к себе в гости своих братьев, виновных в убийстве *Зигфрида*, и тут, в земле гуннов, совершает кровавую расправу над ними и их вассалами, платая за все содеянное также и собственной гибелью.

Стр. 358. ...говоря о французских войнах... — Имеется в виду война между французами и англичанами 1337—1378 и 1413—1453 годов, так называемая Столетняя война. Франция понесла жестокое поражение в битвах при *Креси* (1346) и при *Пуатье* (1356). Война приняла новый оборот, когда во главе французского народно-патриотического движения оказалась крестьянская девушка *Жанна д'Арк*, в 1429 году освободившая Орлеан от английской осады. Сама *Жанна* погибла, захваченная англичанами в плен, обвиненная ими в колдовстве и в 1431 году сожженная на костре в *Руане*. Но война в конце концов англичанами была проиграна; они потеряли все свои владения на территории Франции, за исключением одного *Кале*.

Мишле Жюль (1798—1874) — знаменитый французский историк, собрат *Гизо*, *Мишье*, *Тьерри*, но менее их склонный к строгому методу, увлекаемый своим незаурядным писательским дарованием. Во Франции принято его рассматривать как своеобразного роман-

тяческого художника и сопоставлять с Виктором Гюго. Главный труд его — *«История Франции»* — выходил в 1833—1844 годах; изложение было доведено до эпохи Возрождения. В 1855—1867 годах он продолжил его — от Возрождения до революции. Гейне цитирует далее третий том этого труда, вышедший в 1837 году. Как видно из процитированных Гейне страниц, он ценил и живописную манеру Мишле и те реалистические воззрения на историю, которые свойственны были этому историку-романтику (см., например, вступительную обобщающую фразу этого отрывка). Текст Мишле дан у Гейне в довольно свободном переводе.

Стр. 360. *Седой богемский король* — Иоанн Люксембургский, ерцавшийся при Креси на стороне французов и павший в этой битве.

Стр. 361—362. *...отразить в зеркале одного из знаменитейших наших коронованных современников...* — Гейне имеет в виду «короля баррикад» Луи-Филиппа, вступившего на престол милостью Июльской революции. Гейне часто описывал, как заискивающе вел себя Луи-Филипп по отношению к народным массам; король хотел изгладить воспоминание о том, что он у них вырвал власть, находившуюся в Июльские дни в их руках. Антинародная политика у Луи-Филиппа сочеталась с демагогией, с подобострастием перед революционными силами нации.

Стр. 362. *И сами мы, и Грин, и Бегот с Буши...* — «Ричард II» (I, 4).

Стр. 363. *Поди сюда, сядь, Гарри, у кровати...* — «Генрих IV», ч. II (IV, 5).

Стр. 365. *Томас Мор* (1480—1535) — английский гуманист, философ, автор книги «Утопия», политический деятель, канцлер короля Генриха VIII. Вместе с королем выступал в защиту католической церкви против Лютера, но когда король изменил свою политику и объявил себя сторонником Реформации, Томас Мор сложил с себя канцлерские полномочия. Противился разводу короля с Екатериной Арагонской. Был арестован, посажен в Тауэр и казнен по обвинению в государственной измене.

Трактат «De septem sacramentis» — трактат об утверждении семи таинств против Мартина Лютера, изданный в 1521 году королем Генрихом VIII при участии Томаса Мора. Римский папа в благодарность за этот трактат дал королю титул «защитника веры». После разрыва с римской церковью король выдвинул обвинение против Томаса Мора как против своего бывшего сотрудника при сочинении именно этой книги.

Стр. 366. *Изабелла Кастильская* — испанская королева (1474—

1504), царствовавшая совместно с Фердинандом II. В ее царствование была учреждена в Испании инквизиция.

Мария Кровавая — английская королева (1553—1558), состоявшая в браке с Филиппом II, королем Испании. Пыталась целиком восстановить в Англии католицизм, отмененный как государственная религия ее отцом, Генрихом VIII. Реставрация католицизма сопровождалась жесточайшими гонениями против еретиков и сектантов, за что Мария и заслужила от протестантских историков свое прозвище. Отец ее, Генрих VIII, введший протестантство, отличался не менее кровавыми деяниями.

Тело мое набальзамируйте... — «Генрих VIII» (заключительные стихи IV акта).

Благослови тебя, святое небо... — «Генрих VIII» (IV, 1).

Стр. 367. *Супружеские приключения этого короля — Синей Бороды ужасны.* — Король Генрих VIII был женат шесть раз. С первой женой, Екатериной Арагонской, он развелся ради Анны Болейн, которую в 1536 году велел казнить, обвинив ее в неверности; его третья жена, Иоанна Сеймур, в 1537 году умерла в родах; с четвертой, Анной Клевской, он развелся в 1540 году; пятая, Екатерина Говард, в 1542 году была казнена, и снова по обвинению в неверности; и только шестая, Екатерина Пэрр, на которой он женился в 1544 году, пережила его. Генрих VIII умер в феврале 1547 года. В сказке о *Синей Бороде* гибнут одна за другой шесть его жен, и только седьмая спасается, так как Синяя Борода сам погибает от руки ее братьев.

Стр. 369. *Миддлтон* Томас (1570—1627) — английский драматург, один из талантливых современников Шекспира. Известнейшая из его драм — «Ведьма» (впервые опубликована в 1778 году).

Стр. 371. *Есть ива над потоком, что склоняет...* — «Гамлет» (IV, 7).

Стр. 374. *Когда б я одного отца любила...* — «Король Лир» (I, 1).

Стр. 375. *Ты знаешь край? — Лимоны там цветут...* — цитата из песни Мишьоны Гете («Годы учения Вильгельма Мейстера»).

Стр. 377. *Мое лицо под маской ночи скрыто...* — «Ромео и Джульетта» (II, 2).

Стр. 379. *Отец ее любил меня, звал часто...* — «Отелло» (I, 3). В немецком тексте собственный перевод Гейне.

Стр. 380. *...у его супруги влажные руки.* — См. «Отелло» (III, 4).

Столь же необычайный и замечательный пример... можно найти в «Тысяче и одной ночи»... — Гейне имеет в виду историю принца, превращенного в камень (сказка 6, 7, 8 и 9 ночей).

Когда я смотрел эту пьесу на сцене театра Дрюри-Лейн. — Гейне видел в роли Шейлока великого актера Эдмунда Кина, как об этом он рассказывает в письмах «О французской сцене» (см. стр. 273—275 настоящ. тома).

Стр. 381. *Синьор Антонио, неоднократно...* — «Венецианский купец» (I, 3).

Стр. 382. *Вы знаете, Антонио, как сильно...* — «Венецианский купец» (I, 1).

Стр. 383. ...*Франц Горн делает по этому поводу... замечание...* — Далее приводятся цитаты из книги Горна «Комментарии к драмам Шекспира» (Franz Horn. Shakespeares Schauspiele erläutert, Bd. I, Leipzig, 1823).

Стр. 384. *Хулой печати с векселя не снимешь...* — «Венецианский купец» (IV, 1).

Ланчелот Гоббо — слуга Шейлока. Далее цитируется диалог между Джессикой и Ланчелотом из 5 сцены III акта.

На что тебе годится его мясо?.. — «Венецианский купец» (III, 1).

Стр. 385. *Антонио, я только что повенчан...* — «Венецианский купец» (IV, 1).

Стр. 386. *Имогена и Постумий* — герои пьесы «Цимбелин».

Стр. 387. ...*после поражения кимров и тевтонов...* — Гейне почерпнул рассказанный далее факт у римского историка Валерия Максима.

...*мне приходилось читать у Иосифа...* — Гейне имеет в виду «Иудейскую войну» (кн. II, гл. 8) Иосифа Флавия (37—100), еврейского историка, писавшего свои сочинения на греческом языке. Иосиф Флавий был участником римско-иудейской войны, позднее описанной им в названном сочинении.

Стр. 389. ...*во время восстания на Сан-Доминго...* — На острове Сан-Доминго (Санто-Доминго), как в те времена назывался принадлежавший Франции остров Гаити, в 1790—1791 годах под воздействием французской революции произошло восстание негров и мулатов. Владычество колонизаторов было свергнуто, возникло независимое государство, во главе которого стоял негр Туссен-Лувертюр («Черный консул»). По распоряжению Наполеона в Сан-Доминго высадились французская армия. В 1802 году восстание было подавлено, «Черный консул» был взят в плен. Однако неграм удалось еще на некоторое время вернуть свою независимость.

Негское восстание служит общим фоном известной новеллы Клейста «Обручение в Сан-Доминго» (1811).

Стр. 391. ...*из сочинения е-жи Джеймсон, носящего заглавие:*

«Нравственные, поэтические и исторические женские характеры». — Заглавие этого сочинения в оригинале — «Shakespeare's Female Characters» («Женские характеры у Шекспира»). Гейне цитирует сочинение Джеймсон по немецкому переводу Адольфа Вагнера (1839).

Стр. 392. *Осенены лучистыми кудрями...* — «Венецианский купец» (I, 1).

Марино Фальери (1278—1355) — венецианский дож, задумавший государственный переворот и стремившийся уничтожить с помощью средних классов венецианскую знать, нобилей и сенаторов и установить свое единовластие. Заговор был раскрыт, Марино Фальери по приговору сената был обезглавлен.

Марино Фальери — герой одноименных драм Байрона и Делавиня, а также новеллы Гофмана «Дождь и догаресса».

Дандоло Энрико (1108—1205) — венецианский дож, ловкий и отважный политик, основатель морского могущества Венеции, активно содействовавший приобретению республикой новых территорий. Еще до избрания в дожи был послан в Византию требовать возврата захваченных ею судов; византийский император Мануил I приказал его ослепить, но Дандоло, хотя глаза его и пострадали, все же сохранил остатки зрения. Глубоким стариком, за год до смерти, он еще принимал участие в морском сражении.

Стр. 393. *Карманьола* (1390—1432) — итальянский полководец. Сначала служил Милану, затем Венеции. Неудача одного из его походов на Милан навлекла на него подозрение в измене, и венецианцы казнили его.

Г-н фон Шейлок парижский. — Так Гейне называет парижского банкира, барона Джеймса фон Ротшильда.

КОМЕДИИ

Стр. 395—409. Отрывки из комедий Шекспира, помещенные под заглавиями: «Имогена», «Сильвия», «Геро», «Елена», «Изабелла», «Принцесса французская», «Аббатиса», «Миссис Пэдждж», «Миссис Форд», «Анна Пэдждж», «Катерина», в немецком тексте даны в собственном переводе Гейне.

Стр. 411. *Марло* Кристофер (1564—1593), *Декер* Томас (1570—1640), *Гейсуд* Томас (ок. 1570—ок. 1650) — английские драматурги из плеяды Шекспира.

Александр Дюма-отец (1802—1870), в будущем автор знаменитых романов, в 30-х годах, наряду с Виктором Гюго, являлся знаменосцем романтизма в области драмы и театра. Романтические

драмы Дюма следовали одна за другой; из них наиболее известны «Генрих III и его двор» (1829), «Антони» (1831), «Ричард Дарлингтон» (1831), «Нельская башня» (1832), «Кин» (1836). Гейне был связан с Дюма дружбой.

Стр. 412. ...какой-нибудь брызгливый памфлетист бросал ему обвинение... — Речь идет о сочинении Роберта Грина под названием «На грош ума» («Groatworth of wit», 1593). Это своеобразная автобиография, в которой оправданием для описания распутной жизни служат страницы с покаянными речами. В своей книге Роберт Грин, который был одним из известнейших драматургов елизаветинской эпохи, бросает несколько обвинений Шекспиру, прямо не называя его по имени. Грин предостерегает собратьев-драматургов против подражателей и плагиаторов: «Да, не доверяйте им, потому что между ними завелся выскочка, ворона, украшенная нашими перьями, с сердцем тигра под кожей актера» (см. «Хрестоматию по истории западноевропейского театра» под ред. С. С. Мокульского, т. I, 1953, стр. 510).

Эйвонский Лебедь — Шекспир. Эйвон — река, на которой стоит родной город Шекспира Стрэтфорд.

Альфред де Виньи (1797—1863) — французский романист, поэт, драматург, прозаик. Стремился подчинить романтизму французскую сцену, но держался при этом своих, особых методов. Как все романтики, проявлял особый интерес к Шекспиру — в 1828 году выступил со своим переводом «Венецианского купца», в 1829 году — с обработкой «Отелло» для французской сцены.

Баптистерий во Флоренции — «крестильня», перестроенная в VII веке из античного храма и в конце XIII века вновь перестроенная. Бронзовые двери флорентийского баптистерия украшены барельефами работы Андреа Пизано и Лоренцо Гиберти.

Стр. 414. *Альфред де Мюссе* (1810—1857) — французский романтик, лирический поэт, прозаик, автор многочисленных комедий и нескольких драм. Ко времени появления «Девушек и женщин Шекспира» Мюссе уже создал почти все свои лучшие комедии: «О чем мечтают молодые девушки» (1832), «Прихоти Марианны» (1833), «Фантазио» (1833), «Любовью не шутят» (1834), «Подсвечник» (1835).

ПИСЬМА О ГЕРМАНИИ

«Письма о Германии» — отрывок из оставшегося незаконченным произведения Гейне. Этот отрывок был впервые опубликован в книге «Letzte Gedichte und Gedanken von Heinrich Heine» («По-

следние стихотворения и мысли Генриха Гейне», 1869). Заглавие отрывку дал составитель и редактор этой книги А. Штротман. Гейне задумал написать в эпистолярной форме дополнение к своей книге «К истории религии и философии в Германии» (1834). Новая книга должна была появиться одновременно на французском и на немецком языках. Как предполагает Эрнст Эльстер, Гейне начал писать ее после своей первой поездки на родину в 1843 году. Ничего, кроме настоящего отрывка, отчасти использованного Гейне в его «Признаниях» (1853—1854), не дошло до нас, и отрывок этот обычно печатается среди вариантов и дополнений к «Признаниям». Между тем, «Письма о Германии», написанные еще до революции 1848 года, представляют совершенно самостоятельный интерес и очень важны для понимания мировоззрения Гейне и особенно эволюции его философских взглядов.

Как известно, подъем революционного движения после 1840 года близко подводит Гейне к пониманию социализма. В 1843 году Гейне знакомится и сближается с Марксом. В 1844 году появляется поэма «Германия», центральное произведение всей политической поэзии Гейне. И в это время он стремится осветить изменения, происшедшие в духовной жизни Германии после 1834 года, то есть после того, как была написана работа «К истории религии и философии в Германии», заканчивающаяся характеристикой философии Гегеля.

В «Письмах о Германии» Гейне касается и развития своих собственных философских взглядов, главным образом эволюции своего отношения к Гегелю. Студент Гейне весьма иронически обрисован в картине беседы с Гегелем, — картине, впоследствии развитой и продолженной в «Признаниях», — и в этом сказывается критическое отношение автора «Писем о Германии» к философским взглядам своей молодости. Но книгу «К истории религии и философии в Германии» он оценивает уже совсем по-иному. Гейне говорит, что в этой книге он выболтал школьные секреты немецкой философии, объяснив, что в ее непонятных, «педаггически-темных словах»¹ скрывается революционный смысл, и указав на существующие связи и параллели между французской политической и немецкой философской революцией. И через много лет после появления этой книги Гейне считает, что он дал в ней правильное представление о немецкой философии. (См. также в т. 6 настоящ. издания комментарий к сочинению «К истории религии и философии в Германии».)

В новом сочинении основной интерес Гейне концентрируется на гегелевской и особенно послегегелевской философии: на Фейер-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XIV, стр. 635.

бахе и левых гегельянцах. Гейне считает нужным развить некоторые положения своей книги «К истории религии и философии в Германии» и дополнить их материалом, появившимся за прошедшие годы.

Он говорит о том месте в «Философии истории», где Гегель разъясняет, в чем заключается превосходство христианской религии над греческой мифологией. Симптоматично уже то, что Гейне в качестве примера берет слова Гегеля, сказанные по поводу религии: ведь против религии и велась главная борьба левых гегельянцев, а, как отмечает Энгельс, в начале сороковых годов «борьба против религии косвенно была и политической борьбой». ¹ Если соответствующее место у Гегеля ² сравнить со словами Гейне о христианстве («...христианство прогрессивно уже потому, что оно проповедует бога, который умер») и с его выводом («Каким же прогрессом является, следовательно, признание того, что бога вообще никогда не было!»), то станет ясно, на какой общепонятный и радикальный язык Гейне «переводил» Гегеля.

Слова Гейне о послегегелевском развитии философии дают возможность оценить проницательность и дальновидность писателя в вопросах духовного развития Германии. Он говорит о значении борьбы Фейербаха и левых гегельянцев против религии, о том могучем влиянии, которое оказывает «уничтожение веры в небеса» на массы, жаждущие теперь установления «блаженства на земле».

В связи с этим Гейне говорит и о распространении коммунизма в Германии как о естественном следствии этого изменившегося мировоззрения. По мнению писателя, наследником классической философии является революционный пролетариат. «Столь же естественно, — пишет он, — и то, что вождями пролетариев в борьбе против всего существующего стали самые передовые мыслители, философы великой школы. Они переходят от доктрины к действию, конечной цели всякого мышления, и формулируют свою программу». Под этими «передовыми мыслителями, философами великой школы» Гейне подразумевает левых гегельянцев, взгляды которых он в то время

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XIV, стр. 641.

² «Истинным недостатком греческой религии по сравнению с христианской является то, что в ней явление составляет высший образ, вообще полноту божественного начала, между тем как в христианской религии явление считается лишь моментом божественного. В ней являющийся бог умер, он полагается как отрицающий себя, лишь как умерший, Христос изображается восседающим одесную бога. Наоборот — для эллинов греческий бог является увековеченным в явлении лишь в мраморе, в металле или дереве, или в представлении как образ фантазии» (Гегель. Собрание сочинений, т. VIII, М.—Л., 1935, стр. 234—235).

разделял. К ним он, очевидно, причислял и Карла Маркса, еще не видя, в чем состояло различие между Марксом и левыми гегельянами.

Эти высказывания о подъеме революционного движения народных масс и о всемирно-историческом значении тех изменений, которые происходили в немецкой философии в сороковых годах прошлого столетия, и придают «Письмам о Германии» особую ценность.

Стр. 423. *Беттина Арним* (1785—1859) — немецкая писательница, принадлежавшая к кругу романтиков, жена Ахима Арнима и сестра Клеменса Брентано. Беттина Арним — автор нескольких книг полудокументального характера; среди них особенно известна «Переписка Гете с ребенком».

Автор «Коринны» — французская писательница г-жа де Сталь (1766—1817). В 1813 году опубликовала книгу «De l'Allemagne», идеализировавшую отсталость Германии и восхвалявшую немецкий романтизм.

...современных писательниц, а именно *mères d'église* и *mères des compagnons*. — Судя по специфической терминологии, Гейне, вероятно, говорит здесь о писательницах, близких к сен-симонизму.

...я выступил еще двенадцать лет тому назад... с моей книгой, носившей то же название. — Гейне имеет в виду свое сочинение «К истории религии и философии в Германии» (см. т. 6 настоящ. издания), носившее во французском издании заглавие «*De l'Allemagne*». Произведение это было впервые опубликовано (как во французском переводе, так и в немецком оригинале) в 1834 году. Это, однако, еще не дает нам бесспорного указания на то, что «Письма о Германии» были написаны в 1846 году: весьма возможно, что, указывая на промежуток в двенадцать лет между «Письмами» и сочинением о религии и философии, Гейне делает ошибку в подсчете годов.

Стр. 424. *Анна Редклиф* (1764—1823) — английская писательница, автор «страшных романов» («Удольфские тайны», «Итальянец» и др.), очень популярных в свое время.

«*Tour de Nesle*» — романтическая драма Александра Дюма-отца (1832). По жанру своему — драма ужасов и преступлений, с уклоном в мелодраму.

...яйцо, из которого она вылупилась... — Согласно греческой мифологии, Елена Спартанская вышла из яйца Леды, дочери этольского царя Фестия, к которой Зевс явился в образе лебедя.

Стр. 425. *Автор «Essai sur le développement du dogme catholique»* — Христина Бельджейозо (см. о ней примечание к стр. 304

писем «О французской спене»). Упоминаемое произведение вышло в Париже анонимно.

Дельфина Жиарден (1805—1855) — французская поэтесса, автор трагедий. Известная красавица своего времени.

Мадам Мерлен (1788—1852) — автор мемуаров и описаний путешествий. Славилась своей красотой.

Луиза Колле (1810—1876) — французская поэтесса.

...она схватит кухонный нож, чтобы вонзить его в тебя. — Возмущенная насмешками писателя и критика Кара, Колле бросилась на него с ножом, не причинив ему, впрочем, вреда.

Стр. 426. ...французы... стали... буреграфами. — Намек на драму Виктора Гюго «Бургграфы», написанную на сюжет из немецкого средневековья. Поставленная на сцене 7 марта 1843 года, эта драма провалилась, что принудило Виктора Гюго прекратить свою деятельность в качестве драматурга и целиком предаться роману и поэзии.

Стр. 426—427. ...христианнейшие души... поднимают свои выбритые головы. — По обычаю, установившемуся в давние времена, кающиеся грешники выбривали себе голову. У католических священников символом их отречения от мирских интересов является tonsura — выбритый кружок на голове.

Стр. 427. *Пьер Леру* (1797—1871) — французский писатель и философ, один из теоретиков «христианского социализма». О своем разговоре с Леру по поводу немецкой философии Гейне рассказывает также в главе 44 II части «Лютеции» (см. т. 8 настоящего издания, стр. 174).

Кузен Виктор (1792—1867) — французский философ-идеалист, популяризатор немецкой классической философии во Франции.

Порфирий (232—305) — философ-неоплатоник, непримиримый враг христианства, автор полемического сочинения «Пятнадцать книг против христиан».

...по прозванию *Фейербах* (по-французски это будет *fleuve de flamme*)... — Фейербах (Feuerbach) означает по-немецки «огненный ручей».

Стр. 428. ...я стоял за спиной маэстро, когда он сочинял ее. — Гейне намекает на то, что, будучи студентом Берлинского университета, он слушал лекции Гегеля.

Генрих Бер — брат композитора Джакомо Мейербера (Якоба Мейера Бера) и драматурга Михаэля Бера. Как рассказывает Гейне в «Признаниях», в Берлине все были изумлены близостью Гегеля с Генрихом Бером, который «был явно глуповатым малым». Причину этой близости Гейне видел в том, что, «по убеждению Гегеля,

Бер ничего не понимал из того, что говорит ему Гегель, который поэтому в его присутствии мог без стеснения отдаваться течению своей мысли.

Стр. 429. *Я давно предчувствовал ее и выразил такими словами...*— Далее Гейне цитирует свое сочинение «К истории религии и философии в Германии» (т. 6 настоящ. издания, стр. 73).

...сеялись драконовы зубы... — Согласно греческой мифологии, сын сидонского царя Кадм посеял зубы убитого им дракона, и из них вырос отряд вооруженных воинов, которые затем стали убивать друг друга. Этот мотив встречается и в мифе о Ясоне.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Людвиг Берне. <i>Перевод А. Федорова</i>	5
Статьи 1836—1844 годов	
«Гугеноты» Мейербера. <i>Перевод под ред. А. Федорова</i> . .	133
Введение к «Дон-Кихоту». <i>Перевод А. Горнфельда</i> . . .	136
Швабское зеркало. <i>Перевод А. Горнфельда</i>	155
Томас Рейнольдс. <i>Перевод А. Федорова</i>	168
Гамбургский пожар. <i>Перевод Е. Лундберга</i>	179
Людвиг Маркус. <i>Перевод Е. Лундберга</i>	181
Бахерахский равнин. <i>Перевод А. Морозова</i>	195
О французской сцене. <i>Перевод А. Федорова</i>	235
Девушки и женщины Шекспира. <i>Перевод Е. Лундберга</i> . . .	307
Письма о Германии. <i>Перевод Е. Пуриц</i>	421
Комментарии <i>Н. Берковского, А. Дейча, А. Морозова</i> и <i>Е. Пуриц</i> ¹	431

¹ Н. Берковским написаны комментарии к произведениям «Людвиг Берне» и «Девушки и женщины Шекспира», а также к статьям 1836—1844 годов, А. Дейчем — к письмам «О французской сцене», А. Морозовым — к новелле «Бахерахский равнин», Е. Пуриц — к «Письмам о Германии».

Генрих Гейне
Собрание сочинений, т. 7

Редактор Г. Бергельсон
Художник Л. Хижинский
Художественный редактор
Л. Чалова
Технический редактор
Л. Крючкина
Корректор Э. Урицкая

Подписано к печати 2/XII 1958 г.
Бумага 84×108¹/₃₂—16 печ. л.—26,24
усл. печ. л. 26,24 уч.-изд. л. Тираж
80 000 экз. Заказ № 1809.
Цена 10 р. 50 к.

Гослитиздат
Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28

Ленинградский Совет
народного хозяйства
Управление полиграфической
промышленности
Типография № 1 «Печатный Двор»
имени А. М. Горького,
Ленинград, Гатчинская, 26.